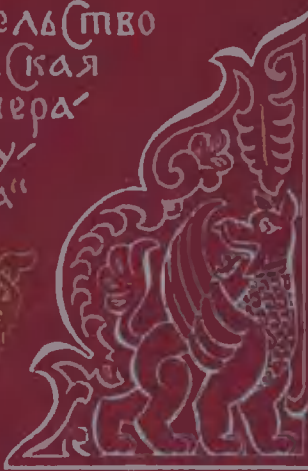

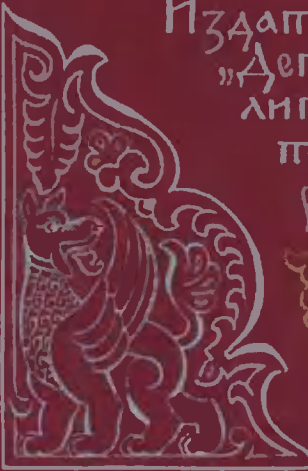


Борис
Изюмский

ИЗБРАННОЕ



Издательство
„Детская
литера-
ту-
ра“





Борис
Изюмский

ИЗБРАННОЕ
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОВЕСТИ



Москва
„Детская
литература“
1991

К ЧИТАТЕЛЯМ

Отзывы об этой книге просим присылать
по адресу: 125047, Москва, ул. Горького, 43.
Дом детской книги.

Художник Л. ФАЛИН

Изюмский Б.

ИЗ9 Избранное: Исторические повести/Худож.
Л. Фалин.— М.: Дет. лит., 1991.— 368 с.: ил.

ISBN 5—08—001977—8

Исторические повести о жизни Руси в XI—XIV веках.

И 4803010102—244
М101 (03)-91 Без объявл.

ББК 84Р7

ISBN 5—08—001977—8

© Г. Колесников. Предисловие, 1991

Писатель Борис Васильевич Изюмский — человек очень нелегкой, но интересной и счастливой судьбы. Счастье писателя — его книги. То, что написано Б. В. Изюмским для детей и взрослых, легко и навсегда нашло дорогу к сердцам и душам читателей. Книги его обладают одним неоспоримым достоинством — они интересны. А интересны потому, что написаны человеком талантливым, широко образованным, точно и глубоко знавшим то, о чем он пишет.

Круг его интересов обширен. Борис Васильевич писал прониковенные стихи. Правда, в отличие от многих торопливых поэтов, печатал их очень редко. Широкому кругу читателей Б. В. Изюмский известен как прозаик, автор многочисленных романов, повестей и рассказов. Он одинаково хорошо, профессионально владел и темой современности, и темой русского прошлого, которое знал глубоко, будучи по образованию историком.

Борис Васильевич Изюмский родился 6 марта 1915 года на Волге, в городе Царицыне. Сейчас это Волгоград, известный всем по знаменитой Сталинградской битве, одним из участников которой был и он сам. Умер он 6 сентября 1984 года, тяжело проболев последний год жизни. До последнего часа писатель жил с достоинством волевого человека, работая над исторической повестью о декабристе Николае Бестужеве. Книга эта обещала быть значительной и интересной, о чем позволяют судить написанные страницы.

Детские и юношеские годы писателя прошли в городе Таганроге, где всегда были сильны культурные и литературные традиции, оставленные в наследство родному городу великим таганрожцем Антоном Павловичем Чеховым. Память о А. П. Чехове, стойко живущая на его родине, повлияла и на выбор жизненной дороги советского писателя Б. В. Изюмского.

...Писателем надо родиться. Но это не значит, что каждый человек, родившийся с задатками литературного таланта, становится писателем. Чтобы одаренный от природы человек мог войти в литературу, необходим огромный жизненный опыт; культура души, неиссякаемое трудолюбие, всеохватывающая

преданность своему призванию. Очень нелегко даже талантли-
вому человеку стать настоящим писателем!

Природного дарования Борису Васильевичу было не зани-
мать. Он рано начал зарабатывать на хлеб себе и больной
матери. После школы работал грузчиком и токарем на одном из
заводов индустриального Таганрога. На заводе стал активным
комсомольцем.

Всю жизнь Борис Васильевич много читает, становится все-
сторонне образованным человеком, успешно заканчивает Рос-
товский педагогический институт. Получив высшее образова-
ние, преподает историю в ростовских школах. Опыт школьного
учителя плодотворно скажется впоследствии на его литератур-
ной работе. Многие его произведения посвящены школе, учите-
лям.

Но началась война. Школу пришлось оставить. Изюм-
ский Б. В. добровольцем уходит на фронт. Война — это тяже-
лая, опасная и изнурительная работа, и Борис Васильевич на
себе испытал все ее тяготы. В боевых расчетах артиллеристов
защищал он родной Сталинград. К исходу войны Изюмский —
командир стрелковой роты. Уже в конце 1943 года в бою за
Мелитополь он получает третье тяжелое ранение разрывной пу-
лей фашистского снайпера. Ранение не позволило ему вернуться
на фронт, но связи с Советской Армией он не теряет. В
1944 году в Новочеркасске создается суворовское военное учи-
лище. Педагог, боевыми маршами прошагавший дорогами вой-
ны, прикомандировывается к этому училищу, где преподает для
будущих армейских командиров историю, психологию и логику.

Семь лет в Новочеркасском суворовском училище стали для
писателя важной жизненной школой, давшей ему богатый мате-
риал и опыт для литературной работы.

Первый сборник рассказов Б. В. Изюмского «Раннее утро»
вышел в 1946 году в Ростове-на-Дону, но подлинным началом
его многолетних писательских трудов надо считать книгу
«Алые погоны». Именно эта повесть, рассказывающая о жизни
ребят в суворовском военном училище, принесла ему как писа-
телю широкую известность.

Более сорока лет назад «Алые погоны» впервые увидели
свет в журнале «Новый мир». С того времени книга много раз

издавалась в Москве и за рубежом. Сделанные по ней кино- и
телевизионные фильмы пользовались неизменным успехом у
зрителей, и это вполне понятно. Тонко и проникновенно удалось
писателю раскрыть психологию детей в условиях особой, воен-
ной школы. Каким многообразием детских характеров населена
эта книга! «Алые погоны» нисколько не устарели и в наши дни.
Столкновение в книге двух систем воспитания — по-солдатски
командной и терпеливо-гуманной, щадящей легко ранимую дет-
скую душу, — делает «Алые погоны» современным произведе-
нием, помогающим осмыслить и двигать вперед трудное дело
школьной реформы. В книге «Подполковник Ковалев» писатель
прослеживает дальнейшую военную судьбу своих воспитанни-
ков, живо и увлекательно изображает жизнь и быт современной
Советской Армии.

Сорок лет литературной работы Б. В. Изюмского пришлось
на очень трудное время в нашей общественной жизни. Нелегко
было и Борису Васильевичу пробиваться в своих книгах к под-
линной правде жизни. Но он пробивался, ему многое удавалось.
И здесь сказались предельная честность, всестороннее изучение
жизни, кропотливое собирание материала. Когда Борис Василь-
евич задумал написать свой роман «Море для смелых», он на
несколько лет поселился в Волгодонске, на берегу Цимлянского
моря, работал в этом городе рядом со своими героями, узнавал
их жизнь не из творческой командировки. В Волгодонске глу-
боко уважали его труд. И вполне закономерно, что Борис Васи-
льевич стал впоследствии почетным гражданином города Волго-
донска.

Роману «Плевенские редуты» предшествовали длительные и
вдумчивые путешествия по Болгарии. Города и селения этой
страны, ее своеобразная природа, памятники архитектуры,
реликвии освободительной войны, а главное — простые люди
Болгарии знакомы писателю не понаслышке. Он сам все это
видел и познал в живом общении со страной. И поэтому всем
своим строем «Плевенские редуты» так точны и достоверны.
Роман получил высокую оценку читателя, и автор его был удо-
стоен болгарского ордена Кирилла и Мефодия.

Одну из последних своих работ «Небо остается» Борис Васи-
льевич написал как непосредственный участник войны. Многие,
о чем он пишет в романе, им лично пережито и прочувствовано.

Настойчивое постижение подлинной правды жизни, точность увиденных деталей, реальность жизненных обстоятельств в накопленном материале позволяли Б. В. Изюмскому не поступиться правдой в своих книгах.

Закономерно было и обращение писателя к темам русской истории. Профессиональный историк, знаток подлинных документов, он знал язык своих исторических персонажей. И снова путешествия по местам событий. В Киеве, Новгороде, Тамани он внимательно изучает сохранившуюся старину, вживается в то время, о котором намерен писать.

Исторические повести Б. В. Изюмского всегда интересны. Он отлично владеет искусством построения остросюжетных повествований. С первых страниц книги вы сами почувствуете эту грань таланта писателя.

Книга, которую вы держите в руках, достаточно полно познакомит с историческими сочинениями Б. В. Изюмского. Открывает ее повесть «Бегство в Соколиный бор», рассказывающая о Киеве времен Ярослава Мудрого, о первых школах на Руси, о несправедливости власть имущих, о том, как создавались законы «Русской правды», о талантливости, бесстрашии простых русских людей, их борьбе за счастье.

Две другие повести, «Соляной шлях» и «Град за лукоморьем», связаны судьбой одного героя — Евсея Бовкуна. Вместе с ним, вслед за чумацким обозом, читатель пройдет в Крым за солью петропудой и лугом девственной степью, станет свидетелем жестоких схваток половцев с русскими людьми... Увлекательное это будет путешествие!

С большим искусством, достоверно и в полном соответствии с исторической правдой автор вплетает в судьбу независимого и гордого Евсея Бовкуна возникновение первых русских поселений в диком, но вольном тогда Подонье. Сюда от гнета князей и знатных богатеев уходит со всех концов Руси вольнолюбивая гольтыба. Сюда устремился и смерд Евсей, ища спасения от кабалы боярина-живодера Путяты. Но жизнь вдали от родного Киева и вблизи от кочевий половецких племен полна трудностей и опасностей. И Евсей вынужден вновь искать спасения, теперь

уже на самом краю русской земли — в городе Тмутаракани у берегов Черного моря.

Повесть «Тимофей с Холопией улицы» переносит нас с южной окраины Руси на север, в Новгородскую вечевую республику. Республику? Новгород также раздирали жестокие противоречия между богатой знатью и трудовой беднотой. В борьбе с немецкими псами-рыцарями новгородцы выступили сплоченной и несокрушимой стеной. Но схлынули люди с поля брани — и социальные распри вспыхнули с новой силой. И как трудно было правдолюбцу и грамотею Тимофею с Холопией улицы сказать и в записях своих сохранить для потомства полную правду о том, как в действительности жили новгородцы в своей «республике».

И наконец «Ханский ярлык». В этой повести писатель пытается художественно осмыслить дела московского князя Ивана Даниловича Калиты, предпринявшего еще во времена татарского ига смелую и небезуспешную попытку собирания единой Руси вокруг совсем еще молодой Москвы. Нет, он отнюдь не идеален, этот московский князь, и все же его действия, хотя далеко не всегда безупречные, способствуют зарождению нового Русского государства. Такова мудрость истории.

* * *

Борис Васильевич Изюмский был общительным, как сейчас говорят, коммуникабельным человеком. Много, увлеченно и напряженно работая, он всегда находил время для дружеского общения с людьми.

Убежденный и талантливый педагог, он отлично знал жизнь школы, учащихся и учителей. По страницам его книг проходит вереница подростков. И всегда это мальчишки и девчонки со своими мыслями, заботами, тревогами, радостями. Борис Васильевич был глубоко убежден в том, что писатель обязан знать не только парадную сторону жизни, но и ее изнанку. Творческие встречи были у него и в исправительно-трудовых колониях несовершеннолетних правонарушителей, которые появлялись потом в его книгах, как живые, не придуманные, не безликие литературные персонажи.

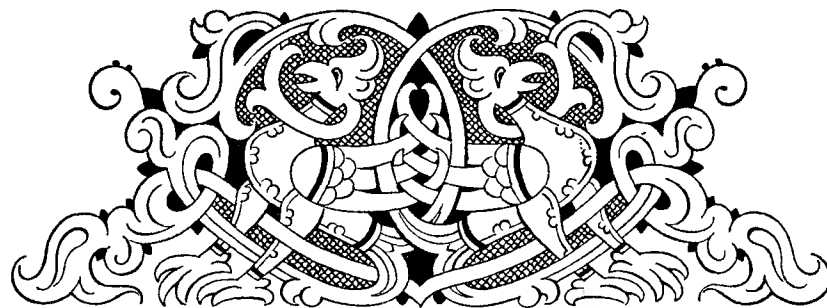
К Борису Васильевичу Изюмскому — опытному писателю — с надеждой обращались за помощью молодые литераторы, и он доброжелательно читал их произведения. Все талантливое радовало его, и он прилагал немало усилий, чтобы оно стало нашим общим достоянием.

Все больше и настойчивее мы утверждаем сегодня милосердие в качестве одного из моральных устоев нашего образа жизни. Для Бориса Васильевича чужая боль была его личной болью. «Чужой болью» назвал писатель и одно из выстраданных своих произведений.

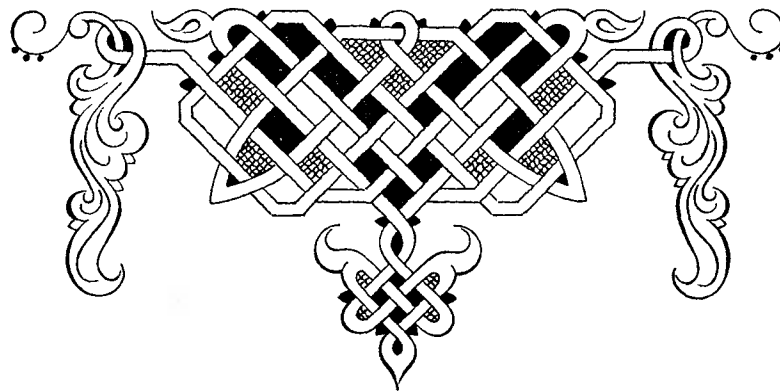
Только год не дожил Борис Васильевич до того времени, когда в апреле 1985 года в нашу жизнь вошли демократия и гласность. Борис Васильевич ждал этого времени, своим творчеством торопил его наступление...

Но с нами остались его книги. Как все настоящее в искусстве, они помогают молодым отыскать верную дорогу в жизни, учат добру, порядочности, милосердию. Написанные человеком высокой культуры, произведения писателя обогатят вас знанием жизни, откроют неведомые страницы славной истории русского народа.

Гавриил Колесников

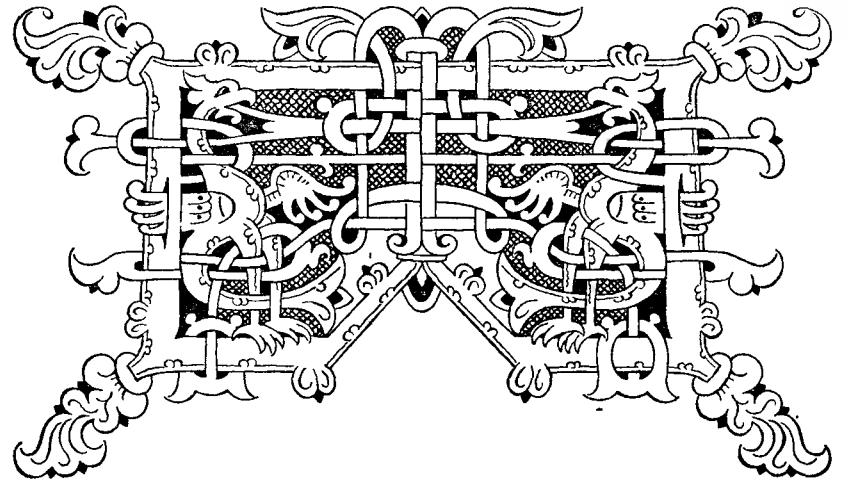


Бегство
в Соколин
бор



...И бысть им тяжек путь той.

Из летописи



УЧИЛИЩНАЯ ИЗБА

Носемнадцатилетний сын чеканщика Фрола Черного Григорий выскочил из землянки и помчался вверх, к Горе.

Чадно коптели смоляные факелы у складов, над сонным Днепром стлался густой утренний туман, заросли Перевесища жадно впитывали и этот туман, и смоляную копоть.

Наверху Григорий перевел дух, подтянул латаные-перелатанные штаны и побежал дальше, к училищной избе.

Он открыл ее дверь, когда учитель Елфим, прозванный учениками Петухом, сидел за стол в углу под образами.

Григорий сдернул со светловолосой взмокшей головы колпак, наскоро прошептал строку молитвы, до земли поклонился учителю и пробрался к своему месту на скамье, рядом с Харькой Чудиным.

Воеводский сын Харька — ленивый дылда, немного старше Григория — вяло дожевывал ковригу с маком, уставившись в одну точку сонными, мутными глазами. Под правым глазом у него красовался огромный зеленовато-синий чирей, отчего глаз этот казался меньше левого.

Григорий осмотрелся. В избе были все девятнадцать учеников, и самые малые, лет по восьми, и великовозрастные.

— Повторим, уноты, урок! — тонким голосом оповестил учеников Петух и вызвал к себе Клёнку.

Белесый Клёнка затрепетал, вскочил, подойдя к учителю, поклонился в ноги.

— Ныне какое лето? — строго спросил учитель.

— Шесть тысяч пятьсот сорок шестое¹ от сотворения мира! — испуганно пискнул Клёнка, и белые бровки его задрожали.

— Сказывай урок, — разрешил учитель и, прикрыв птичьи глаза, переплел на черной рясе сухие пальцы рук.

Трудно было определить, старо или молодо он выглядит, сколько ему лет: если сорок — молодо, если тридцать — старо. Лицо, почти лишенное растительности, он слегка запрокидывал, будто грел на солнце, и при этом на длинной шее выпячивался огромный кадык. Не было волос и на голове, схожей с яйцом. Поговаривали: втирал Петух для роста волос мазь из масла красной коровы, да, видно, не помогало.

Клёнка набрал воздуха и зачастил скороговоркой, старательно складывая губы трубочкой:

— Части речи суть: имя, глагол, причастие, местоимена... Падежи: правый, родной, виновный... — он запнулся.

Учитель приоткрыл глаза, поглядел на розги, лежащие перед ним на столе: черемховые, двулетние — для малых, березовые — для старших. Клёнка сглотнул слюну:

— ...дательный, звательный...

— То-то! — Петух кивком головы отпустил Клёнку, вызвал Чудина.

Харька пошел, грузно переваливаясь на толстых ногах, которые он ставил немного внутрь носками.

— Что есть гласные и согласные? — посмотрел на него как только мог добрее учитель.

Да и как глядеть иначе, если считает он боярина Чудина благодетелем своим: несколько лет назад предстояло Петуху наказание за церковные провинности, но вызволил его боярин.

Харька наморщил маленький лоб, почесал лохматый затылок.

— Гласные — души, — прогудел он, — согласные — тела. Душа движет и себя и тело, тело же неподвижно без души... неподвижно...

Дальше он ничего не мог вспомнить и, сколько с разгона ни доходил до этого места, переступить его никак не удавалось.

Петух наконец осерчал, но от розог отвернулся, словно и не было их, только крикнул сердито вслед Харьке:

— Такого учить, что по лесу с бороной ездить! — и что-то клеткотнуло у него в кадыке. Петух открыл учебник грамматики Иоанна Дамаскина¹, растягивая слова, стал читать.

Харьке Чудину стало скучно. Чем бы развлечься? Он решил, что Григорий занимает слишком много места на лавке. Ткнув его локтем в бок, прошипел:

— Сдвинься, слыши!

Григорий от неожиданности подпрыгнул, зло сверкнул карими глазами из-под широких бровей:

— Ты чё?

— Сдвинься, расселся!

— Сам ты расселся, куль с овсом! — вскипел Григорий, упираясь руками в лавку. — Рогом козел, а родом осел.

— Ты, голь вонючая, род мой низить? — задом оттесняя Григория, еще громче зашипел Чудин и опять больно ударил его локтем в бок.

Григорий не успел ничего ответить — над ним вырос учитель, коротким движением маленькой жесткой руки дал ему подзатыльник:

— В угол, на горох, захотел?

У Григория от несправедливости и обиды закипели слезы на глазах. Он встал, стиснув зубы, молчал — разве с Чудиным в правде тягаться? Слышал сбоку от себя угрожающее посапывание Петуха.

«Ух, дам Харьке после уроков, дам! — решил Григорий. — А сейчас надо молчать».

Кто ведает, привел бы в исполнение свою угрозу учитель, но дверь распахнулась и в избу вошел боярин Вокша, прозванный киевлянами Хромым Волком.

На Вокше темно-синий плащ с застежкой у плеча; бархатная шапка, отороченная мехом, почти надвинута на темные кустистые брови; щеки изборозжены глубокими морщинами.

В Киеве знали: силен и влиятелен Хромой Волк. Именно ему поручил Ярослав присмотр за строительством Софийского собора, за обучением в училищной избе; его, любимого советчика, наделял угодами, казной и милостью.

И Вокша оправдывал доверие князя: не за страх, а на совесть служил ему.

Ярослав сначала настороженно отнесся к этому рвению, но, убедившись, что оно искренне, приблизил боярина и вовсе.

Скорым шагом Вокша пересек училищную избу. Снял

¹ 1038 год по современному летосчислению.

¹ Византийский писатель VIII в.

шапку, положил ее на стол, сел на лавку, обвел избу суровым взглядом.

Петух, семеня, подбежал к боярину, закланялся быстро, прижимая руки к груди.

Григорий диву дался, как сразу изменился облик Петуха: словно бы на глазах сделался он меньше, смотрел на боярина снизу вверх, с покорностью.

Вокша, пытливо оглядев притихших учеников, властно спросил Елфима:

— Кто у тебя, учитель, примерен?

Григорий с неприязненным любопытством уставился на боярина. Видел его и прежде. В позапрошлом лето рисовал как-то на песчаной косе Почайны щепой всадника и не слышал, как сзади подошел князь Ярослав. Поглядев на рисунок, стал спрашивать Григория, кто он, чей, давно ли рисует. Нежданно спросил:

— Книжной грамоте обучаться охота?

Еще бы не охота!

Князь привел его к Вокше:

— Вот, сыскал тебе еще одного унота...

Вокша покосился на босые ноги Григория, пробурчал с сомнением:

— Голь обучать?

Ярослав ответил непонятно:

— Нам бы впрок...

И вот попал Григорий в училищную избу — белой вороной среди богатых, — и надобно терпеть несправедливости, глотать сплюну, когда Харька жрет пироги.

А Вокша, неторопливо переводя взгляд с лица на лицо, думал: «Обучим, пошлем в дальние пределы... Грамотные люди везде надобны. Соберем еще писцов прилежных для перевода с греческого на славянский».

— Так кто в науке примерен? — повторил он вопрос.

Елфим повернул к ученикам лицо с застывшей искательной улыбкой, сказал ласково:

— Да вот Григорий Черный горазд.

Харька с ненавистью покосился на соседа — даже чирей под глазом стал еще зеленее.

Выслушав ответы Григория, Вокша скупно заметил:

— То хорошо, что стараешься.

Широконосое, с большим ртом лицо юноши залила краска удовольствия. Но тут же, вспомнив рассказы отца о Хромом Волке, Григорий насупился: «Чего там расхваливать — не лучше других. Еще неизвестно, чем обернется твоя ласкавость. Клацнешь клыками, коли что не по тебе, и весь ответ...» Притушил радость в глазах.

Вокша встал. Сказал хрипловатым голосом, обращаясь ко всем:

— К мягкому воску льнет печать, к юности — ученье. Помните князьки слова: сладость книжная — и свет дневной, и узда воздержанья, и утешенье в печали, и то же, что парус для ладьи, а оружие для воина. Книги — реки, напоющие Вселенную, источники мудрости и неисчислимой глубины...

СТРОИТЕЛИ

Получасом позже Вокша вышел из училищной избы. Небо над Днепром посветлело, из серой пелены проступили голубые, розовые, как на мраморе, прожилки, резче обозначилась вдали синевя леса.

Вокша направился к площади, где заканчивали строить Софийский собор. Любил шум людского муравейника, дым обжиговых печей, вереницы подвод, груженных известью, лесом, цокот камнетесов, обивающих царьградский мрамор.

Ярослав уже несколько месяцев хворал, и Вокша, выполняя княжью волю, каждодневно бывал у собора.

На площади лежали навалом глыбы дикого камня, свинцовые листы, окрашенные медянкой, карпатский шифер, александрийский гранит. Казалось, со всей Руси собрали в Киев землекопов, тесляров, резчиков мрамора. Они рыли котлованы, вершили кровли, украшали стены.

Собор, опоясанный двумя рядами крытых галерей, розовел в лучах вдруг выглянувшего солнца. Белые колонны в глубине открытых дверей манили зайти полюбоваться солнцеподобными хризмами на стенах, мраморным митрополичьим тронem, полом, словно усеянным крупными разноцветными зернами.

Зодчего, мастера Миронегу, Вокша увидел возле обжиговой печи. Огромный, с раздвоенной огненно-рыжей, пламенеющей бородой, Миронег о чем-то спорил со старшиной артели плотников, ожесточенно тыкал корявым пальцем в чертеж на пергаменте.

Князь ценил Миронегу. Особенно после того, как выстроил тот в Новгороде тринадцативерхий дубовый храм. Ныне доверил ему сделать собор по-своему, не подражая слепо грекам.

Ярослав решил отстраивать Киев с размахом, на зависть и принижение Византии. Пусть узнает, что вырастает новый Царьград, обнесенный валами, с каменными сторожевыми башнями, воротами из позолоченной меди. Чтобы слава о Киеве — матери русских городов — дошла и до арабов, величающих его Куявой, и до норманнов, восторгающихся «градом, величеством сияющим, — Кенугардом».

...Поднявшись по ступенькам собора, Вокша успел сказать Миронегу только несколько слов, как совсем рядом раздался нечеловеческий вопль. И сразу все кругом зашумели, закричали, чем-то встревоженная чадь побежала, молча сгрудилась возле больших камней.

На земле, придавленный плитой, сорвавшейся с блока, лежал лицом вверх белокурый молодой Ерошка, полгода назад взятый на стройку из села Василькова.

Из носа, ушей, рта Ерошки непрерывными тонкими струйками текла кровь, смешиваясь с пылью, подбиралась к льяным его кудрям. Несколько артельщиков, выйдя из оцепенения, навалились на плиту, пытаясь сдвинуть ее с груди раздавленного, но плита словно приросла навек.

Ерошка приоткрыл мутные, невидящие глаза, прошептал побелевшими губами:

— Сестрице... Федоске... — и умолк. Видно, остаток сил растратил на эти слова.

Все, кто стоял в кругу, стянули шапки с голов.

Подбежал высокий, с бородой-лопатой надсмотрщик, сжимаемая кнут, закричал:

— Что собрались, прочь по местам!

И тогда в тишине хриплый голос произнес с отчаянием:

— Рази ж то жизнь, кияне?

Его поддержал другой, недоуменный:

— В смерти кнутом грозят?!

Но, отменяя их, взвился злой, резкий:

— За кус хлеба потом исходим!

И уже переплелось как вопль:

— На нас же псами цепными бросаются!

— Натерпелись!

Эти выкрики будто слили мгновенно в живой вал обездоленных людей. Десятки рук потянулись к кирпичам, кольям, и надсмотрщик в страхе попятился, побежал. А яростный вал уже надвигался на Вокшу, и до него явственно долетало:

— Переломить хребтину Хрому Волку!

Откуда-то вынырнул бледный постельничий Вокши — Свидин, колыхая тучным животом, бесстрашно пошел с мечом на толпу:

— Назад, поганцы!

Вокша, озверело сверкнув глазами, крикнул властно:

— Чудин! Вби!

Отстегивая на ходу секиры, звеня щитами, ринулись на простой люд воеводские дружинники, мечами били плашмя по головам, кололи, разгоняли непокорных.

— Руби! — неистово кричал Вокша. Налитые кровью глаза его обжигали яростным гневом. — Руби!

Он умолк, тяжело переводя дыхание. Сильно прихрамывая, пошел с площади к своему двору.

Свидин катился рядом, едва поспевая.

— Должник! — бросил ему, как кость, Вокша. — Что попросишь — сполну.

Свидин, не останавливаясь, приложил руку к груди.

— Ведаю, ведаю, — сорванным голосом прохрипел Вокша, — не из корысти...

ОЛЕНА

К вечеру, одевшись попроще, Вокша неторопливо спускался тропой к горе Киселевке. Находил особое удовольствие бродить вот так, одиноко. Позади, не мешая думать, не попадаясь на глаза, верной тенью следовал постельничий Свидин.

В детстве, как ни лечил Вокше ногу греческий врач — и кровь пускал, и держал ногу в воде от вареной бараньей головы, и давал пить настои на чешуе безглазой рыбы подземного озера, на камне, извлеченном из индийского удава, — ничто не помогло: хромота осталась. Потом подстерегла новая беда: в бою с печенегами упал с коня на больное колено. Но, противясь недугу, старался больше ходить.

...Солнце, как улыбкой, внезапно осенило Днепр, белую песчаную косу вдоль Почайны, сочные травы, лозовые заросли. Все вокруг осветилось мягким и словно бы немного утомленным светом.

Осень уже опалила красным и желтым огнем деревья. Только дикie яблони крепилась, бодро шумели мелколистьем, прятали свои плоды в лежалых, поседевших травах.

Вокша проходил мимо обмытых ливнями корней деревьев. Под ногами шелестели первые опавшие листья. Грусть невольно подкрадывалась к сердцу.

«Скоро и с дуба лист опадет... И дуб стареет...» — вздохнул он.

Когда было сорок, шестьдесят казались старостью. А ныне — шестьдесят. Ровесник князю. Ровесник и единомыслец. Сросся с ним.

Кровью отмечены годы борьбы со Святополком, убийцей трех братьев князя, убийцей, не погнушавшимся с помощью польского короля Болеслава и печенегов овладеть Киевом... Но разгромили Окаянного на берегах Альты...

Как сейчас помнит: предрассветный Днепр... переправа... Ладьи, оттолкнутые от берега, чтобы не отступать. И красавец Киев, возникший в тумане, совсем не такой, каким сохранила его детская память...

...Пахло прелым листом, набухшей корой... Днем не однажды проходил полосой дождь, и теперь, когда резкие порывы ветра сбрасывали с деревьев капли воды, казалось, дождь снова шуршит листвою.

Из-за поворота горы показался изгиб Днепра. Борисфеном, «текущим от севера», называли его греки. Вот прожил в Новгороде почти десять лет, а не полюбил Волхов так, как Днепр... Может быть, потому, что помнил о замкнутых и перерезанных в Ракоме новгородцах? Так нет, совесть не мучила его: ведь и в этом помогал князю. Непокорную чадь надо всегда гнуть к земле. Только вороны летают прямо, правителям же дозволены петлявые пути. И ныне князь заточил в темницу своего соперника — брата Судислава, чтобы остаться самовластцем на Руси. В этом восхождении Ярослава и его, Вокшина, доля... Нет, не только единомыслец он князя — часть его.

Память невольно обратилась к сегодняшнему мятежу. Надобно около себя всегда держать дружинников.

И давно пора иметь свод законов — узду для тех, кто не признает власти, кто готов покуситься на чужое добро. Неспроста с близкими боярами составлял князь такой свод...

Вокша остановился. Откуда-то сверху доносился нежный девичий голосок необычайной красоты и певучести:

Заря ль моя зоренька,
Ты сестрица солнцеза...

Осторожно и ласково, словно золотистая нить, сплетенная трепетными пальцами, вилась песня о ясной заре, о тихой воде. И столько было в ней безыскусности, чистоты, что невольно пробудила она у Вокши воспоминание о его молодой матери, певшей ему в детстве эту же песню. Никогда не знает человек, что способна сохранить память сердца. Так порой отчий дом, забытая песня, случайно оброненное слово вдруг всколыхнут, казалось бы, утерянное навсегда.

Вокша поднял голову. Девичий голосок доносился с горы, из небольшой избы, окруженной частоколом, снизу похожим на ожерелье. Три тополя прижались к избе; соломенную двускатную крышу ее расцвечивали зеленые комья мха.

Боярин быстро взошел на гору, миновал частокол и очутился в небольшом дворе. Поднявшись по ступенькам, он толкнул дверь, звякнувшую крючком. В сенях пахло укропом, степными травами — тмином и медуницей. Чистый девичий голосок раздавался совсем рядом.

Вокша перешагнул порог. Через узкое продолговатое оконце, затянутое пузырем, в клеть проникал тусклый свет. На лавке возле окна сидела худенькая девушка, склонив ровный про-

бор невьющихся волос, вязала шерстяной чулок — «копытце».

Мать девушки, узкоплечая, с таким же, как у дочери, удлинненным лицом, готовила вечерять: поставила на стол кринку с молоком, положила ложки возле миски с киселем из овсяных отрубей.

В избе было опрятно и по-домашнему уютно. В углу висели сухие груши. Квасилось тесто в деже, скворчал в печи лук. Рыжий пушистый котенок, выгнув спину горбом, терся о ножку стола. Из-под кровли выглядывал черныбыль, заткнутый туда «на счастье».

Девушка застенчиво умолкла, подняла на Вокшу глаза. В них не было ни страха, ни удивления, только спокойная внимательность.

Мать оторопело поглядела на незваного гостя.

— Бог в помощь, — сказал он и, сняв шапку, перекрестился.

— Садись вечерять, — справившись с первым испугом, пригласила мать. Разглядев одежду пришельца, добавила виновато: — Чем богаты...

— Спаси бог, я передохну.

Вокша присел на лавку неподалеку от певуни, пытливо поглядел на нее. Платье из холстины с сердоликовыми пуговками; на тонкой шее ожерелье из синих стеклянных бус; удивительно плавные движения рук...

— Звать-то тебя, милая, как? — обратился он к ней ласково.

— Олена, — певчим голосом ответила она.

Вокша стал расспрашивать мать, как живут, чем занимаются, подымаясь, пошутил:

— Голосок Олены меня приманил...

Девушка зарделась, доверчиво улыбнулась в ответ. Снова звякнул дверной крючок. В избу вошел отец Олены — Демид, не старый, но совсем седой. Видно, был когда-то красив, да нужда, невзгоды сделали лицо костистым, желтоватым. Бросив на лавку несколько трубчатых медных замков, произнес устало:

— Ни одного, трясовица скрути, не купили!

Поглядел на гостя и, обомлев, поклонился до пола:

— Боярин!

— Да вот зашел отдохнуть, — нахмурился Вокша, недовольный тем, что узнал, — бывайте здоровы.

Когда дверь за ним захлопнулась, мать ужаснулась:

— А я-то, дура старая, отруби совала!

Демид, раздеваясь, хмуро возразил:

— А чо ж делать, коли другого нет!

И зло добавил:

— Хромой Волк спроста не зайдет! Сегодня добрую тризну у собора справил... Снова рыщет...

Мать испуганно поглядела на Олену, подойдя к ней, с тревогой прижала ее голову к груди:

— Что-то, доня, на сердце у меня беспокойно...

Олена заластилась, потерялась щекой о руку матери, успокоила:

— Нет, мамо, он добрый... Был бы злой, разве с нами так просто разговаривал? А что, батя, у собора свершилось?

Вокша, спускаясь с горы, думал: «Вот и еще одна песнопевца».

Давно вынашивал мысль держать при дворе хоровод, показывать на удивление заморским гостям своих плясунов, музыкантов.

В созданной им и князем певческой школе уже пели по записям-крюкам¹. Построили для смехословцев подмости в дальней гридне двора, скрыли их до времени завесой из дорогой материи.

Кос-кто нос воротил — все жить бы хотел по старинке.

Чернели в стороне Гончары и Кожемяки² — казалось, кто-то огромным пожом искромсал вдоль ручья Киянки желто-бурую землю оврагов в лиловых кустах чертополоха. Темнела впереди гора. Над синей тучей проступил тонкий серпик месяца, тонкий и робкий, как Олена.

«Возьму в хоровод», — решил Вокша и ускорил шаг.

В тот вечер Олена была задумчивее обычного. Когда прибежал к ней Григорий, с которым дружила, и начал рассказывать о появлении в училищной избе Вокши, об избииении люда на Софийской площади, Олена неожиданно заступилась за Вокшу:

— Может, не хотел он, чтоб так получилось, а сам — справедливый.

Григорий зло усмехнулся:

— Где ж то видано, чтобы волк справедливым был?

Впервые расстались они, недовольные друг другом.

ЮНОСТЬ

Самым любимым местом Олены была Девичья гора, утесом нависшая над Днепром. Сюда приходила она посумерничать, помечтать, здесь, возле пугливых осин, долгие часы перешептывалась с Григорием.

Сказание о Девичьей горе Олена слышала как-то перед сном

от бабушки. Та знала бессчетное множество поверий и так интересно умела рассказывать их, что Олена огорчалась всякий раз, когда бабушка заканчивала:

— Вот те и сказка вся, а мне кринка молока...

О Девичьей горе бабушка поведала так: жил в стародавние времена на Щековице брат Кия — Щек с сестрой Лыбедью, тоненькой, молчаливой, бледнолицой девушкой. И решил тот Щек насильно отдать Лыбедь замуж за старого богатого человека. А она, всегда такая тихая и покорная, не подчинилась на этот раз злой братовой воле, убежала от него, поселилась затворницей на горе. Все плакала, плакала... И от слез этих пошла река Лыбедь... Все печально вздыхала, и в полночь по сей день можно услышать на горе вздохи. И как бы ни было в Киеве безветренно — так что и листок на дереве не шелохнется, — а на Девичьей горе печально шелестит бессонная трава, будто тоже вздыхает и жалуется на неудачливую судьбу.

Олену растрогал этот рассказ, она поверила каждому слову его — полюбила Девичью гору...

Сейчас она сидела с Григорием на земле возле осин, глядела не отрываясь на солнечный закат. Может быть, от него янтарем отливали ее серые глаза, в самой глубине их дрожали сполохи.

Ватажились пролетные птицы. Ветерок рябил Днепр. Алели стволы сосен, дальние глубокие озера... За Оболонью желтовато-багряное небо прорезал синий полог тучи. Он делался все шире, опускался на землю, и в темнеющем небе сгущалась зубчатая стена бора, и тучи казались продолжением этого бора.

Григорий бездумно глядел вдаль. На нем полотняная, подпоясанная узким кожаным пояском косоворотка с деревянными пуговицами, на ногах — лыковые лапти.

— В дворцовый хоровод меня берут, — тихо, задумчиво сказала Олена.

Григорий с тревогой повернулся к ней.

— Не ведаю — к добру ли? Матушке боязно, а батя говорит: «Ничего с ней не станется — мы рядом. А польза семье от того великая. Не век же горе мыкать».

Сказала так, что не понять, согласна ли с отцом или сама страшится. Прикоснулась тонкими, чуткими пальцами к косе, оплетенной лентой.

— Завтра в горнице поселюсь... Попрошусь, чтобы с Ксаной...

Подружка Ксана тоже была в хороводе.

На ближнем пригорке одинокими монахами темнели тополя. От них, словно вприпрыжку, сбегала вереница молоденьких ярко-желтых кленов.

— Да и я рядом! — не глядя на Олену, баском сказал Григорий и с ожесточением вырвал из земли клочок травы.

¹ В те времена так назывались ноты.

² Селения ремесленников.

Олена ласково улыбку — так взрослый улыбается ребенку:

— И то я помню.

Синевато-серый простор Днепра все силился слиться с почти таким же небом и не мог: то мешали еще темные стены лесов, то оранжевая полоса. Она стала желтоватой, потом серой и долго держалась на небе.

Словно сбрасывая с себя тяжесть, Олена качнула головой, провела маленькой ладонью по лицу Григория, снизу вверх, задев нос, крикнула звонко:

— Ну-ка, лови, защитник!

И стремительно побежала впиз.

Григорий уже знал эту быструю смену настроений у Олены и, обрадовавшись, что тревожная задумчивость ее исчезла, ринулся вслед напрямик через кусты, оцарапывая лицо ветками деревьев.

Олена бежала легко, бесшумно, почти не касаясь ногами земли.

Он нагнал ее у самой подошвы горы, притянул к себе. Олена отстранилась, сказала с укором:

— Ну почто ты, Гриша, обижать меня вздумал?

Григорий, как всегда, смирился. Чтобы скрыть неловкость и даже возникшую невольно обиду, стал оживленно рассказывать, как по сей день мать оплакивает его, что пошел в учение, по утрам причитает над ним, как над покойником. А потом, уже и вовсе придя в себя от смущения, спросил, хитро поглядывая на Олену смеющимися глазами:

— Отгадай, что такое: в воде растет, а воды боится? — И довольный, что она не может ответить, воскликнул торжествующе: — Соль!

Олена же, видя, что обида прошла, спросила шаловливо:

— А вам в училищной избе не рек Петух ученый, отколы мухи взялись на свете?

Григорий с важным видом поддержал и эту игру:

— А как же, рек! Черт волку погу строгал, и от стружек поделались оводы, мухи да комары...

Они шли улицей Подола. Веяло от Днепра осенней прохладой. Казалось, чья-то рука сдвинула на небе заслонку, укрыла ненадолго месяц, и стало темно. Олена зашептала таинственно:

— А ведаешь, Гриша, если ночью подкрасться к гнезду дятла, ухо приторкнуть, так он стонет, стонет? Устал за день...

Григорий захохотал, представив эти тяжкие стоны работяги-дятла. Ну какая хорошая Олена! Не сердится на него, Григория, и между ними опять мир да согласие, и они будут дружить еще крепче прежнего.

В апрельскую Марью, когда над Днепром нависли тучи, набухшие весенним дождем, и оголенные деревья покорно зябли в половодье, учеников отпустили на неделю по избам.

К исходу недели Григорий, возвратясь как-то с улицы домой, застал отца сидящим возле окна: он заканчивал чеканку серебряной чаши — потиры для Десятиной церкви.

Отца Григорий любил немного жалостливой и скрытной любовью. Был Фрол в трезвости тих, неразговорчив, покорен жене, со всем словно бы смилившийся, положивший на себя и свою судьбу крест. В редкие же часы охмеления становился говорливым, задиристым, с вызовом глядел на высокую, сильную жену свою Ефросинью — посмеет ли в чем перечить ему?

Сейчас, склонив над чашей серебристую с черной бороду, отец наносил последние метины. Он был весь поглощен этим занятием, и его лицо, разогретое внутренним волнением, было особенно привлекательным.

Чашу украсил отец щитками с изображением Иоанна Предтечи, Иоанна Златоуста, лики их сделал округлыми, волосы кудрявыми. Один из Иоаннов походил на дружка Григория — Федьку Хилкова, что частенько захаживал к ним и жил здесь же, неподалеку, на Подоле. Даже нос у Иоанна, как у Хилкова, был крючковатым.

«Да ведь это вточь Федька», — чуть не вырвалось у Григория, но он вовремя смолчал, не то обидел бы отца подобным сравнением.

Отец, любовно оглаживая свою работу темными, словно просмоленными пальцами, сказал:

— Надо бы, Гриша, поверх щитков надпись вырезать: «Пиите от нея вси». Сможешь?

У Григория радостно вспыхнули глаза:

— Спробую...

Не впервой отец доверял ему такие надписи, и, гордясь, ставил он их на дисках, лампадах в виде рыбы или турьего рога, на дарохранильницах с серебряными голубками...

В избе было тихо. Кряхтел на завалинке столетний дед Ждаш. По волчьей шкуре на глиняном полу ползал малый братишка Григория — Савка. Мать в ожидании гостей сильными руками перекатила в угол бочонок с пивом-аловиной. Потом, придвинув к Григорию миску с размоченными в воде и политыми конопляным маслом корками, спросила заботливо:

— Проголодался?

Григорий, предвкушая работу, порученную отцом, торопливо съел миску тюри.

Через час стали собираться гости.

Первыми протопали по глиняным ступеням братья-кузнецы Маркел и Богдан Верзиловы, силачи, одной рукой соединяющие концы подковы. Маркел еще с лестницы прогрохотал:

— Поклон соседям от батько Днепро!

За ними явился щуплый, длиннорукий камнетес Василий Мыльной. Дед Ждан слез с завалинки, уставившись на Маркела живыми, хитрыми глазами, сообщил доверительно:

— А у меня, Маркеша, возраст вновь младенческой — зубы выпадают!

Приоткрыл рот, еще полный зубов.

Григорий, сидя на отцовском месте, возле окна, прыснул, пригибаясь к потире. Хорошо, не сказал еще, что ему «сорок пять лет, если ночей и праздников не считать».

Вот дед Григорий любил открытой, веселой любовью. Был он на весь Подол самым большим знатоком трав и охотно показывал их внуку.

— Глянь, Гриня,— говорил он ему,— это трава железка... Растет по пригоркам, верхним концом к земле клонится, скот от падежа спасает... А это перуныя голова: на рану положишь — заживет в третий день...

Так часами мог... О луговой голубоватой одолене, настоем которой спасают от злой отравы, о багровой траве плакун, что растет на озере и детям сон приносит, о мохнатой варахне — стоит только принести ее в избу, поджечь, и все тараканы да сверчки тотчас выйдут вон послушно друг за дружкой.

А то начнет еще дед присказками сыпать: середину января называет днем Афанасия и Кирилла, что забирают за рыло; февраль — бокогреем; в конце марта, говорит, медведь встает, а в августе серпы греют...

Гости сели за стол, и тотчас появились припасенные на этот случай хрустящая квашеная капуста, огурцы, сочиво-бобы да горох, кислый хлеб на квасу и кусок сыра.

Толстогубый гривастый Маркел, смачно надкусив соленый огурец, поднял чашу с аловиной, стукнул ею о чашу Василия Мыльного:

— Чтоб посчастлило!

Рядом с Маркелом Мыльной выглядит болезненным ребенком с редкой, словно нарочно прилепленной бородкой. Мыльной поднял на Маркела глаза смертельно больного человека, спросил тихо:

— Отколе же то счастье нам, подъяремной голоте? Горбы постерли, клажу нося!

Всем стало тяжело от этих слов. Знали: недавно на стройке княжьего дворца бросили камнетесы вместе со смердами работу, кричащей толпой потекли ко двору боярина Вокши, чтобы не прятал обилье — жито да рыбу, не вызывал голод. Собрались с

дубьем, с рогатинами, поджигали на шестах куклы в боярских платьях. Да только кметы разметали голодных, перебили без числа люда. И Василий Мыльной едва дополз до своей землянки. Потом дед Ждан к нему ходил, говорил: «Нутро, вражины, отбили», носил с болот волосатую траву — парамон,— пока не поднял Василия на ноги.

Маркел обнял левой рукой Василия, настойчиво подталкивал его чашу своей:

— А ты пей, камнетес! Будет еще и наш черед — дадим поленом по боярскому колену!

Но Василий отстранял чашу:

— Не гневись, сосед, душа не примаает...

Дед Ждан обтер ладонью усы, крикнул негромко:

— В людях сказывают, князь и бояре закон составляют, «Правду».

— А чего нам ждать от той княжьей правды? — обратил к Маркелу свое маленькое, детское лицо Василий. — Вот разжуем ее — пойдем, чем разит.

— В людях сказывают,— продолжал дед,— в той «Правде» каждое лыко в строку поставлено. Даж бобров не запомнили — какое тебе наказание, ежели, к примеру, ловить станешь.

— Да вы пейте, пейте,— подливал аловину Фрол,— за правду для людей, а не для брюханов-объедал! Сребро да золото в руках держу, а гривны за душой нет! Гриш, а Гриш,— повернулся он к сыну, который, внимательно слушая разговор, продолжал процарапывать буквы на потире,— пойдешь, сынок, сюда, выпей с нами.

Тут не выдержала, взбунтовалась мать:

— Да ты что, с ума сбред? Постыдишь людей, дитеску приучать! Не позволю, как хочешь — не позволю!

Фрол поднялся из-за стола, маленький, бледный, взъерошенный, уставился на непокорную:

— Ты — перечить?

И к гостям, словно ища сочувствия, извиняясь:

— Разве ж бабий рот заткнешь пирогом?

Повернулся к жене, задираясь, произнес:

— Слышь, что говорю?

Не любил Григорий отца таким. Отложив потиру, поднялся, сказал почтительно, но твердо:

— Не стану я, батя, пить. Пойду лучше к Хилковым. — Миновав стол, скрылся в дверях.

Тек сладкий сок с берез, посвистывал после зимней спячки степной байбак, играли овражки...

С реки, предвещая обильный улов, дул свежий ветер; пели овсянки, голубели цветы ряста. И дети посреди улицы «ловили» прутиками рыбу в лужах, пахнувших Днепром, бросали горсти земли ласточкам, чтобы они поскорей строили себе гнезда.

С порога землянки Григорию виден Днепр: два каурых жеребенка застыли на отлогом, песчаном берегу, словно загляделись на себя.

В овраге резвятся зеленовато-голубые щурки: стремительно вырываются из гнезд и, сделав круг над водой, юркают в свои норы.

Голубятники, запустив в поднебесье проворных птиц, свистят им вслед, машут ветошью на длинных шестах.

До чего ж любо! Хотелось набрать полную грудь воздуха и крикнуть: «Олена! Оленушка!» Крикнуть так, чтобы эхо ответило с Перевесища.

Юность доверчиво распахивает душу, выпускает в нее человека. И Григорий сразу и безоглядно полюбил Олену, был счастлив даже редкими встречами, но не мог понять, как относится к нему Олена. Будто и рада встречам, а держится поодаль, мягко, не обидно отстраняет его порывистость. Эх, дать бы ей съесть воробыное сердце — сразу б полюбила!

Уже несколько раз рождался и старел месяц, а Григорий все не мог разобраться — дорог ли ей, мил ли, нужен ли?

Вот теперь живет при дворце и стала вовсе какой-то замкнутой, и еще реже, еще короче встречи. Хотя нет, все та же: и серые спокойные глаза смотрят доверчиво, и певучий голосок ровен и ласков.

Григорий чуть ли не нос к носу столкнулся с Харькой Чудным. На Харьке дорогой кафтан, красные суконные штаны, зеленые сапоги, черная шапка с шелковой нашивкой.

После прихода в училищную избу Вокши и позже, после драки во дворе, люто возненавидел Харьку Григория, все поровил ему напакостить: то портил букварник, то под самым носом разворачивал яства в тряпице, то наговаривал Петуху без причины. Да разве без причины! Когда упал Харьку в драке на землю, Григорий небрежно бросил столпившимся унотам: «Оттяните, чтоб не разил!»

Разве такое забудешь?!

Сейчас, повстречавшись с Григорием на узкой тропе, Харьку метнулся было в сторону, да устыдился — пошел грудью вперед.

Они с секунду постояли друг против друга, как петухи, гото-

вые задраться. Харьку был крупнее Григория, но ему уже не однажды доставалось от кулаков Черного, и он хорошо помнил их твердость.

— Артюшка! — вдруг благим матом заорал Харьку, делая вид, что за горою ждет его друг — силач Артюшка Чертенков, поднимающий на пристани по два мешка зараз.

— Ну чё кадык распустил, заткнись! — не поверил Григорий и двинулся на Харьку.

В это время из-за горы показался Федька Хилков со своими дружками — Иваншкой Кособрюхом и Сенькой Нагим.

Теперь, в их присутствии, Григорию неинтересно было бить Харьку: тот мог подумать, что силы ему придала подмога.

Григорий легонько смазал Харьку кулаком по загривку, разрешил:

— Теки своим путем!

Федька Хилков добродушно хлопнул Григория ладонью по спине, смешливо повел ястребиным носом:

— Гуляем?

— Гулять не устать, кормил бы кто! — в лад ему залихватски ответил Григорий и тоже огрел друга ребром ладони промеж лопаток.

На Федьке баранья нагольная шубенка, прямые телятные сапоги, шапка набекрень пересекает узкий лоб в рябинках. В рябинках и щеки, и нос, и даже подбородок, но это вовсе не уродует лицо, а придает ему еще больше озорства.

— Айда на Торг! — предлагает Федька, и все охотно с ним соглашаются:

— Айда!

...Была пятница — торговый день, и на Подольем торгу возле пристани — Притыки — стоял дым коромыслом.

Пробирался через ряды, придерживая на плече звериную шкуру, обитатель припятьских болот¹; варяг в броне грузно припечатывал шаг; длинноногий дан с любопытством глядел на волчью шубу киевлянина; грек в шелковом, не по нынешней погоде, хитоне расхваливал сухое вино — сушеный виноград.

Неподалеку от железного ряда с выставленными сверлами, папильниками, пожницами стройный принаряженный венецианец предлагал цветной бархат, а чуть подальше медлительный араб с сонливым взглядом огромных агатовых глаз безразлично жевал моченое яблоко, будто его заставлял кто делать это, а сам он по доброй воле ни за что к яблоку не притронулся бы.

В лавках грузные, расплывшиеся менялы предлагали саманидские дирхемы, хаммудидские динары, саффарида Персии².

¹ Дрегович.

² Названия монет.

К деревянным клетям Притыки жались ладьи с Истры¹ и Влтавы, с Хвалынского² и Сурожского³ морей. Вдоль глубокой Почайны, мимо песчаной косы, отделяющей ее от Днепра, плыли плоты с розовым шифером Вручия, солью Галицких копей, бобрами, чернобурками, со слезами Гелиад — желтым янтарем Варяжского моря.

На Торговой площади — только бы гривны — можно купить все: от люльки до гроба. Прийти в ветоши и за час одеться, обуться, сесть на коня, да еще и люд с собой нанять.

Люд этот, в рванье, толпился возле столов с пшенной кашей, дымящимся борщом. Одетые же в бархат льнули к стойкам с диковинным сорочинским пшеном⁴, с пергаментом, толкались в конном ряду, оглаживая гнедых, саврасых, соловых коней.

Вдоль обжорного ряда брел, мрачно поглядывая на всех, гончар Темка Корыто. После того как сын боярский Антошка, напоив его до беспамятства, состригал лживую кабалу и сам же за него, гончара, подписался, Темка, топором расколов икону, запил горькую.

Посреди Торга взобрался на помост кривой стражник, прокричал, широко разевая щербатый рот:

— Зákличь о беглом холопе!

Торг притих, казалось, даже куры стали кудахтать тише, поросята верещать не так пронзительно. Стражник читал медленно — слово слову костыль подавало:

— «В нынешнем месяце, девятого дня, на первом часу, ушел по просухе со двора боярина Вокши холоп Мосейка. Ростом утеклец невелик, коренаст, глаза темны, борода невелика, долговата, лицом бледен... Платье на ем: шуба и шапка овчинные, кафтанишко сермяжное, на ногах лапти. Подпоясан веревкой. А кто сыщет того холопа и доставит боярину Вокше — тому жалованье гривна...»

Федька Хилков, толкнув плечом Григория, сказал убежденно:

— Если Мосейка неглупой, не словят его, какое жалованье ни обещай! Предавать кто ж станет! — Помолчал и добавил: — Да я б первый, коль в том нужда прищлась, спрятал Мосейку! — А княжий указ? — остро посмотрел Григорий.

Хилков смолчал.

Они миновали генуэзский торговый двор и оказались среди охотников. Высокий немолодой охотник, стоя над убитым клыкастым вепрем, зазывал покупателей, подталкивая вепря сапогом:

¹ Река Дунай.

² Каспийское море.

³ Азовское море.

⁴ Рис.

— А кому порося, кияне? Кому?

Хилков нагнулся, притронувшись к клыкам, дурачась, отдернул руку:

— Почтище волчьих!

Неподалеку за гончарным рядом забил бубен, заиграли колокольцы. Григорий оглянулся и расплылся в улыбке. Шли рядом коза, одетая в бабье платье, и огромный бурый медведь на задних лапах, в шанке и ноговицах.

Впереди козы и медведя выступал черномазый разбитной мужичишка, сыпал прибаутками:

Курочка бычка родила,
Поросенок яичко снес,
Безрукий клеть обворовал!
А моя Степанида с Потапычем
Скоморохов за пояс заткнул...

И началась потеха. Медведь ездил верхом на палке, показывал, как вьется хмель, как чада горох крадут на огороде: то на брюхе ползут, то на коленях. Сделал вид — вроде бы в лапу ему заноза попала: то дул на нее, то сосал, то жалостно под мышку совал, а вытащив оттуда, вертел лапу перед маленькими, смышлявыми глазами — ну, суще людина!

Потом пил медовый настой и чашу совал козе в зубы, кланялся ей благодарно. А стояло только черномазому, бросив шапку оземь, вскричать: «И-и-ех, бей трепака, не жалея каблука!» — как Потапыч заправским мужиком пошел отплясывать трепака.

Федьку Хилкова от смеха скручивало в три погибели, только что не катался по земле. Когда же черномазый еще предложил: «А покажи-ка ты, Потапыч, киянам, кто холопов верный защитник!» — и Потапыч вдруг захромал, точь-в-точь как Вокша, Федька захлебнулся, завыл от удовольствия, сорвал с себя новый ремень и подарил черномазому.

ВЕСЕННИЙ ИГРОВОД

Девичий хоровод, сев лавой на срубы, запел на поляне веснянки.

Еще издали различил Григорий среди многих голосов нежный, чистый, певучий Оленин, и сердце заныло тревожно и радостно.

Только появились парубки, как начались игры. Олену стали одевать «Лялей», украсили ее грудь, руки, голову венками из весенних цветов, усадили на поваленную, обглоданную зайцами

осину, рядом поставили кувшин с молоком, у ног положили венки. И пошли в танце вокруг «Ляли», запели песни игровода:

Проезжает весна на сошочке,
на боропочке,
на бороздочке,
на овсяном колосочке,
на пшеничном пирожочке...

Олена сидела притихшая, склонив к плечу голову в венке, задумчиво вторила, и столько было в ее облике тихой радости, что счастливый Григорий мчался по кругу, запрокинув светло-русую голову, и широкий нос его, большой рот, карие глаза под широкими бровями — все улыбалось Олене, тянулось к ней. А она встала и в кругу поплыла Лыбедью по зеленой поляне, чуть заметно всплескивая тонкими руками-крыльями. И уже тише пошел хоровод, заворуженно глядел на нее, боясь спугнуть.

Потом все попарно, взявшись за руки, стали в затылок друг другу и не пропускали через «ворота» Федьку Хилкова. Он, ухмыляясь во весь рот, стреляя из-под соломённых бровей озорными глазами, просился:

— Отвори ворота, богом прошу — отвори.

Но быстроглазая, круглолицая подружка Олены — Ксана, стоявшая в первой паре, опустила руку еще ниже:

— А что дашь?

— Сребро да злато, — щедро пообещал Федька и полез для пушей важности к себе за пазуху, начал там шарить, хитро щуя глаз.

— Нам они ни к чему! — отвергла Ксана предложение.

— А что надо?

— Мезинное дитеско... — выпалила Ксана.

— Дак я и есть мезинное дитеско, — обрадовался Федька, подогнул колени и вошел в «ворота».

Смех, визг раздавались на поляне:

— Напоить дитеску молоком!

— Только бы крину зубами не сгрыз!

«Ляля» поднесла Федьке кувшин с молоком. Он несколькими глотками опорожнил его, обтер рукавом тонкогубый рот, сказал со значением:

— Добре, да... один недочет!

— Какой? — встревоженно подняла светлые глаза «Ляля».

— Мало! — сокрушенно признался Федька.

Шум поднялся еще больший:

— Вот то дитеско!

— Такого, пойдя, прокорми!

Но «Ляля» стала уже раздавать венки тем, кто лучше пел и плясал. Получил венок и Григорий; насунув его через руку на

плечо, ходил, словно его сам князь отметил наградной гривной.

А игровод продолжался. Низкорослый Федька представлял в кругу воробушка.

Его просили:

— Ты скажи, воробушек, как девицы ходят?

Федька стрелял по сторонам глазами:

— Сюда глядь, туда глядь — где молодцы сидят?!

В кругу не унимались:

— Воробушек, посватай у нас дивчину.

— На врага! — решительно отказывался щербатый Федька и даже немного отворачивался.

— У нашей дивчины карие очи! — улещивали его.

— Как морковка! — не сдавался Федька, но уже поглядывал из-под соломённых бровей: где ж та дивчина?

Вскоре Олена ушла с игровода, и Григорию сразу все здесь стало неинтересно. Он медленно поплелся от поляны вверх, в гору.

Где-то призывно кричал угод, верещала пронзительно вертишейка. Нежно пахло молодыми березками. Меж зарослей жимолости розовел куст волчьего лыка.

Григорий, мрачный, продолжал свой путь. Почему Олена избегает его? Иль чужой стала, надышалась воздухом нечестивых боярских хором? За полгода, что взяли ее туда, в хоровод, всего несколько раз была с Григорием. И он не мог наглядеться, наговориться досыта, потому что в каждом слове открывал ее новую.

В детстве мечтал Григорий о счастье: возле Днепра, у семи дубов со срубленными верхами, найдет он обрушенную колоду с тайной приметой — вырезанной на ней ладьей. Под этой колодой будет лежать плита, а под плитой крест и котел пивной с камнями драгоценными.

Да только ни колоды, ни семи дубов нигде не встречал. А ныне понял: счастье в том, что нашел Олену, дороже она ему всех драгоценных камней на свете.

Очнулся он на Девичьей горе, возле осин.

Шел к исходу погожий солнечный день, от оврагов тянул холодок.

По-весеннему голубел Днепр, а за ним сиротливо светлели меж синей зубчатой ограды бора озерца, блестели протоки, словно серебряные пояски, кем-то второпях оброненные в зарослях.

На Михайловской горе в лесной чаще робко пробовал голос соловей, а вблизи проворная пеструшка предлагала настойчиво «крути три-три» и вторили ей пеночки-веснянки.

Застыли в зеленой дымке сады возле диких пустошей и дебрей, радовали глаз зеленые выгоны Оболони.

Что-то зашуршало за спиной у Григория. Он обернулся и замер. Раздвинув кусты, стояла в синем платье Олена, глядела лучистыми спокойными глазами, улыбалась приветливо.

— Олена?!

— Аль не узнал?

— Ты что же с игровода ушла?

— А ты?

— Да я...

Защемив коленками платье, она села на траву, оперлась худенькой спиной об осину, глядя на весенний Днепр, на зеленую дымку садов, вздохнула счастливо:

— Чудно все как сотворено!

И он, как эхо, ответил:

— Чудно.

— Я Девичью гору боле всего люблю,— тихо сказала Олена.

— Наше то место,— бесхитростно посмотрел Григорий..

Олена только кивнула головой, соглашаясь, что да, их, потому особенно желанно.

— И меня все сюда тянет и тянет,— признался он, словно бы даже удивляясь,— в радости, в печали ноги сами несут...

Раздались чьи-то тяжелые шаги.

Поддерживая руками огромный живот, подымался в гору постельничий Вокши. При виде Олены и Григория маленькие глазки на красном рыхлом лице Свидина сверкнули ехидно. Не жаловал он эту плясовицу. Тоже вздумали — девок на подмостки выпускать. Срамота! Попала б она к нему — живо унял бы. Семь потов согнал вместо плясов. И Гришка этот, с непокорными глазами смутьяна, тоже не правился. Напрасно такого взяли в училищную избу...

ТРОСТИНКА ПЕВУЧАЯ

Всех скоморохов — певцов, плясунов, глумословцев, гудецов, смехотворцев — приказал Вокша поместить в холопях избях, в дальнем углу двора.

Девичий хоровод жил в отдельной избе, в свободные часы вышивал рушники, плетенья на рубахи. Олена с подружкой Ксаной оказались в узкой светелке левого крыла дворца.

Когда Олену никто не видел, любила она танцами представлять то русалку, то пугливую лесную белку, то важную боярыню. Сама мастерила себе платья из кусков холстины, расшивала их как умела, украшала цветами, листьями и потом часами играла.

Здесь, среди чужих людей, ей особенно не хватало материнской заботливости, ласки, и она с неведомой ранее нежностью припоминала, как мать, укачивая, пела ей в детстве:

Гуркота, гуркоточка,
Оленына дремоточка,
Прилетели гулюшки,
Садилась на люлюшку...

От таких воспоминаний светло и спокойно становилось на сердце.

Сегодня у Олены особый день — ей исполнилось 18 лет. С утра была дома и не могла наговориться, наласкаться к матери, кормила рыжего, изрядно подросшего котенка, обмакивая мизинец в кринку с молоком и лягушатами-холодушками.

Мать, проводя рукой по гладким светлым волосам дочери, думала: «Недаром я, когда купала ее в детстве, примешивала в воду траву-любицу, чтобы все любили». Из дома понесла Олена Ксане пирог и свои новые ленты — подарок отца.

В нижней гридне повстречался Свидин. Спросил с ехидцей:

— Где наша бесценная плясовица гуляла? С кем часы корота-тала?

Олена начала было рассказывать, что у матушки справляла день рождения, вот и подарки, но такая нехорошая улыбка зазмеилась на губах Свидина, что осеклась, вспыхнула до слез, проскользнула мимо. Слышала, как крикнул, издеваясь, вслед:

— Может, и от меня подарочек примешь? Одарю княжески,— и захихикал пакостно.

Олена вскочила в свою светелку, бросилась на постель, уткнувшись в подушку, разрыдалась: от обиды, что здесь каждый может безнаказанно оскорбить ее и должна терпеть, что заточили в хоромы, лишили воли...

Прибежала Ксана, затормошила, тревожно спрашивая:

— Ну, чего ты? Чего? День-то какой! Что стряслось? Подруга я тебе аль нет?

Так и не добившись ничего, решила скитрить — знала, чем можно отвлечь Олену. Она подняла ее с постели, обняла, попросила вкрадчиво:

— Оленушка, сестричка, покажи ты мне представленья! А? Ради дня такого — покажи!

У Олены сразу просохли глаза: «Нет, не станет она им на радость плакать. Не дождутся! Аль не свободный она человек, не богата неведомым им богатством, что наполняет ее счастьем?»

Усадив подругу на лавку, возле окна, сунув ей пирог, улыбнулась:

— Ладно. Не буду. Гляди, как жених и невеста после долгой разлуки встречаются.

Сама и придумала все, когда Ксаны не было: пением, танцем передавать тревогу ожидания, тяжесть разлуки, радость встречи.

И она тихонько, тоскливо запела, спрашивая кого-то, кто возвратился из далеких странствий:

А не видели вы моего милого?
Жив ли, здоров ли голубочек мой?

В белой расшитой одежде, с косами, спадающими ниже тонкого девичьего стана, поплыла горницей, движением гибких рук передавая и эту тоску, близкую к отчаянию, и чуть теплящуюся надежду на встречу... Танец тоже был ее песней, пели руки, шея, вся она — легкая, чистая, охваченная робкой мечтой. Все было полетом души любящей и верной, устремленной вдаль. Олена представлялась то зыбким облачком над Днепром, то тихим степным ветерком, то пугливой ланью, то одинокой трепетной тростинкой, поющей у весенней реки.

Словно сама прислушиваясь к этому пению, плыла она — вся откровение и светлая радость. И столько свежести, пробуждающей красы было в каждом ее движении, что невозможно было отвести от нее глаз, и Ксана, забыв о пироге, онемела от восторга.

Кто научил ее всему этому? Плавные волны Днепра? Васильковые косынки, разбросанные по степи? Бабочки, кружащие над горлицей?

Она сама была и этими волнами, и синим степным раздольем, и свежими струями утреннего воздуха у опушки леса.

В сених, с трудом взобравшись на верхнюю ступеньку, незаметно заглядывал в окно горницы Свидин. Причмокнул осуждающе:

— Ишь, расходилась...

Не одобрял эти плясы бесовские на потребу дьяволу — баловство одно. Коли женки скакать да петь на подмостках начнут, не жди добра. И Оленке этой место в хлеву или в поле...

Свидин сполз с лестницы, переваливаясь, пошел в хоромы. «Гоже ль выламываться этак? — думал он недовольно. — У меня бы скоро притихла, забыла о плясах...»

«ПРАВДА» ЯРОСЛАВА

Над сводом статей Вокша засиделся в своей опочивальне далеко за полночь. На черной с зелеными узорами скатерти хрустели пергаментные листы. Тихо потрескивало в светильнике масло, отсветы огонька играли на слюдяных окнах, серебряной оправе турьего рога. От кипарисового креста, прислоненного к стенному ковру, шел сухой, сладковатый запах.

По летописям, делам судов и церковным уставам составлен был этот свод статей. Позже думал князь написать пространную

«Правду» — дать законное мерило Ярослава Правосуда. Вчера размышлял вслух с Вокшей:

— Надобно, чтобы простая чадь покорялась нам и закону, охранять власть и добро осподарей от посягательств смердов... — С этими словами князь передал Вокше листы: — Погляди — лишний ум не помеха...

Низко склонившись над пергаментом — к старости обнищал глазами, — Вокша вчитывался в написанное:

— Аже кто запашет чужую межу, с того двенадцать гривен...¹

Подумал: «Не много ли?» И решил: «Не много — пусть чужую межу ценят».

— А кто осподарь огрешится — ударит своего холопа или робу, и случится смерть, — осподаря в том не судят, вины не емлют...

Вокша вспомнил рычащую толпу на площади возле Софийского собора. Таким дай послабление — истерзают.

Тихо вошел постельничий Свидин, поправив соболье одеяло на боярском ложе, пробурчал недовольно:

— Опочивать бы давно пора!

Был Свидин при Вокше псом верным уже лет сорок, и потому мирился боярин и с его ворчней, и с разговорами, которые не потерпел бы от других.

Вокша стал сворачивать пергамент, а Свидин, приблизясь к столу, потрогал свой багровый с просинью нос, стиснутый одутловатыми щеками, сказал возмущенно:

— Распоясалась голь. На Бабином Торжке зычливый скомо-рох показывает медведя — обучил его сподобляться хромому.

Свидин вобрал в плечи свою небольшую голову с волосами, похожими на свалянный бурый войлок, сквозь который розово просвечивало темя, ждал, что скажет боярин.

— По-бабы речешь, — сердито поглядел на него Вокша, — не один я хром. Ум не хромал бы!

И уже мягче:

— Скажешь тому скомороху ко двору прийти. Может, и ему в потехе место.

Свидин недовольно посопел, перевел разговор на главное:

— Плясовица-то наша Оленка на Девичьей горе с Гришкой Черным милуется. Тоже смиренница!

Вокша испытующе поглядел на постельничего:

— А тебе что с того? Аль зарышься на нее, пес плешиный?

Свидин притворно захихикал:

— Хороша юница. Слышал: вышивальщица отменная, а все скачет... Отдал бы на мой двор... в услуженье...

¹ Гривна — 204 грамма серебра. Корова стоила две гривны.

Вокша так расхохотался, что чуть не затушил светильник:
— Отдать голубку гиене?

Свидин обидчиво умолк, поглядел исподлобья: «Может, иное тебя проймет?»

Заметил смиренно, со вздохом:

— Да и захотел бы ты того — ослушается девка. Вольная ж.

По лицу боярина пробежала грозная тень: не бывало такого, чтобы голь ослушивалась его. Свидин принал мокрыми губами к жилистой руке Вокши:

— Сделай милость... Обещал ведь... Мне край вышивальщица надобна...

Вокша брезгливо отнял руку, но, вспомнив обещание на Софийской площади, сказал, как о деле решенном:

— Будет по-твоему... За верную службу. Сам знаешь — слова на ветер не кидаю. Обойдемся и без Оленки.

Свидин поглядел умильно. Подумал: «Гришку б еще втоптать». Невзлюбил за то, что лезет из грязи в ученье, что нет и следа в нем холоной преданности, что секретничает с Оленкой...

Неожиданно в голове Свидина мелькнула такая затея, что даже сердце сильней забилось от радости.

— А Гришка-то Черный — тать¹, — вдруг убежденно произнес он.

Вокша недоверчиво нахмурился — что еще? Свидин врал торопливо:

— Сказывали мне, пропало в училищном книгохранилище «Девгениево деяние», что ты переписывал для унотов. И не иначе, Гришка ту книгу выкрал.

«Почему непременно он? — промелькнуло в мыслях у Вокши, но, словно пинком, отшвырнул возникшее было сомнение. — Коли так — забью в колодки. Чуяло сердце — от голя радостей не дождешься».

Сказал Свидину холодно:

— Распознай все, как есть... — и понес прятать в шкаф пергаментные свитки.

Свидин долго в эту ночь не мог заснуть. Все прикидывал, как лучше повести дело. «Оленкиных ближников одарю — рады будут. — Улыбался в темноте злорадно. — Хватит, красавица, поплясала! И милого твоего скрутим...»

БОЯРСКИЕ ГРОЗЫ

Свидин взялся за дело проворно. На следующий же день был в книгохранилище. Когда выходил оттуда, что-то топорщилось у него на груди. К вечеру навел Елфима.

¹ Вор.

Тот недавно повечерял и, сидя на порожке, старательно выковыривал языком застрявшее в зубах мясо. При этом он так вытягивал шею, так запрокидывал голову, что казалось, вот-вот захлопает черными руками, закукарекает.

Зашли в избу. После третьей кружки стоялого меда Свидин дал понять, в чем дело: исчезла из книгохранилища любимая книга князя, переписанная Вокшей, князь в гневе, а след ведет в училищную избу.

Елфим ползая языком меж зубов, издал такой звук, словно прочищал горло:

— Кх... Кх... — Поглядел вопросительно на Свидина: «Что бы все это означало?»

— Татя открыть надо, — поглаживая живот, продолжал Свидин, — и мню, не иначе свершил сие Гришка Черный, чеканщика Фрола сын.

Елфим поперхнулся: «Лучший унот?»

Свидин с сожалением поглядел на недогадливого, намекнул, что Вокша даже доволен будет, если подозрения его подтвердятся.

— И тебе, коль докажешь Гришкину вину, три гривны перепадет, — закончил Свидин, пытливо уставился на Елфима.

Тот заерзал на лавке: «Но как?»

Свидин извлек из-за пазухи кусок пергамента, протянул:

— Вот... листок из рукописи, Гришкой украденной.

На следующий день после занятий Петух оставил в избе одного Харьку Чудина, невесть о чем беседовал с ним. А еще через день на уроке вдруг сказал, строго прикрывая веки:

— Уноты! Пропала в книгохранилище книга «Девгениево деяние», переписанная для вас собственной рукой боярина Вокши. Брат-книгохранилец в отчаянии власы рвет, знает — за пропажу эту наказание грозит безмерное. Не ведает ли кто, кем книга схищена?

Поднялся Харька — решительный, мрачный, сказал, глядя исподлобья на Григория:

— Черный ту книгу схитил, а за него книгохранильцу в ответе быть.

Григорий вскочил:

— Поклёп!

И Клёнка от неожиданности закричал:

— Наговор!

Тогда Чудин повернулся к Клёнке:

— А ты перелистай его букварник.

Клёнка словно к месту прилип, Петух же подскочил к Григорию, схватил его букварник. Оттуда выпал пергаментный лист с надписью: «Девгениево деяние».

...Последнее время все чаще беспокойно было на сердце у Олены. Казалось, над головой собираются мрачные тучи и становится все тяжелее дышать.

Она была одна в светелке, когда вошел Вокша. Побледнела, ожидая чего-то страшного. Сердце забило до боли.

Вокша поглядел ласково:

— Здравствуй, Оленушка!

— Здравствуй,— тихо ответила она.

Вокша присел на скамью, огладил бороду.

— Вот пришел...— добро улыбнулся он,— лучшего слугу своего хочу осластивить. Будешь у него при дворе жить вольной помощницей.

Олена похолодела, поняла — Свидин ее домогается, замыслил сделать послушной, запретить плясать, как грозился не однажды.

А Вокша отечески говорил:

— Жаль мне с тобой расставаться, да там будешь в счастье.— И сурово: — Чего же молчишь?

Нашла сил прошептать:

— Отпусти домой.

Боярин приподнял голову, посмотрел вопрошающе:

— С ближниками посоветоваться?

— Нет. Совсем...— пролепетала Олена.

Он гневно сверкнул глазами, встал:

— По-хорошему не хочешь — силой заставлю. Или мыслишь — силы не хватит? О встречах твоих тайных с Гришкой ведаю. А он подлый тать, и о том ты узнаешь вскоре!

Ушел, оставив ее в смятении.

Олена побежала на Девичью гору, словно там ища спасения. Бежала в слезах, казалось, если сейчас, немедленно, не добежит, сердце не выдержит, разорвется от обиды, отчаяния, безысходности, от тревоги за Григория, за себя.

Вот и осины любимые. Вспомнила: как-то стояла здесь, туман увлажнял щеки как слезами радости, платье прилипло к телу, а не стыдно было, не холодно.

— Пора, Гриня, домой,— сказала тогда.

Он поглядел укоризненно, произнес, словно жалуясь:

— Все ты торопишься уйти. Кто меньше любит, тот первым вспоминает, что пора...

И неожиданно спросил:

— Как тебя батя в детстве ласково звал?

Она доверчиво положила ему руку на грудь:

— Олёк...

— Можно, и я так?..

...Она мыслью возвратилась к тому, что ждало их сейчас: «Глупая! Верила в справедливость Волка!.. Нет, не сдастся

она... будет свободна и будет плясать... Сбережет свое сердце...»

И трава шелестела: «Не сдавайся... Лыбедь не сдалась... Пусть сердце твое станет горой недоступной. Не страшись боярских гроз».

«Нет, не сдамся...»

Григорий слонялся по избе, не находя себе места. За что ни брался — помочь ли отцу, поиграть ли с малым Савкой,— все было немило. Мать, с тревогой поглядывая на него, спросила жалостливо:

— Может, сынок, тюри дать?

Он мотнул отрицательно головой, выбежал из клетки на улицу.

«Что придумали, подлые! Хотят расправиться! Но зачем им понадобилось это? Ну, Харька — понятно. А обучитель?»

Стал взбираться без тропки, прямо по отвесному склону Девичьей горы. Не Олек ли то возле их осинки? Она!

Григорий кинулся к ней, прижал к груди, заглянул в измученные, заплаканные глаза:

— Кто обидел тебя? С чего плакала?

Олена, словно ища защиты, только крепче прижалась к нему — не хотела расстраивать Григория:

— По дому тоскую...

Тогда Григорий, волнуясь, сжимая кулаки, стал рассказывать, что произошло в училищной избе.

Чем дальше слушала Олена, тем больше бледнела, и теперь тревогой за Григория наполнялись глаза.

Григорий, тряхнув головой, произнес с презрением:

— Пыль небо не закоптит!

Олена не выдержала, разрыдавшись, рассказала обо всем.

«Значит, вот кто решил загубить меня,— ошеломленно думал Григорий,— вот кто...»

Темнели песчаные отмели Днепра. По серому осеннему небу плыли дождевые тучи. Тревожно и жалобно кигикали чайки-вдовы, где-то внизу заунывно звонила на отход души церковь, дрожали осины...

Беспроглядная почь опускалась на Днепр, на город, обступала со всех сторон тревогами и страхами.

«БОЖИЙ СУД»

Свистел надсадно ветер, гнул ветки к земле, рвал одежду.

Наверху, в холодной горенке, сжав руки у горла, притаилась Олена, глядела неотрывно на боярский двор, где шли приготовления к «божьему суду».

На помост положили ковер, поставили кресло с высокой резной спинкой. Возле помоста стеной стали мечники, дворная стража.

Прихрамывая сильнее обычного, прошел к креслу Вокша. Лицо его сумрачно, глаза смотрят недобро, жилистые руки сжимают посох.

— Загубят, загубят Гришеньку, — тихим стоном вырывается у Олены, и еще сильнее сплетает она руки у горла.

Первым предстал перед Вокшей гончар Темка Корыто. Правая рука его в мешке, шнуром перевязанном. На шнуре — три печати с крестом. Пять дней назад испытывали Темку водой. Перед испытанием допрашивали:

— За что Антошке, сыну боярскому, бороду рвал?

И Темка в расспросе честно признался: тот Антошка кабалу написал на двадцать пудов меду и его, Темкиным, именем подписал.

То верно — брал Темка у него в Веденеев день два пуда меду до рождества, без роста... Брал... И обещался по сроку дать Антошке за мед деньги, как в людях цена держит. Антошка ж кабалу воровскую написал... по умыслу. На то и свидетели есть: камнетес Василий Мыльной...

Вокша резко оборвал:

— Голь в свидетели негожа. — Кивнул исполнителям: — Учинить божий суд!

Тотчас притащили котел с кипятком, сотворив молитву, бросили в него тонкое медное колечко; приказали Темке, закатив рукав на правой руке, колечко выловить, а через неделю руку суду показать: если волдыри сойдут, значит, неповинен ни в чем.

Вот и стоял сейчас беззащитный Темка, глядел затравленно на судей.

Тиун Перенег не торопясь подошел к нему, рывком содрал с руки мешок, и все увидели — не сошли волдыри, слились в одно месиво.

Вокша сказал сурово:

— Бог подтвердил! Кабала за боярским сыном остается, а в княжью казну тебе, Темка, вносить виру¹ двенадцать гривен, чтоб не повадно было, бороды драть... Похуление творить...

Гончар хрипло взмолился:

— Пощади, правосудец! Отколь деньги такие взять? Не отдай на пагубу, в кабалу к Антошке.

Но мечники уже оттащивали Темку прочь.

У холопных изб челядины бормотали:

— Били Фому за Еремину вину!

— Правосудие!

¹ Штраф.

— Есть гривна — Темушка, нет — Темка!

— Боярска правда во все бока гнуча...

Олена в горенке своей стала белее снега: к боярскому помосту подходил Григорий. На нем долгополый суконный кафтан, кожаные лапти, из-под плетеной шапки выбиваются русые волосы.

Похудевшее, изможденное лицо спокойно. Показалось или впрямь — улыбнулся он ей издали ободряюще, распрямил плечи.

«Господи, — взмолилась Олена, — помоги ты ему... Не дай свершиться неправде...

Ты же ведаешь, что честен он... Помоги... Услышь меня...

И будем век возносить твою справедливость, никогда о ней не забываем...

И твоя совесть, боярин, — обратилась она мысленно уже к Вокше, — пусть не замутится, увидит всё, как есть...

Вокша мрачно посмотрел на Григория, приказал Перенегу:

— Поставь свидетелей с очей на очи.

Свидетелей два — Харька, Чудин и Елфим Петух.

Харька злобно смотрит на Григория: «Побледнел, падаль? Я те покажу — кто будет разить!»

Петух, прикрывая веки, длинно рассказывает, как уличен был Гришка Черный в краже. И Харька крест кладет, что на душу не крив:

— Все так и есть в правде!

Вокша жестко говорит Григорию:

— Не пошли наставленья тебе, подлому татю, впрок!

И тогда заклокотало в груди Григория, все подступило к горлу — подлости Вокши, Петуха, предательство Харьки... Снова увидел Олену, окаменевшую в молчаливом стоне у окна горенки...

Обжигая боярина темными глазами, он закричал:

— Виделки у тебя обнищали, коли правой виновен! Лжу творите!

Вокша подумал: «Такие на мятеж подбивают». Вспомнил минуты у собора, тихо приказал:

— Кинуть в поруб!

Мечники подбежали к Григорию, поволокли от судебного места.

Клубились черные тучи над Девичьей горой. Казалось, придавили ее косматой грудью.

ПЛЯСОВИЦА

Из кремня удар высекает огонь, в человеке удар высекает стойкость. И чем сильнее человек, беспощадней удар, тем быстрее мужает он.

Увидев суд, Олена еще яснее поняла, что это расправа, и в сердце ее вспыхнуло к Григорию чувство, о каком и не подозревала. Она дала себе клятву до конца дней быть с ним, разделить любую судьбу.

Бывает такое сердце: теплится в нем, как лучина, едва приметно чувство, а подует ветер невзгод — заполыхает оно ярким пламенем, и уже ничто не страшно ему, все отдаст, на все пойдет.

Когда увели Григория и очнулась Олена, горе опять повело ее к зябким осинам. Много часов просидела она здесь, а поднявшись, дала себе клятву спасти Григория. Но как свершить это? С чего начать? «Век не оставляю тебя, любый, — думала она, — вот и некрасив ты, и не воин отважный, а другого и не надобно. Участь твою разделю, какая б она ни была».

...Олена решила посоветоваться с другом Григория — Хилковым. Прихватив с собой для смелости Ксану, подстерегла Федьку, когда выходил он из дому, на рыбалку, и с отчаянной решимостью подошла к нему.

— Ты не убивайся, — неумело успокоил он, — бежать ему надо, пока не поздно... Завтра в полдень будь на Торгу, возле больших весов.

— Есть у меня подвески... Еще бабушки... — торопливо зашептала Олена, — принесу... может, понадобятся... Сама-то не знаю, где продать...

— Приноси, — согласился Федька.

Из-за поворота улицы показался Петух. Федька беззаботно сверкнул белоснежными зубами, подмигнув Ксане, стоящей неподалеку, отвесил скомороший поклон:

— Киевским красавцам почет и дорогу!

Петух осуждающе поглядел на бесстыжего зубоскала, засеменял дальше.

В тот же день был Хилков у братьев Верзиловых, у Василия Мыльного, долго шептался с ними, и при новой встрече с Оленой обнадежил ее:

— Вызволим мы Григория твоего...

Подвески, полученные у Олены, Хилков продал златокузнецу, кое-что добавил от себя на покупку нужного для побега, боярскую ладью решил увести тайно, перерезав канат у причала.

А тут еще и посчастлило: сыскался помощник среди дворцовой стражи.

Григория бросили в глубокий, выложенный камнем колодец, вырытый в подвале: сверху на колодце лежала решетка из железа. Над решеткой, на крюке в сводчатом потолке висела веревка, на ней спускали узнику воду и хлеб. У колодца день и ночь сменялись стражники. Один из них — молодой варяг Олаф, белоглазый, синеглазый, был женихом Ксаны. После долгих

уговоров он согласился, чтобы его связали возле решетки.

Все было готово для побега, и даже назначен срок: в четвертый час ночи, после дворцовой потехи, что устраивал Вокша для заморских гостей.

Гриднища Вокшиного дворца ярко освещена площадками, свечами, в ней, как днем, светло. В углу отгорожены тяжелым вишневым занавесом подмостки для забавных игр. На лавках, покрытых scarлатной¹ тканью, вдоль стен в коврах, сидят послы Чехии и германского императора Конрада, в плащах, отороченных мехом, небрежно наброшенных на плечи...

Тоненький, как юноша, горбоносый, с бородкой клином посол франков оживленно вспоминает, как передавал Ярослав подарок от своего государя — меч с высеченной надписью: «Королю руссов Славянину от короля франков Генриха».

Епископ Шалонский Рожер, прибывший тоже из Парижа, подтверждая рассказ посла, важно покачивает головой с длинными седыми волосами.

Смуглолицый царьградский гонец уверяет варяга Якуна, что византийский император — друг Руси. Якун, в латах, с глазом, перевязанным шитой золотом повязкой, недобро усмехается, слушая эти речи.

В правом углу гридни тихо беседуют высокий, поджарый путешественник Брегель и толстяк с тройным подбородком и выпуклыми глазами писатель Дигар. На Дигаре ярко-зеленый кафтан, бриллиантовые пряжки его башмаков сверкают нахально.

— Князь упрятал в темницу брата, чтобы остаться самовластцем, — понижая голос, знающе говорит Дигар, — приблизил к себе деспота Вокшу...

— Да, но и открыл училищные избы... — возражает Брегель, — а сейчас закладывает город своего имени на Итиле².

У Брегеля длинные, как у цапли, ноги, длинный пос (о таком киевляне говорят, что им ладно окуней ловить).

— Кто поймет славянскую душу! — жалеет Дигар. — Но город Китава — сильнейший соперник Царьграда, и с этим придется считаться.

— Рूसия, — значительно кивает Брегель и придиричливо оглядывает свой камзол.

В гридне слышна латинская, греческая, французская речь, то громче, то приглушеннее.

Дверь распахивается, и через гридню, почти не хромя, проходит Вокша, приветливо улыбается гостям.

По левую руку от Вокши садится боярин Будный, бритого-

¹ Ткань ярко-красного цвета.

² Река Волга.

ловый, с чубом, заложенным за ухо, с крашеной витой бородой. Рука его покоится на мече в ножнах.

Возле Будного — тысяцкий Вышата, в кафтане из дорогого аксамита с фиолетовыми цветами, казначей Вратислав, белый, как кролик, а еще дальше застыл похожий на медведя воевода Чудин, с грузной серьгой в ухе, с золотой гривной на шее — за бой у Любеча¹.

Толстяк Дигар думает, глядя на Вокшу: «Вот самый близкий к Ярославу человек, он не знает предела своей власти над холопами: учит их ежальными кнутами, кладет на руки и ноги железные смыки, сажает на цепь. Вчера одному урезал нос за неповиновение».

Боярин Ратьшин красуется в правом углу гридни в парчовом кафтане, подпоясанном золотым поясом, в сафьяновых сапогах, прошитых бронзовой проволокой. Вокша недобро покосился в его сторону: должен был городник Ратьшин заботиться об укреплении и мостах Киева, да, видно, больше о себе помышлял, живет ради златолюбия. Вокша скользнул взглядом по золотому поясу Ратьшина: «Вот куда гривны текут, надобно об этом Ярославу сказать».

Дигар любезно повернул к Вокше оживленное, жирное лицо:

— Признаться, я с нетерпением жду появления ваших трубадуров.

— Погляди, погляди, может, такого не видел ни в Царьграде, ни в Риме, — грубовато ответил Вокша.

Заиграли дудки, тыквы-горлянки, поднялся вверх аксамитовый полог.

На подмостках стоял худой, в длинной рубаше гудец с мрачными очами, хворостинкой с конским волосом водил по чудному ящичку с натянутыми жилами, и ящик отзывался тонким, протяжным голосом.

Потом пел церковные песни хор, плясали, кувыркались, выпагивали на ходулях скоморохи, представлял бабу с ведрами бурый ученый медведь, закружил на помосте яркий, веселый хоровод, и словно ворвалась в строгую гридню весенняя степь с ее цветами и солнцем.

Но вот в круг выплыла вся в белом Олена, нежно запела о Лыбеде, преследуемой злыми людьми, и уже отодвинулась степь, и тихое лесное озеро раскинулось бесшумно, и нависла над Днепром Девичья гора.

Олена забыла обо всем на свете: где она, что ее ждет, только знала, сама она — Лыбеда, никому не отдаст волю, не испоганит душу, пока бьется сердце, будет плясать, принося людям радость...

¹ Бой со Святополком Окаянным.

Пели гибкие руки, тоненькое тело, вся она растворялась в танце, а тихий голос хватал за сердце, и оно замирало сладко и тоскливо.

— Но это чудо, чудо! — шептал восхищенно Дигар.

Снисходительно улыбался Вокша, думал досадливо: «Напрасно Свидиугу пообещал, вышивальщиц-то много». Но тут же решил: «Слово оставляю в силе, мало ли Оленок таких в Киеве...»

БЕГСТВО В СОКОЛИНЫЙ БОР

Было далеко за полночь. Резвый месяц недолго таился за тучей, выскочил из своей засады, осветил синевато-белым равнодушным светом Вокшин двор, крыши теремов, городские стены.

Олена, прижавшись худеньким телом к выступу стены, перевела дыхание. Надо было еще пересечь яркую полосу, проложенную месяцем к ступенькам подвала. Бешено колотилось сердце, будто чужие, ноги отказались повиноваться, приросли к земле.

На мгновение представила: свернувшись беспомощным комочком, лежит Гриша на дне каменной ямы, ждет, мертвец непогребенный, волчьей расправы.

Олена рывком отделилась от стены, очутилась на ступеньках подвала, скользнула вниз, в длинный земляной коридор, пропитанный плесенью, тускло освещенный двумя факелами.

Олаф ждал ее. Он сдвинул с ямы решетку, спустил веревку, переброшенную через крюк в потолке, припав к темной впадине, крикнул негромко:

— Слышь, крепче держись!

Передав факел Олене, чтобы светила, стал подтягивать веревку.

Олена напряженно вглядывалась в темень внизу. Терлась веревка о крюк, натужно сопел Олаф. И вот показался из ямы Григорий, с выключенной головой, с удивленно расширенными, измученными глазами.

Олена бросила факел, кинулась к Григорию:

— Любый мой!

Олаф недовольно поднял с земли факел, сказал:

— Скорей... не время...

Сунув Григорию путы, объяснил, как должен тот вязать его, сам себе забил рот кляпом.

Оставив в темноте связанного Олафа, беглецы прокрались двором, друг за другом протиснулись тайным лазом в дальнем углу и побежали к готской пристани.

Серело. В ладье Федька Хилков и Маркел Мыльной про-
веряли, все ли на месте, не забыли ли чего?

Федька ощупал лезвие топора с длинной рукоятью, уложил под лавку торбу с хлебом. Увидя Олену и Григория, вздохнул облегченно:

— Ну, в добрый путь, — неловко обнял Григория, — лихом не поминайте! — И шепотом: — Главно дело, догresti до Соколиного бора на том берегу... Лесник Панфилич вас укроет...

Оттолкнул ладью от береговой клети, и вода тотчас радостно захлюпала под веслами: «Уплывай... уплывай...» И темный берег стал отдаляться, будто относил его в сторону течением.

Туман над Днепром стусился, поплыл сизым дымом, скрывая то стволы деревьев на острове, то головы рыбаков. Сизый, словно голубиный зоб, иней покрыл железо топора, уключин, пропитал одежду и волосы.

Ладья беглецов уходила все дальше от Киева, и когда брызнули первые лучи солнца, вдруг увидели они: над Подолом, скрытым туманом, поверх Девичьей горы, величаво плыли, сверкая золотом, купола церквей, кровли боярских хором, сторожевые башни. Плыли, как в сказке, над облаками, навсегда уходили в невозвратную даль...

Потру на Торговой площади Подола стражник прокричал на весь народ, приставив ладони к волосатому рту:

— Заклич о беглом колоднике! — Бросал слова в столпившийся люд: — Нынешней ночью, за два часа до света, ушел из княжьего поруба, связав стража, колодник Гришка Черный, девятнадцать лет от роду: ростом средний, безбород, глаза карие, нос широкий, губы длинные... Волосом голова светлоруса. А одет тот Гришка в кафтан суконный, долгополый, лапти кожаны, шапку плетену... С Гришкой тем утекла плясовица Оленка. Тонка собой и лицом бела... В городе, на посаде, в слободах, на всех дорогах и заставах, по малым стежкам спрос учинить всяким людям, где такие объявятся. Прохожих людей накрепко осматривать, чтоб тот Гришка днем и ночью не прокрался... Кто колодника поймает и боярину Вокше в Киев доставит, тому будут жалованье и милость, а кто даст хлеб аль спрячет, аль путь укажет — платит пять гривен.

Загалдел Торг разногласо:

— Радуйтесь, кияне!

— Уж и до дитесок черед дошел! Главно — безбород!

— Плясовица! Все по правде!

Возле железного ряда стоял, небрежно пощелкивая орешки, Федька Хилков. Выслушав залич, по привычке насмешливо сморщил крычоватый нос, подмигнул Маркелу: «Ищи ветер середь Днепра», — пошел с Торга неторопливой вихлявой походкой, шумно выплевывая скорлупу.

...Олена и Григорий с надеждой глядели на туман — подольше б держался этот их соучастник побега.

Но вот словно чья-то недобрая рука стала сердито разгонять туман, отогнула сверху серую холстину, и из-за нее выглянул кусок чистого неба, пролились на реку серебристые потоки солнца.

Прошла тяжело груженная высокая ладья, и вода за ее кормой выгнула зеленовато-розовый гребень, и заструились беспокойные ручьи возле берега, ломко отражая деревья.

Олена с тревогой поглядывала по сторонам. Пустынно, тихо.

На Олене белое платье, в котором она танцевала на боярских подмостках, белые сапожки, никак не подходившие к этому дальнему путешествию невесты куда.

И хотя копоть факела, плесень подвала, утренняя сырость коснулись ее, она казалась Григорию и сейчас нарядной, свежей, как яблонька в цвету.

Он перестал грести, зарылся светловолосой головой в ее колени.

— Что ты, Гришенька, что ты, греби, — испуганно зашептала она, отстраняя голову Григория и глядя ее, — погони б не было!

Опять тревожно поглядела вдаль. Сердце упало — на всех парусах мчались к ним от Киева три ладьи с боярскими стягами.

— Гришенька, к берегу, к берегу греби! — умоляя, закричала Олена.

Он оглянулся, понял — погоня! Сдирая кожу на ладонях, рванул весла, направил ладью носом к берегу.

А погоня все ближе.

Вон под золоченым парусом широкогрудой ладьи стоит Свидин, кричит визгливо:

— Стой!

Видно, приказано живьем взять — никто из стражников не притрагивается к луку.

Григорий напрягает последние силы — берег стремительно надвигается Соколиным бором. Только б дотянуться до него, только б дотянуться! И тогда — свобода!

Но наперерез, чуть не ложась парусом на воду, устремляется ладья Свидина. Григорий бросает весла, хватается за топор.

Боярские ладьи с двух сторон сжимают своими боками ладью беглецов. И с двух же сторон набрасываются на Григория мечники.

Он топором выбивает меч у одного из них, валит другого ударом в грудь. Но еще трое, озверев, насаждают. С перебитым плечом Григорий падает на колени. Свидин злобно кричит:

— Вяжи, вяжи подлюку!

Сам прыгает в настигнутую ладью, и она жадно зачерпывает воду.

Собрав последние силы, Григорий падает на дно ладьи, головой вперед, рывком подтягивается к Свидину, обхватывает его ноги и вместе с ним переваливается через борт.

Секунда — и только круги пошли по воде, и только крик Олены над рекой:

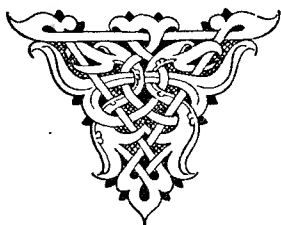
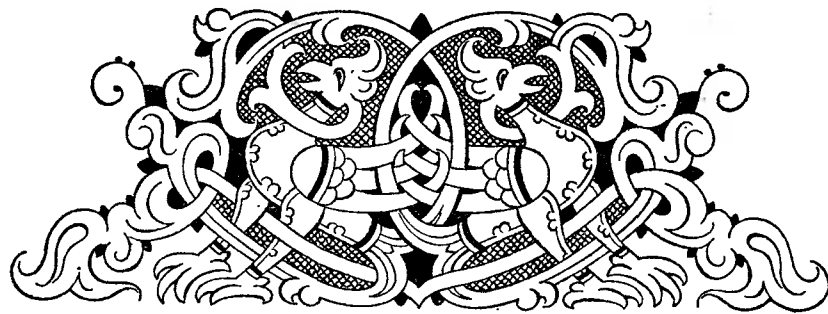
— Гришенька!

Словно от этого крика очнувшись, мечники кинулись к ней.

Олена метнулась на нос ладьи, выпрямилась. На мгновение ей показалось: вдали, сквозь разрывы тумана, веселое солнце осветило ласковым светом Девичью гору.

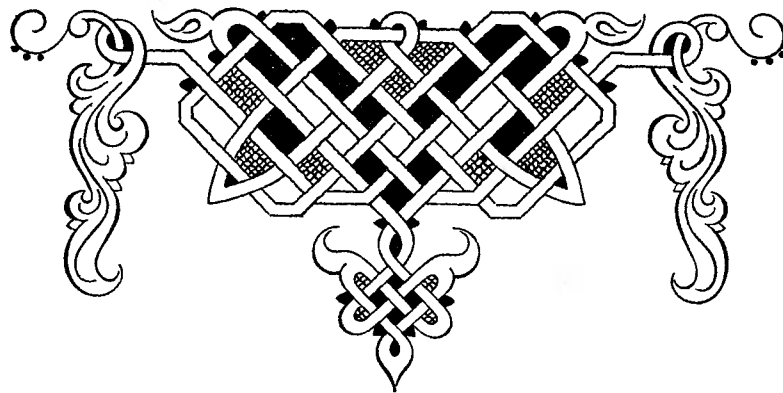
Потом солнце померкло, перед глазами возникли страшные круги на Днепре... Руки мечников тянулись к ней.

И тогда Олена услышала шелест бессонной травы, тоскливые вздохи Девичьей горы, ринулась в Днепр — навстречу Лыбеди...



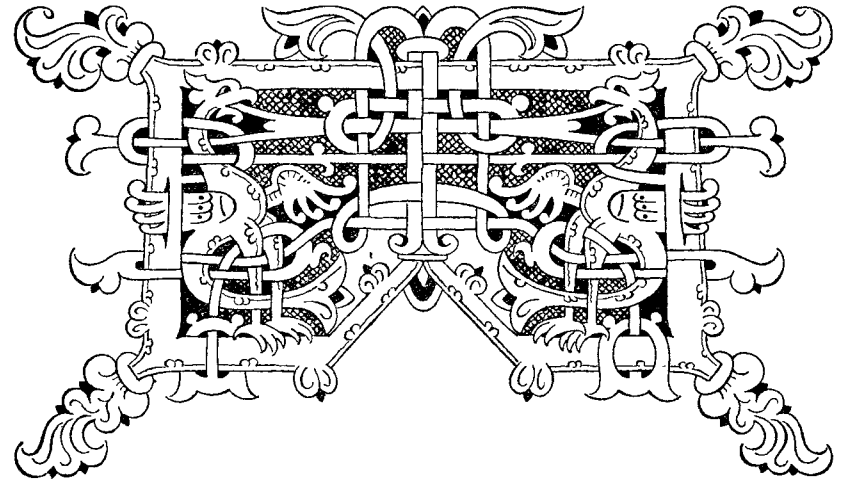
Соляной

шлях



Не бысть соли во всю
Русскую землю.

Печерский Патерик



ТРУДНОЕ РЕШЕНИЕ

Нвсей Бовкун пересек Бабин Торжок, миновал бронзовые женские фигуры на площади, четырех медных коней, привезенных в Киев из Корсуня еще князем Владимиром, и поднялся на холм.

Шел Евсей к тысяцкому¹ Путяте, как на казнь. Люто ненавидел этого говорливого живодера, а поневоле шел к нему.

Желваки забегали на скулах широкого красноватого лица Евсея. Он нервно пощипал пшеничные усы. Что поделаешь — надо идти. Ведь недавно был почти свободным — смердом, а стал кабальным — закупом.

Еще пять лет назад, когда жил возле Ирпеня, поусыхали сенокосы, издохли волю, и взял он у боярина Путяты на разживу купу — обещал ее отработать. Да разжился, как сорока на козе аль тень на воде... И долг-то возвратить в срок не смог. Выходит, свои сухари лучше чужих пирогов, на душе покойней. Путятовой ложкой счастья наберешь, как борща шилом.

Беды шли густо, одна за другой: спекла землю засуха, сделала ее каменной; поела хлебá и сады саранча. Она появилась

¹ Глава городского ополчения, городской судья.

как божий бич: заслонила тучей солнце, упала на землю. За два часа сожрала до корня жалкие посевы, прошла через хаты, забивая людям и животным рты, уши... С отвратительным шуршанием тыкалась в глаза... Раздавленная колесами, подошвами, копытами, источала тошнотворный запах.

Потом людей стали одолевать хвори: от плохого харча съедал десну гнилец — поднимался жар, чернели десны, выпадали зубы, — опухали колени, раны облепляли ноги...

Беды шли, а долг — купу — никто не снимал. Сначала Евсей работал за купу на пашне Путяты, у самого ж всей рогатой скотины — вилы да грабли... Служил три лета, а выслужил три репы. Только что жив был, да жилы порвал. Потом Путята его в свой киевский двор взял плотником, возчиком... Но по всему видно: дальше так пойдет — продаст его Путята в холопы, а то начнет по своей прихоти кнутьем стегать.

Евсей не спал ночами, все думал, думал: как вырваться из кабалы? Как не утратить остатки воли? Как спасти детей от голодной смерти?

...Он постоял над обрывом, под могучим дубом. Отсюда ясно видны были поёмные луговые дали, Глубочица, выпадающая в Почайну, река Киянка, Лысая гора, берег Днепра, где в заводях резвились в этот час сизые утки.

Больше жизни любил Евсей Киевщину: Девичью гору и село Предславино на реке Лыбеди, речку Любку, над которой издревле стояло село Багриново, окруженное вековыми липами, любил озеро, протянувшееся к Выдубицкому монастырю, заросли черноклена, кучерявые вербы, вон ту березку, что прячется в темном ельнике пугливой беглянкой.

«Родной дом, а живешь, как в неволе, — тяжело вздохнул Бовкун. — Пока сюда дошел, сколько нищих встретил».

Прочертила небо вилохвостая ласточка.

Евсей миновал площадь и очутился на конском ристалище, где занимались воинским делом дружинники Путяты.

Зачем шел он к тысяцкому? Ведь за соломинку хватался. Мысленное ли дело надумал: съездить наймитом с путятинским обозом в Крым за солью.

Киев изнемогал от бессоля. Ее скупили бояре Савва Мордастый, и Нежата, продавали по непомерной цене, и стала она дороже золота. Ее припрятывали монастырские наживалы. Из-за щепотки соли гнул спину неделями люд от зари до зари.

А без соли, каждому ясно, — стол кривой, беседа худая, сама жизнь солоня.

Ехать в дальний Крым — риск великий. Но Евсей знал тот край, его дороги и надеялся проскочить где хитростью, где с оружием. Привезет соль — избавится от кабалы. Только отвагой и перейдешь горе.

На смертное дело решился в ночные часы. Надобна людям соль, как воздух, как солнце. Да где взять ее? Пытались княне даже из дубовой коры добывать — тщетно.

Возле Софийского собора распластался митрополичий двор, а вплотную к нему придвинулся двор Путяты.

Евсей поднялся по ступеням боярских хором. Стражник впустил его в гридню.

— А-а... Бовкун! С чем пришел? — встретил тысяцкий его, как всегда, шумливо.

Был Путята коренаст, широкогруд, кривовато ставил крепкие ноги. Вмятина на лбу у виска, багровый сабельный след от уха и вниз, по шее, не уродовали Путяту.

У князя Святополка тысяцкий был в большой чести, как опытный воин, не однажды проявивший себя на ратном поле.

Сам же Путята тайно презирал князя, считая себя воином лучше, умнее его, однако внешне ничем не показывал это.

Увидя покладистого, трудолюбивого закупа Евсея, Путята заговорил с ним о своих дворовых заботах. Говорил громко, быстро, распахнув полотняный кафтан. Лицо его сразу будто лишилось глаз, все загородили полные губы.

Словно спохватившись, спросил:

— Как чада, Евсей?

Заиграл притворной ямочкой на щеке скуластого лица. Услышав о желании Евсея привезти соль издалека, Путята сразу умолк, настороженно уставился на незваного наймита. Поковыряв ухо медной ухверткой, сказал, сожалея:

— Да ведь через кочевье не пробьешься, лихая голова. Клянись богом, волов погубишь... Ай-яй-яй... — Посмотрел с отеческой озабоченностью.

— Пробьюсь, — поднял на Путяту серовато-синие глаза Евсей. — Вozy соли привезу...

Путята, остро взглянув на этого еще совсем нестарого, смекалистого и бесстрашного человека, вдруг вспомнил, как в прошлую осень Евсей один заносил задок груженого воза, застрявшего в рытвине. Вспомнил и решил: «Такой может и привезти».

Соблазн получить сразу несколько мажар с солью был столь велик, что Путята даже зажмурился, и широкий нос его, казалось, еще больше приплюснулся, почти дотянулся до губ.

— Время надо... — сказал он раздумчиво.

«Может, рискнуть? Даже если половина люда и волов не вернутся, я в прибыли останусь. А с наймитов урон взыщу».

— Обмыслию... Чтоб тебе же лучше было, клянись богом. Приходи завтра. Сам знаешь — добрый я человек...

«Такой добрый — гроб тебе купил бы», — подумал Евсей и отправился домой.

БРАТ И СЕСТРА

Июль — макушка лета, пора цветения лип. В липень месяц тучи находят в себе силы пойти против ветра, певчие птицы от жары умолкают. Вот и сейчас медленно ползут облака над днепровскими кручами, над выгоревшим от солнца яром, над припихшими Ивашкой и Анной. Они утомились от беготни и лежат в яру на спине, уставившись в небо.

У двенадцатилетнего загорелого крепыша Ивашки глаза круглые, темно-карие, с живым блеском каштана; у сестры его, Анны, глаза продолговатого, заячьего разреза, тоже карие, только немного посветлее. Она годом младше брата, но рядом с ним выглядит совсем маленькой.

Каждый думает о своем. Ивашка — о змее из пузыря и холстины, что смастерил вчера и будет запускать в небо... О пещерах по-над берегом Днепра. В иных из них живут отшельники, в других, рассказывают, хранят клады разбойники. Анна же вспоминает, как собирала недавно клей с десяти вишневых деревьев, чтобы — слыхала такое поверье — хату от пожара уберечь.

— Глянь-ка, Аннусь, маж! — нарушил молчание Ивашка, глазами показывая на облако, действительно схожее с возом, который тянут волю.

Девочка повернулась на бок, подперла голову рукой:

— И впрямь!

Волосы у нее невьющиеся, в тонкую косу вплетена лентастрочка. Анна запустила маленькую руку в матерчатый мешочек у пояса, достала орешек. Звонко щелкнула скорлупа. С двумя ядрышками — к счастью! Одно ядрышко она проворным движением руки всунула брату в рот. Ивашка только шмыгнул от удовольствия носом-репкой, сел — и сразу из-за пригорка высунулись длинный дубовый мост, извилистая дорога, взбирающаяся вверх по крутизне, золотые шапки Киево-Печерского монастыря.

— Братику, — тоже села Анна, — ты наговор от занозы знаешь?

— От занозы? — недоверчиво поглядел Ивашка из-под выгоревших бровей.

— От нее, — кивнула Анна и зачастила звонкой скороговоркой: — Пресвятая, благодатная, с усердием прошу тебя — возьми в помощь, чтоб колючка не стояла, алой крови не пивала, белого тела не стегала... Изойди на черны луга, где буйный ветер свистит...

Ивашка усмехнулся:

— Враки это!

Девочка всплеснула руками:

— Чтоб я не жила — правда! Чтоб солнца не видела! Может, скажешь, и скот расколдовать нельзя?

— А то можно?!

— Можно! Взять тертого рогу от мертвого вола, тертого конского копыта, сушеную щучью печенку и окуривать скотину по три утра до восхождения солнца.

— Батя сказал, враки это! — упорно повторил Ивашка.

Анна умолкла. Словно оправдываясь, пояснила неуверенно:

— Бабка Фекла на Торгу верещала...

Бабка Фекла, усагая знахарка, заговаривала зубную скорбь, сбрызгивала от недоброго глаза, сговаривала бельма. Как же ей не верить? А с другой стороны, отец больше всех знает. Значит, Фекла эта обманывала?

Они снова легли на спину, и каждый опять стал думать о своем. Ивашка — о том, как тонул на Днепре, да сосед Анфим спас его. После этого Ивашка долго боялся глубины, а потом все же пересилил себя, и страх сняло. Позавчера играли в киян и печенегов, и он выбрался из печенежского полона, заплыв на песчаную отмель острова.

Анна же почему-то вспомнила, как сидели они недавно на высоком клене, и она, подзадоривая брата, спросила: «Сиганешь?» Ивашка тогда улыбнулся, точь-в-точь как отец, краешком губ. Сказал: «Незачем».

И она поняла — не от трусости то, а впрямь пустое предложила. Ведь не побоялся броситься на клыкастую собаку, когда та гналась за ней.

Анна посмотрела вниз: Днепр отливал недвижной синевой, по-над берегом охотился за рыбой коршун. Словно ойкнула кукушка в лесу и враз умолкла — не иначе подавилась лепешкой. Кружили на опушке стрекозы. Крикнуть бы сейчас: «Тятенька Евсей!» — а лес на той стороне ответил бы: «Та... ты... сей!» Иль бросить камень-плоскун и посчитать, сколько раз скользнет он по Днепру, а сосчитав, крикнуть: «Пять женок на тот берег перевезла!» И эхо опять ответило бы: «Пере...зла».

— Пошли раков ловить? — поднялся на ноги Ивашка.

Анна словно только и ждала этого — мгновенно перевязала бечевкой ниже детски пухлых коленок юбочку, легла на бок, руки прижала к туловищу и покатила к берегу.

Под ракитой припрятал Ивашка дохлую лягушку. Сейчас он откопал ее, перетянул крепкой ниткой, и они, зайдя по колено в реку, стали опускать приманку в воду, таскать зеленых раков, вцепившихся в дохлятину.

— Раков много — рыбе ловиться, — степенно заметил Ивашка.

— Ишь уродины! — брезгливо покосилась на добычу Анна, и вдруг глаза ее сделались испуганными: — Ой, ой!

Она подняла из воды левую ногу. В пятку ей вцепился клешнями здоровенный рак, устрещающе пялил глаза.

Ивашка ловким движением пальцев заставил рака отвалиться от пятки, бросил его наземь. Взяв на руки сестру, отнес ее на берег.

— Изведала, как раки кашляют! — Добрые впадинки в уголках его рта углубились.

Анна улыбнулась, при этом от маленького носа ее по щекам и вниз к губам пошли смешные морщинки. Тонким голоском сказала:

— Суший упырь! Перепугалась я.

У Ивашки заискрились глаза:

— Больно пужливая!

А сестра уже смеялась, вспоминая свои страхи:

— Вдруг кто-то — цап! Ну, думаю, водяной...

Она залилась еще пуще прежнего, даже стала икать от смеха:

— Верно говорю... ик! Вроде б тянет кто под воду... ик!

Брат снисходительно слушал, потом, неторопливо собрав добычу в рубаху, сказал:

— Потекли до хаты! Батяня скоро вернется.

СОСЕДИ

Полуземлянка Евсея Бовкуна, с двускатной крышей под соломой и мхом, прилепилась в углу Подола, на спаде днепровской кручи.

Прямо со двора, к вербам у реки, ведут вырубленные в земле сорок семь ступенек. По одну и по другую их сторону тянется невысокий плетень, и тот, кто спускается к Днепру, словно бы проходит длинными сенями, а кто поднимается снизу — открывает во двор жердяные воротца.

Ивашка с Анной вошли в эти воротца. Пес Серко, положив патлатую морду на лапы в репьях, дремал под вишней.

Желтыми комочками подкатывались под плетень цыплята соседа — гранильщика Анфима; его изба виднелась по ту сторону плетня, за грудой заготовленного на топку кизяка.

Ивашка подошел к колодезному срубам под рябиной, опустил скрипучий журавель-потяг и, достав бадью холодной воды, жадно прильнул к ней.

Отец так выкопал колодец, что половина его выступала со двора на улицу — пользуйся кто хочет! И камень-скамью поставил возле плетня — садись, отдыхай кто хочет!

Сейчас со стороны улицы о плетень с нанизанными для сушки горшками терся боров.

— Геть! — отогнал его Ивашка и с сестрой вошел в избу.

Приятно холодила босые ноги пол, мазанный глиной.

Из крохотного оконца над варистой печью, в левом заднем углу, проникал тусклый свет.

Обычно под этим оконцем сидела их мать, Алена.

Рослая, бесстрашная женщина, она умела стрелять из лука, ловко скакать на коне. Люди сказывали, что, полюбив безоглядно их отца, Евсея, она сама еще до свадьбы покрыла бабьим платком свои волосы. Анне было шесть лет, когда на ее глазах мать зарубили половцы.

...Девочка обвела избу придирчивым взглядом хозяйки: выскоблен ли стол, висят ли на жердке над печью вязанки лука, а левее, под сухими васильками и желтой засушенной гвоздикой, — одежда, выстроены ли чашки, миски на резной полке, наполнен ли водой широкий кувшин, прикрытый дощечкой?

Все как надо. Теплилась лампада перед иконой, и едва уловимый запах конопляного масла примешивался к запаху глины и чернобривца.

Ивашка, присев на лавку, виновато поглядел на сестру:

— В животе червяк точит...

— Ты погоди, Ивасик, малость, я щи сварю. Мигом. Только без соли... Иссолились мы...

Ивашка добро поглядел в спину сестренке. Недаром юнцы на улице дразнят ее: «Наша Анна белобрива, щец да каши наварила». Эта наварит. Надобно пока нащепать ей лучин...

Евсей подходил к своему дому, когда его окликнул Анфим:

— Добридень, сосед, хлеб да соли!

— Помогай бог!

— Заходи в гости.

Евсей приблизился к Анфиму, сжав его огромную ручищу, спросил:

— Как живешь?

— А так себе — то боком, то скоком.

— А я в ярме у лиха. Бос, как пес.

— Э, ничего, — беспечно махнул рукой Анфим. — Что будет, то будет, мы все перебудем.

— Не скажи.

— Заходи в хату, ковшик варенухи¹ опорожним.

— Да вроде б ни к чему, — заколебался Евсей.

— Как — ни к чему? По суседству. Старцы костылями менялись — и то пили.

Евсей весело рассмеялся, и лицо его сразу утратило суровость, стало простодушным.

— Разве што...

Анфиму лет под тридцать, но уже славился он на Подоле как отменный мастер-гранильщик. Никто лучше его не умел шлифовать самоцветы, вызывать их чудесную игру.

Жил Анфим с женой Марьей и своими дочерьми-тройняш-

¹ Крепкий отвар из груш.

ками в избе на виду у Днепра. И когда бы кто ни проходил мимо их жилья, неизменно слышал, как в два голоса пели муж и жена душевные песни о яворе над водой, о вечерней заре, о том, как «из-за горы, из-за кручи возы скрипят, идучи».

— Расщепетались Птахи,— говорили, улыбаясь, прохожие, прислушиваясь, как ладно ведут голоса.

Удивительно похожи были друг на друга Анфим и Марья. Ясноокие, златокудрые, стройные, словно гранила их природа по одному рисунку, прилаживала и внешностью и характером. При взгляде на сильные руки Анфима трудно было поверить, что умел он терпеливо и нежно обращаться с самыми крохотными самоцветами, брать их так осторожно, будто это божьи коровки.

Покойный отец Анфима тоже был мастером-границьщиком, приехал в Киев из Суздальского Ростова еще молодым да так здесь и прижился. Он научил сына своему ремеслу, передал спокойный, покладистый нрав.

Жили Птахи небогато. Только изредка перепадало, если заказывали отгранить камень для перстня, вставить сапфир в оправу. А то больше приходилось сверлить бусы из сердолика. Здесь покупатель находилась, правда, сразу — быстроглазые киевские юницы,— да корысть-то от них невелика.

Евсей вошел в избу Анфима, Марья обрадовалась:

— Милости просим! — Соседа уважала за скромность, за то, что был трезвенником и трудолюбивым.

— Дай нам, вербонька, узвара, выпьем по ковшику,— попросил Анфим.

Марья засуетилась. Ладонью смела лишь одной ей видимые крошки со стола, сбегала в погреб, принесла жбан варенухи.

А Евсей уже делился своим планом с Анфимом:

— Наберу кипят покрепче, и махнем. Я те края знаю. Только вот и на грош не верю прикидщику Путяте. Все ведь прикогтит... Что одной рукой дает — другой тут же отбирает.

— Ну что ж, коль решился,— раздумчиво говорит Анфим. Сейчас он выглядит старше своих лет, может быть, потому, что от сидячего образа жизни стал полнеть.— Гляди и посчастит. Мне Путята тож обещал заказ один знатный...

— Вот только за юнцов моих боязно,— погладил длинный светлый ус Евсей, и на открытое, бесхитростное лицо его легла тень беспокойства.

— Не бойся, мы доглядим,— заверил Анфим.

— Вот спаси бог,— обрадовался Евсей.— Я, может статься, своєю подлетка с собой возьму. Пусть свет поглядит... Волю узнает... Мужает... Так ты тогда, будь ласка, пригляди за отроковицей. Да и помощницей она вам станет...

И правда, почему бы ей не остаться на время? Вот у бобров

как заведено: год исполнится после рождения, и родители, сделав малому собственную избу, оставляют — живи своим умом и своей силой.

Так-то оно так, да росла Анна уж больно худенькой, и за нее всегда было боязно.

Эта тревога родилась в нем еще тогда, когда дочка только появилась на свет божий. Она долго не говорила ни слова. Жена в отчаянии упрекала себя: мол, дитя онемело, потому что она, мать, поела рыбы. И бросилась лечить девочку колоколом: облила било водой, принесла ту воду пить Анне. Но и это не помогло.

А в два года словно прорвало какие-то заторы: Анна сразу заговорила и целыми днями щебетала без умолку.

...В колыбели подавала голос одна из дочерей Птахов. Неведомо какая: Марфа ли, Пелагея или Лисавета? Запищали и две другие. Ну, этим немота не грозит.

Анфим подошел к люльке на три места, поддел дочерей правой рукой, прижал их к груди. Поднося к Евсею, весело сказал:

— Вот-то богатство — полная охалка невест!

Евсей поглядел на три совершенно одинаковые, круглые, со светлыми блестящими глазами рожицы. Во рту у каждой был палец, только крайняя сосала еще и палец сестры.

— Как вы их распознаете? — подивился Бовкун, и в улыбке вспыхнули белой полоской крепкие зубы.

— Да ведь их, ягодиночек, видно ж! — убежденно воскликнула Марья.— У Марфы отлив очей особый. Пелагеица морщится по-своему, а у Лисаветы, гляди, на шее темная росинка притаилась.

Она посмотрела добро на соседа:

— Ты не тревожься! Если надобно, пусть Аннуса с Ивашкой у нас перебудут... Мне и впрямь даже помощь...

Дети встретили Евсея радостно, Анна крикнула:

— Татусы! — Прижалась к нему, потерлась прохладной щекой о его щеку.

Отец ласково провел рукой по ее светлым волосам:

— Ну что, доня, что, лягушонок?

Ивашка тоже, видно, рад был приходу отца, но поглядывал на него издали: не хотел «лизаться», хотя очень любил отца.

Он любил в нем все: и суровую молчаливость, и умение рассмешить, сохраняя при этом невозмутимость, и то достоинство, с каким держал себя отец, ни перед кем не заискивая, не унижаясь, и его умение все делать своими руками. И внешность отца нравилась Ивашке. Он уже мысленно дал себе зарок, что, когда вырастет, будет носить такие же усы и чуб, заброшенный за ухо. Отцу бы только серьгу подвесить — и был бы

сущим Святославом, каким рисовала его народная молва.

Ивашка гордился тем, что внешне похож на отца: почти бесцветными широкими бровями, родинкой у правого уха.

Отцу было под пятьдесят, а он сохранил гибкость стана, легкость походки, силу плеч. У отца не найдешь ни одного седого волоса на голове; упершись руками волю в рога, он поворачивал того куда хотел, и при этом у него только багровела, раздуваясь, короткая сильная шея.

Мальчик всегда с восхищением глядел на купание отца, когда тот накалял в печи булыжники и одни бросал в колоду с водой, а другие обливал «для пару».

Дым и пар клубами валили из двери мовницы. А отец — ладный, весь из мускулов — окатывал себя зимой ледяной водой или, выбежав во двор, катался по снегу.

И сына Евсей приучил к тому, чтобы тело всегда чисто жило. Ивашка вставал на заре, тер одежду золой и глиной, обмывался, докрасна растираясь мочалой, чистил зубы искрошенной корой дерева.

Ивашка с гордостью слушал, как в городе рассуждали:

— Евсей-то бывалый. Сходил света. Богато видел, богато знает. Путно шествовал¹. А волов повадки — так лучше всех ему ведомы. Неспроста прозвище свое носит².

И еще вспоминали в городе, как в юности сбил Бовкун с седла батогом половецкого хана, связал его и приволок в Киев.

Отец умылся, они втроем поели — Анна успела сварить щи, приправленные конопляным маслом. Отец сказал Ивашке:

— Может статься, хлопко, я тебя с собой в дальний путь возьму.

У Ивашки сердце замерло от великой радости, но только полыхнул пытливо глазами.

— Да вот сомневаюсь: баловства в пути не будет?

— Батусь! — Ивашка глядел умоляюще.

И отец смягчился:

— Лады. Спать сегодня на дворе будем.

Они устроились на рядне у тына, под вязом. В небе извечно мерцали звезды. Иные из них жались, как дети, к месяцу. Неистово турчали кузнечики, попискивали земляные мыши.

«Как наставить своих мальцов на добрый путь? — думал Евсей. — Где найти самые нужные им слова, чтобы светили в пути, как эти звезды? Чтобы жили по правде, а не по лжи?»

Подсунув ладони под затылок, он повел неторопливую, тихую речь:

— Не ищите, дети, справедливости в других, как ее в вас нет... У трудолюбя душа нараспашку. И натвердо знайте: правде

¹ Путешествовал.

² Бовкун — вол.

костыли не надобны... Людина хороша, как она на себя похожа... Никогда не унижайте человека, думайте, для чего живете... Пуще всего товариство цените...

Ветер доносил от реки запах остывшей после дневного пекла воды. Дрожали звезды, словно чистые слезы птахинских крикух.

ПЕРВАЯ ВАЛКА

На следующий день боярин Путята, вволю покуражась, согласился снарядить десять возов-мажар к Русскому морю.

Князь Святополк, услышав от своего тысяцкого о необычайном походе за солью и прикинув все возможные выгоды его, пожелал тоже войти в долю и выставил столько же возов. Даже спросил у тысяцкого:

— Может, им присмотр дать?

Он имел в виду дружинников для охраны обоза в опасном пути. Но Путята отговорил:

— Обойдутся и сами. Выдадим копыя да луки...

— Ну, гляди, — согласился князь. — Да накажи Евсею, не мешкая, подобрать людей умелых — возглавить валку¹. Скажи, чтоб порадел для Киева!

Бовкун принялся за дело с жаром, словно бы увидел: впереди забрезжила воля.

Хлопот было немало. Евсей ощупал каждую ось, выложил мажу изнутри корой, приладил на задке деревянную мазницу для дегтя, полочку для ложек. Надо было предусмотреть все: запас сухарей, дубовых втулок, веревок, рогож, сетей из коры липы, ниток из конопли, просмоленных шкур для укрытия соли, синего камня для лечения скота.

Ивашка был возле отца, выполнял все его поручения. У него, как у отца, руки огрубели, но зато стали проворнее и умнее прежнего. А отец только приговаривал:

— Памятуй, хлопец, умелые руки и обухом рыбку уловят.

Если же его сердила нерасторопность Ивашки, он незлобиво бурчал:

— А... чтоб тебя муха взбрыкнула!.. Бодай тебя курка!..

Но особенно нелегко было Евсею уговорить князя рискнуть поехать с ним. Надо было взять в валку умелых, легких в товариществе и не робкого десятка.

Кладом оказался Петро Дитина. Человек неумной силы, в труде он был безотказен, и слышен был только его голошище — такой густой, хоть загребай лопатой. По обличью Петро — сущая образина: не губы — губищи, уши — что твои лопухи. А вот, поди ж ты, девчата в нем души не чают: то

¹ Обоз, артель.

Петушком, то Петяней кличут, а то «Петрусь — щекотный ус».

Он же на них — никакого внимания. Облюбовал себе Фросю — скромную, невидную девушку с черными, как терн, глазами, и ей сохранял верность.

Стриженный «под горшок», в портах, холщовой сорочке с вышитым воротом, с поясом шириной в локоть, он был на заглазенье: жених женихом.

Все в руках у Дитины горело, самую тяжкую работу делал Петро играючи, ухарски, словно бы разминая мускулы, — менял ли оси, таскал ли мешки, точил ли топор. Да еще покрикивал притворно-сердито на самого себя:

— Вот тож дурной, как лапоть. Шевели-и-исы!

И хохотал, подтрунивая над собой, над внешностью своей. Если же завирался — так и над тем, что завирается:

— Брехун брешет, а дурни верят... Цыц, курящие слепота!

Он брал себя за глотку, делая вид, что придавливает ее, выкатывал глаза. Но умолкал ненадолго и уже через минуту гудел удивленно:

— Как был молодой — по сорок вареников ел, а теперь и семидесяти мало, будь воно трижды неладно!

Такому не понадобится сухая полынь для приправы, чтобы ел с большей охотой.

Потом появился в валке совсем молодой конопатенький Филька Антипин — улыбчивый, легкий человек. Из-под земли достанет, что надо, всех помирят, любого уговорит, на редкость бескорыстный. Этот, видно, согласился на дальний путь, чтобы облегчить жизнь бабки, у которой жил после смерти родителей.

Убеждая кого-нибудь, Филька приподнимался на цыпочки и, вытягивая тощую шею, говорил: «Лопни мои глаза!», что никому не хотелось, чтобы эти глаза, похожие на майских жуков, лопались.

За два дня до выезда Бовкун собрал ватагу на своем дворе. Анна с ног сбилась, но, подзавяв кое-что у тетки Марьи, приготовила на славу щи со свиным салом, изжарила рыбину, спекла ячменный хлеб с чесноком, достала из подпола два заветных жбана — с клюквенным и смородинным квасом, выставила на льняную подстилку на траве капусту, редьку.

Анфим принес даже щепоть соли.

Наземь сели вокруг яств Иван Солонина, Корней Барабаш, Тихон Стягайло, Зотка Носов, Осташка Хохря, Трофим Киньска Шерсть, Лучка Стрыгин, братья Нестерка и Герасим Нерыдай-мене-маты — всех и не перечесть, молодцы один в один.

— Хороша хозяйшка у тебя, — восторгался Петро, со смаком хрустя капустой.

Анна от удовольствия покраснела до слез. Было б из чего, а приготовить она умела: и таратуту — варенье бурачки с хреном,

и холодец из свиных ножек, и затирку — маленькие балабушки из муки словно тают во рту. Было б из чего... И еще: была бы соль, а без нее — все трава и безвкусье.

Когда отведали крепкие квасы и мед, Евсей встал с земли, обвел всех спокойным взглядом.

— Сказывают в народе, — начал он, — приложи разрыв-траву к оковам — спадут. Может, поход наш и есть для нас та разрыв-травка — от кабалы, и храброе сердце злую судьбу сломает. Мы — складчики равные... Нам дружность надобна. Будем артелью, всей валкой. За брат жить... Общай котел и харч... Чтоб ссор, брани не знать, и каждый почитал каждого, и все решали сообща, и чтоб честно.

Петро вскочил на ноги, сверкнув глазами, закричал, словно его за грудки схватили:

— Да ежели что, мы с отступника шапку сорвем!¹

— Верно!

— Весь путь быть нам вместе, как сегодня здесь, в братском дворе! — воскликнул Филька, обведя друзей живыми черными глазами.

— Одно слово — артельство! — загалдели наймиты. — Заедино!

Лишь Герасим пробурчал:

— Будет нам добре, когда у курки зубы вырастут, а на ладони — волосы.

Но его никто не услышал. Евсей же сказал:

— Ну, гуляйте, гуляйте, гости дорогие! Заговорил я вас не хуже Петро. Ты б, Петя, дал закаблукам лиха.

Петро не заставил себя уговаривать — подтянул голенища, выскочил на середину двора, подпрыгнул так, что макушкой до ветки яблони достал, и пошел такое вытворять ногами, что Ивашка только ахнул. Плясал, приговаривая скороговоркой:

Приди, милый, прехороший,
Скинь обувку, пройди босый.
Шоб подковы не бренчали,
Шоб собаки не рычали...

Плясал через ножку, с вихлясами-выкрутасами, а под конец перевернулся даже через голову, так что буйный, густой чуб, цветом схожий со спелой рожью, мотнулся по воздуху. Тут уж все вскочили, пустились в пляс — земля загудела.

Ивашка не отставал: присев на корточки, выбрасывал вперед то одну, то другую ногу, да что-то не больно ловко у него получалось.

...Рассвет серым волом ткнулся в Евсеево окно. Бовкун рывком вскочил с лавки и стал собираться.

¹ Предать позору.

Перед выездом предстояло сделать последний смотр обозу.

Вся до единого улица высыпала на этот смотр — и стар и млад. Вдоль улицы вытянулись все двадцать возов с уже впряженными волами. Каких здесь только не было! И рослые, черные, как медведи, и белые — беланы, и смурые с подпалиной, и рябые, рудые, сивые, круторогие, куцы — без хвостов, карнаухие — с маленькими ушами. Вон впереди валки — в первую мажу впряжен самый бедратый вол. Мышастый, на лбу белое пятно, большие бесстыжие очи обведены черными кругами, один рог смотрит вниз, другой — вверх. Ивашка подивился: «Надо ж такому чуду!..»

Промчался в голову обоза пес Серко: темный, а лапы белые. Ивашка подумал: «Вроде босой бежит».

Серко отправлялся с ними в дальний путь и сейчас суетился больше всех: задрав хвост кренделем, бегал так, словно его все время немного сносило вправо.

На передней маже в клетке важно восседал пивень с ярко-красным гребешком, косил по сторонам.

Киевляне чтили петухов: они первыми приветствовали восходящее солнце, предсказывали погоду, прогоняли мрак, выпуская из-под правого крыла белый свет. Потому-то изображение петуха вырезали на крышах изб — для охраны от бед, а большого испугом окатывали водой, в которой был вымыт петух.

Евсей взял пивня в дорогу, чтобы ночью на привалах подавал он голос тем, кто в попase: мол, здесь, здесь табор; в тумане скликал обоз, отмерял ночные часы, утром будил, отгоняя бесов. Да и приятно на чужбине поглядеть на пивня: вспомнить родной двор, вот эту киевскую улицу.

Даже сосновые ветки, воткнутые в возы, должны были напоминать об отчине.

Все возчики стояли на местах, только Петро где-то пропадад, и это сердило Евсея.

А Петро прощался со своей Фросей. Они притаились за бугром, под ивой, скрытые ее зелеными косами. Петро осторожно взял Фросю за руку:

— Дождешься?

— Дождусь, — едва слышно выдохнула Фрося и преданно посмотрела на Детину бесхитростными глазами из-под сросшихся на переносе бровей. Они походили на веточки от темной ели.

— Возвращусь — свадьбу сыграем.

Она припала на мгновение темноволосой головой к плечу Петро, стыдливо достала из-за пазухи рушник-хустку:

— В дорогу тебе вышила...

Он бережно свернул хустку.

Надо б идти. Евсей, верно, сердится, а сил нет оторваться. Наконец сказал:

— Ну, я пойду...

— Иди, — одними губами, без голоса, ответила Фрося. И словно прорвался горячий шепот: — Ты мне верь, я дождусь... Хотя сколько надо ждать... Ты верь...

Петро подбежал к своему возу. Сосед — Лучка Стрыгин — весело подмигнул разбойничьими глазами:

— Ишь ты, господарь, опаздываешь!

Петро в долгу не остался — огрызнулся:

— Кто набекрень шапку носит — господарем не станет. Или я тебе в борщ начхал?

— Хватит, балаболка! Шапку стяни! — прошепел Лучка.

И впрямь — вся валка стоит с непокрытыми головами, с домом прощается.

Евсей низко, до земли, поклонился Киеву, перекрестился. Крикнул, надевая высокую баранью шапку:

— В добрый путь!

Ветер, крутясь, вдруг свил тонкие ветки берез в зеленые кустцы — вихоревы гнезда.

Женщины тревожно закрестились, зашептали, запричитали:

— Раньше соль ладьями возили, и добре...

— Возвратятся ли, сердешные?

— Да куда ж они, горемыки?

Первая киевская валка неторопливо двинулась из города. Женщины замахали ей вслед рушниками, чтобы дорога была такой же гладкой, как эти рушники.

Впереди, в темной свитке, небрежно наброшенной на плечи, шагал с посуровевшим лицом Евсей. На нем праздничный пояс, вытканый листьями. А в том поясе — Ивашка точно знал — был из кожи мешочек, и в нем — кресала, деньги. К поясу же прикреплены нож и костяной гребень на цепочке.

Анна с Птахами долго стояла у ворот, провожая взглядом обоз.

Особенно жаль было Анне брата. Конечно, тревожилась она и за отца, но Ивашка — в его латаных штанах, короткой холщовой рубашке, ветхой сермяге, такой ветхой, что ее только на хлев забросить, в пятавнотой на небольшие уши шапчонке, травовую сшитой, ветром подбитой, — казался ей сейчас горе-горемычным сиротой, оставшимся без присмотра. Анна вытерла наворачившиеся слезы и пошла в избу.

Обоз миновал Рыбачью улицу. Подвальную, что шла под валом, Овчинную слободу, Черный Яр и по крутому шляху поднялся в гору.

Ивашка, подражая отцу, нарочито неторопливо шел за мажарой. Рядом с ним — Филька, с которым сдружился, как со старшим братом.

Евсей оглянулся. Киев был теперь позади, горделиво лежал

на своих уступчатых холмах, провожал их, словно батько, тревожными очами.

Евсей на какое-то мгновение показалось: он видит отсюда и зеленые ложбины Михайловой горы, задумчиво нависшей над стариком Днепром, и кожемяцкие извилистые овраги, истекающие рудыми ручьями, и сплетение шляхов у Дорожичей, и липы на берегу Лыбеди, и текущий среди леса Крещатик, впадающий в Почайну.

Евсей вздохнул: «Хоть слезой умывайся».

Ивашка тоже повернулся лицом к городу. Тревога прокрадась и в его сердце. «Что делает сейчас Аннуся? — подумал он. — Как жить ей без нас? Будем ли еще когда-нибудь вместе кататься по днепровскому льду на коньках из лошадиной кости, ловить силками птиц и выпускать их весной, срезать в камышовых зарослях тростинки?»

Позади оставалось детство... Он не мог бы это выразить словами, но чувствовал: оставалось.

Обогнули курган с высоким камнем на вершине. В тот же миг скрылись шлемы киевских церквей, сады, купола Софийского собора, городские сторожевые башни.

Теперь Ивашке казалось, что Аннуся вовсе осталась в дальней дали. И туда же, в эту даль, отодвинулась их изба с резным петухом на бхлупене¹, знакомый ивовый берег, где всплескивается рыба, охотясь за мошкаркой. А теперь их изба будет в степи небом крыта, как говорил отец, землю подбита, ветром загорожена.

Было еще совсем светло, когда Евсей крикнул:

— Привал!

Петро удивился:

— Так спозаранку?

— А проверим, не забыли ль чего, — усмехнулся Евсей. — Еще можно до дому сбегать... Корней! — обратился он к коренастому, с длинными ручищами Барабашу. — Ты становись кашеваром — проверь, котлы справны? Пшено, сало гоже? Тихон и Зотка! Волон доглядывайте в попасе...

Ивашка рванулся было:

— Бать, дозволять мне в ночное!

Евсей осадил:

— Пойдешь хворост собирать. Трофим! Погляди, запасные колеса на месте? — И на всю валку: — Распрягай! Раскладай вагоны!

Ивашка с Филькой и Герасимом Не-рыдай-мене-маты набрали сучьев в гагарнике — леске, выросшем на месте срубленного. Выкресав огонь из кремня, развели костер.

Герасим — медлительный, молчун, а Филька — веселый, ходит с подпрыгом, все норовит за Ивашку подтащить сучья.

Возы Евсей приказал составить по пять с четырех сторон, так, чтобы костер и люди были внутри этой ограды.

Солнце зашло за зубчатую стену дальнего леса, и казалось, красно засветились бойницы. На треноге, в казане над костром, запаровала, источая приятный запах, каша; Корней попробовал ее сначала сам, обжигая мясистые губы, потом стал раздавать деревянные ложки ватаге.

Кончили вечером, когда вовсе стемнело. Костер разбрызгивал искры, и они затухали, как падучие звезды. Низко над землей стлался дым, отгоняя комаров.

Кто лежал, кто сидел, опершись спиной о воз. Огонь костра красно выхватывал из темноты то колесо мажары, то насмешливый глаз Детины, то лихой чуб Корнея, то Филькину щеку в конопатинах.

Неподалеку тихо журчала криница, размеренно хрумкал, видно отбившийся от остальных, вол. Гортанно клекотнул, укладываясь на ночлег, пивень, грыз что-то в темноте под мажарой Серко.

Приятно пахло домашним дымом, степными травами, и запахи эти, сливаясь, щекотали ноздри, слегка кружили голову.

Забравшись под теплый овчинный кожан отца и свернувшись калачиком у него под боком, Ивашка вполуха прислушивался, как ловко сплетает байки Петро. Голос его гудит приглушенно, словно из глубокого колодца:

— На закате вынырнул водяной из озерца — весь чисто в тине, синю-ю-щий, да ка-а-ак загукает!

Где-то близко жалобно прокричала птица. От неожиданности Ивашка вздрогнул, подумал: «Ночница. Она слепая, а водит ее малая птаха-поводырь. Вот ночница ей голос и подаст... чтобы не бросала».

— То было, — продолжает свои рассказы Петро, — еще до Кия... Когда людей только горстка была. Они деревья срубали, тыны плели, по ним ходили... Замест гривен шкуры всучали... И вот поймала одна жинка жабу...

Глаза совсем слипаются у Ивашки — он слышит лишь обрывки Петровой вязи, и ему уже кажется, что то не Петро говорит, а Аннуся.

— Зашила та жинка жабе рот с обеих сторон и бормочет: «Зашиваю красно, щоб было мне ясно, щоб мне не крутиться, щоб мне не смутиться...» В тот же миг гром рака убил, а снег загорелся...

И Евсей прикорнул. Сначала припомнил юность свою, потом привиделась ему покойная жена Алена...

Вот они на праздник трав пошли всей семьей в поле — встре-

¹ Охлупень — верхнее бревно крыши.

чать весну. Алена распевает песни, вместе с Евсеем и детьми собирает мяту, чабер, зорю. А к вечеру возвращаются домой.

В избе запахло полем. Они набросали в ней свежей травы, стены украсили ветками берез и лип.

Евсеем сейчас показалось: Алена вот здесь, рядом, — густокарие глаза, алые губы, ярко-желтые волосы. У нее быстрая походка, проворные, не знающие покоя руки. Да, все уходит, но не все забывается... Она не побоялась, вопреки родительской воле, пойти за него, бедняка... Какой Анна вырастет? Хорошо, как в мать...

С ее добрым, отзывчивым сердцем. Кто из соседей заботится — Алена тут как тут... Ухаживает, как за своим... Всем поделится, чего и у самой-то в обрез.

И потому люди к ней льнули, с заботами и радостями приходили.

Только и слышно было: «соседушка Алена», «тетка Алена», «подружка Алена», «а где наша Алена...».

Счастлив человек, что миру надобен...

ТАЙНЫЙ ЗАКАЗ

Скрученная ветошь чадно горит в плошке, наполняя избу запахом конопляного масла.

Птахины свиристелки угомонились, сопят в потолок шестью дырочками поздрей. Анна подоткнула девчонкам укрывало в ногах, выпрямившись, улыбочиво посмотрела на тетку Марью. Та сидела с пряжей, заканчивала вязать Анне на зиму рукавички. Кивнула ей благодарно. Потом тихо, раздумчиво запела:

Ой, у поле, при дороге,
Жито зелененько,
Занедужил тай в дороге
Киянин молоденький...

У Анны градом закапали слезы. Марья спохватилась:

— Стара, да дурна! Нашла о чем петь! Ну перестань, доченька, не расстраивайся. Хочешь, я тебе веселую сыграю? Звякнув щеколдой, со двора вошел Анфим.

Был он только что у друга — Седяты Бедилы. Жил тот через дорогу, летом колодцы людям рыл. Сегодня день Авдотьи-огуречницы¹, может стать, скоро дожди начнут заливать сено. И дружки собрались обсудить, что дальше делать.

— Вроде ополоумели все, — сказал Анфим, старательно вытирая ноги о половик и вешая свитку. — Пришли к Седяте Бажен и Радим да как стали поносить Путятю! А почему? Заняли они у него по две гривны, обещали через

год — три отдать. Да не смогли. А резы-то¹ все прибавлялись. Ноне уже за одни те резы работают. Шум у Седяты подняли! Словно ястребок на воробьев бацнул.

— Ты подале от разговоров тех держись. Ими сыт не будешь.

— Да и то, — согласился Птах. — Шилом Днепра не нагреешь. — Хотел, видно, что-то добавить, но удержался.

Была у него новость для Марьи, припасал ко времени. А что держаться в стороне надо — это верно. Мудро сказано: «Живешь, как сорока на тереме: ветер повернулся — полетела».

Ну что ж, и так живут.

— Дядь Анфим, — робко сказала Анна, — ты мне прошлый раз обещался еще про камни рассказать.

— А и расскажу, раз обещался. Вот повечеряем.

Был Анфим в работу свою влюблен без памяти, о камнях мог говорить часами. И сейчас, после того как похлебали тюрю, Анфим усадил девочку на лавку рядом и начал:

— Есть такой камень — радуга. Ну сущее небо ясное. А на небе том играют зеленые, красные, желтые искры. Играют, резвятся, как малые дети. А то еще как-нибудь покажу жабыи камни. Аль ласточкины — желтенькие и не боле льняного семя... Агат, как приглядеться, похож на росмахову шкуру. И у каждого камня, скажу тебе, своя долгая жизнь, свой норов. Каждый своим нелегким путем до нашего Киева добирался. К примеру, жемчуг прозрачный приплыл с берегов Студеного моря, изумруд — совсем издалека, из копей Аравийской пустыни. И ведь подумать только: у каждого камня — свое лицо. То ли тебе багровик с темно-вишневыми пятнами и крапинками, или козлоглазик, или «око солнца», науковый, лучезарный... Так и кажется: хмурятся, улыбаются они, тайну таят, радуются... Всяк по-своему...

Уже когда Анна уснула на печи, Анфим сказал жене:

— Ну, ладонька, кажись, и нам посчастлило. Неспроста на дворе аист поселился.

Марья выжидательно посмотрела на мужа. Анфим приблизил губы совсем близко к уху жены:

— Путята звал. Задумал, вишь, князь Святополк на верху (верхом все жители Подола называли дворец Святополка на Горе) сделать для себя шапку-венец, точь-в-точь как у гредкого императора. Только ты смотри — об этом молчок, а то сгноят меня. Путята приказал язык проглотить...

— Ну уж нашел болтуху, — обиделась Марья.

— Да ладно, это я так — на всякий случай. И вот, значитца, закроют меня в тайной гридне средь самоцветов невиданных...

¹ Резы — проценты.

¹ 4 августа.

Марья побледнела.

— В тайную гридню? — переспросила она, и в глубине ее зеленоватых глаз, цветом схожих с листом клена, омытым дождем, полыхнула тревожная молния.

— Иначе нельзя, — успокоил Анфим. — Что ни камень — чудо, не сюда ж, в халупу, брать... Так вот: должен я на шапке той угнездить яхонт желтый и лазорев, а промеж них — четыре изумруда...

Глаза Анфима разгорелись от радостного нетерпения: поскорей бы пачать трудную и сладкую работу.

— Боюсь я за тебя...

Марья с тревогой посмотрела на мужа, словно пытаясь в глазах его прочитать недосказанную опасность.

— Ну, с чего ты, Маша? И так подумать: есть-то дочкам надо? В городе пухнут от глады. А тысяцкий задаток дал, обещал добре заплатить. Невест-то наших подымать надобно?

Марья пригнула мужа за крепкую шею, целуя чуть пониже уха, тихо спросила:

— Домой-то отпускать станут?

— Нешто нет! — все еще видя перед собой камни, ждущие его рук, убежденно ответил Анфим. — Завтра ж с утра тысяцкий наказал и приступать... Ух, потрудиться охотал...

И Марья успокоилась: бабские страхи. Все будет ладно, знала она своего Анфима в труде.

СТЕЖКА В ОКЕАНЕ ТРАВ

Пивень голосисто возвестил о рассвете. Евсей отбросил набухший от росы кожух и встал. Недаром август называют зоревым, говорят, что проливает он на траву добрые слезы, величают его месяцем холодных зорь и оленьего рева. Вот и сейчас откуда-то издалека доносится рев.

Поблекла на небе утренняя звезда¹. Евсей зябко поежился. Подошел Серко, вильнув хвостом, лизнул руку: мол, ночью все ладно было. Зашевесились артельщики: то там, то здесь приподымалась из-под свитки кудлатая, встрепанная голова. Только Петро продолжал храпеть так, что его, верно, слышно было в Киеве.

— Побудка! — громко сказал Евсей. — Вставай, кияне, шлях не ждет!

Первым вскочил Филька. Медленно сел, ошалело потряс головой Петро. Пивень, уже прозванный Горластым, слетел с оглобли, прошелся мимо, выжидательно кося глазом.

Петро бросил петуху крошки хлеба:

— Откушай тезка... Не чинись.

¹ Так называли планету Венеру.

Побежал, повизгивая, к кринице Ивашка, а следом за ним — тонкий, гибкий Филька.

Пока поели, напоили и впрягли всех волов, солнце встало над землей на два дуба.

Степью шли уже много дней.

По-своему красива она в эту пору. Что-то в ней и дикое, и нежное, и опаляющее сердце необъятностью, привольем, бесхитростной песней жаворонка.

Белеет на луговинах кашка, по склонам извилистых балок желтеют длинные кисти дрока, словно ждут, когда соберут их, чтобы красить лен.

Ветер ходит по степи, перебирает заросли золотистой чилиги в полтора человеческих роста. Чилига — излюбленное лакомство волов, и они все поглядывают в ее сторону.

Кричит перепел в яру, взмывают стрепеты над кустами терна. Табунами кочуют дрофы, под ноги волам то и дело падаются ямки, наполненные пчелиным медом — медвежьей усладой.

Ивашка босым идет за возом, жадно вбирает глазами этот новый для него, заманчивый мир.

Вон вдали показался табун диких коней — тарпанов, мышастых, низкорослых, с черными гривами и хвостами. Жеребец, подняв голову, пугливо заржал, и весь табун умчался в степь, уводя с собой чью-то домашнюю кобылицу с остатками упряжи.

— Глянь: баба-птица¹, — ткнул Петро батоном в сторону кургана.

И впрямь, птицы с чудными клювами важно вышагивали под курганом.

— Из таких вот курганов, — сказал Петро, — ночью выскакивает всадник и скачет по шляху. А только первый луч на землю падет — он снова в курган прячется...

Ивашка не знает: верить ли байкам Петро, не верить? Только все, что вокруг, — чудо и входит в него, как задушевная песня, охватывает трепетной волной, несет невесть куда.

А отец, словно бы между прочим, показывал на вырубках высокий ядовитый орляк с загнутыми краями листа; у воды — озерный полушник с острыми листьями; красные коробочки водяных орехов, жесткие зубцы резака.

Вчера видел Ивашка, как выставил из воды свои колючие, словно наточенные зубцы телорез. Чем-то напоминал он воина. А рядом дремотно плавали белые цветы водокраса с листьями, похожими на зеленое воловье сердце.

Или вон, на откосах, кивают метелки ключ-травы, подают знак, что где-то неподалеку — клады. Отец говорил, не дай бог волам пожевать эти метелки — издохнут.

¹ Пеликан.

За паухой у Ивашки желтые пахучие колоски. Отец нарвал их, сунул в торбу, и ночью, когда Ивашка положил на нее голову, нос приятно защекотал пряный запах.

Порты на Ивашке мокрые: недавно, повязав травой их раструбы, ловил он вместе с Филькой в степной речке рыбешек...

Евсей шагает впереди. Едва пробитая кем-то дорога уходит вдаль. Кажется, приподнимись она вверх — и ты по лестнице взойдешь на небо.

«Так бы шел и шел до самого края света, — думает он, — и не возвращулся бы к проклятому Путяте, освободил бы душу от него. Лучше смерть на свободе, чем боярский полон. Только и греет на солнце — светоносный праведный великан. Только за небо и не платим резы. Земля богата, а жизнь не устроена».

Солнце в степи становится словно ближе человеку: его встречаешь на зорьке, провожаешь на сон, весь ясный день видишь его перед собой. Оно то жаркое, изнурительное, то ласковое, теплое, то играет в прятки, уходя за тучи...

Сейчас на чистом небе ни хмариночки. Степь кругом, степь... Лишь вдали сиротливо и виновато стоит тополь, неведомо кем обреченный на одиночество в чистополье, да у дороги застыла каменная баба — смотрит немо вслед, сложив руки на животе.

Становилось все жарче. Кустики чебреца лежали на земле коричневыми комками. Ивашка сбросил армячишко, отер руками пот с лица.

Красноперая птичка-жажда окунула свой острый нос в придорожный кустарник, словно в поисках воды, и попросила: «Пить-тилик... пить-тилик...»

Ивашке казалось: все вокруг него говорит на понятном только ему одному языке.

Шепчет старая трава-нежирь: «У нас с-си-ла, с-си-ла...» Спрашивает вол вола: «Скоро ль попас?» Бодяк, качаясь, мертво шелестит: «Скуч-но...» Горластый пивень бросил вдогонку Серко, побжевавшему к броду: «Беги, беги, да ведь там глубизна».

Перебравшись через Днепр — эту первую переправу из двадцати двух предстоящих, — ватага остановилась намазать свою одежду дегтем.

— От то шмаровозы!¹ — воскликнул Петро, поглядев на артельщиков, теперь словно облепленных темными латами.

Жарко, неудобно, а что поделаешь. Дальние страны часто чумили Русь, приносили великую беду — моровую язву. Тогда нападала гнилая горячка, распухало в паху, по телу шли черные раны. Недаром звали ту беду черной смертью.

¹ Люди, находящиеся при возах, пынчаканные дегтем, смолой.

И оружие — копья, луки со стрелами, щиты — надо теперь держать под рукой: где-то рядом стлалось половецкое лихо.

Уж кто-кто, а Евсей вдосталь хлебнул его, когда на степь напозала половецкая саранча, обезлюдивая Русь. Вместо жаворонка тогда свистела стрела, вместо ручьев звенели кольчуги. И нигде не скроешься от беды. Тебе бы пахать, боронить, а навстречу мчатся половецкие кони, шею захлестывает аркан... Поля сиротели... Хорошо, князь Мономах отогнал орды, а грузинский царь Давид Строитель — муж половецкой княжны, красавицы Гурандухт — взял к себе на службу сорок пять тысяч половцев, да ведь еще бродят одичалые недобитки по киевской земле.

Евсей задумался: какой путь избрать дальнш? Идти на юг, словно бы вровень со старым путем из варяг в греки, добраться до Днепровских порогов, а там повернуть на Крым? Он в этих краях ходил прежде против половцев, ездил как-то с чужой валкой и хорошо запомнил, где дурные колодца, а где хорошие водопой, где вредная для волов трава чихирь и ядовито дышит земля, а где отменные пастбища.

Надо было даже думать, где меньше оводов, мошкар, комарья, потому что в пути оводы в кровь искусывали волов, от комаров так вспухало лицо и так раздувало веки, что света не видел, нечем было дышать.

Поскорее б добраться до леса: там безопасно — кочевники не любят его. А если идти открытым местом, надо, чтобы оно было повыше — дальше огляд — и чтобы в случае опасности хватило времени спрятаться, сделать укрытие из мажар.

Пока же предстояло идти запорожской степью — с бугра на бугор, с бугра на бугор.

К полудню ветер погнал по небу стадо черных волов, вдали начало погромыхивать, всныхнули ветки молний, нежданно пошел свирепый дождь. Градины величиной с куриное яйцо, казалось, метили каждому в темя. Все укрылись под мажи, втянули туда и воловьи головы, пережидая напасть.

Гроза исчезла так же быстро, как и возникла.

И снова на безоблачном, лысом небе засветило солнце, еще невыносимей стала спека. Лицо чувствовало веяние жаркой юги, к воздуху примешался дымок где-то горящего сена, а раскаленная земля делала жар застойным.

Степь с трудом дышала, и было чудно, что в этом мертвом пекле летают стрекозы, скачут кузнечики.

Солнце едва брело в небе. Волы, разомлев, через силу плелись, кося ногами.

— Цоб-цоб!

Только Петро не унывал, кричал сомлевшему Лучке Стрыгину:

— Хошь и со спотычкой, а бреде-е-ем!

Тяжкие думы завладели Евсеем.

«Чужих волов гоняю по шляхам, а сам не лучше вола в ярме. Напаялся, как продался», — думал он.

Складывалась горестная песня. Евсей не пел ее — петь не умел, а подбирал слова про себя:

«Гей, гей! Ты, беда,
Меня засушила,
А кручина свалила. Та гей!
Гей, гей!
Чужие возы мажучи,
В руках батог посячи!
Та гей!

Почему так несчастно повернулась моя жизнь? Почему не могу досыта накормить своих детей, посолить пищу?.. А Путяты жрут в три горла, попрытали соль.

Кто лиха не знает,
Пускай мене спытает...
Та гей же, гей!

А может, там, у моря, есть Солнцеград. Оттуда прилетают весной птицы, приносят на крыльях своих семена цветов... Там всегда тепло, и потому людям легче добывать одежду, пищу... И нет бояр... И все счастливы».

Волы увидели впереди озерцо и прибавили шагу, почти побежали, мотая головами, роняя слюну на землю.

БЕДЫ

Беда родит беду.

Сначала гадюка укусила полбвого¹. Евсей едва отходил его, высасывая из раны яд.

Потом заболел огромный черный вол. На ноге у него появилась бряклая опухоль. Он не мог больше идти. Запасенной еще в Киеве конской челюстью с зубами Евсей проколол опухоль, и волу сразу полегчало, а на другой день он даже встал. Еще через трое суток вепрь бросился на круторогого белана, распорол ему брюхо; Трофиму Киньска Шерсть, защищавшему вола топором, вепрь повредил ногу.

Ивашка был как раз неподалеку, у выпаса, прибежал на крик, но вепрь уже исчез, а Трофим обливался кровью, и ему надо было немедленно перевязать рану.

Потом подрались Петро и Лучка Стрыгин. Когда Евсей стал разбираться из-за чего, выяснилось, что Лучка пытался украсть у Корнея деньги, а Петро изобличил его. Стрыгин каялся, но решение атамана было неумолимо: Евсей отправил его назад, в Киев. Валке не пужны были грязные руки.

¹ Желтоватый вол.

Филька ходил убитый: его честная душа не могла мириться с воровством, но и Стрыгина было жаль.

Возле седьмой переправы через Днепр случилась новая беда: непонятной болезнью заболел Корней Барабаш. Лежал, как вялая рыба, жаловался на слабость в ногах-колодах...

— Вроде б шкура у меня отстала, как у вербы по весне.

Началось все, видно, с того, что в пекло напился Барабаш ледяной воды из колодца. Разметавшись на возу, Корней бормотал:

— На языке дюже сухо... — Просил, чтобы наземь его положили. — На ней легче... А сами идите дале. Не возитесь со мной, идите!

Евсей собрал артель на совет.

Мрачный Тихон Стягаило — обычно молчаливый, только и говоривший что со своими волами и, казалось, у них перенявший взгляд исподлобья — угрюмо изрек:

— Чего ж всей валке стоять... Может, месяц... одного ждать? Оставим ему харч. Подымется — догонит. Или кто проезжать будет назад, до Киева...

Но тут Петро закричал громче всех:

— А завтра тебя кинем! Это артельство? — И поглядел на Евсея: — Как, ватаман?

Все выжидающе уставились на Бовкуна. Он сказал:

— Не по совести — бросать...

И Филька даже подскочил от радости:

— Не по совести!

Решили оставаться возле Корнея, кунно лечить его.

Давали настой полыни «до грома рваной», от кашля — толченую кору груши. Намазывали пятки и хребтицу чесноком и салом, жаренным на огне.

А Корнею становилось все хуже — он начал бредить.

...Увидел себя в избе отца-гончара. В подворье — горн, мазанка для сушки сырых мисок, горшков. И в избе всюду сушится глина: на гончарном круге, на лавках. От сырости сделались скользкими стены. Одежда пропиталась липкой жижей. Ставя маленький крестик на кувшине, отец, усмехаясь, говорит: «Бабы просят. Чтoб ведьмы молоко не портили».

Потом вроде бы в избе оказалось множество птиц: был Корней страстным птицеловом.

Закуковала зозуля-вдовица. Сказывают, то жинка убила своего мужа и обратилась в зозулю. С тех пор она скитается по лесам...

А скоро, на Семена¹, черт начнет воробьев мерить. Насыплет их в мерку с верхом и побежит в гору. Те, что в мерке останутся, — те ему. А что рассыплются — на расплод. Вот и

¹ 1 сентября.

кучатся воробьи на Семена — держат совет, как наши артельщики: оставить его, Корнея, или всем ждать.

А что — не хуже птиц решили... Журавли не бросят хворого — крыльями подхватят и понесут, полетят стайей дале. А в супружестве, если кто у них провинился, собираются стайей и убивают носами провинца. Долб-долб в голову.... Ох, голова на куски рвется...

— Евсей! — позвал Корней.

Тот подошел, с состраданием поглядел на ввалившиеся щетки, измученные глаза Корнея. Нет, видно, не жилец он.

— Отхожу я...

— Ничего, сдюжишь, — попытался приободрить Евсей.

Но Барабаш строго сказал:

— Отхожу... Отцу-матери передай... в торбе у меня... гривна... Думал... поднакоплю еще, оженюсь...

Корней прикрыл глаза, с трудом поднял веки в последний раз:

— Не довелось...

Завыл Серко, надрывая сердце. Взревели, отказываясь пить воду, волю.

Корнея умыли, причесали. Петро надел на него чистую рубашку, покрыл лицо рушником, вышитым Корнеевой невестой в дорогу. Подумал: «Может, и мой рушник вот так пригодится».

Возле переправы вырыли неглубокую могилу. Опустили в нее — головой в сторону Киева — Корнея, обернутого рогожей. И у Днепра вырос еще один земляной горб — мало ль людей полегло костями в степи.

В середине вересня¹ Евсеев обоз прошел последний брод через Днепр и с удивлением воззрелся на табуны белых верблюдов, на синеющие вдали горы.

В балку заходить не стали: в эту пору там прятались гадюки.

Становище, как обычно, раскинули на бугре, обнеся его заслоном из мажар.

Солнце еще не село, но волю притомились, а предстояли два последних перегона к соляным коням, и потому решили вволю отдохнуть.

Пока варился кулеш², Евсей взялся починить колесо у Петровой мажи, а Ивашка обучал хитростям Серко: клал ему на нос хрящик и заставлял тот хрящик не трогать, раньше чем не закончит рассказывать ему присказку.

Тихий осенний день навевал Евсею неторопливые мысли.

Летели по ветру и исчезали паутинки — строили себе ведьмы лестницы на небо.

Сколько все же позади осталось селений, болот, переправ — несть им числа! Выверая путь звездами, могилами, солнцем, ветром, пробирались они вдоль Ворсклы до речки Берестоватой и к Конским водам. Бесконечной чередой проходили селения Приют, Воронье, Пески, Кочерыжки, Чернобыль, Нечолюбко... И речки, реки: Ирпень, Терновка, Волчья, Самоткань, Синьвода, Молочная...

Неспроста в старой песне поется, что с устья Днепра до вершины его семь сот речек да еще четыре.

А как широко раскрывал глаза Ивашка, оглядывая Ненасытский порог Днепра, где против камня Богатырь убили когда-то печенеги Святослава.

Как немел от удивления, видя стадо лосей — может, с тысячу, — переплывающее через реку Тетерев.

Жался от страха к отцу, слыша, как где-то в глубине чащи, окаймляющей шлях, продирались со свирепым треском дикие кабаны. И вовсе цепенел, заприметив в высоких бурьянах желтовато-серого змея-полоса толщиной в руку, длиной в три шага. Под рекой Мертвой такой полоз поднялся было в человеческий рост, да Тихон Стягаило рассек топором поганую голову.

Лихо половецкое нагрянуло перед самым заходом солнца.

Первым увидел вражин Зотка Носов. Он стоял на бугре и только крикнул: «Половцы!» — как стрела сразила его.

С гиком и улюлюканьем всадников сорок мчалось на табор, пустив впереди себя тучу стрел. Это, видно, были остатки какой-то орды.

Евсей успел расставить лучников внизу, у щелей между мажар, и лучники выбили из седел с полдюжины половцев, сам же, взяв с собой Нестерку, Герасима Не-рыдай-мене-маты и Осташку Хохрю, пополз густой травой в обход степнякам. Один из них, вырвавшись вперед, поравнялся с Филькой, бросился на него. Они покатались по траве. Ловкий, гибкий Филька вывернулся было, но силы оказались неравными, половец снова дотянулся руками до Филькиного горла.

Выскочив из-за мажар, Петро ударом топора прикончил половца, и тот отвалился от мертвого Фильки.

Ивашка ящеркой подполз к другу, всхлипывая, схватил его лук. Сгиснув зубы, стал посылать стрелы в сторону врага.

Верно, неспроста говорил еще в Киеве Филька, смеясь, что пропитан лук дымом травы-колючки, чтобы метко стрелял. Ивашка угодил в спину убежавшего половца, и тот упал.

Вооруженные кривыми ножами на длинных древках, Евсей и его небольшой отряд, проделав обходной путь, подкрались к

¹ Вересень — сентябрь.

² Кулеш — жидкая каша из пшенной муки с нежирным салом.

половцам сзади и стали перерезать сухожилия коням. Иные всадики, соскочив на землю, бросились в рукопашную схватку, другие, смешавшись, немного отступили.

Подоспевший к своим Петро, широко размахивая топором на длинном держаке, неистово крушил врагов. Но вот к нему подкрался пенный половец. Пригнувшись, оскалив зубы, он занес кривой нож над головой. Петро случайно обернулся; обманным движением половец заставил его открыться и нанес удар: страшная рана расплосовала правую ногу Петро ниже колена.

Пришли на подмогу Иван Солонина, Трофим Киньска Шерсть и еще несколько молодцов, выскочивших из-за мажар.

Половцы дрогнули и отступили вовсе.

Победно закричал Горластый, взлетев на дышло.

Быстро темнело. Евсей начал переключку. Кроме Зотки и Фильки, погибли от руки половцев оба брата Не-рыдай-менематы. Да и сам Евсей был легко ранен.

Бовкун всю ночь просидел возле Петро. Горькие думы одолевали Евсея. Доколе ж будет стоять неумолчный плач над Русью? Он вспомнил, как погибла от руки половцев Алена, каким осиротелым возвратился он в Киев...

Брел тогда в кромешной тьме, а из чьей-то избы, как стон, просачивалась тоскливая песня, рвала на части сердце:

Злые половцы — волки лютые,
Раздирают тело, разносят кости.
Убивается мать по своим детям,
Уведенным в полон, побитым...

Застонал нутужно Петро. Вчера у него нещадно болел зуб — света из-за него не видел. И Евсей затолкал ему в дупло зуба корень травы, сверху заклеил зуб глиной. Сейчас та крохотная боль отступила перед великой, словно бы заглушенная ею.

Наутро нога Петро опухла и почернела. Евсей только посмотрел и понял: если не отсесть ее — погибнет человек.

Петро был в беспамятстве. Заострившееся, с впалыми щеками, лицо его стало похоже на лицо Корнея в последние часы. Надо решаться. Евсей приказал напоить Петро густым отваром мака, чтобы крепче уснул. Наточил нож так, что лезвие его пересекало волосинку, прокипятил в котле; подстелил под Петро чистую холстину; приказав принести ключевой воды и ремни, перетянул раненую ногу. Потом из заветного лекарского ларца, где были высушенные тертые тараканы от водянки, Евсей достал траву, останавливающую кровь, осторожно положил ее рядом.

...Пришел в себя Петро уже на возу, когда подъезжали к соляным копиям. Поглядел на укороченную ногу. Разве надобен он такой Фросе? Зачем к ней возвращаться? Молча зарыдал и снова забылся в бреду.

Ему привиделась весенняя улица на Подоле. Светит яркое солнце, весело чирикают воробьи.

Фрося стоит у ворот своей избы, зовет ласково: «Иди ко мне, суженый».

А он двинуться с места не может, лежит обрубком на дороге, в пыли.

Фрося просит: «Дай мне рушник».

А у него и рук нет...

И тогда взмолился, чтобы земля его приняла, скрыла от глаз Фроси...

РУШНИКОВЫЙ КУТ

Анна затосковала: от брата и отца не было вестей. Она не могла найти себе места, пыталась работой — и у себя, и в избе тетки Марьи — заглушить непроходящую тревогу, но это плохо ей удавалось.

Марья, видя, как мучается девчонка, старалась быть с ней поласковее, отвлечь ее песней да рассказами.

Вот и сегодня. Утро воскресное. Анфим занят своими камнями в хорамах Путяты, малявки еще спят, и Марья, накормив Анну, начала очередной рассказ:

— Мать еще моей матери сказывала: гуляли как-то девчата за болотом да увидали цветок — крин, ну сущий снег белый. Одна дивчина и сорви его, да в той же миг сама обратилась в кринуцу, потекла ключевой водой-потоком...

Голос Марьи — тихий, грудной, рукой она ласково поглаживает русые волосы Анны. Наверно, у Криницы такие были.

— Мать у девы Криницы — Земля, брат — Камень, а дочь родилась — Вода. У нас, скажу тебе, когда корова была, я вечерней зарей несую тайком к кринуце ломоть хлеба, опущу его в ключ да говорю: «Добривечер, Криница! Прймай хлеб-солы! Дай нам водицы на добро, чтоб у скотины молока было боле». А на утренней зорьке зачерпну кринучной воды со вчерашним хлебом и несую домой — скотине...

Анна слушает не очень внимательно: видно, свои мысли одолевают.

— А молока корова стала боле давать? — спрашивает она, лишь бы разговор не иссяк.

Марье бы сказать правду: «Не боле!» — да жаль у дитя сказку отнимать:

— Рёки!

Она тревожно посматривает на девочку:

— Ты бы, Аннуся, сбегала на Торг. На рушники поглядела. Анна оживает:

— И впрямь погляжу. За Милицей и Федоской зайду...

— Пойди, пойди... Только уговор: к полудни будь, а то я забеспокоюсь.

Торг шумный, великий, чего тут только нет: оси и луковицы, деготь и косы с клеймом-подковой, тарань и размалеванные горшки, сапоги и буряки.

Вот всклокоченный мужичишка вскочил на мажу, насадил баранью шапку на палку и, вертя ею над головой, закричал, надрывая кадык:

— Эй, миряне, сходитесь, сходитесь ради послухи! Воловоды, шильники, мыльники, селяне, городяне, торговцы, покупцы, проезжие, прохожие — сходитесь, сходитесь! Я шось скажу!

Оказывается, всего-то и дела — продает на мясо старого, беззубого вола, лет пятнадцати от роду. Тот стоит понуро, с рога его свисает веревка, хотя никуда не собирается бежать.

— Гречаники, кому гречаники! — надывается баба в желтой обувке.

Гундосят бродячие нищуну у бандуры: одна струна гудит, другая приговаривает. Голит обросших брадобрей. Жарят торговки рыбу на сковородах. Снимают под возами семьи. Низкорослый отрок прилип к высокому:

— Чо дражнишь?

Длинноусый нескладный киянин, пошатываясь, объясняет:

— Я его еще не вдарил, а он кричит, что уже опух.

Мальчонка с оттопыренными щеками дует что есть сил в глиняную свистульку, похожую на барашка.

Но все это — даже качели! — мимо, мимо. Анна с подружками, ныряя под локти, пробирается в кут, где выставлены вышитые рушники. Здесь полным-полно модниц. На них сапожки алого сафьяна, белоснежные сорочки с красной лентой, продетой в ворот, платки так завязаны на голове узлом, что спереди часть волос открыта, а заплетенные косы свободно свисают на плечи.

Анна тоже отпускает косы... Вчера угорела немного, пришлось голову квасом помыть — помогло.

Ой, да какие ж под навесом рушники! И почти на каждом круг — солнце!

Есть простенькие — рукотеры. Их в свадьбу на колени гостям кладут. А вот рушник-накрючник длиной в семь шагов — им богатые украшают стены хат и двери к свадьбе. Рядом — совсем крохотный рушник, такой набрасывают на спинку праздничных саней. Без рушников никуда! Их дарят гостям, сваты повязывают рушники через плечо, ими обертывают каравай, перевивают дугу.

Рушниками убирают святой угол, связывают жепиха и

невесту, накрывают стол; их вывешивают над окном, а то и на угол хаты — подают знак прохожим: мол, в доме покойник. А когда душа его прилетит — умоется росой, утрется заготовленным рушником, тем самым, на котором гроб несли и в могилу опускали. Когда же молодича помирает, крест тоже рушником перевязывают, а потом отдают тот рушник церкви.

«Разве можно девку замуж выдать, коли нет у нее, самое малое, сотни рушников? Это голь беспросветная замуж идет — рушников в обрез», — сказала как-то купецкая дочь Аграфена своей подруге, а Анна слышала тот разговор.

Вот сейчас Аграфена (брови насурмила, щеки красным корнем нарумянила) вцепилась в рушник с узорным ткаем, с маками, бахромой и продернутой лентой — не оторвешь. А ее подруга держит убрус¹ с вышитыми концами — не наглядится.

Анна впиалась глазами в хоровод рушников, стараясь запомнить, какие как расшиты, какие с мережкой.

Она и сама уже пробовала вышивать: возвратятся отец с Ивашкой — а им подарок. Когда приедут, непременно испечет пироги с гречневой кашей, положит их на расшитые рушники — милости прошу к столу!

Кто-то положил руку на Аннино плечо, она обернулась:

— Фрося!

Та была бледной, встревоженной. Одета, как всегда, чисто, приглядно: длинная сорочка из белого холста с кумачовыми наплечниками и «со станом», вышитым шнурками. Рукава собраны в кисти широкой цветной лентой. У подола панёвы² — узорная кайма. Вот как надо даже бедной девушке за собой следить.

— Добридень, Аннусь, — печально сказала Фрося. — Ты как верба: ее поливают, а она растет. Вестей от отца нет ли? — посмотрела, выпытывая.

— Нет...

— На сердце — камень, — грустно пожаловалась Фрося. — Чую, беда там...

Анна не нашла что ответить. В ее сердце опять прокралась тревога.

Фрося улыбнулась ободряюще, словно сама себя успокаивала:

— А может, все и ладно?

И Анне стало еще тревожней.

Подбежали девчонки, потащили Анну:

— Айда купаться!

Припустил слепой дождь — словно из солнечного сита.

¹ Убрус — полотенце, им повязывают голову.

² Панева — подобие юбки.

А девчонкам только того и надо — они заплясали по лужам, запели:

Щедрик-ведрик, дай вареник!

Другие, перебивая, зачастили скороговоркой:

Дождику, дождику,
Сварю тебе борщику,
В новеньком горшке
Поставлю на дубке.

Взрослые дивчины еще не принимали Анну и ее подруг петь веснянки, так они хоть здесь отпляшут свое, отпоют. И Анна пуще всех топчет лужи. Неспроста мать когда-то ей говорила: «Скачешь, как дурна коза».

Дождь прошел, и над Киевом выгнулась покатым мостом семицветная радуга, одним концом ушла в Днепр, словно вытягивая из него прохладу. На ветвях деревьев повисли хрустальные дождевые бусинки. Небо покрылось редкими белыми облачками: верно, там пекли хлебы.

Анна незаметно сорвала полынь еще в каплях дождя, зажала в кулаке. Когда будет плавать, может, русалка выскочит, чтоб зацекотать до смерти, спросит: «Что ты варила?» А Анна ответит: «Щи да полынь!» Покажет полынь и крикнет: «А сама ты изгни!»

Нет, и купаться идти не хочется. Что там с отцом и братиком? Может, подкралось половецкое лихо? Так бы и полетела к ним на крыльях.

Анна медленно пошла к дому. На пригорке стояла под густым, развесистым ясенем, погладила его темно-серую кору. Под этим деревом, похожим на тучу, она не однажды сидела с братом, выпытывая, правда ли, что змея не выносит запаха ясеня, цепенеет от него.

Где-то сейчас братик и отец? Где?

У СОЛЯНЫХ ОЗЕР

Соляные озера разбросаны по берегу Гнилого моря¹. Круглое, Червоное, Долгое — всего пятьдесят шесть озер...

Они кажутся мертвыми, тусклыми льдинами у берега и даже далеко от него. Когда в конце мая солнце пригревает сильнее, морская вода из озер испаряется, и они покрываются соляной коркой — близ берега потоньше, ярко-розовой, а дальше — толще и бледнее.

Ивашка не сразу понял, что это и есть долгожданная соль, — так ее здесь было много.

¹ Сиваш.

Какие-то люди в задубевшей одежде, с дощечками, подвязанными к подошвам¹, и в грубых рукавицах набирали лопатами ил с солью в тачки и по сходням везли на берег, складывали там в длинные соляные скирды — каганы² длиной шагов в тридцать, шириной в шесть и локтей в пять высотой.

«Будто стены Киева», — подумал Ивашка, глядя, как скирду обжигали хворостом и соломой, чтобы ее не попортил, не размыл дождь.

От другой скирды, рядом, двое добытчиков топором отбивали куски слежавшейся, обожженной соли.

Но Евсей знал, что эта самосадочная соль «не солкая», а дорогая и надо проехать подальше, к Соляным ключам. Там пришлые артели рыли колодцы, черпали из них рассол и, вылив его в котлы или железные сковороды, добывали белую горьковатую соль, продавали ее лукошками, кадиями, пузами³.

К полудню киевская валка достигла этих варниц на реке, возле устья.

Вместе с отцом Ивашка подошел к колодцу, где работал водолив. Рядом с ним лежали копьё и топор. Видно, и здесь лихо гуляло неподалеку.

Бадья, на таком же, как и у них, в Киеве, журавле, поднимала рассол наверх, откуда его выливали в деревянный желоб, идущий в варницу. Варница была сделана из сосновых бревен — рядов двадцать пять вверх.

Бовкун с сыном зашли в нее. В центре варницы сооружена печь — глубокая яма, выложенная камнем. От едкого дыма, соляных паров нечем дышать. Не иначе, в аду все точь-в-точь так.

Над ямой в подвешенном железном ящике кипятился соляной раствор.

Какой-то кривоногий человек — позже Ивашка узнал, что его зовут варничным поваром, — то и дело подкладывал под ящик дрова, другой — худой, в обносках — шуровал шестом, пробуя, начинает ли густеть соль. Рядом, на помосте, сушилась уже вываренная соль.

Евсей подошел ближе к солевару, снял шапку:

— Добридень. Принимайте киевскую валку.

— О-о, земляки! У нас есть из-под Ирпеня, — вытащив мешалку, радостно откликнулся варничный повар, заросший до глаз седой щетиной. — Артель сбивать?

— Нет, мы гости-купцы, — усмехнулся Бовкун. — А сколько вас в артели?

¹ Соляной раствор — тузлук — разъедал кожу до ран.

² В кагане было до десяти пудов соли.

³ Трехпудовый мешок из рогожи.

— Считай, у каждой варницы восемь рабочих: подварок, четыре водослива рассол таскают да еще дровозы. А у нас три варницы.

— Что за люд?

— Все больше бездворные, беспашные, кабальники, бобыли... Пришлый люд... Каждый хочет бадьей счастье выловить.

— Его выловишь! Ты ватаман, что ль?

— Да вроде б меня люди так называли.— Прищурил смеющиеся глаза.— Был бы лес, а леший найдется...

— Тогда давай, ватаман, рядиться. Кожи у нас есть, крупы, мед. А еще прихватили — может, понадобятся — холстины, чеботы...

Варничный повар снял рукавицы, провел рукой по волосам на голове, словно выжал пот из них.

— Ну-кась пойдём в тёнек, пообсудим,— предложил он.

Они долго рядились — Евсей советовался со своими, атаман солеваров — со своими, наконец договорились, а под вечер все собрались на луговине, под горкой, вместе готовили кашу, хлебали ее из одного котла.

Уже в сумерках рябой, с красной кожей лица солевар — атаман назвал его Микифором — сказал угрюмо Евсею:

— Что у нас под Ирпенем, что у вас в Киеве — нашему брату горькая жисть... Душат бояре, воеводы, дыхнуть не дают.

Вместо Евсея задумчиво ответил атаман добытчиков соли:

— Как им не душить, коли не научились мы стоять друг за друга...

— Это верно,— подтвердил пожилой солевар с детски простодушными синими глазами,— всяк Демид стороной поровит... Недавень у нас под Новгородом сотский — злая собака — вдарил мово соседа Антипа Ломаку за то, что тот к сроку долг не возвратил... Шесть зубов выбил... А я только кулаки сжал... да вот сюда подался...

— Хлеба нема, дети мрут! — гневно выкрикнул рябой.— Всюду, по всей Руси.

Загалдели разом несколько голосов:

— Сами мед пьют, а нам шиш дают...

— Чтоб над ними солнце не всходило!..

— Босы, наги, да зато лычком подпоясаны!

— А здесь еще дань кагану плати, чтобы не трогал.

— Хуже некуда...

Этот разговор еще больше растравил Евсею душу. Он долго не мог заснуть, ворочался с боку на бок. Где же тот Солнцеград? Видно, людям с мозолями на руках по всей Руси худо. И как тот подлый порядок сменить — неведомо.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Уже проехал на своих пегих волах сентябрь, уже вступал на побуревшую степь грязник¹, сбивая в кучи стрепетов и дроф, когда валка Евсева двинулась по сырому пути обратно.

Все чаще дул колкий ветер-бурей, вовсе озверели белые кусачие мухи.

Над головой, трубно курлыкая, пролетели на юг журавлиные косяки, быстрым облаком исчезли стаи ласточек, протянулись дуги гусей. Вслед им прорезали блеклое небо степные луны, черные и красные коршуны, лебеди. Только домоседы-жаворонки никуда не спешили.

Потом, расквашивая дорогу, полили сплошные дожди.

Просмоленная одежда спасала людей от сырости, а вот волов дожди мучили: мокрое ярмо до крови натирало им шеи, приходилось все чаще делать привалы.

В таких случаях люди забирались под возы, укрытые рогожами, просмоленными шкурами, и, прислушиваясь к унылому постукиванию капель, вели, вздыхая, разговоры, что вот, мол, в Киевщине уж и отмолотились, и капусту порубили...

Один лишь Ивашка решался делать налеты на грибные владения, притаскивал — отцовское обучение — мясистые красноватые рыжики, вольницы в желто-бурых шапках, покрытые ржавыми пятнами опенки, что растут на гнилых пнях, а то и жир земли — маслята. Ходил Ивашка теперь в лаптях, наворачив на каждую ногу по две-три онучи, поверх пускал в переплет оборы, и никакие лужи, грязь не были ему страшны: только знай на привалах у костра подсушивай обувку.

Лапти плести научил Ивашку отец еще дома. Они вместе драли с молоденьких лип лыки длиной в два шага. Потом размачивали их в теплой воде, подрезали полосы до нужной ширины и по колоде плели в десять строк железными крючками — коточиками. А подошву прочнее прочного свивали из веревок. Отец усмехался: «Черт за три года лучше не сплетет».

В один из дождливых дней, когда все попрятались под мажары, Ивашка напомнил:

— Тятъ, ты обещал поведать о лазутчике Васильке...

Отец огладил усы.

— Ну что ж, послушай.— И стал рассказывать историю страшного мальчонки, что пробрался через печенежский лагерь к воеводе Претичу, позвал его на помощь осажденному Киеву.

Ивашка слушает, затаив дыхание. Он видит себя свершающим подвиг.

Это он, а не Василек, переодевшись в печенежскую одежду, подмазав головешкой края глаз, сделав их раскосыми, ползет по

¹ Октябрь.

кошачьей траве — пахучему валерьяну — в стан врага. Он, а не Василек обманывает печенежского князя Курю, прикинувшись дурачком с уздой в руке, разыскивающим чалого коня.

Это он плывет под водой, держа в зубах полую тростинку; дыша через нее, он — раненный вражеской стрелой, истекающий кровью — добирается до своих.

Отец уже закончил рассказ, а Ивашка все сидит как заворуженный и видит: вот погнались вои Претича печенегов, вот освободили Киев.

...Дождь еще сильнее забарабанил по кожах на возах, видно, заладил надолго.

— Черт жинку бьет и дочку замуж выдает, — пробормотал Петро, но шутка получилась у него мрачной.

Он сидит безучастный, хмурый, вытянув обрубок ноги, думает свою невеселую думу. Наверно, даже не слышал рассказа Евсея.

Сидит какой-то потухший, лицо, как серый ковыль-тырса. Решает свою судьбу, тяжело ему, видно.

— Я в Киев не вернусь, — вдруг говорит он тихо Евсею.

— Это ты недоброе надумал... А отец с матерью?

Петро колеблется: говорить ли? Сильные порывы ветра с размаху бросают на возы пригоршни дождя.

Нет, не станет говорить, что решил остаться в Ирпене — дядька, брат матери, там с семьей.

Денег немного есть, как-нибудь перебьется. А потом, когда Фрося выйдет замуж за другого, может, и возвратится. Нужен он ей такой калека, как собаке сапог. И нет иного выхода. Для кого-то другого, а не для него будет Фрося с подругами в пятницу, за два дня до венчания, печь каравай... Он глотнул жесткий ком, стоящий в горле.

— Неверно надумал, — настаивает Евсей, — вся жизнь у тебя впереди...

К утру дождь прошел, двинулись было дальше, да неожиданно подморозило, и неподкованные волю, заскользив по наледи, стали падать. Пришлось снова делать привал.

Но вот наконец и то место под Киевом, где когда-то сделали первую стоянку. Взгляду открылась гряда холмов на правом берегу Днепра.

Евсей остановил артель. Над Киевом вечернее небо было похоже на раскаленное железо в окалине. Призывно блестели купола Софии, словно торопили прибавить шаг.

Пахло привялым сеном, омытыми рекой травами. По водной глади то и дело проходили зеленовато-синие, розовые, серебристые тени.

Сердце дрогнуло: «Дóма!»

И этот дальний лес, расцвеченный осенью, и вербы по-над

Днепром — все входило в сердце, сладко обнимало его.

Край родимый! Дошли до тебя, вернулись. И словно бы еще целая жизнь осталась позади. Уже порос травой холмик над могилой Корнея, стали прахом Зотка, Филька, Нестерка, Герасим... Все же ушел в Ирпень Петро... Дорогой ценой достались возы с солью, что стоят на пороге ждущего их Киева.

— Переодевайся! — приказал атаман ватаге.

В Киев надо было въехать в лучших рубахах и портах, чтоб видели все, как умеют кияне возвращаться из тяжелого похода, не растеряв в дальних землях, на неведомых дорогах киянскую честь.

— Едут, едут! Наши едут! — кричали мальчишки, бросив надутый бычий пузырь, что гоняли ногами, и сбегаясь со всех сторон. Они восторженно глядели на прокаленное солнцем лицо Ивашки, на то, как степенно шагал он.

Валка шла посередине улицы. Радостно ревели волю. Исступленно лаяли собаки всего Подола, встречая своего собрата Серко, победно шныряющего вдоль обоза. Орал пивень, взывая к петушину племени, и оно не оставалось в долгу.

На улицу высыпали и стар и млад.

— Евсеева валка вернулась! — прикладывая ладонь к уху соседки, прокричала старица старице. — Соль Киеву привезли!

Да, везем, везем тебе, Киев, соль! Ни одного зернышка ее не просыпали паземь в пути. Кому же захочется на том свете собирать их в наказание ресницами, пока не хлынет кровь из глаз?

Нет, ни солиночки не просыпали.

Седой как лушь шорник Демид почтительно спросил у Бовкуна:

— В добром здравии? — И, узнав, что в добром, торжественно добавил: — С сегодняшним днем проздравляем! Соли честь воздаем!

Навстречу валке бежала что есть силы Анна, повисла на шее у отца. Марья приветливо помахала им рукой от калитки.

Анна кинулась к Ивашке.

— Братыку! — заговорила звонкой скороговоркой, семена рядом. — Я ж рада, я ж рада... А дядя Анфим все в путятских хорамах... Так я побегу щи сварю... Сала кусочек поберегла...

— Ты теки до дому, — разрешил Евсей сыну. — А я возы поставлю во дворе Путяты и тоже приду. — Он подтолкнул дочь: — Ивашка тебе подарки покажет. Теките! — Сунул какой-то сверток сыну.

Анна не знала, какая радость ее ждет: червонный поясок и сережки!

Фрося стояла у плетня своей хаты ни жива ни мертва, напряженно вглядываясь в обоз. Потом не выдержала, рванулась к Евсею:

— А Петро?
С ужасом смотрела широко раскрытыми глазами на Евсея, руки к груди прижала:

— Погиб?

Он отвел ее в сторону, рассказал, как было.

— В Ирпене остался...

Фрося стояла, словно оглушенная. Придя в себя, прошептала:

— Завтра ж туда поеду. На коленях умолять буду, привезу его.

Евсей одобрил:

— Привези, доченька, глупой он...

Раздался душераздирающий крик — заскребла землю пальцами мать Нестерки и Герасима, запричитала:

— Сыночки мои, голубочки, да вже сонечко за лесом, а вас все нет... Я ли вас не любила, грубым словечком не сгубила. А теперь никогда мне вас не видывать... Голосу-то вашего не слыхивать.

Возы потянулись на Гору. Мог бы Евсей остановить их у своего двора, припрятать ночью куль с солью, да разве разрешит себе такое? Нет, ни щепотки ее не утаит, ни гривны не спрячет. Честно рассчитается с ватагой, с Путяткой, отдаст ему долг, купит волов, а там, гляди, собьет новую валку, уже сам, без тысяцкого да князя, и поедет на Дон за сушеной рыбой.

Путята встретил Евсея шумливо, ласково, только что не обнимал:

— Ну, дождались, дождались! Я ж, клянусь богом, сказывал князю: «Бовкун огонь и воду минет!» Ну, везите соль на склад: на ночь запрем, а завтра с утра и сочтемся. Все полюбовно, все по совести... Крест святой!

На следующее утро Евсей вышел из хаты спозаранку. Анне и Ивашке разрешил еще поспать: их головы мирно покоились рядом на круглом узком валике.

«Пусть позорюют, — подумал тепло о детях, — может, теперь кончатся их невзгоды, худая одежда и бессолье».

И впрямь рассудить: чем они хуже Путятовой дочки?

За какие грехи родителей должны быть в ответе?

Разве только за то, что появились на свет не в хоромах, а в землянке?

Птичка-«соседка» накликала чиликаньем первый снег. Стояло тихое предзимье.

«Надобно с надворья обить дверь соломой, прижать дубьем, — решил Евсей. — Аннуська молодчина, уже заготовила для топки сухой бурьян и камыш, сделала из сушеного помета котяхи. Вишь, перед сенями рогожку даже положила, грязь с ног вытирать».

Настроение у Бовкуна было хорошее, как у человека, честно исполнившего свой долг. Он шел в гору широким шагом, миновал Прорезную, Кияновскую улицы и в какой уже раз прикидывал, как распорядится заработком, заживет вольным человеком.

Путята заставил себя ждать долго. Потом позвал в гридню. Был он сегодня хмур, глядел исподлобья — словно подменили человека. Наконец спросил зло:

— А волов-то сколь в пути оставил?

Евсей посмотрел удивленно:

— Трех... Один от стрелы половецкой пал, другого вепрь одолел, а третий издох, сами не ведаем отчего.

У Путяты запрыгали скулы, пальцы сжались в кулак:

— Не ведаешь? Волов загублять — так ведаешь! А может, ты их, черна душа, продал? Теперь будешь отрабатывать! Не то в холопы продам!

Кровь кинулась в лицо Евсея. Прижав подбородок к груди, он пошел на Путяту, хрипя:

— Это я-то — черна душа? За тобой, злыднем, света не видно!

Путята позвал:

— Стража!

Будто из-под земли выросли дружинники.

— В поруб обманщика! Меня убить хотел...

Евсею скрутили руки, поволокли куда-то. Он успел только крикнуть тысяцкому:

— Погоди, за все ответишь! За все!

Ему забили рот кляпом, пиная, повели через двор.

ГОРЬКИЙ ПРАЗДНИК АНФИМА

Анфим так увлекся работой, что потерял счет дням. Мастерская, в которую он перенес свой немудреный гранильный станок, деревянные круги для полировки, пилки, сверла, резцы, была небольшой, но с двумя оконцами, затянутыми слюдой. Анфим, привыкший к тому, что дома оконца на ночь задвигались досками, подивился такой роскоши.

Было великим наслаждением давать жизнь тусклому, серому камню, через пленку железа, марганца добираться до его сияющей души. И тогда камень, прежде казавшийся мертвым, оживал, сам рассказывал о тьме веков, из которой пришел, о тайне и совершенстве природы. Он играл сначала робко, переменчиво, как ночные светляки, то выбрасывая свои чистые лучики, то вбирая их. Потом вдруг свет победно вырывался на свободу: фиолетовый — из аметиста, вишневый, жаркий — из альмандина, золотистый, в чешуйках железного блеска, — из солнеч-

ного камня. Краски живых цветов и цвета пустыни... Желтый — веселый, как огонек лучины у них в избе в зимний вечер. Мягкий зеленый — похож на глаза его дочерей. Для каждого камня, чтобы он заговорил, надо было избрать свою особую огранку. В детстве отец учил Анфима распознавать природу камня, его твердость, цвет, блеск.

Блеск бывал то жирным, то восковым, то шелковичным, то смолистым.

Переливы, похожие на тигровые и кошачьи глаза, заставляли сердце биться учащенной.

Отец никогда не называл камни драгоценностями, а только самоцветами. Анфим теперь понимал его. Да, это были лучики света, пробившиеся из тысячелетий. Он никогда не думал о камне, как о несметном богатстве. Как волновался он мальчишкой, делая первые пробы под неусыпным взглядом отца. Одно неловкое движение — и надрез, и стерта грань, и нет нужного угла, и все испорчено.

Но у юнца оказалась легкая рука. Движения его были точны и ловки, он научился обнаруживать в камне малейшую трещинку, муть, пузырек. Как музыкант или певец обладает слухом, так и Анфим обладал редкой способностью понимать камень, и это позволяло ему извлекать из самоцвета его то огненную, то нежную душу, добиваться красоты прозрачного, ровного, чистого тона.

Птаха вел с этим живым существом долгие разговоры: хвалил его, корил, поощрял, сердился.

Верил ли Анфим рассказам отца, что аметист спасает от пьяной браги, а изумруд — от морских бурь? Кто знает... Но собственными глазами видел, как янтарь притягивает соломинки, собственными ушами слышал, какой чистый, прекрасный голос у матового нефрита.

Пролетал месяц за месяцем, и наконец красавица шапка была готова. Переливы огней сплетались в яркие радуги, росные зори, звездные россыпи.

Тогда усталый, счастливый Птаха заснул здесь же, в мастерской, на полу, не ведая, что накликал великую беду на свою голову этим трижды проклятым венцом, что в подземелье, рядом, вот уже второй месяц, томится друг и сосед Евсей Бовкун, валяется в углу под сетью, сплетенной пауком.

СМЕРТЬ СВЯТОПОЛКА

Путяте не спалось — одолевали суетные мысли. Он пытался отогнать их молитвой, бормотал: «Спаси, господи, Мишку Путяту по неистощимому своему милосердию, очисти мя от грехов!..»

Но в голову лезли земные дела: непослушание непутевой дочки Забавы... обоз Евсея... венец, что делает Птаха.

С венцом князю он толко надумал. Святополк честолюбив. Почему же не возложить всенародно на его богоизбранную голову шапку-венец? У владык других земель есть свои обряды посвящения¹, на Руси венчали бармами.

Путята видел, как возлагали корону на голову византийского императора.

Тот вошел в храм через золотые врата. Тысячи огней отражались в соборной утвари. Читал над короной молитву патриарх: «Тебе, единому, царю человеков...» У дворца разбрасывали черни золотые и серебряные монеты.

С этим венцом придумано неплохо... Только бы не испоганил драгоценные камни Птаха.

Но к лицу ли великому властителю Руси и потомкам его носить на голове венец, сделанный руками какого-то презренного Птахи?

Надо пустить слух, что венец в сапфирах и изумрудах — необычный, что носил его сам вавилонский царь Навуходоносор и сотворен он богом, а доставили Святополку шапку византийские бесстрашные посланцы. Они шли степью через скопище змей, похожее на копны, воющее в зимнюю стужу. У ворот Вавилона венец охранял чудовищный змей с чешуей, аки волны морские. Через змея того на городскую стену была перекинута лестница. Змей удушил всех дерзких, только один, по имени Правда, добыл всенец, и вот теперь византийский император прислал его в Киев со словами: «Ты от Августа-кесаря род ведешь».

Чье сердце не затрепещет при виде подобного венца?! Руси надобно зная, а знаменем тем должен быть великий князь...

Да вот мало величия у этого ничтожного Святополка — больше воображает, чем соображает. Как баба, занимается своей внешностью: выщипывает брови, прикрывает плешивину накладкой из волос...

Но Путята считал выгодным для себя оставаться в княжеской тени, как считал выгодным быть в тени и при отце Святополка — Изяславе. Не всяк умеет извлекать для себя пользу, не бросаясь в глаза...

«Сделает Птаха венец — надобно будет приказать Свиблу придушить гранильщика», — решил Путята.

Постельничьему Свиблу он доверял самые тайные дела: подсыпать кому следует в пищу ядовитый порошок из высушенной черной ящерицы, накинуть кому надо петлю на шею и с камнем бросить в Днепр...

¹ У египтян фараона помазывали елеем, индийского раджу посыпали рисом, обводили вокруг священного огня.

«О господи, взываю к тебе, услышь мя, Мишку Путятю, вонми гласу моления моего...»

В сенях послышались быстрые шаги Свибла. Он открыл дверь, подошел к ложу. Тусклый свет лампы делал Свибла еще длиннее и сутулее обычного.

— Вночесь за Вышегородом¹ князь Святополк помер. Сердце разорвалось... — сказал он. — Ладьей в Киев привезли...

Путята резко вскочил на ноги. Первой мыслью его было: «Власть-то теперь кому? Можно подхватить ее, да не удержишь. Кто из князей потерпит его на престоле?» Он сам удивился внезапно вспыхнувшему желанию. Усмехнулся: «Силен бес любобначалия. А надобно благо плывучи помнить о буре. Да и не всегда власть у того, кто на престоле сидит. Почему не стать слугою третьего государя? Кому ни служи — лишь бы себе. Есть неглупая присказка: «Кто прост — тому бобровый хвост, а кто хитер — тому весь бобер». И опять замельтешила вроде бы пустячная в такой миг забота: «Венец Птахи можно попридержать для нового князя... чтоб оценил... Кто им будет? Не иначе Мономах».

Люто завидовал уму, силе Владимира, тому, что не однажды одолевал князь в бою половцев.

Покойник же был неумен, жаден без меры, даже Печерский монастырь ограбил, вывез оттуда соль, что нашел, и втридорога продал ее. Правда, нашентал ему то сделать сам Путята.

А как падох был на угодливое ласкательство, как поощрял наговорщиков, любил подкакивателей и похвальбу. Даже тем выхвалился, что у него, вишь, родимые пятна на груди разбросало, точь-в-точь как звезды Большой Медведицы. Видел в том особое знамение.

А у самого дури больше, чем звезд на небе: не пустил соль из Галича в Киев... С боярином Саввой Мордатом хватал недругов, языки каленым железом прижигал, выведывал, где соль припрятана. Виданное ли то дело: сам деньги в рост давал, с ним, своим тысяцким, вступил, сребролюбец, в долю, отправляя Евсея. Да наконец извел себя тайным пьянством, кот шкодливый: теперь весь Евсеев обоз — его, Путяты...

Святополк лежит на лавке в большой гридне. Путяте кажется, что князь притаился и сейчас вскочит, начнет обвинять собравшихся в измене, повелит одного бросить в поруб, другого удушить.

При жизни был он высок, сух, черноволос. Лицо можно было назвать даже красивым, если бы не темные пятна на нем. А сейчас лежит разбухший, с седыми прядями в бороде. Пятна на лице стали еще резче.

¹ 12 км севернее Киева.

Рядом убивается жена Ядрова — коротконогая толстуха.

«Притворяется,— недоверчиво смотрит на нее Путята,— нашла по ком слезы лить».

Была Ядрова дочерью половецкого хана Тугорткана. Взял ее Святополк в жены, когда бой проиграл и вынужден был купить мир.

Все в этой женщине теперь поблекло: волосы, лицо. Только глаза не поддавались времени, были еще живыми.

«Видно, к смерти князя в прошлый месяц было знамение на солнце¹: в час дня осталось его немного, в виде месяца книзу рогами,— думает тысяцкий,— а потом небо неспроста прочертила длинноволосая комета».

...Похороны Святополка устроили пышные. Родственники, бояре, слуги в черном платье, черных шапках несли гроб к монастырю.

Впереди гроба слуга вел княжьего коня, а Путята нес знамя. Вокруг — молчаливая, мрачная толпа оборванных нищих, калек.

Гроб поставили на помост, воткнули рядом копье князя. Ядрова, боязливо поглядывая на нищую толпу, начала разбрасывать богатую милостыню.

К Путяте протиснулся Свибл, прошептал на ухо:

— На Подоле шум в людях... Голь вече собрала. Того и жди всех сюда...

— Сзывай после похорон думцев в Софийский собор... Евтихия Беззубого, Капитона Жеребца... Астафия Цветного...

...Смышленные мужья собрались в задней, малой клетушке собора, они уже знали о том, что происходит на Подоле. Слышались тревожные возгласы:

— Голоколенники всех больших мужей перебьют...

— Восстанье немедля утишить надобно!

— Да поди удержи волка за уши!

— Погасим огонь, пока не перекинулся...

— Послать ко Владимиру, чтоб сел на дедов и отцов² стол!

Путята прекратил галдеж:

— Что надо? Звать князя Владимира! Поклониться: скорей иди на Киев, пока всех бояр не порушили, не разграбили...

С ним согласились, воистину надо немедля посылать гонца к Владимиру Мономаху в Переяславль. На этом сходились все до единого: позвать именно Владимира — сына Анны, дочери византийского императора Константина IX Мономаха. Не однажды был Владимир в лютых бранях с половцами, доходил

¹ Солнечное затмение 19 марта 1113 года.

² Отец Владимира Мономаха — Всеволод, дед — Ярослав Мудрый.

до моря Сурожского, завоевал половецкие города на Северском Донце, брал в плен за один раз по двадцать ханов, отеснял поганцев в степи Кавказа, за Железные врата, — в Обезы¹.

Еще позапрошлым годом, когда половцы стучали саблями в Золотые ворота Киева, Мономах не только отогнал их, но и взял ханскую столицу Шурукань². Эта весть быстрее птицы полетела к чехам, уграм³, ляхам, домчалась до Рима — о ней слышали все концы земли.

Да, именно Владимира Мономаха и надо звать.

— Он с митрополитом в любви, церкви украшает.

— Святительский сан уважает.

— Щит для нас...

— Слава русичей...

И впрямь, во всем мире его знали: дочь Марию выдал за Леона — сына греческого императора Романа Диогена. Дочь Евлампии в прошлом году — за угрского короля Коломана. Старший сын, Мстислав, был женат на дочери шведского короля — Христине.

Да, именно Мономах утихомирят чернь и не даст в обиду своих.

После совета думцев Путята в хоромах сказал Свиблу:

— Птаху-то ночью... — крутнул волосатыми пальцами, показывая, что именно надо сделать. — Жёнке его скажи: «Сбежал твой муж с камнями бесценными неведомо куда...»

Подумал с усмешкой: «И стала шапка вавилонской. Все, мастер! Только и поминки по тебе — вороний грай. Да и Евсея — властонавидца — пора кончать».

Свибл понятиливо кивнул.

Был он у тысяцкого не только постельничьим, но и проверщиком кушаний — не отравлены ли? Не раз подумывал: «Тебе б и впрямь подсыпать яду, пока меня в преисподнюю за собой не уволок».

Путяту возненавидел давно — еще в юные годы, когда тот, похваляясь, при гостях приказал слуге прижать ладонь с растопыренными пальцами к дереву, а сам издали стрелял из лука, и стрелы впивались меж пальцев Свибла.

...Ветер донес тревожный звон колокола. Путята нахмурился.

Свибл, вытянув длинную жилистую шею, напряженно прислушался, подумал: «Как бы не по наши души».

Покорно склонившись, вышел из горницы.

¹ Абхазия.

² В окрестностях нынешнего Харькова.

³ Венгры.

ГНЕВ ПРАВЕДНЫЙ

После возвращения Евсеевой валки давно прошли семь метелей с семью морозами, от которых трещали плетни; откатали снежных баб юные кияне, отыграли в снежки.

Потом на пролесках цветы лилового ряста сменили голубые колокольца, проковыляли по зеленым лугам стреноженные, отощавшие за зиму кони, и дед-пасечник, достав из погреба на пробу один улей, выставил его на солнце со словами: «Грейтесь, чада мои...» А там зашумел вербохлест, когда матери, купая в вербном отваре детей своих болезных, просили: «Дай тела на эти кости» — и девочки секли парубков лозой в белых барашках, приговаривая:

Верба хлест,
Бей до слез!
Будь здоровый,
Как вода,
А богатый,
Как земля!

Казалось бы, радоваться Ивашке и Анне приходу весны, а радости не было. Что с отцом? Вот уже сколько месяцев, как он исчез. И как жить дальше?

С осени морозы убили всю озимь. Бывало, в добрые годы вымахивала она — заяц мог укрыться. А ныне сердце у киян разрывалось глядеть.

Кто имел хлеб — придержал его, понимая, что впереди еще большой голод; цены на жито возросли почти в двадцать раз. Люди мерли, как мухи. Мыши днем с писком вылезали из подполья.

Ивашку и Анну спасали от голода артельщики Евсеевой валки. Им Путята выдал немного соли и жита, чтобы рты заткнуть. О Евсее же сказал:

— На власть руку поднял! В двух кулях на дне соль песком заменил... Отсидит свое.

Такое наговорить на Евсея!

Иван привез Евсеевым детям кадь муки, хотя у него самого были престарелые родители. Осташка — горстку соли. По секрету Хохря сказал Ивашке, что отец его сидит в дальнем углу Путятова двора, в подземелье.

— Тысяцкий-то спереду ласкает, а сзади кусает, — с горечью произнес он. — И замечь, хлопчения, пчела ужалит — гибнет; Путята ужалит — еще злее становится. Во лжи Киев погряз...

Ивашку не порадовал даже подарок Хохри — рыжий голубь с вихрами по обе стороны шеи, — не до него было.

Весной Ивашка сделал подкоп под стену Путятова двора, прополз на животе по бахромчатой траве-спорышу в дальний

угол. Издали увидел на каменном, врытом в землю погребе зеленую дверь с большим кольцом. Возле двери прохаживался стражник.

Ивашка притаился. «Как же батяню выручить от иродов? Как? — лихорадочно думал он. — Томится сейчас в подземелье».

Ивашка с необыкновенной ясностью увидел его лицо: пшеничные волосы в ушах, родинку-вишню чуть пониже правого уха. Даже голос его слышал. «Ты пёши идти можешь?» — спрашивал отец в дороге. «Ага». — «Что за агакало?» — усмехался он. А когда за миской со щами сидели, говорил укоризненно: «Не мляцкай жуючи!»

Подул сильный ветер — верно, зашабашили ведьмы на Лысой горе. Надо было пробираться назад, к подкопу, скрыть его.

Ивашка каждый день приползал к зеленой двери, все смотрел издали: может, стражник куда отлучится? Может, отца выведут?

Как-то зашел к ним в избу Петро, простучав костылями, сел на лавку.

Выслушав рассказ Ивашки, скрежетнул зубами:

— Жизни от них, кровопивцев, нету!

Долго сидел молча, тяжело уставившись в земляной пол. Наконец глухо сказал:

— Чтоб тому Путяте, псу смердящему, руки покорчило, грудь забило, чтоб он в старцах счастья не имел. — Перевел дыхание. — Сказал бы покрепче слово, да не хочу печь гневить...

Великое уважение к печи, как к живому существу, очагу, собирающему семью, глубоко сидело в каждом киянине: в ней — огонь, сама жизнь. Потому, когда приходили сваты к дивчине, она бросалась колупать печь-защитницу; потому, возвращаясь с похорон, клал киянин — чтобы очиститься — руку на печь. Печную золу относил на капустные грядки, подмешивал к воде для хворого, сыпал на рану; заболело горло, зубы — прикладывал щеку к углу печи; к ней же тулил и новорожденного телка. Он считал грехом садиться на печь, когда в ней пекся хлеб, гостю предоставлял самое почетное, «большое» место — возле печи.

Петро пошел к выходу. Еще не умолк стук костылей, как Анна заметила на лавке сверток: в красиво вышитый рушник было завернуто несколько черных лепешек — не иначе Фрося прислала.

В самый шум на Подольем торгу Ивашка оказался там.

Посадский человек Еремка Кулага — весь из хрящей и мослов — покупал соль у торговца Астафия и обнаружил в ней пепел.

— Кияне, — закричал Еремка с рыданием в голосе, — последнюю соль пеплом заменяют!

Сразу собралась толпа.

— Ты где соль брал? — наступал Еремка, и жилистая шея его вытягивалась, как у кочета. — Я с тебя душу вытряхну! Астафий оробел:

— Дак мне ее монах Прохор из Лавры продал. Вот не сойти с места.

— Все они за един!

— Дороговь день ото дня! К хлебу не подступишься!

— Сорочки на хребте нема!

— Живодеры! Последнюю корку изо рта рвут!

— Выжечь пакостные гнезда!

— Делатель с голода мрет!

Сквозь толпу на коне протиснулся сотник Виращ — правая рука Путяты, — строго спросил, наезжая на собравшихся:

— Эй-эй, чего галдите?

Еремка подскочил к сотнику, рывком сдернул его за ноги с коня. Толпа навалилась, стала бить Вираща кто чем.

На беду свою, ехал в ту пору мимо боярин Савва Мордатый.

Ему сразу припомнили: и что людей мучил на подворье, и соль скупал, прятал, и деньги в рост давал. Сперва Савву камнями закидали, потом тоже с коня стащили.

— Брюхо ему распороть да пеплом набить!

— Спесь на сердце нарастил! Сколько семей на голод обрек!

Мордатый, прикрывая руками плешь, запричитал, чуть не плача:

— Род-то мой не низьте.

Это еще более обозлило толпу:

— Гордился боров щетиной, да опалили!

— Соль и хлеб прячут, паскудники, кабalyт за долги, а ты род их почитай! Бей всех до единого!

На высокий воз вскарабкался Петро, уперся костылем в край воза:

— Чо стоите, как кожухи дубленые? Вяжи Мордатого к колокольне — на поруганье, чтоб людей не переводил!

Сотни ртов закричали:

— Вяжи!

И сразу руки потянулись к Савве, потащили его по лестнице наверх, там опутали веревкой вокруг столба, зазвонили в колокола.

— На Лавру пошли!

— На гору!

— Пожгем им жизни!

— Неправду творят злочинники!

— Всех переобидели!

— Душат убогих, змии!

Кто был на Торговище — черный люд, смерды из боярских вотчин вокруг Киева, поденщики — бросились к ненавистному Печерскому монастырю. Знали, что здесь тоже скупали соль и перепродавали втридорога; подмешивали в нее тертую золу и пепел; знали, что возле игумена Феоктиста околачивается полно бездельников: доместник¹, эконом², келарь³, ключник⁴, начальник хлебопеков, бесчисленные слуги.

— Развел вокруг себя вошь!

— Дармоеды! Рыла нажрали! — рычала толпа.

— Где черный люд — там бога не видно!

Толпа миновала пещеры в отвесных скалах, гулко прошла по мосту, нависшему над пропастью, и вкатилась в опустевший двор Печерской обители. Здесь все в страхе попрятались по своим норам. Да их брезгливо и не трогали, раз хвосты поджали.

Люд ворвался в погреба, амбары, стал делить соль, хлеб. Потоптав кадилницы, ободрав иконы, прихватив с собой кресты, одежды первых киевских князей, толпа подожгла монастырь и повалила к Киеву. Бежали вверх узкими улицами ко двору Путяты.

— Смерть пролазнику!

— Бесчестье в бороду не упрячешь!

— Чтоб ему вороны очи выдрали... Сам купу набавляет!

— Пустить красного кочета, нехай по жердочке побежит, на кровле запоеет.

Торопливо закрывали свои лавки торговцы. Бояре с семьями искали защиты в княжеском дворе. Самые страшливые из них уже причащались. Шептали испуганно:

— Черные люди и закупы в заговор скопом пошли...

— Крамола кругом.

— Двор боярина Нечая Ряхи горит...

— Как мятеж утолить?

Двор Путяты — что твой замок. Обнесены высокой стеной хоромы, скотницы⁵, бани, погреба с бортовым медом, винными корчагами.

Откуда-то вынырнул навстречу толпе Ивашка, тонко закричал:

— Дяденька Петро, я лаз покажу!

Повел за собой к подкону. Его расширили кольями, топорами, и на обезлюдевшем дворе Путяты сразу появилось множество гильщиков.

¹ Управляющий хором в церкви.

² Ведает казной и имуществом.

³ Распоряжается пищевыми припасами.

⁴ Помощник келаря.

⁵ Казнохранилище.

— Дяденька Петро, вон там батусь...

Ивашка подбежал к зеленой двери, подергал за железное кольцо. Дверь не поддавалась. Петро подскочил с ломом, всунул его меж пазов, налег грудью — и дверь со скрежетом распахнулась. Достали лестницу, опустили ее в яму. На свет вышел заросший Евсей — сразу понял, что происходит.

— Пошли, граждане, покажу, где соль упрятана, сам ее туда свозил.

Чуть пошатываясь, опираясь о плечо сына, повел толпу в противоположный угол двора. Указывая на склад, сказал:

— Берить законное!

Кто-то подбодрил нерешительно затоптавшихся:

— Не трусь — за нами вся Русь!

И голос надрывный произнес с отчаянием:

— Изнемогли без соли!

Пока разбирали соль и зерно, громили хоромы, пока Петро подрубал деревянные столбы — подпоры боярского крыльца, — Путята, сунув за пазуху венец, через подземный ход пробрался в княжий двор, охраняемый дружиной.

В сенях, повстречав растерянную княгиню, сказал:

— Ноне ж к Мономаху в Переяславль поскачу. Быть того не может, чтоб не выручил он Киев.

Приказал двум десяткам воинов немедленно готовиться к выезду. Сам же понес к митрополиту Никифору шапку-венец — на сохранение.

ВЛАДИМИР МОНОМАХ ПРИНИМАЕТ ГОНЦОВ

Сказывают, Переяславль называли так потому, что давно неказистый юноша Кожемяка «переял¹ славу» у печенежского богатыря.

У Переяславля же начинались Змиевы валы² и край Половецкой степи.

Мономах выстроил себе замок на Переяславском холме. Замок с подземными ходами, рвом, подъемным мостом, башнями, внутренним двором, похожим на широкий колодец.

Под зубчатой стеной стояли очаги для стражников, чтобы грелись, неся службу в лютый холод. Подземелья, клетки-кладовые хранили запасы рыбы, вина; подвальные ямы — воду и

¹ Отнял.

² Старинная легенда рассказывает, что Кожемяка в гневе раздирал сложенные вместе двенадцать сыромятных воловьих шкур. Готовясь к бою со Змием, который брал у киевлян дань детьми, Кожемяка «обмотался коноплями», обмазался смолой. Змий хватал его зубами, но только отрывал куски конопля, смолы. Кожемяка впряг злого Змия в плуг весом триста пудов и заставил чудовище проложить борозду до Черного моря, а там утопил его.

зерно на многие месяцы, а вдоль крепостных стен ждали свой черед медные котлы для «вара» — обливать осаждающих кипятком. В углу двора притаилась небольшая церковь, крытая свинцом.

Путь к дворцу Мономаха лежал через башню — в парадный двор, на котором в три яруса возвышались терема.

Внизу расположилась челядь, по второму, парадному ярусу проходила широкая галерея — сени, украшенные рогами туров, щитами и мечами. На самом же верху жались горенки для дев.

В одной из палат второго кольца сидели сейчас за шахматной доской Владимир Мономах и переяславский боярин Нажира.

Владимир одет по-домашнему: в простенький темный кафтан, в сапоги из неяркого сафьяна. Только и украшения — нагрудная цепь из золота, а на ней — круглый амулет: коренастый архангел Михаил с длинными тяжелыми крыльями.

Владимир в задумчивости теребит широкую курчавую бороду. У него густые волосы, словно бы с ржавинкой, тонкий, с горбинкой нос.

Боярин Нажира сидит как на иголках — не терпит ему одолеть князя. Во всей Киевской земле никто лучше Нажиры не играет в шахматы: осторожно, расчетливо, гибко. У него сейчас от нетерпения даже порозовели кончики больших толстых ушей. Мелкими зубами Нажира покусывает свою пухлую руку. Человек боязливый, кроткого нрава, в игре он преображается — весь словно подбирается для прыжка. Выиграв у своего противника-боярина, неизменно заставляет его в наказание лезть под стол и тут уж не идет ни на какие уступки.

Мономах с резким стуком сбивает воина Нажиры своим косяным всадником на гривастом коне. Будто самого Нажиру свирепо подкашивает под корень.

«Надобно наступать, — думает князь. — И половцев я побеждаю наступлением. Потому и разгромил их тогда у Зарубинского брода¹, убил хана Тугорткана. Всегда не медлил, а сам искал боя. Воды Сулы и Псела, Хорола и Ворсклы, Сала и Трубежа подтвердят то. Десять раз половцы запрашивали мир, обещали жить в одно сердце. — Усмехнулся похвальбе перед самим собой. — Всякая старина свою плешь хвалит. — Мысль переметнулась на другое. — А сколько за жизнь пути покрыто на коне... Первый раз, когда проехал из Переяславля в Ростов сквозь вятичей и глухие леса, мне и шестнадцати лет не было... За день прискакивал к отцу в Киев из Чернигова, меняя коней...»

«Мудр-мудр, а перехитрю я тебя, — внутренне ликует

Нажира, предвкушая, как через четыре хода выиграет он у князя его ладью под парусом. — Перехитрю, хоть и знаешь ты полдюжины языков и сам ловушки строить умеешь. Вон твои тысяцкие¹ без дела стоят, а я к ним подкрадусь...»

Белое, как творог, лицо Нажиры становится еще белее от волнения. Он осторожно, одним пальцем, подталкивает вперед своего пешего воина. Словно бы приободряет его: «Не бойся, действуй, я у тебя за спиной».

Мономах надолго задумывается. Да, надо уметь рассчитывать наперед, как и в жизни.

Ведь вот в свое время вывел он из игры Олега Святославича, оттеснил изгоев Ростиславичей, привел в Киев свою тетку, вдову Изяслава, забрал имущество ее сына Ярополка. И все это наперед обдумал.

«Что потомки могут знать о минском князе Глебе Всеславиче? Что отправил я его в Киев и здесь он... помер. Боле им знать не дано. А в Минске неведомо кем уничтожены все до единого... А кто убрал с пути владимир-волинского князя Ярослава Святополчича? Кто приказал рассечь на куски взятого в плен половецкого князя Белдюза? Правда, надобно считаться с людской молвой, и потому на людях проливал он, Владимир, слезы по ослепленному Васильку, призывал к братолюбству... А потом наградил Святополка Волынью, а Васильку отказал в пристанище. Что поделаешь — дальновидство...»

Мономах резко сбил еще одного воя Нажиры. Тот мгновенно, словно боясь, что Мономах возьмет ход назад, передвинул своего всадника: казалось, у того сверкнули доспехи.

— Бережи королеву!

Да, королеву надо беречь, а он плохо берег Гиту.

Первая его жена — Гита — была дочерью английского короля Гарольда, погибшего в битве при Гастингсе.

Десятилетняя Гита после гибели отца с бабушкой и теткой нашла пристанище у короля Дании Свена.

Через восемь лет ее и взял в жены Владимир: привез тоненькую, с нежным румянцем на щеках, синеокою. Он был старше ее на пять лет. Гита тяжело перенесла дальнейшее путешествие по морю, Неве, Ладожскому озеру, Волхову. Да и приживалась на славянской земле трудно. Владимир только-только привез ее и оставил у отца на пять месяцев, сам ушел в помощь ляхам. К его возвращению Гита родила первенца Мстислава.

Свекор неплохо относился к ней, но чужбина, с ее непонятной речью и обычаями, сделала Гиту замкнутой, и только когда

¹ На Днепре.

¹ Офицеры, или слоны.

появлялся в доме Владимир, она немного оттаивала. Так и умерла молодой¹ в Смоленске.

Да, королеву надо было беречь...

Он рассеянно делает ход, и Нажира чуть не подсказывает от удовольствия: «Попался! Благодарю бога, что сан спасает тебя и не полезешь под стол...»

Нажира с тыла врывается в расположение мономаховых войск и всадником угрожает одновременно двум ладьям, словно приспустившим паруса. Потирая маленькими пухлыми руками полные колени, приговаривает елейно:

— Обмысленно... Все след делать обмысленно...

Мономах сердится на себя за неточность, огорчен так, будто проигрывает настоящий бой. Ему становится противным этот пропитанный чесноком Нажира... Так бы и смел все фигуры с доски! Он сегодня слишком рассеян и отвлекается.

А может, сказываются годы? Шестидесят второй пошел. Позавчера выпал первый зуб. В пору панихиду служить. Это — начало конца. Начинают выпадать зубы, потом поседеют волосы, притупится зрение. Печальный удел!

Нажира осторожно, будто боясь причинить боль доске, опасаясь малейшего стука, ставит всадника сверху вниз, вкрадчиво объявляет:

— А королю-то все пути отрезаны. Амины!

...В спальню свою — ложницу — Владимир возвратился раздраженным. Подошел к поставцу, освежил голову и бороду прохладным настоем мяты, прополоскал рот ароматной водой, зубы протер влажным рушником.

Чтобы успокоиться, взял в руки Псалтырь. Любил, загадывая, открывать первую попавшуюся страницу и читать строчку — ответ. Или из букв в начале строк составлять его. Он даже делил буквы на добрые и лихие.

Вот и сейчас в псалме загадал одиннадцатую строчку сверху. «Что печалуешься ты, душа моя, что смущаешься?»

Когда-то, прочитав эти строки, написал он «Поучение» сыновьям, призывая к покаянию, слезам и милостыне, учил «судить по правде», «читать ни во что помет ото всех», «творить весь наряд в дому своем».

Что лукавить перед собой: не только для сыновей расписывал он тогда труды свои, походы и добродетели, а и для того, чтобы потомки знали, каким был Мономах.

Видимость и сущность... Вечное борение меж ними. Пишущий законы — выше законов.

Владимир погладил амулет на груди. Вот лицо на амулете. Все благопристойно, величественно: архангел с державой в левой руке...

А на оборотной стороне, скрытой от всех глаз, — миловидная обнаженная женщина, у которой вместо плеч и рук — змеиные головы, вместо ног — скрученные змеиные тулова... Даже из головы выползают змеи. Что означает это? Злой недуг в чело-веке? Тайный умысел? Коварство? Видимость и истинное существо? Может быть, это тайный смысл и его жизни? Быть и казаться! И что есть человек, как помыслишь о нем, литерат Мономах? Но кто скажет, что мало сделал он для отчины? Что не был ее страдальцем — тружеником? Волей своей и властью не обуздывал ближников, кто — только дай потворство, помир-воль — на куски раздергают Киевскую Русь?

Разве не ходил он трижды походами, мирными, небывалыми, в земли Ростово-Суздальские?

Не закладывал там град, первые каменные соборы, а что еще важнее — твердую княжескую власть?

И это тоже есть человек, литерат Мономах!

Утром князю доложили, что из Киева прискакал тысяцкий Путята.

Боярина этого Мономах знал давно, но никогда не считал верным человеком. Так — перевертыш.

У Мономаха был на службе — и не в малых стратигах — половец Кунуй. Он помог ему в свое время победить Олега на Колокше¹. Шесть лет назад сын Мономаха Юрий, в людях — Долгорукий, женился на дочери половецкого хана Аепы, и та принесла Юрию сына Андрея², сама же называла его Кытай.

А вот Путяте не верил. Льстивый пролазник, любого продаст за щепоть соли, хотя в ратных делах сведущ, этого у него не отнять.

От своих послухов Владимиру сразу же стало известно и о смерти Святополка, и о беспокойствии в киевских низах, да и прискакавшие киевские гонцы то подтвердили. Про себя Мономах решил отчий возжеланный трон никому не уступать, но полагал, что следовало сделать благопристойный вид, будто идет на это ему ненадобное обременительное дело с большой неохотой. Путята предстал перед ним и скороговоркой, заглаывая слова, начал говорить:

— Возгорелась ярость на нас... Хотят поглотить... Рады б всех в Днепре потопить... Монастыри ограбили, теперь за дворцом черед... За княгиней Святополковой... Защити от злодеев кровожадных!

Мономах не сразу ответил, долго молчал, потом стал отнеки-ваться: мол, разве свет на нем, Владимире, клином сошелся?

¹ 1096 год.

² Боголюбский.

¹ На 31-м году жизни.

И лишь затем, не скоро, произнес раздумчиво, словно сожалея:

— Видно, некуда мне деться, надо на помощь спешить... Где сила — там и закон. Только надеюсь, кияне вскоре пощадят мою старость...

Глаза Путаты выпрашивали: «Мне-то, мне для себя чего ждать?»

Будто отвечая на этот молчаливый вопрос, Владимир тонко улыбнулся:

— Быть слугой трех господ — не утомительно ли?

А про себя решил: «Тысяцким в Киеве надобно поставить Ратибора».

— Так сегодня ж и выступим, — сказал Мономах, давая понять, что разговор окончен.

ШАПКА МОНОМАХА

За день до въезда в Киев собрал Мономах тайный совет в селе Берестове, на правом берегу Днепра. Село стояло в двух часах небыстрой ходьбы от Киева, за лесом, где любили охотиться князья. Почти два десятилетия тому назад этот родовой дворец сжег свирепый половецкий хан Боняк. Но вот отстроили замок вновь, еще лучше прежнего, а неподалеку возвели каменные строения Успенского собора, церковь Ивана Предтечи, посадили рощу грецких орехов.

Выждав, пока все усядутся, Мономах пытливо оглядел каждого темными, словно что-то выведывающими глазами. Решал для себя: можно ли положиться на тех, кто перед ним?

Будто проглотив кол, сидит новый тысяцкий Киева Ольбег Ратибор — недавний посадник Тмутаракани. Ну, этот не единожды проверен. Проверен еще восемнадцать лет назад, когда пришли к Владимиру половецкие ханы Итларь и Китан заключать мир, и Мономах — для отвода глаз — давал присягу, ел соль из одной солонки, крест целовал, что за мир, что рад гостям...

А ночью боярин Славета убил Китана. Итларя же со свитой наутро пригласили в избу позавтракать, обогреться. Дверь той избы на засов взяли, а сын Ратибора Ельбех из дыры в крыше пустил стрелу в сердце Итларя. Да и других перебили.

Мономах еще раз поглядел на сурового Ратибора: жесткие короткие волосы, тонкие ноздри клювастого носа, напряженное выражение лица — словно вобрал в грудь воздух и не решается выдохнуть.

По лику, как по раскрытой книге, можно читать характер. Мономах с юности старался осилить эту науку, еще в Древнем Риме называемую физиогномикой.

Рядом с Ратибором — белгородский тысяцкий Прокопий. Толстые губы легковера, очень ранняя седина тщеславного, велеречивого человека. А в правом углу гридни присмирел Нажира. «Может, его и понапрасну с собой волоку? Да уж больно умен в делах денежных и торговых. А не хитрю ль: взял в Киев, чтобы отыгаться в шахматы?»

У боярина Иванко Чудиновича из Чернигова — раздвоенный подбородок правдолюбца. Такого надобно под приглядом держать. О чем, интересно, он переговаривается с тысяцким Станиславом?

Мономах приподнялся, едва прикоснулся тонкими пальцами к амулету на груди.

— Допреж чем в Киев вступать, хочу, думцы, совет держать: как нам власть укрепить, поганску муть осилить? Вот послушайте новый закон... Устав о резах и закупках...

Мономах предлагал не превращать закупа за долги в холопа, не продавать его, бить «только за дело», ростовщикам брать не более двадцати процентов годовых, запретить перепродажу соли, всячески помогать купцам, потерявшим товары при кораблекрушениях, от набега, при пожаре.

— «А кто взял прежде долг из пятидесяти процентов годовых, — продолжал читать Владимир, — и уже уплатил эти проценты за три года, тот вовсе освобождается от возврата долга».

Ратибор с сомнением крикнул:

— Надо ль так черни мирволить?

Мономах прервал чтение:

— Уступи в малом — сохранишь большое. И еще надобно с гражданами ряду заключить: вроде б сами они теперь станут назначать тиуна и тысяцкого.

Иванко Чудинович строптиво дернул патлатую голову.

— Если верить Плутарху... — с тонкой улыбкой посмотрел Мономах на Иванко, и тот преданно выпучил глаза. — Если верить Плутарху, города имеют столько свободы, сколько им дают императоры...

Он снова, теперь пристально, посмотрел на Иванко: дошло ли, поймет ли? Сказал, уже обращаясь ко всем:

— Мудрость нам, стратиги, надобна. — Провел рукой по высокому смуглому лбу. — Давньовидство...

Нажира кашлянул, подтверждая. Этот тихоня их всех умнее.

— Хочешь воз соли сохранить — отдай щепоть. Крохами можно в стане вражьем единомушке разбить...

Ночью под охраной в Киев въехали возы с княжеским добром: бесчисленными железными сундуками, наполненными драгоценными камнями, золотой роскошной посудой, гербами, пергаменами, книгами. Притаились на дне возов хитрые погребцы,

заморские вина. Важно восседал повар Харлампий, оглядывая свое хозяйство.

Потом проследовали возы со святостями: алтариком из кипарисового дерева с изображением святых угодников, иконами, книгами в искусном окладе, мощами, тюленьими шкурами, спасающими от молний¹, и, наконец, воз с лыжами — Владимир любил зимой ходить на них. Сам Мономах со свитой двинулся к городу в десятом часу утра.

Еще издали засияли купола Софийского собора, донесся звон сотен церквей. Подавала голос мать городов русских.

«Шутка сказать, — с гордостью думал Владимир, мерно покачиваясь в седле, — Киев ныне населением раз в восемь больше Парижа². С его высоты видны многие места... И кто знает, может быть, дам городу имя свое».

В памяти возникли расписные стены Софийского собора — сколько раз благоговеино взирал на них: посреди широкого карниза два ангела в белых хитонах осеняли трапезу. А вдоль лестницы башни — иная роспись: волк, бросающийся на всадника, охота на вепря, на дикого коня, белка-веверица на дереве, а внизу, возле охотников, беснующаяся собака.

С детства знакомые и милые сердцу картины. Скоро взойдет он на ступени Софийского собора...

...Вавάкали перепелá на пустошах, тревожно кричали удода за Оболонью, повела свой счет зозуля у Перевесища. Соловей прочищал голос в белых садах возле Лядских ворот: он еще не пел, только цвиринькал, как обыкновенная птаха.

Начала свою игру, зарезвилась ранняя киевская весна! Весело клекотал, пробираясь по оврагу, Глубочицкий ручей; исходила теплым духом, как подовый пирог, дорога на Вышгород; сквозь прошлогодний лист на Вздыхальницкой горе пробивалась зеленая трава. Солнце было чистым, молодым, будто выкупалось в дождях и молниях.

Днепр подступал к избам и, оставляя кое-где зеленые островки, торопился дальше. У берега вода его белеса, спокойна, словно стоячее море, а вдали растекался Днепр темными волнами.

На весенних площадях Горы глашатаи кричали:

— Отец киян, великий Мономах — наследник Византии!

За городом Мономаха встретил митрополит — грек Никифор — с епископами. На митрополите — златотканая одежда. Певчие выводят высокие ноты, усердно кадит знаменитый дьякон Афиноген:

— Ныне и присно, и во веки веков — аминь!

¹ Верили, что тюленья и орла молния никогда не поражает.

² Предполагают, что в Киеве той поры было до 100 000 населения, 400 церквей, 8 торгов.

У дьякона голосище силы невиданной. Укреплял он его тем, что пел по утрам, лежа на спине с камнем на груди.

Крестный ход двинулся к площади у Софийского собора.

Здесь уже собрался народ; те, кто недавно громил боярские хоромы, притаились в толпе, присматриваясь: чего ждать от новоявленного князя?

Именитые поднесли Мономаху на расшитых рушниках каравай хлеба и доверху наполненную солонку.

Евсей, стоявший на бугре, недобро усмехнулся, сказал Петру:

— Снова мимо нас пронесли.

Ивашка во все глаза глядит на площадь.

Вон, возле князя, сын его — Юрий Долгорукий, лет двадцати трех.

К ним подошли бояре, кланяются...

— Ты — наш князь. Где узрим твой стяг — там и мы с тобой, — доносится до Ивашки.

На Мономахе — синие сапоги, синее корзно¹, у правого плеча пряжка, над ней орел вышит.

Мономах крижист, на непокрытой голове видны метины — будто чьи-то когти вырвали в двух местах клочья волос. Сказывают, то на охоте прыгал на него барс, лапой разорвал голову.

Князь идет медленно, торжественно, глаза его смотрят твердо, левая рука без двух пальцев — потерял в бою с половцами — покоится на груди. Вот остановился. Митрополит благословляет его крестом, читает молитву, возлагает чудо-венец², и Владимир под тяжестью его словно пригибает голову.

— Тебе, хранящему истины, творящему суд и правду посередь земли!

— Венец от Августа-кесаря! — кричат глашатаи.

До Ивашки неясно доходят слова митрополита:

— Христолюбивый... Просветил Русскую землю, аки солнце лучи пуская... Братолюбец... Страдалец за Русь... Богоизбранный... Даже сестра твоя Янка, ако меделательница пчела, мудрая в книжном деле, открыла в монастыре училищную избу для юниц, сама учит их грамоте, питью, пению...

«Аннуську б туда, — думает Ивашка. — Да разве примут...»

Выглянуло из-за тучи солнце, и вдруг венец вспыхнул на голове Мономаха огнями: золотыми, синими, зелеными, багряными. Марья Птаха глядит с ужасом.

Рубины выступают на венце Мономаха огромными каплями крови... набухают, вот-вот скатятся на его лоб.

¹ Плащ.

² Здесь имеется в виду не та шапка Мономаха, что хранится сейчас в Оружейной палате. Предполагают, что ныне существующая подарена ханом Узбеком Ивану Калите как тюбетейка, а затем была перекроена.

— Кровью пропитан... Будь проклят навсегда! Кровью...
Пронзительный женский голос взывал тоскливо, с отчаянием:
— Анфима убили!.. Анфима!
Ивашка со страхом оглянулся. То грохнулась наземь тетка Марья.

Тысяцкий Ратибор сквозь зубы приказывает дружиннику:
— Убери безумицу!

Крестный ход двинулся дальше. Исступленно зазвонили колокола. Зловещим пожаром горят камни на венце Мономаха.

Анна и Фрося подбежали к Марье, стали поднимать ее с земли.

— Теть Мань, теть Мань, не надо... — с трудом сдерживая рыдания, просит Анна. — Пойдемте до дому... Не надо...

Два воя оттащили Марью подальше от площади.

Ратибор тихо говорит писцу:

— Читай новый закон!

Круглый, как бочка, писец влез на ступени дворца, прокричал трубным голосом:

— «Дан сей устав апреля двадцатого, года 6621...»¹

Смолкли, словно прислушиваясь, колокола, напряженно вбирала в себя каждое слово толпа.

...Остановился Мономах во дворце своего деда Ярослава Мудрого. Во второй половине дня вызвал Ратибора. Тот явился немедленно, громыхнув на пороге доспехами.

— Бочки с медом на площадь выкатили? — спросил Владимир.

— Вдосталь.

— Нищим милостыню раздают?

— Как приказал.

— Для веселья даров не жалеть!

Мономах помолчал, не поднимая глаз, сказал:

— Купцы пусть соль продают мерной ценой, умалят дороговизну. — Поднял глаза, и они жестко блеснули: — А передних воров, люд злонамеренный, завтра же пореши... Без шума... Недоимки выбирай исподволь. Тут тебе боярин Нажира советчик.

Он погладил амулет на груди. Вспомнив, что Путята все еще без дела отсиживается в своем порушенном доме, распорядился:

— Путяту пошли на степную заставу ратный дух показать... То дело его... Да, чуть не забыл: закажи мне печать новую...

Было их у Мономаха уже не менее двадцати, а любил новые придумывать. И сейчас протянул пергамент, на нем собственной рукой два круга нарисовал. На одном написано: «Печать благороднейшего архонта² Руси Мономаха», на другом — верно, обо-

ротная сторона печати: «Господи, помози рабу своему, князю руському».

— Сильвестр-то в Киев прибыл? — поинтересовался Владимир.

— Токмо.

— Пришли его ко мне.

Игумен Выдубицкого монастыря Сильвестр был объявлен переяславским епископом. Так захотел Владимир, и митрополит в этом ему не отказал. Теперь пришла пора, чтобы Сильвестр поновому перекроил прежнюю летопись.

Монах Киево-Печерского монастыря Нестор еще в прошлом году написал «Повесть временных лет» — откуда Русская земля стала есть. Он довел летопись до 1110 года и как только мог обелил Святополка. «Льстец придворный, заласканный, — злобно думает о летописце Несторе Мономах. — Надо его имя из летописи вовсе изъять. Пусть Сильвестр заново все составит... Дам ему письмо мое к Олегу Святославичу... мои «Поучения». Разве потомкам не след знать, сколько пота утер я на земле Русской? Был нищелюбцем и добрым страдальцем. И разве нынешнее призвание меня на киевский престол не схоже с приходом Рюрика в Новгород? Даже если не было того варяжского призвания, кто скажет, что это — не святая ложь?»

Владимир, отпустив Ратибора, привычно произнес про себя: «Благословением бога отца и благодатью господа нашего Иисуса Христа, и действием святого духа... По Христову повелению и духа святого строению...»

Кто-то робко постучал в дверь.

— Войди!

Порог переступил худенький черноволосый человек.

— Врачеватель Агапит из монастыря, — представился он. — Митрополит Никифор послал: может, надо с дороги сердце послушать?

Мономах усмехнулся: хотя и седьмой десяток пошел, а сердце у него здоровое, как у быка. Вот только ломало руки и ноги, даже серные ванны не помогли.

И все же заботливость Никифора была приятна.

— Спаси бог. Понадобись — вызову, — сказал он Агапиту, отпуская его.

НА ПОИСКИ ЛУЧШЕЙ ДОЛИ

Только на второй день Марья стала приходить в разум, услышала слова Анны:

— Малых кормить надо.

За этим и застала их Фрося, принеся кринку с молоком. Лицо у Фроси осунулось, словно бы пеплом покрылось, в

¹ 1113 год.

² Каждый Рюрикович был для Византии архонтом — высшим лицом.

глазах — ожидание несчастья: очень боялась она за своего Петро. Дрожащим голосом зашентала Анне, верно, надо было перед кем-то выговориться:

— Мужиков на распросные речи во дворец водят... Ставят с очей на очи, пытаются, повинную вымучивают...

В городе и впрямь шла расправа. Гильщиков¹ пятали², им резали языки, отсекали руки. Стража Ратибора без суда связывала заподозренных, сажала на ладьи и ночью топила в Днепре.

В подземелье на открытые раны сыпали соль, кричали:

— Получай, как хотел!

Петро дважды жарили на огне, но он ни слова не сказал о Евсее. Дав еще шестьдесят ударов кнутом, отпустили. На улицах Киева тихо и мрачно. Не сходятся на посидки визгопяхи. Догорают головешки недавнего пожара. Окаянно воют псы.

Как-то под вечер в Евсееву хату пробрался Хохря. Всегда веселый, жизнерадостный, на этот раз был он хмур, неразговорчив. Сев на лавку, долго молчал, потом выдал:

— Забирать тебя станут.

У Евсея напряглось лицо:

— Откуда ведаешь?

— Трюродный брат у меня во дворце... Схоронись ты лучше до времени...

— Да ведь все едино унохают. Злая воля стбит палача.

— Это верно — стоит, — согласился Хохря. — Я отцу покойного Корнея Барабаша сказал... Он тебя схоронит!..

Отец Корнея — Агафон Барабаш — был лет на десять старше Евсея, рубил прежде, когда силы позволяли, избы киевлянам.

Чтобы в срубленной избе было довольство, клал Агафон в передний угол монету, в другие углы — горсть зерна, кусок воска, шерсть. А скупым тайно вставлял в стены горлышко от кувшина, пищалку тростниковую, и в той избе появлялась «нечистая сила». Когда ставил хоромы сотнику Виращу, приладил под коньком на крыше берестовый ящик, и в ветер слышались вскрики, плач, вздохи.

Со временем попал Агафон тоже в кабалу, потому и сына отправил в извоз, а сам бедовал, промышлял гончарством.

...Все ж увел Хохря Евсея из его хаты к Барабашам.

Стражники ворвались под утро. Разбудили Ивашку и Анну:

— Где отец?

Ивашка тер глаза, будто спросонья не мог прийти в себя.

— Должно, на рыбалке...

Один стражник остался у избы — весь день там прождал.

Отец же тайно вернулся только на исходе шестой ночи.

— Будем, дети, на Дон уходить. Не жить нам здесь.

Вздыхнул тяжело. Сколько раз далеко забирался, а добра не находил. Может, хоть теперь лучшую долю сыщет.

Они отдали Марье Птахе свой скудный скарб, уложили в торбы то, что могли с собой унести. Анна захихнула туда рушник, вышитый брату. Обвела в последний раз глазами стены избы, словно навсегда вбирала в себя этот до боли родной кут. Оставляла здесь все: отцовские сказки на печной лежанке, песенки сверчка в углу, лавку, на которой сидела мать. А за этими стенами, во дворе, — вырезанную Ивашкой на дубке примету: копьё со щитом; в углу двора — колючий терновник; крапиву — остаток молний. Еще же дальше, в яру, возле трехколенной сосны, выросшей из одного корня, оставляла криницу... А правее той криницы, в затишке, — мельницу, что машет равными руками.

«Неужели навсегда уходит все это? Что ждет нас впереди? Как повернется жизнь? Увижу ль еще когда Птахиных малышей, Фросю?»

...Небо светлело, когда они втроем спустились к Днепру. Пахнуло весенней свежестью. Защелкал соловей в садах.

Давно ли в кленовой чаще звонко спрашивала иволга: «Ты где была?», а вот уже скоро наступят черемухины холода, березовые леса укроются в зеленом тумане, пряча в нем золотистые сережки.

Сердце сжалось у Анны от горя, от жалости к брату, к отцу, к тете Мане, к ее погибшему мужу, к себе. За что им уготована такая участь? В чем они провинились? Мать сказывала, что родилась Анна в рубашке. Так где ж то счастье?

Осторожно раздвигая камыш, они двинулись навстречу розовеющему небу.

...В то же утро, только позже, Ратибор сказал Мономаху:

— Затупил смятение в людях.

Владимир чутким прикосновением пальцев погладил амулет.

Еще в жизнеописании двенадцати цезарей Гай Светоний Транквилл поведal, как Тиберий ввел закон, карающий тех, кто хотя бы словом оскорбляет величие императора...

— Объяви в народе о заступничестве моем милосердном. Не хочу погубить ни одну душу христианскую... Все, что делаю, — во имя человечности...

На лице Ратибора не дрогнул и мускул.

Мономах помолчал, сказал уже вдогонку тысяцкому:

— Мастеровых-то людей учти... Через Днепр мост строить будем¹.

...Евсей с детьми благополучно выбрался из Киева и, держась берега, зашагал к бродам.

¹ Мятажник; от слова «гиль» — мятеж.

² Ставили клеймо на левой щеке.

¹ Построен в 1116 году.

Цвела ольха. Сильные порывы ветра налетали на ее кусты, поднимали с них зеленоватые облака пыли, и все вдруг становилось зеленым: воздух, днепровская вода, совсем недавно белый песок косы.

В лесу цвели дикie вишни — казалось, выпал неожиданно снег, припорошил местами лес.

Здесь тоже порывы ветра сбивали цвет, и он кружил спокойными мотыльками.

Но ничего этого не видел сейчас Евсей. Он шел впереди детей, погруженный в тяжкие думы о своей неудавшейся жизни, о княжьих приспешниках: «В крови, как в болоте, увязли... Все едино не удержаться им, как не удержаться песку на вилах. Придет час расплаты...»

Они вышли на знакомую стезю, и Евсей, подняв голову, наконец увидел весеннюю степь. Радость зажглась в его глазах. Степь опять сама складывала задумчивую песню...

Вьется, вьется еще не широкий Соляной шлях. Бескрайнее небо. И впереди нет конца-краю степи. То там, то здесь разбросала она ряднушки из алых, желтых тюльпанов.

Среди прошлогодней, повядшей травы зеленеет новая, молодая. Мир молодеет, мир всегда молодеет. Так устроена природа.

Евсей распрямил плечи, синие глаза его повеселели.

...За полдень они сели перекусить на лесной поляне под сережками орешника. Рядом цвел куст волчьего лыка.

Анна достала из торбы черные лепешки. Ивашка сбегал за ключевой водой.

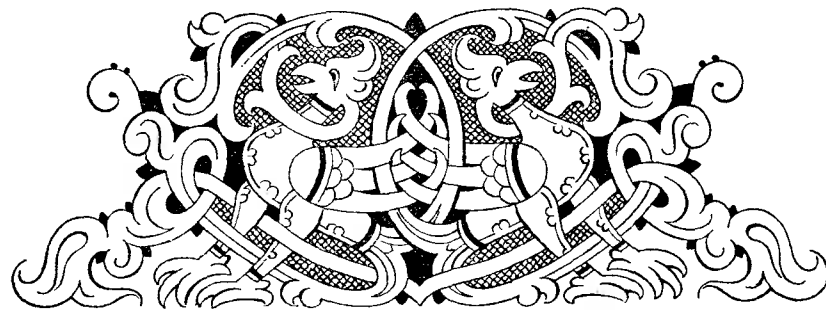
Отец извлек крохотный узелок с солью. Осторожно раскрыл его, чуть присыпал лепешки и, снова завязав тряпицу, упрятал ее.

Анна, откусывая лепешку и запивая ее ключевой водой, от которой ломило зубы, мечтательно спросила:

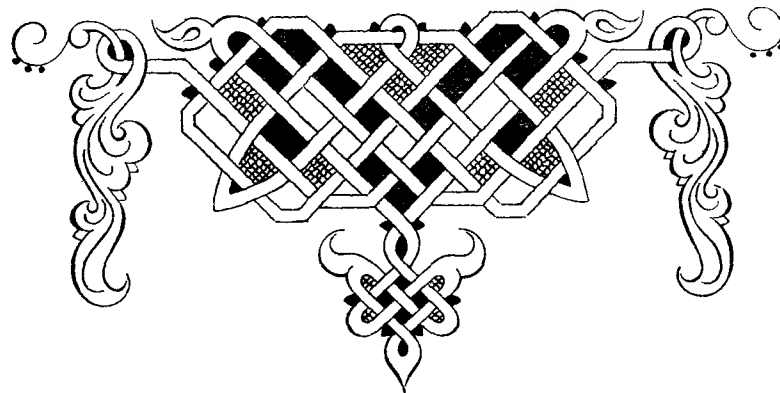
— Батусь, неужто настанет пора, когда в каждой избе солонка полна будет?

Что мог он ответить дочке?

Евсей задумчиво поглядел на стезю Соляного шляха, что затеяливо вилась, звала в солнечный край.

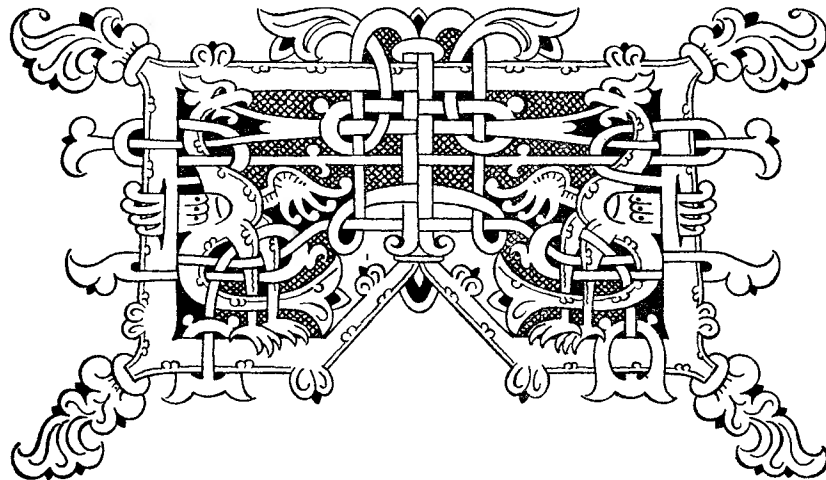


Г р а д з а л у к о м о р ь е м



...Поискати града Тьматороканя...

«Слово о полку Игореве»



К ДОНУ!

На исходе первой недели Евсей Бовкун с детьми повстречал небольшую валку. Он настиг ее под вечер на развилке — росстани, где расходились дороги Соляного шляха.

Валка устраивалась на ночлег под голенастыми ивами, и Серко первым самоотверженно бросился с громким лаем вперед к незнакомцам.

Навстречу Евсею шагнул приземистый черноволосый мужчина с длинными, не по туловищу, руками и настороженным взглядом черных глаз. У мужчины курчавились волосы даже в ушах и ноздрах. Короткие пальцы руки он положил на рукоять ножа у пояса.

— Добrivечер! — приветливо сказал Евсей, подходя к мажарам.

— Добрый, — сдержанно ответил черноволосый, не ведая, чего ждать от этой встречи на ночь глядя.

Но, видно, его успокоил мирный облик Евсея и то, что к нему теснились дети.

Колаш — так звали вожака валки — вел ее из Переяславля в Крым за солью. С Колашом была его дочь Сбыслава, лет двена-

дцати-тринадцати. Она сразу же подошла к Анне, и минутой позже Ивашка услышал, как сестра зашептала скороговоркой:

— Ты одолень-траву находила?

Сбыслава покрепче Анны, рослая, но такая же востроносенькая, белоголовая, с темными глазами, быстрыми и озорными. Переходя на таинственный шепот, она спросила:

— А ты девять волшебных трав ведаешь?

Анна уставилась на однолетку озадаченно.

— Ну, разрыв-трава, нечуй-ветер, тирлича, плакун, адамова голова... — зачастила Сбыслава, незаметно подмигивая Ивашке, призывая в сообщники, — орхилин, прикрыва...

— Ты от кого слышала? — восхищенно глянула Анна и потерла кулачком свой маленький нос, словно различала уже запах этих трав.

— У меня бабка ворожихой была, — огорошила ответом Сбыслава и чихнула, да так смешно: три раза быстро — чих-чих-чих.

Ивашка едва не рассмеялся. Девчонки отошли подальше, и теперь до Ивашки долетали только обрывки слов:

— Плакун у озера... высокий, в стрелу... цвет багров... Как живот заболит...

— Нет, ты мне про одолень-траву...

«Ну, спелись», — усмехнулся Ивашка, с интересом поглядывая на отрочицу. Руки и ноги у нее в свежих ссадинах, щека — в золотистом пушке, поцарапана.

— Вот таскаю за собой, — кивнув в сторону дочери, сказал Евсею Колаш. — Матери у нас нет, а старшего сына князь загубил.

Глаза Колаша стали еще мрачнее и глубже.

У мажар, на костре, знакомо попыхивала каша.

— Сидайте с нами повечерять, — предложил Колаш.

Утишилась валка, уснули возчики и дети. Только Бовкун с Колашом сидят у затухающего костра.

Где-то заухала выпь, заскрипел коростель. Потянуло прелью из близкой балки. Прошумел крыльями стрепет. Вдоль дороги недвижно стояли косматые цветы выродка.

— Ты куда замыслил податься? — выслушав печальную исповедь Бовкуна, спросил Колаш и веткой поширял в костре, разгребая его.

— К Дону — Русской реке, — счастье попытаю. Может, там от кровопивцев, злобы их неутоленной отвяжусь, — глухо ответил Евсей и широкой ладонью растер грудь: что-то в последнее время стало у него сердце болеть.

— На Дону тоже не мед, — раздумчиво сказал Колаш. — Хотя место пчелисто, рыбно, всякими земными семенами

родимо. Да кругом степь рыщет, того и гляди, испотрошит. — Колаш помолчал. — Я б и сам побег куда глаза глядят, — наконец сказал он тоскливо, — вот еще раз судьбу спытаю...

Из-за елани — редколесья — взошла луна. Резко пахла кузьмичова трава. Низко пролетел — к ведру — жук, помотыляла перед угасшим костром и улетела в ночь бабочка «мертвая голова».

— Сына-то твоего — за что?.. — спросил Евсей.

Колаш стиснул зубы:

— Была б спина, а вина найдется. Кровь проливают, как воду.

— Когда земля в покое станет не кручинна?! — как стон, вырвалось у Бовкуна.

Колаш снова умолк, потом сказал угрюмо:

— Когда от камня плод будет... — И посоветовал: — Ты бы, Евсей, лучше за лукоморье пробился.

— Как идти туда? — поднял голову Бовкун.

— Да по-над Доном, до Сурожского моря. А дале — по берегу Сурожского, лукоморьем — к морю Русскому¹. Меж ними и лежит тот град... Тмутараканью зовут, а иные — Таматарха... Сказывают, по-сарацински это «складочное место», а по-грецки — «соленые рыб». Двадцать разноязыких народов там живет, а боле всего — русских, и град все ж нашей земли, щит ее на дальней заставе...

— Про Тмутаракань я слышал, — сказал Бовкун, а сам подумал: «Может, то и есть мой Солнцеград?»

— Место богатейшее, — продолжал Колаш, — с голоду не помрешь... И тепло завсегда... А только дальше обходи на Дону Белую Вежу — там из Киева беглых ловят... Да Азак, он возле лукоморья, минуй... Сказывают, половцы народ хватают, в полон грекам продают...

За тот месяц, что шел Бовкун с валкой к острову Хортица, его дети сдружились со Сбыславой. Была она смышленой, бесстрашной. Запросто хватала руками ужей — Анна только повизгивала восхищенно, — не боясь, переходила броды, вместе с Ивашкой наперегонки взбиралась на деревья. Как-то сказала ему:

— Ты сердитыш?

Ивашка даже обиделся:

— Надумала!

— А что брови грозно супишь? — не успокаивалась, словно поддразнивая, Сбыслава.

— Сейчас плясать пойду, — теперь уж действительно рассердился Ивашка. — Это у ты нрав взбросчивый.

¹ Черное.

Сбыслава метнула быстрый взгляд:

— Смотри для кого!

А с Анной она поменялась нашейными крестиками. Обнимая, сказала:

— Мы теперь посестрились.— Лукаво поглядела на Ивашку: — А тебя в братики не примаю.

— С чего ж это?

— Сам ты взбросчивый!

«Вот и моя Аленка в девках такой же была»,— подумал Евсей.

Но вдруг словно сжалилась Сбыслава над Ивашкой, над видом его растерянным.

Весело, добро улыбнувшись, сказала:

— Да ты близко к сердцу не бери, пошутила я...

Удивляясь такой быстрой смене настроения и почему-то радуясь этому, Ивашка посветлел, охотно пошел на примирение:

— Ни к чему нам ссоры перед прощанием...

На виду у острова Хортица с его огромным священным дубом пришла пора расставаться.

— Все же прижмусь я к Дону, изноровлюсь,— сказал Бовкун под вечер Колашу, когда они опять вдвоем сидели у костра.— Вот только...— Евсей замылся, покрутил светлый ус, потом, словно решившись, закончил: — Есть у меня подвески ушные, жены покойной... Друг Васята говорил — камни дорогие... А он им цену знал... Может, сладимся? Надо мне кое-что в дорогу.

Колаш подержал на ладони подвески. В свете луны камни играли заманчиво.

Он дал Бовкуну сети, топор, лук со стрелами, полторбы сухарей.

— Боле не могу,— сказал, словно извинялся.

Утро выдалось тихое, румяное. Замерла стена травостоя в белом инее, будто вспотела во сне. Красовалась своими притворными цветами боярская спесь.

Просвистел пронзительно скворушка в березовой дубраве, прочистила горло зорянка. Еще досматривали предутренние сны луговые степи-переполнянья в праздничном весеннем наряде из голубых присов и ярко-оранжевого горицвета.

И так защемило сердце Евсея: куда побредут они от этой родимой красоты? Что ждет их на неведомых путях-дорогах?

Широкое лицо Евсея стало печальным.

Терся о ногу Колаша Серко, обнимались, прощаясь, Анна со

Сбыславой. Хмурился в стороне, покусывая губу, стараясь не показывать, что жаль ему расставаться, Ивашка.

Колаш обнял Евсея:

— Ну, вали. Гляди, и я когда прибьюсь к тем местам. Вали. С богом. Может, и впрямь долю найдешь...

Качнулись, сдвинулись, словно нехотя наматывая дорогу, колеса мажар. Закосили ногами волю...

Евсей с детьми еще долго стоял, глядя вслед валке. Потом, удобнее подсунув вверх торбу на спине, шагнул по тропе влево.

Еще более месяца пробирался Бовкун с детьми по новым местам.

Позади остались реки Калка и Миус, меловые горы, каменная гряда с ребристой коричневой грудью, на которой, как волосы, проступали то розово-белый шиповник, то зеленые пряди заячьей капусты.

Обрывистые берега в щурковых сотах сменялись равнинами, похожими на блюда, чащобами, кишащими гадюками. Шумел вековой лес, языком тянулся к потемневшему шелку ковыльной степи. Встречались лебяжьи озера, заводи в кувшинках — Анна и не ведала, что это одолень-трава, — тихие левады, где в зарослях торопливо сказывали свои новости сороки.

В быстро высыхающих после ливня степных озерах — западинах — густым инеем проступала соль, овраги — яруки — журчали ручьями на дне, приветили дубовым леском на крутых боках, непролазным терном.

Беглецы видели издали стада сайгаков с рогами, как у коз, и длинными носами, похожими на хоботы, слышали, как прокладывали себе путь сквозь чащобу зубры, успокаивались от знакомого носвиста темно-серых байбаков.

И вот наконец вышли к Дону.

Он встретил их печальными ивами, что почти касались земли косами, словно прислушиваясь, вспоминая о недавнем разливе. Казалось, стволы приостановили падение, замерли в ожидании.

Широко и вольно раскинулась могучая река, неся упругие волны к Сурожскому морю.

Евсей не мог оторвать глаз от этой шири. Дон был равен в красе Днепру Славутичу, а может быть, и величавее его.

Припекал полдень. Всплескивая, жировали сазаны. Белая цапля на берегу заглатывала лягушку. Баба-птица била крыльями по воде, гнала рыбу вверх, а баклан, подхватив ее, уносил на дерево. Клекотали орлы. В дрожащем от марева воздухе начал серебриться вдали ковыль-тырса, фиолетово отливал стройный шалфей, дразнил ноздри пахучий чабер. В осоке ныряли желтые плиски, пели камышевки. Чуть в стороне от

Дона земля утопала в переплетенье лугового мятлика и тонконога.

«Сколь богата ты, Русская земля,— думал Евсей, глядя на эту благодать.— Ничейная, так неужто не прокормишь нас?»

Он сбросил со спины наземь торбу, подошел к Дону, став на колени, зачерпнул горстью воды, припал к ней губами.

— Будь милостив, Дон-батюшка, к детям твоим пришлым...

НОВОСЕЛЫ

Чудны закаты на Дону, словно догорающие костры ввечеру.

Когда на заходе западает солнце и стелет денница ложе, кажется, синица с лету поджигает волны Дона, а само светило, ополоскав свой раненный половцами бок, оставляет на воде кровавые разводы.

Но сколь ни любуйся закатами, ими одними сыт не будешь. И наутро начал Евсей выбирать место для хижки неподалеку от берега.

— Ну, выгонцы,— сказал он, обращаясь к детям,— пора за работу. Глаза страшатся, а руки творят.

Ивашка и отец, сбросив рубахи, стали рыть яму. Пот обильными струями тек по их мускулистым загорелым телам.

Кругом жужжали шмели, трещали кузнечики, кричали свое «кухи-кух» сурки, а они все рыли да рыли, пуская в ход найденные здесь же, на берегу, кусок оленьего рога, продолговатый кремь.

Анна то и дело приносила землеройцам родниковую воду в выдолбленной тыкве, дорогой, развлекая себя, пела тоненькой скороговоркой: «Жил-был журавушка с журавлихой, поставили они стожок сенца — не молвить ли все с конца?»

— Аннусь,— попросил отец из ямы,— возьми топор, наруби камыша.

Девочка проворно схватила топор и пошла к прибрежным камышам. Вдруг оттуда раздался ее пронзительный крик.

Евсей одним прыжком выскочил из ямы, бросился к дочке.

Анна, держа перед собой топор, как никчемную хворостину, отступала, а в двух шагах от нее, над котятками, изогнулся для прыжка желтый, с темными полосами, камышовый кот — хаус, величиной с небольшую рысь.

Евсей выхватил топор из рук дочки, оттолкнул ее. Гибкое тело хауса распрямилось в воздухе. Евсей успел немного отклониться и с лету ударил хауса по голове топором. Кот упал и мертво застыл, только длинный хвост его да усы еще несколько секунд чуть заметно подрагивали...

...Ночью в страхе скулил Серко, а наутро обнаружил Евсей неподалеку от их ямы следы медведя.

Нет, здесь, видно, опасно. А что, если сделать однодеревку-долбленку, перебраться вон на тот островок посередь Дона, похожий на зеленый курган? И половцы туда, пожалуй, не полезут.

...Несколько дней делали Бовкуны долбленку. Повалили толстую лину, обрубили ветви, сняли кору, в колоде выжгли, выдолбили середину, обшили бортами. Ладья получилась на славу. В ней и перебрались на островок, здесь стали копать новую яму для хижки с очагом.

Островок был спокойный, без опасного зверя. По вечерам грустно кричали лягушки-жерлянки, днем кружили темно-коричневые, с белыми разводами бабочки, а на осине жаловался скрипун.

...С середины июля подул восточный горячий суховей, погнал тучи пыли, одел во мглу солнце, деревья, выедал глаза, хрустел летучими песками на зубах.

На опаленной земле лопались под ногами стебли шалфея, горькими погорельцами стояли деревья. Давило унылое свинцовое небо. Солнце не могло пробить пыльную завесу и походило на тусклый блин. Даже кузнечики потеряли голос, даже птицы не вскрикивали.

А потом вдруг разверзлись небеса, пролили наземь ливни. Установилась нежаркая погода, зачешуилась, пряно запахла полынь, зажелтели одуванчики.

Из дикой конопли и древесной коры сплел Бовкун силки. Было здесь птицы великое множество, в силки попадались куропатки, лесные рябчики. Однажды они побаловались вкусным мясом стрепета. Бовкун приручил даже дикую козу Груньку, а Анна — ежа, и он загрыз не одну гадюку. А потом стали запасать Бовкуны на зиму лук, чеснок, терн, орехи, груши-дички для взвара, кизил и ежевику.

Был Евсей знатоком грибов, охотился за ними с ражем, даже разговорчивым становился. Как-то после теплого мелкого дождя повел детей в лес.

— Грибов разных боле, чем жителей в Киеве, а для еды годна сотня,— говорил он Анне.— Иной съешь — и враз на тот свет попадешь. Вот примечайте,— показывал Евсей на незаметный, бурого цвета, коровняк¹, — стоит себе Трошка на одной ножке, его ищут, а он и не чхнёт. То добрый гриб...

И правда, стоял неприметно коровняк под дубом.

— А вот,— отец сорвал гриб с красным наверхием,— лжи-

¹ Боровик.

вые опять... Сущий яд... Сам, подлый, в руки просится: «Приметь меня, сорви, попробуй...» Ну не притвора гремучая? Так и человек иной: сверху ласковый, а внутри — погань. Никогда не торопитесь свой суд о человеке сложить.

В поисках грибов они часами бродили по лесу. Смердел в руках, как падаль, вонючий строчок, бледная поганка грозила смертью. Но вот добирались до зеленоватых сыроежек на опушке, до желтых обабков во мху. Тогда начиналось ликование.

Анна набирала в подол добрые грибы и приговаривала:

— В зиму знатно вас покормлю...

Евсей на долбленке переплыл через Дон. В степи лежала глубокая осень. Окоем¹ исчез в утреннем тумане. Под ногами виднелись желтый крестовик, синеголовник, серела полынь. Нехотя катились вперевалку шары катрана.

«Вот и мы так, — глядя на эти шары, думал Бовкун, — перекасти-поле... Долго ли в одиночестве удержишься? Зачем прибег сюда? Чтобы скрыться от Путяты, от князя, перебыть время, а потом, гляди, и возвратиться домой, в родной Киев, когда станет то возможно? Смогу ль переждать, пока подрастут дети, начнется у них своя жизнь? Может, в бегах этих да на бродях повстречаются еще такие добрые люди, как Колаш... И вместе будет нам легче жисть обламывать. Или впрямь в Тмутаракань податься?.. Не печалься, Евсей, ты еще повидашь детей в счастье».

Бовкун медленно пошел к лесу.

Ронял листы дуб, пламенела огненная изгородь кленов, зябли дрожащие осины, пахло жирной землей. Октябрь называли в Киеве жовтнем. Был он багряно-желтым и на Дону.

Подавали голос лебеди-кликуны.

Пройдет неделя, другая, и начнут одолевать дожди-косохлесты с подстёгой, морось, а там и лепень со снегом. «Надо хижку еще одним рядом камыша покрыть», — решил Евсей и, проверив силки, заторопился к детям.

ОДОЛЕНЬ-ТРАВА

Зима на Дону выдалась неустойчивая. То гулял сырой ветер Сурожского моря, гудел в бору, то гололед облеплял дроф, и они неуклюжими стаями бродили по степи, покорно подставляя головы секущей крупе. Потом наступали нехолодные, солнечные дни и снег ломил белизной глаза.

Лесные деревья торжественно стояли в снежных шапках, ивы евеливали белые косы, а Дон походил на выбеленное

полотно. Только и вились на нем две стежки, протоптанные Бовкуном с детьми к лунке проруби да к незамерзающей кринице у берегового обрыва.

В такие дни сидела на ветке невесть как попавшая сюда белая угрюмая сова, петляли по снегу следы зайца и горностая, щеглы облепляли заснеженный чертополох, мышковали лисы, таякая на рассвете.

...А сегодня с утра завихрила, залютовала метель, навалила сугробы, и семья Бовкуна отсиживалась в хижке, вспоминая, что пришел Афанасий — береги нос¹.

Потрескивали в очаге дрова, дым тянуло в дверную щель, на волю. Лучина освещала зыбким светом набросанные на земляной пол шкурки зайцев, бобра, злополучного камышового кота, наполовину сплетенную из прутьев корзину, развешанные для сушки травы от скорбей.

Травознай Евсей запаса девясилем, что, растерев с полынью, дают при болях внутри, конским щавелем — разжигать кровь.

...Домашне цвиркал сверчок.

Анна жевала сушеные терновые ягоды и чистила рыбу. Нет-нет да бросала Серко потроха. Он удобно устроился в углу на веревках, облизывался, поглядывая просительно на Анну. Ивашка, подсев поближе к лучине, точил топор, а отец чинил сеть.

Ивашка чихнул.

— Будь здоров! Достаток в дом! — скороговоркой пожелала Анна.

Ветер донес издали протяжный вой голодной волчьей стаи. То, наверно, шныряли в округе белые волки-баланы — их недавно приметил Евсей.

Лица у детей вытянулись, и отец шуткой решил отвлечь их от страхов:

— Еще дед сказывал мне байку — пришла свинья до коня и речет: «Вот я конь». А конь в ответ: «И ноженьки коротки, и ушеньки клапоньки, а поди ж ты — не свинья?!»

Анна прыснула, даже подавилась ягодой. Ивашка улыбнулся скупой: «То тятенька усмешает нас, чтоб не так тяжко было». Поглядел на отца. Продубленное ветрами и солнцем красноватое лицо его сохраняло серьезность, только серовато-синие глаза смеялись да пшеничный ус подергивался.

— Человек, может, тем и неровня скотине, — сказал отец, — что мало ему пузо набить, а надобны и песня, и небо, и степь, а главное — люди.

Анна-несмышлена, видно, вспомнила Сбыславу, спросила с печалью:

¹ Горизонт.

¹ 18 января.

— Когда ж мы теперь тех людей увидим?

Бовкун свел на переносье широкие выгоревшие брови, задумчиво потрогал вишневую родинку у правого уха:

— Придет пора — увидим... Ну, выгонцы, спать время...

Анна долго ворочалась: все сон не шел. «Сбыслава сказывала, — думала она, — одолень-трава растет поверх воды... в тихости... Может, здесь, на Дону, ее и встречу... Ростом, говорит, в локоть, цвет рудо-желт, листочки белы... А сама добрая. Слыхала, зовут ту траву еще русалочий цвет... Сбыслава и заговор знает, что помогает найти одолень-траву: «Стану я в чистом поле, облаками облачусь, небесами покроюсь, на главу красно солнышко покладу... Опояшусь светлыми зорями, ясными звездами от всякого злого недруга моего...»

Даже дыхание перехватило у Анны, когда она представила себя в чистом поле перед этим походом за доброй травой. «Господи боже, благослови, — скажет она. — От синя моря дай силу, от сырой земли — резвоты, от чистых звезд — зренья, от буйного ветра — храбрости».

Она увидела себя в зеленых лугах. Вот умылась медвяной росой, утерлась солнцем. Глянула — колышется на реке в заливе та одолень-трава.

Взяла ее в руки свои осторожно и попросила:

— Одолей ты злых людей: лихо бы на нас не думали, скверного не мыслили. Отгони ты наветчика, одолень-трава. Помогни одолеть нам горы высокие, доли низкие, озера синие, берега крутые, броды глубокие, леса темные, пеньки и колоды. Спрячу я тебя, одолень-трава, у свого сердца во всем пути и во всей дороженьке.

Скулит во сне Серко, чадит лучина, вой метели переплетается с волчьим воем.

И Евсею не спится. Обступили заботы о детях — главной радости его. «Растут быстро, как крапива, и надобно, чтоб уяснили: нет на свете счастья без рукотворства».

Словно с цепей сорвались псы голодные, безумела ползуха-метель. Евсей представил: бескрайний белый свет, злобно метет снег, а в нем затерялась их хижка на донском острове.

В этом белом свете пирует сейчас князь с боярами в ярко освещенных хоромах; сидя у лучины, выплакивает в своей каморке последние слезы Марья; грустно подперев черноволосую голову, Колаш смотрит жалостно на Сбыславу; откладывает перед сном костыль Петро...

Может, кто думает и о них — затерянных в метели?.. Как не просто сотворен мир. И если ожесточишь свое сердце — предстанет он пред тобой тьмой беспросветной.

И можешь помыслить, что только и есть злобные путаты да нажиры, лжа и корысть.

А люда доброго больше, чем злого.

Зло бросается в глаза, оно ломает, грабит, низит, рычит зверино, страша своим обликом мерзким.

Да все едино добро победит.

И несчастен человек, что утратит эту веру...

Ивашка только прикоснулся щекой к изголовью — мгновенно уснул. И сразу увидел то, что было за прошлый день: поймали они с отцом горностаю. Отец сказал:

«Теперь не с пустыми руками к лукоморью идти будем».

Значит, все же думает податься туда, не век жить середь волков и медведей.

Ивашка увидел во сне город у двух морей, весь в солнце, зелени, край благословенный...

ПОЛОВЕЦКИЕ СТОРѢЖИ

Волчья зима поворачивала на лето, и на душе с каждым днем становилось светлей.

В конце марта-протальника щука стала хвостом лед пробивать, появились на нем и первые трещины, потемнели снега.

Поутру Анна вышла из хижки, постояла, щурясь на неяркое солнце, и вдруг услышала — рядом жеребенок ржет, да так протяжно, весело. Анна оглянулась в недоумении. Что за чудо — нет никакого жеребенка. А он опять заржал, и где-то сверху. Анна подняла голову, расплылась в улыбке: на голой ветке клена сидел скворец, подражал голосу жеребенка. Потом загоготал гусем, завизжал поросенком.

Анна вбежала в хижку, крикнула звонко:

— Ивасик! Скворца не иначе из Киева прилетел!

Весна поначалу бралась медленно, и во всей природе разлилось словно бы покорное ожидание. Так человек, устав от зимней стужи, ждет прихода весеннего солнца, когда можно сбросить зимнюю одежду, подставить тело благодатным лучам.

Вот уже двинулись льдины на юг, обтачивая береговые скалы. Синие, без листьев, деревья мерзли, стоя по колено в воде, прихорашивались ивы-подростки, в оврагах закурчали ручьи, солнце пригрело степные плешины.

Потом яшень погнал под корой сладкий сок, стал разбивать почки весенний ветер, пробудились сверчки, заплясали в степи на преющей земле журавли, вышел из берлоги медведь, повели нескончаемую переключку перепела.

Песнь жаворонка, казалось, насыщала прозрачный воздух.

Степь устлали белые звезды птицемлечника, пролились тучи — небесные колодцы, и через Дон перекинулась рай-дуга.

У Бовкуна с детьми полно забот: расширили долбленку, вмещавшую теперь всех троих, да еще и Серко, плели рыбацкие сети, сушили шкурки.

Беда пришла ближе к лету, в невеселую годину.

Как-то на ранней утреньке переправился Евсей с острова на берег проверить силки в лесу. Спрятав долбленку в камышах и уже дойдя до леса, увидел вдаль трех всадников. По острым шапкам, колчанам со стрелами, что висели на плече, низкорослым коням сразу признал в них половцев.

Верно, рыскали то дозоры-сторожьи.

Бовкун спрятался за ствол дуба, а Серко с лаем бросился к всадникам. Они подняли на дыбы коней, копытами раздавили собаку и подсаkali к берегу, держа луки на изготовку.

Евсей упал в кусты, притаился. Подоспели еще пять половцев. Один из них, видно начальник сторожей, показывая плеткой на остров, гортанно сказал:

— Как бы не на острове русичи. Пес-то их.

Низкорослый половец соскочил с коня, приладил к его хвосту мешок из шкур, набитый сеном, погнал коня в Дон, держа рукой за мешок, на который положил колчан и одежду.

Евсей похолодел от ужаса. Анна и Ивашка еще спали в хижке. Сейчас их убьют или увезут в полон. Ему вдруг вспомнилось, как рождавшихся детей клал он, укутав, ненадолго на порог, «вводил в хату». Погубят их теперь...

Половец был уже на полдороге к острову. Евсей натянул тетиву, стрела впиалась в шею плывущего, и он мгновенно исчез под водой. Конь его заржал, повернул назад, а стоявшие на берегу закричали, закружились на конях, с опаской поглядывая на лес, пустили туда наугад с десятков стрел, и они смертоносно просвистели над головой Евсея.

Тот же старший крикнул:

— Не стреляй! Завтра отряд придет... Чую — есть на острове добыча.

Они подхватили за удила вернувшегося коня, взвыли и, припадая к конским гривам, умчались от Дона в сторону, откуда появились.

Евсей выждал, пока половцы скрылись из глаз, и на долбленке возвратился на остров.

Дети еще спали. Он разбудил их; как можно спокойнее, чтобы не напугать, сказал:

— Собирайтесь, бовкунята. Нам здесь боле нельзя оставаться. Половцы рыщут. Серко убили.

Анна тоненько заплакала.

— К лукоморью поплывем,— сказал отец.

Ведал Евсей хорошо этих степных шакалов, свист их арканов. Боле года мыкал горе у них в плену, узнал их язык, повадки и норы.

Они подрезали сухожилия пленным, чтоб не сбежали, забивали в оковы, загоняли в похожие на овчарни, с изгородью, вежи, били плетью с железкой на конце.

Теперь жди набега злосердных сюда.

Но ничего этого Евсей детям не сказал: зачем души страшить? Только глухо произнес:

— Жизнь здесь зверинская... Без люда невозможно доле. Один и возле капи загинет.

Они до сумерек укладывали все что могли в свою долбленку, сделали запасное весло, привязали ивовыми прутьями, корнями можжевельника связки сухого камыша по бортам — для устойчивости. И когда зашло солнце и смеркнулся свет, уплыли в ночь, оставив на песке большие горящие костры — пусть новые сторожки думают, что поживятся добычей.

Притихшая, сидела Анна в долбленке. Продолговатые, заячьего разреза глаза под белесыми бровями печально и горестно глядели на мир. Снова приходится бросать то, к чему уже приросло сердце. Бесконечно жаль было погибшего Серко, оставленных ёженьку, Груньку, обжитую уютную хижку со скворцом над ней, такой приветливый остров, свои мечты об одолень-траве, что надеялась вскоре найти. Где ж ты, одолень, почему не управилась с половцами?

И в какой уж раз она спрашивала неведомо кого: «За что нам уготована такая участь?»

Долбленка медленно плыла вниз по излучистому течению Дона, под дрожащими звездами-ярочками возле Млечного шляха, плыла мимо величавых, темных берегов, таких же, как их, островов-курганов.

Из тучи вынырнул щербатый месяц, словно вырвался из рук половца, ножом урезавшего его.

Вот упала звезда — не иначе ведьма в горшок спрятала. А может, то перелет-травы? У нее листья похожи на крестики.

Зарозовел оком. Анна прикорнула. Ей приснилась сестрёна Сбыслава: половцы скрутили Сбыславе руки, тащили за конем по степи. Анна вздрогнула от этого видения, от утреннего холода. Отец набросил ей на плечи свой старый зипун.

Они плыли к Сурожскому морю ночами, натирая веслами кровавые мозоли, изнемогая от усталости. Щелкали, не радуя, соловьи. А они плыли и плыли в темень, навстречу неведомой

судьбе. Днем отсиживались в камышовых зарослях. Наконец как-то поутру вдаль на бугре показались шатры, войлочные юрты, каменный караван-сарай, дворец, мечети и часовни.

Ивашка обрадовался:

— Гля, батусь, не лукоморье ли то?

Но отец охладил:

— Половецкий стан Азак¹. Нам, хлопчечья, от него подале держаться надо, не то в лапы кагану попадем.

Снова спрятались в камышах. А когда взошла луна, в ее мертвом свете град Азак показался вымершим. Безжизненно замерли каменные постройки, шатры, кущи акаций. Но тишина была обманчивой. Евсей знал: на главных дорогах залегли скрытые сторожевые посты половцев.

Где-то промчался, цокая копытами, конь одинокого всадника. И опять обманчивая тишина.

Не натолкнуться бы на бродячих степняков.

Бовкун бросил долбленку, они нагрузили на себя поклажу и пошли в обход Азака.

Широким полукружьем обходя город, стали возвращаться к берегу — теперь уже моря.

Отступил и остался позади лес, все чаще попадались овраги, курганы с щетинной ковыля, заросшие бурьяном балки, глубокие обрывы с синей водой в лиманах, песчаные косы и, наконец, выпрынуло Сурожское море — словно разлилась здесь широко Русская река, вышла из своих берегов.

Дети впервые видели море. Так вот оно какое!

Море поразило неоглядностью, величавым и мудрым покоем, дышало вольно. Летали чайки над гребнями кротких волн. Солнце слегка золотило зеленовато-серую ширь, и само небо сливалось с морем, было его продолжением.

Еще с месяц шли они на виду у моря. Начали попадаться водяные мельницы, виноградники, стога сена. Евсей думал было пристроиться к какому-либо каравану русских купцов, но остерегался. Хотя половцы пропускали караваны, да нет-нет и полагали их.

Промышляли грабежом и озлобленные лихие люди, тоже ищущие свою долю.

Наконец беглецы вошли в русское селение Ставр, остановились на заезжем дворе. Хозяин его — немолодой, разговорчивый рус Гудым, похожий на Анфима могучим ростом, светлыми волосами, но с нездоровым румянцем на щеках, — узнав, что они держат путь лукоморьем к Тмутаракани, весело пообещал:

— Дён через десять, считай, там будете. Как минёте три кубанских брода. Ну, да вам коня не шпорить.

О себе Гудым сказал:

— Верчусь, как муха в укропе.

Позже он поведал, что половцы прострелили ему грудь, а у жены с тех пор глаза поразила мгла.

Хорошо заплатив Евсею за бобровую шкурку, Гудым остерег:

— В той Тмутаракани, добри человек, тоже трухи в паволоке да багреце хватает — богатеи, что для себя творят легко, а меньшим зло. Людей могут продать ни за грош, а на себя цены не сложат. Жируют.

Усадив детей Евсея за пшеничную кашу, Гудым достал корчагу с медовухой, подмигнул Бовкуну:

— Ну, за новую жизнь твою, странец.

Под окном избы прогорланил петух.

— Вот-то орет, черт некованный, — усмехнулся Гудым. Оно-ржнив кружку, крикнул: — И пивень тебе Тмутаракань возвещает...

ГРАД НА КРАЮ ЗЕМЛИ

Обессилив от долгого пути, они заночевали в густой траве, под каменным идолом, на кургане. Иссеченное ветрами и дождями слепое лицо идола почти утратило черты, походило на серую лепеху в комьях.

...Утро вставало солнечное. Голубело небо. Морской ветерок играл в волосах Анны, и она радостно улыбалась, схожая с кувшинкой на заре.

Умывшись в озере и перекусив, Бовкун с детьми двинулся в последний переход. То и дело пролетали похожие на радужный огненный луч морские кулики-крапьянки.

Беглецы миновали камышовые заросли болот, соляное озеро, путаную прядь лиманов и вышли на дорогу.

Город поднялся, как из сказки: белокаменными стенами Детинца на Княжьей горе, крепостью, золотыми куполами собора, минаретами мечетей.

Он пристроился в устье залива, похожего на раскрытую пасть неведомого зверя, именуемого Тмутаракань, — град на краю света крещеного.

«Неужто и в нем не припасено нам хоть малое счастье?» — думал Евсей, ускоряя шаг. И Анна повеселела: «Вот здесь найду одолень-траву».

Ивашка был ошеломлен: именно таким приснился ему тогда, зимой, в хижке, град, сотканный из солнца и зелени. Отрок глядел с восторгом, карие глаза его будто бы подернулись голубиной, перенятой у неба и залива.

¹ Позже — Тана, нынче — Азов.

Солнце поднялось над виноградниками и полями, когда Бовкун вошел в подгородье Тмутаракани. Здесь многое напоминало Киев.

Лепились в кривых улочках землянки простой чади. Окна были затянуты пузырями, на заборах дворов, вокруг построек из глины и камыша развевалась стираная ветошь. Звон наковален сливался с постукиванием кампетесов, щитников.

Словно ветром в беспорядке разбросало мастерские лучников, гвоздочников, седельников, тульников, что делали колчаны.

Но было в этом подоле что-то совсем свое. Может быть, от мягкого шума волны, играющей голышами, от рева верблюдов, близости пристани, запаха рыбы и лаврового листа, камня, нагретого солнцем.

У Евсея голова кругом пошла от многолюдья, разноязычья. То говорили по-своему косоги¹, хозары, лезги, аланы², готы.

Бовкун усмехнулся: «Одичали мы на своем острове».

Возле «Столба грешников» на Торгу стоял привязанный оборвыш с непокрытой головой, а закопченный человек, верно кузнец, говорил укоряюще:

— Будешь еще, тать, красть?

Неподалеку от камня с отметкой тмутараканской сажени мужик, похожий на разбойника, кричал что есть силы:

— Жарену рыбу!

Здесь шумело рыбное торжище, продавали морские травы, раков, осьминогов. Рыба трепыхалась в корзинах и чанах, сверкали чешуей красноватые лещи, одноглазая камбала, серебристая кефаль, севрюга с расщепленным хвостом, большими круглыми белыми глазами и синеватым зрачком. Мелюзга — пузанки, селявки — лежала в навал.

Ивашка склонился над осетром: черная, в пробел, спина с одним пером; на красноватом носу — десяток белых пупырышков.

Словно костяная чешуя в несколько рядов делала осетра ребристым. Бывает же такое на свете!

— Тут, гляжу, и на долото рыбу удят, — довольно сказал отец.

Три рыбака с трудом протащили огромного серого сома с приплюснутой головой, спиной, как у свиньи, и длинными усиками.

Ивашка с Анной пилились на эту невидаль.

— Верно, с Дона заплыл, — дивился и отец.

Будто из-под земли вырос кривоногий с сизым носом надзиратель рынка.

— Хвост для князя отрубить! — строго приказал он. Стал отбирать у продавцов омаров, устриц, черепах, что завезли арабы. — На княжий стол!

Потом добрался и до черной икры:

— На княжий стол!

«Та же песня, — сокрушенно подумал Евсей, и желваки заиграли на его скулах. — Тощему народу тощим и быть». На душе стало смурно.

Они двинулись дальше. Меж двух минаретов раскинулись цветные навесы: персы в полосатых халатах продавали чувяки, осыпанные блестками, с загнутыми вверх носами, плоские колодки для входа в мечеть, изделия из бамбука; армяне разложили сладости, гранаты, айву, грецкие орехи, разменивали монеты на небольшие стеклянные браслеты Белой Вежи. А чуть дальше лежали на земле шкуры пантер из Индии, барсов с Кавказа, лезгинские ковры, франкские мечи, кольчуги Иверийского¹, Давыдова царства, египетская посуда, мускус Азии, слоновою кость из Африки, китайские материи, пурпурные ткани, перец...

У окованных позолоченной медью ворот в город восемь мечников и подъездной княж² собирали дань с купцов, осматривали товары, ловко прятали взятки. Эге, и с половецкого купца тоже пошлину требовали.

У половеца безбородое лицо, а когда он снял с головы шерстяной колпак, бритая голова оказалась схожей с недозревшей тыквой.

Бовкун с детьми стал подниматься по широкой вымощенной дороге к городской площади. Впереди тянулся воз, доверху набитый таранью. Взялся в гору безногий на катке.

Да, Тмутаракань чем-то походила на Киев: слышимой везде русской речью, стражниками у Золотых ворот, вот этим попомолчальником с приседающей походкой, что идет рядом с возом, принимая приветы прохожих — «Святче божий!», вот этим спесивым боярином, шествующим посереде мостовой. У боярина чуб заброшен за ухо. Рядом плетется дружинник. На нем шапка с золотым верхом, голубой бархатный кафтан, сабля с тупым концом, за поясом, в чехле, нож с роговой рукояткой.

Но это был и совсем не похожий на Киев град: здесь ярко и щедро освещало солнце пористый, похожий на губку, камень домов меж розовых акаций. Порывы ветра приносили запахи

¹ Адыги.

² Осетины.

¹ Грузинское.

² Сборщик податей.

морей, словно пропитывая ими город, ворошили сухие водоросли на крышах, оглаживали виноградные кисти.

Здесь жесты горожан были нетерпеливы, голоса клекотали, краски торжищ переливались ярче, чем возле Днепра Славутича. Восток, Византия, Кавказ вплетали в узор Тмутаракани свои нити, звуки, придавали его лику ни с чем не сравнимые черты. В садах возле мраморных зданий, в мощеных двориках стояли древние статуи, дома из сырцового кирпича, под черепичной крышей. Матово серебрились высокие масляные заросли.

Переулочки-лестницы неожиданно ответвлялись. Террасы с каменными подпорами громоздились одна на другую. Валялись обломки каких-то колонн из красного мрамора, прочно вросли в землю каменные ряды иноземных гостей.

Солнечные часы на Грецкой улице показывали полдень, когда Бовкун с детьми подошел к торжищу в центре города.

На выдолбленной из дерева трубе с железными обручами — она, верно, тянулась в гору снизу, от пресного озера, — сидел гудец с длинными волосами и светлыми живыми глазами, играл, перебирая струны.

В синагогу напротив вошел раввин.

Евсей с детьми присел рядом с гудецом, сказал одобрительно:

— Здесь, гляжу, кривоверных не теснят?

Гудец общительно поглядел круглыми, как у судака, глазами:

— Всяку веру милуют... И жидовин, и сарацин, и латинян, и еретиков от беды избавили.

— То добре, — сказал Бовкун, — как совесть велит, так и веруй.

— Ты нездешний? — поинтересовался гудец.

— С Киева мы...

— Вон та вулиця, вишь? — протянул длинный загнутый палец с потрескавшимся ногтем гудец в сторону улицы, идущей к гавани. — Сказывают, издавеш монах Печерский Никон, что бежал от гнева князя вашего Изяслава, монастырь здесь заложил, летопись писать стал... Теперь вулиця так и зовется — Никоновская. А вон тама, — гудец кивнул куда-то себе за спину, — Фряжская вулиця, плитой вымощена. Такая узкая, что прозвище ей: «Погоди, я первый». Сказывают, когда дома на ней построили — всадник проехал с копьём поперек конской шеи и глядел строго: нигде копьё стену не задело? А то дом снесли б.

В начале улицы Фрягов черноволосые мальчишки играли в чудную игру. Один из них, красновато-коричневого загара, цветом схожий со стручками уксусного дерева, клал на камень пер-

гамент с рисунком и ладошкой бил по рисунку. Если картинка переворачивалась лицом к камню, удачник выигрывал ее. Ивашка усмехнулся, глядя на своих однолеток: «Делать им нечего».

Анну другое заняло: что-то неподалеку верещало звонко, без устали.

— Дяденька, что это тренькает? — спросила она у гудца. Он усмехнулся:

— То цикады, навроде бы кузнечиков, нам, гудцам, соперники...

На руку Анны села божья коровка, да не такая, как в Киеве, а кусачья. Анна сбросила ее ногтем.

...Еще долго бродил Бовкун с детьми по невиданному граду, дивясь названиям улиц — Монастырская, Летописная, Серебряная, — дивясь бассейнам, толстостенным домам на каменной основе, со ставнями на широких окнах, с куполами крыш, с чердачными оконцами, с хитрыми ручками калиток, словно зверь какой грыз кольцо.

На улицах встречались нищие и калеки, монастырские чернецы и купцы, люд в невиданных одеждах. Сказывали — колхи, обезы.

Поздраватая, из желтого песчаника лестница, проросшая травой, вела к Горе — княжеским владениям, — но туда Бовкун не решился подняться.

Он возвратился к площади, где вел беседу с гудецом, остановился у собора святой Богородицы, вздымавшего свои тринадцать куполов. Ивашка, запрокинув голову, поглядел на позлащенный резной крест над главным куполом. Рядом с медным голубем-флюгером сидела живая белоснежная чайка, верно, всматривалась в Сурожское и Русское моря — куда полететь?

Они поднялись по ступеням на паперть.

У входа в собор служба, с реденькой бородкой и желтым отечным лицом, тиснил глиняной печатью церковные квасные хлебцы — богомольцам для причастия.

На двери собора выбиты птицеголовые звери, князь Мстислав с нимбом вокруг головы. Скакали возле него всадники с подъятыми щитами, сцепились в схватке вои.

Бовкун, сотворив крест, вошел с детьми в прохладный гулкий притвор. Под ногами, словно золото, сияла начищенная медь, издали виднелся иконостас с его рядами икон в лентах тисненого серебра, с вкованными драгоценными камнями.

Иконостас отделял низкой стеной позлащенный алтарь со святыми дарами под шатром. Чей-то могучий бас пророкотал:

— Кирие элейсон¹.

¹ Господи помилуй (греч.).

На стенах собора проступали росписи: бежал по волнам зеленато-голубой корабль, князь в золотистых латах под пурпурным плащом стоял у пальмы с красными плодами, а под ногами у него прогуливался фиолетовый павлин. «Никак, в раю это», — решил Евсей.

Шел Страшный суд, напоминая грешникам о карах загробного мира, о муках для богоотступников. Звали к ответу мертвцов трубящие ангелы, божья рука властно сжимала ничтожных людей.

Над аналоем висела в окладе изукрашенная перлами и сапфирами икона пресвятой богородицы; божья мать, с вытянутым подбородком, прямым тонким носом, сострадательно глядела с золотого поля. На руках Мария держала младенца с такими же светло-кариими продолговатыми глазами, как у Анны. Надпись признавалась богородице: «О, тебе радуется всякая тварь».

Над полом, выложенным цветным камнем, нависал затуманенный ладаном лик Христа, глядел с купола всезнающе. Робкий свет узких оконных прорезей едва проникал в храм. Восходные палаты — хоры для княжьей семьи — уходили куда-то в темь. Тускло сияли царские врата и святительское место. Терялись в выси могучие своды, взлетевшие к небесам, точно хоралы из камня.

Евсей не знал, да и не мог знать, что тайные ходы вели из собора в княжий Детинец, в архиепископские палаты, что тайные двери скрывали казнохранилище, что строили, расписывали собор не только артели киевлян и греков, но и кософов, лезгин, ясов, иберов — мастеров из всех земель. Их трудами и тщанием измечен был божий дом. Сейчас Бовкун, почувствовав себя под этими могучими сводами затерянной песчинкой, опустил на колени.

Анна с Ивашкой поспешили сделать то же.

Умиротворенье вошло в душу Евсея. Все это: запах лампадного масла и воска, тускло поблескивающие рипиды¹, величавые бронзовые и мраморные кресты на подножиях, тишина, словно отгородившая город с его шумливыми толпами, скрипом повозок, гиком всадников на ристалище, от тревожной и неясной судьбы его, Бовкуна, — все это сейчас успокаивало.

И обращаясь к сострадательной богородице, к лику Христа, Евсей шептал:

— Господи, помоги мне и чадам моим... Не дай нас в обиду... Сподобь к концу лет моих увидеть детей в счастье...

Теплились лампы, мерцали свечи у икон грецких и киевских богомазов, крылатые львы на белом камне обещали

защиту, суровые лики Бориса и Глеба подтверждали обещания, а тихий старичок Никола-чудотворец, похожий на отца Прокши, кивал одобрительно.

— Кирие элейсон! — рокотал бас.

ПОРТ ВЕЛИКИЙ

Ивашка проснулся оттого, что пахло степью. Отец и Анна лежали рядом. Они с вечера втроем надергали травы, устали ею небольшую пещеру, в обрывистом берегу, недалеко от залива. Трава за ночь подсохла и вот теперь, знакомо ободряя, пахла степью.

Ивашка, стараясь никого не разбудить, вышел из пещеры. На песчаной отмели грелись под первыми лучами солнца бездомные. Казалось, то на берег вынесло из моря потерпевших кораблекрушение.

Шпаклевали свои ладьи рыбаки у ближней косы, развесив на просушку сети с грузилами. Неподалеку купал рябого вола рослый возчик. Домашне полоскали белье женки, переругиваясь неведомо о чем.

Вминая босыми ногами влажный песок, Ивашка подошел к воде. Она была зеленоватой, прозрачной, не скрывала ни один камешек. Возле ног ковылял бочком маленький краб, старался выпутаться из водорослей.

Двое дочерна загорелых мальчишек, с расчесанными ногами, строили из песка рвы и крепость от половцев; третий, зайдя по колено в воду, удил. Вот затрепыхался у него в руке ласкирь-кряляк.

Солнце еще едва приподнялось, разбросало по заливу золотые гривны, и от них рябило в глазах.

Подошел отец. Натерев песком лицо, тело, ополоснулся водой.

— Привыкай к морской жизни, сынку.

И Анна подбежала, ухватила опасно двумя пальцами краба.

— Детеныш-то какой жалконький.

Потом стала собирать розоватые ракушки на ожерелок.

Позавтракав в пещере, решили идти в порт, к гавани.

Здесь день был уже в разгаре. К причальным столбам, похожим на грифов, на конские головы, швартовались канатами весельные двухмачтовые корабли, струги индийского дуба садж, челны, выдолбленные из кипарисовых стволов.

По сходням на мощеную пристань грузчики сносили добро в промасленных кожах.

Пропахшие дальними ветрами судна толпились в ожидании

¹ Утварь для богослужения.

разгрузки. Их строгие мачты, вынесшие напор штормов, гордо высились, зеленовато-темные бока, шлифованные волнами, отдыхали под мягкий плеск залива. Меж кораблей безмятежно шныряли таранки-верхоплавки.

На корме длинной «Кордовы» из Сеуты черноликий матрос сыпал в чашу рис для ангелов — спасителей корабля.

На посу венецианской «Святой Вероники» матрос измерял глубину веревкой с гирей. Другой, с разрисованной грудью, старательно забрасывал с «Пелопонеса» на берег чалку.

Плыли по воде финиковые косточки, рыбы потроха, огрызки груш, апельсиновые корки.

Со стороны Коктебельского залива, где была запасная тмута-раканская стоянка кораблей, неторопливо тянулась цепочка греческих палубных хеландий.

Шагах в трехстах от порта корабельщики ладили новое судно: снимали скобелем кору с колоды, сверлили отверстия для уключин, насаживали руль-весло, прибивали доски на бок деревянными гвоздями. На песке валялись якоря, катки для волоков, канаты из сухого камыша, перевитого лыком.

Вкрадчиво оглаживало доски тесло, скрежетали короткие пилы, постукивали топоры, и этот веселый работный шум был приятен Евсею. Порт уютно гнезился в бухте, защищенной от ветра невысокими горами.

Обросший рыжеватой бородой матрос, с огромной серьгой в ухе, в просоленных портах с широким поясом, тащил на палубу якорь, кричал кому-то хрипло:

— Канат поддай!

Над водой с плывущим масляным пятном показалась голова четырехпалого якоря: словно чудище морское вылезло поглядеть на свет, прислушаться к шумливому порту. Якорь не удержался, снова нырнул в воду. Толстяк на берегу, с виду купец, крикнул досадливо:

— Умелец!

Матрос разъярился, обернувшись к толстяку, просипел:

— И ты туда ж, косяя камбала! Куль с бородой на говяжьих подставках!

Купец оскорбился, но ответил с достоинством:

— Наряди свинью в серьги, а она — в навоз... — И пошел своей дорогой.

...Рыскали всюду облезлые портовые собаки, сигналы в воду с вымола мальчишки с выжженными солнцем волосами, выдирали из расщелин глазастых черных бычков, черпали ковшами хамсу. В стороне у складов стояли глиняные бочки-пифосы с зерном, амфоры, наполненные оливковым маслом Родоса.

А грузчики все тащили и тащили натужно по сходням на

берег огромные корчаги, с метками владельцев на ручках, слоновую кость, диких кошек в клетках, раковины, красное и эбеновое дерево, наждачный камень, железо, меха и янтарь. Тек по лицам и спинам грузчиков пот, дрожали ноги, а заморским товарам не было видно конца. Сухопутьем, океанами, морями свозили их сюда, в русский склад, к перекрестку морских и степных путей.

Чело града оведали ветры, то крутые, просоленные, хлесткие, то тихие и нежные. Чайки, пересекая пролив, несли на своих крыльях брызги Русского и Сурожского морей.

Только в заливе утихали волны, сливались в бирюзовую гладь, сонно ластились к берегу.

Бовкун с детьми миновал церковь покровителя моряков святого Николая и длинный каменный дом Сообщества капитанов. У входа в этот дом висел герб: резал буруны парусник. Капитаны хранили здесь свою печать, давали клятвы во время общих пирушек, произносили извечное: «Да будут благосклонны к нам ветры всех морей!»

Здесь договаривались они о длине корабля, чтоб не превышала ста локтей, о количестве матросов на нем — не более сорока человек, о начале навигации, пошлине князю, выдаче из кассы пособий в рост. В складах Сообщества лежали запасы мехов для пресной воды, якорей, парусины, мачтового леса, гвоздей.

...На пристани — крики и хохот. Молодой русский моряк с красной тряпкой, накрученной на голову, зацепил якорем за ручку огромную амфору и тащил ее из воды. Она, вероятно, пролежала там долго, позеленела, покрылась наростом.

— Эй-эй, Ерема, не упусти! — кричали с берега. — Давай милаху, давай!

Амфору втянули на палубу, отскребли ножом накипь времени, и на боку проступила греческая надпись: «Вино из Сиракуз».

Моряк, поймавший эту добычу, отодрал пробку, залитую смолой, и, налив себе в ладонь немного темной душистой жидкости, попробовал ее.

— Ого-го! — закричал он. — Жгет, подлая!

К амфоре потянулись чаши. Но откуда-то, как обычно, вынырнул княжий портовый надсмотрщик, кладя руку на горлышко амфоры, сказал:

— Княжье добро.

Моряки недовольно заворчали, насупились, но амфору отдали.

Рядом с Евсеем стоял высокий худущий моряк в рваной куртке, с ножом за широким поясом, в покореженных сапогах, с

лентой-ремешком на лбу, пониже потрепанной суконной шапки. Моряк этот мрачно процедил:

— Лихоимцы подлые! Чтоб их первая стрела не минула!

Глаза у моряка какие-то заплаканные, руки в таких темных конопатилках, что, казалось, в них въелась земля.

— Ты тмутараканский? — спросил он Бовкуна.

Узнав его историю, посочувствовал:

— Не горюй. Грузчиком здесь прокормишься. Я тоже беглый, с Чернигова. Семью мою там извели злыдни. Аггеем меня кличут. Пойдем, я тебя с добрым человеком познакомлю.

Они долго шли берегом, Аггей вышагивал впереди, немного согнувшись, словно у него болел живот. Казалось, с испугом высматривал что-то на земле. Наконец остановился у полуразваленной лодки под полотняным навесом. Возле нее сидел человек много старше Бовкуна, с лицом, поклеванным оспой, плоским носом и будто выцветшими глазами. Он был гол до пояса, порты заправлены в широкие сапоги. Пальцы рук его походили на долготелый бамбук.

— Это наш старшой, Милован Мореход, — сказал Аггей. — Вот привел до тебя еще одного бедолагу с детьми малыми, — объяснил он Миловану. — Может, поможешь?

Милован внимательно оглядел Бовкуна. Услышав его рассказ, произнес медленно:

— Будешь в нашей ватаге. А пока сидай. Покормимся.

Он достал зажаренную барабульку, кусок черствого хлеба, усмехнулся:

— Фазанов не жди.

Мирно дремали бухты залива. Виднелась длинная, в зеленоватых пятнах мха стена Никоновского монастыря. Шли плоты в сторону Корчева, и, верно, над ним, над Митридатовой горой развесил свои космы дождь. А здесь — бахромчатая пена утихомиренной волны нехотя набегала на берег, взмывала на воздушных качелях чайки.

Доносились детские голоса, особенно звонкие от близости воды. Вдали солнце проложило по ней широкую полосу, словно отделяя дымчатую синь от бирюзы, указывая путь к воротам в море.

Аггей прервал молчание.

— Наш старшой на причале недавно, — почтительно сказал он, — повидал света... Бури его не топили, окиян не принял... на бревне сутки проплавал...

— Я што... Мореход, каких много... — глухим голосом сказал Милован. — Вот Оверьян эт-то... Рулевым я у него плавал...

Милован оживился, взгляделся в лицо Бовкуна, будто решая, тот ли человек, кому можно поведать о необыкновенном капитане. Увидев в глазах Евсея острый интерес, повел рассказ:

— Буреломом того Оверьяна прозвали... Здоровый, сильный. А дело знал! Бывалочке, магнитной иглой проткнет соломинку, в чашу с водой тот крест положит и уже видит, где какой город... А то по звездам путь находит... Смену ветров и теченья знал... Спервоначалу был Оверьян рыбаком на Дону, у фрягов матросом... Потом корабль свой здесь, в Тмутаракани, заимел. Как-то буря близилась. Волны до небес, рушатся, как горы, в трюме пробоина, гул, грохот, мрак. Мать честная! Все оробели... Оверьян сказал: «Если кто не будет мне повиноваться, я покину судно». Труса — корабельного писца — приказал в море выбросить. Всех остальных из беды вывел.

И где мы только не бывали: в пресном море — Ниле, у острова рыб, у Змеиной долины...

Бурелом не единожды говорил, — продолжал он, — если корабль цел — мы живы. Если корабль погибнет — погибнем и мы. Даже князь наш Вячеслав к делу мореходному любопытный — приходил к Бурелому на корабль, вел с ним долгие беседы... Оверьян-то и меня, как я грызью занемог, пристроил старшим у грузчиков.

Милован, видно, разохотился и после воспоминаний о капитане стал рассказывать о чудесах, что видел своими глазами: о рыбах, таранящих корабли; о пятнистых змеях с зеленым крестом на голове — змеи те охраняют в долине алмазы; о морских раках величиной с корабль; о ките длинной в триста локтей, с пастью, в которую может въехать всадник; о волнах, высекающих искры; о муравьях с добрую кошку; летающих скорпионах; людях с плавниками; острове Вак-Вак, где птицы не сгорают в огне.

Евсей слушал все это недоверчиво: «Правду с невидалью в кучу свалил». Но Анна сидела, замирая, широко раскрыв глаза, всему веря.

— Если б начал жизнь сызнова, — сказал Милован, — все едино б не изменил морю. В бурю мечтаешь повалиться на прибрежном песочке. А доберешься до берега — опять тянет в море... Ноне уж силы не те... — с горечью закончил он, — даже сюда корабли водить не могу от Коктебельского залива. Я еще запрошлый год жил там, в поселке морских проводников, возле Черной горы.

Милован поглядел в сторону Русского моря. Глаза, сидящие словно бы в глубоких пещерках, защищающих от солнечных бликов на воде, сейчас были сумрачны. Его глодала тоска по кораблям. Ночами снилось: стоит на палубе, несуетливо отдает команды:

— Мало лево...

— Одерживать...

— Мало право...

Он знал коралловые рифы, подводные гребни скал, их повороты и западни, каждую «тропку» в море и проливе. И вот теперь все это не для него, отодвинулось навсегда. Причалил к своей тихой бухте. Перед глазами встал голубой Коктебельский залив, окруженный синеющими вершинами, с бухтами, усеянными по берегу камешками-самоцветами — дарами уснувшего вулкана. Его сероватым пеплом мальчата сводили веснушки с лица, женщины стирали одежду.

Над присмирившей водой грозно нависала Черная гора с вершинами, похожими на башни. Орлы парили над пропастями, величественно опускались на пики скал. А внизу, вокруг, разметалась ковыльная долина, где к запаху полыни примешивался запах водорослей...

Милован вздохнул: все уходило, как сон.

— Старики сказывали, — поглядел он на Ивашку, — жил когда-сь в той Черной горе одноглазый людоед. Дохнёт — пар из вершины валит, заревет — земля дрожит. Осерчает — камни бросает вниз, выпускает расплавленную землю. Да нашелся юный смельчак, стрелой в глаз убил чудище — и не страшна ныне гора. У входа в ее ущелье стали каменные часовые, из моря выросли два утеса с перекладиной — Златые врата, а другую скалу ктой-то недавно прозвал Шапкой Мономаха...

Ивашка представил себя смельчаком, убивающим людоеда. Анне померещилось, будто плывет она сквозь Золотые ворота на ладье.

А Евсей подумал: «Может, мне податься морем в дальние страны? Так куда ж детей денешь? Да и сухопутный я, нет мне отчины, кроме как на Русской земле».

Милован собрал остатки еды, сказал Бовкуну виновато:

— Заговорил тебя... Пойдем, может, сейчас и на выгрузку поставлю.

— Яви милость, — благодарно посмотрел Евсей, вставая.

Дорбгой Милован говорил:

— Сколько свету повидал, а скажу по чести: наш Тмутаракань только Царьграду и уступает, да и то самую малость. Так же толнятся суда у пристаней, торги шумят, полно корабельщиков... Ничего не скажешь — великий град...

ЧЕКАННЫЙ ДВОР

Месяца два работал Бовкун в порту: таскал соль, лес, мешки с рисом, что привозили сюда, пахучее корьё — дубить кожи. Корьём этим широко торговала Тмутаракань, как и тончайшим льном в тюках.

Не однажды видел Бовкун, как сгружали с корабля неволь-

ников в цепи. Изможденные, оборванные дети и женщины шли по сходням под палками надсмотрщиков, поднимались на Гору, в княжьи загоны.

Раба черкеса продавали за сто двадцать дукатов, жизнь человеческую ставили в грош.

«Чем же князь лучше половецкого кагана? — вздыхал Евсей. — И здесь то ж, что в Киеве».

А как-то приплыл груженный конями корабль из Киева. Бовкун затосковал нещадно. Ему казалось: этот корабль принес с собой запахи Почайны, киевских осклизлых пристаней, его двора с заброшенной землянкой.

«Неужто так и не увижу никогда Подола?» — печально думал Евсей, сводя по сходням с корабля тонконогих породистых коней. Они упирались, тревожно ржали, вздергивая головы, вбирая чуткими, нервными ноздрями чужие запахи неведомого города.

К началу третьего месяца случилась с Бовкуном беда. Разгружая византийский корабль, потащил огромный кусок эвбейского мрамора и почувствовал вдруг — надорвалось что-то в середине. Выпал у него из рук мрамор. Евсей опустил наземь. Долго лежал. Голова кружилась, боли в животе не проходили. Грузчики отнесли Бовкуна в сторону. Аггей принес воды, присел рядом на корточки, выставив перед собой острые колени.

— Плохи дела твои, — сказал он сочувственно. — Жила порвалась... Это у нас часто бывает... Не работать тебе здесь боле...

Только к вечеру поплелся в свою пещеру Евсей, лег на сухие водоросли. На испуганные вопросы Ивашки и Анны отвечал односложно:

— Занемог... отойду...

Анна молча заплакала, только крупные слезы катились по щекам. Ивашка стал укрывать отца, совал ему ковш с водой, говорил успокаивающе:

— Ничо, батя... Я на похлебку добуду... Ты отлежись, ничо...

Продали последнее богатство, оставленное про черный день, — шкурку лисы.

Близились голодные и холодные дни. Дули с моря знобкие ветры.

Евсей становился все мрачнее: «Неужто пришла пора голодом помирать?»

Тут и появился в их пещере Милован — принес муки, рыбцов, Анне — шматок белого меду.

— Ты, человек, духом не вались, — сказал он Евсею. — Есть у меня дружок на Чеканном дворе... Сходи на Серебряну улицу, спроси на извозной конюшне Будимира... Он те дело по силам найдет...

Немного отлежавшись, Бовкун отправился на Серебряную улицу. Чеканный двор стоял в конце ее, обнесен был высокой каменной стеной, охранялся стражей. Извозная конюшня прилепилась к обрыву в стороне от Чеканного двора, и Будимира Бовкун нашел сразу. Это был человек сумрачный, неторопливый, на первый взгляд даже суровый. Выслушав Евсея, он только и prorонил:

— Пойдем...

У дальнего края стены сказал охранявшему ворота:

— К Храпу мы...

Как позже узнал Евсей, боярин Храп был здесь управителем, богом и судьей, а на Кубани держал обширную вотчину.

...Они вошли в камору. За столом сидел молодой, но уже какой-то потертый писец, расщепленной тростинкой выводил что-то на пергаменте, а низкорослый боярин в темном кафтане и такой же шапке тонким голосом спрашивал:

— Завезенное верно ль вписал?

Боярин поднял на Бовкуна детски невинные глаза. Казалось, они взяты были на время у другого человека и в насмешные прилеплены на эту круглую голову с бычьей шеей и подбородком, обтесанным, словно топором.

— Вот работчик... — сказал Будимир, — ручаюсь... Дети у его... А он в порту надорвался...

Евсей даже удивился такой говорливости Будимира.

— Что умеешь, милаша? — умильно спросил боярин Бовкуна.

Евсей помялся:

— По древу когда-сь резал... Может, здесь что схожее?

— Резчиком спробую... Будешь в лености — выгоню враз.

Он повернулся на коротких толстых ногах к писцу:

— Отведи в серебряный... — И вдогонку Бовкуну крикнул: — Харч известный, а заработок — медными!..

...В огромном дворе стояли рядами здания из серого камня. К складам грузчики таскали мешки, связки серебряных брусков.

В первом помещении на гладких камнях рубили те брусочки, а рядом — расплющивали их до толщины монеты. Пластины относили в соседнюю длинную пристройку, освещенную смоляными факелами. Здесь и поставили Бовкуна, показали, как зубилом выбивать кругляшки.

Началась новая жизнь у Евсея. Он до одури, часов по восемнадцать, выбивал эти кругляшки. Обрезки от них немедленно собирал в мешки кабальный закуп Харитон, скорее похожий на подростка, оттаскивал в плавильню, где из них делали слитки.

А в другом каменном помещении холопы-плющильцы обивали кругляшки молотком и отправляли в главную мастерскую.

Там на штампах резцом делали рисунки, надписи, ставили их на монету и в ящиках, запечатав княжьей печатью, отвозили в подвалы казны.

Прежде чем Евсею удавалось уйти на несколько часов к детям, стражи обыскивали его рубище, запускали пальцы в волосы, кричали:

— Пасть отвори! — и заглядывали в рот.

Бледный, усталый, Евсей добирался до своих детей, приносил им кость для варева, горох. Мрачно усмехаясь, говорил:

— Пришел коваль на застол, в макитру посвистал...

Ивашка успокаивал:

— Да мы, батусь, и сами с Анной рыбы наловили, огород деду Кузе убирали, он нам репу дал...

У деда Кузи была землянка неподалеку от улицы Кирпичников, где в обжиговых печах закаляли тонкие кирпичи-плинфы из береговой глины.

В огороде выращивал дед брюкву, репу, подкармливал мальцов, уделяя от себя.

Бовкун оказался умельцем и в новом для него деле — чеканил монеты, как никто другой.

Через год перевел Храп Евсея резать штампы. Бовкуну показали, какие монеты чеканили херсонесские умельцы.

Были здесь дельфины с молнией, волю в плуге, луна со звездой, пшеничный колос, колчан со стрелами. Жене прежнего тмутараканского князя Олега Святославича (он женился в плену на острове Родосе, а потом возвратился сюда) выбили на монете: «Господи, помози рабе твоей, Феофании Музалон, архонтессе Руси».

Однажды вырезал Евсей по княжьему приказу вокруг печати: «Владелец Тмутаракани и земель окрест моря Сурожского». А на другой изобразил архангела Гавриила и корабль.

Привоз серебра из Византии прекратился — торговлю перехватили венецианские и генуэзские купцы. Теперь серебро поставляла лишь Иверия. Князь платил за него икрой, солью, смолой, мехом, дрожал над каждым бруском, все подсчитывал — сколько может получить, и все недосчитывался, бормотал: «Проклятые фряги!», хотя при встречах ничем не показывал неприязни к своим опасным и удачливым соперникам в торговле.

На складе принимал серебро, какое поступало сюда, Миха — двадцатилетний брат осмяника Якима, сборщика торговых пошлин, ведавшего и мостовыми.

Был Яким высок ростом, строен, от матери — гречанки из Корсуни — унаследовал здоровый загар лица, тонкий нос с гор-

бинкой, вьющиеся каштановые волосы, белоснежные мелкие зубы. Яким недавно стал близником князя, и тот не мог подумать, что боярин в сговоре с управителем крадет серебро.

Храп спас когда-то Якима от половцев. Отец Якима — друг Храпа — погиб в сече, а раненого семнадцатилетнего Якима Храп вывез на своем коне с поля боя. И поэтому Яким по-собачьи предан спасителю, искательно глядит в глаза ему, понимает каждый его жест и полуслово, выполняет безоглядно любое приказание своего повелителя.

В таком же повиновении и преклонении перед Храпом держал осмяник и своего хорошо грамотного брата Миху, в чьих руках на складе были весы, книги и даже княжеская печать для грузов монет и складских замков.

Миха был по внешности двойником брата, хотя и много младше его. Именно Храп назначил Миху кладовщиком: стража всегда беспрепятственно пропускала его обозы с серебром, и управителю Чеканного двора удалось уже вывезти в свой потайной склад пудов десять драгоценного металла.

Но с некоторых пор Храп почувствовал, что подозрения князя усилились, он сам все просматривал и просматривал записи Чеканного двора, хмуро глядел на управителя, сетовал на худой добыток.

Тогда, договорившись с Якимом и Михой, Храп решил представить дело так, будто склад ограбили.

У боярина было еще несколько верных людей в страже. Двух из них и выставил Храп у склада в ту ночь, когда на них «напали», связали, а пустую повозку угнали. Развязанные стражники крест целовали, что узнали среди татей Бовкуна.

Его и еще шестерых с Чеканного двора Храп бросил в поруб и наутро, надев лучший свой кафтан, сапоги из новгородского сафьяна, отправился в Детинец, здесь же, на Княжьей горе.

Он шел, выпятив живот, ставя ноги вразброс. Миновал высокие хоромы Якима с каменным бассейном в глубине сада, с летней трапезной, обращенной к морю. Она не имела передней стены, лишь выюнки стекали сверху зелеными застывшими струями. «Влизался в милость, — зло подумал о своем помощнике Храп, — а мне теперь за всех — и за него, пустобоя¹, отдувайся».

Позади остались сложенные из обтесанного камня казармы греческих наемников, плац для воинских занятий.

Храп вошел в огромный княжеский двор. Возвышались белокаменные палаты. Матово отсвечивала на солнце чешуя оловянной кровли церквушки со звонницей и узкими окнами

слухами. На дворе сгружали с воза плинфы. Ветер вздымал облачка извести, обжигаемой здесь же, в круглой печи. Два обеза лопатами-рыльцами ворошили кучу кирпичной крошки возле известкового раствора.

На земле лежали разноцветные куски яшмы, красного шифера, ноздреватого туфа, белые камни с высеченными львиными головами и надписью: «Чернигов — брату».

«Со всего света понавели», — с завистью поглядел Храп.

На высоких лесах трудились укладчики, пристраивали новое крыло ко дворцу. Возле лесов стоял киевский мастер Тихон, почесывая бороду, разглядывал чертеж, процарапанный на длинной черепице, щуя глаза, что-то прикидывал, рассчитывал в своем плане-очертанье.

«Не миновать беды, — думал Храп, поднимаясь по всходам к палатам. Перила походили на каменные мужские пальцы, сжимающие медный прут. — В гневе князь — бешенец».

Храп придержал шаг, проходя верхней колоннадой. Остановился у открытой аркады сеней, поглядел вниз. Высились деревья: понтийские иглицы, таврический ладанник...

В соседнем дворе на крыльцо архиепископского дома с окнами-кокошниками и зеленовато-бирюзовой черепицей крыши всходили черноризец отец Ферсоний и подслеповатый брат-библиотекарь.

Разноцветно переливались венецианские стекла на окнах женского терема напротив.

Позади сада лекарственных трав грудились клетки слуг, загоны для рабынь, погреба, ледник, пекарня, врытые в землю чаны для вина. Виднелся соколиный двор с ловчими птицами.

Храп вздохнул: «Богато живет, куда за ним угнаться». Пошел дальше, придумывая свой рассказ князю.

Внучатый племянник Глеба — тмутараканский князь Вячеслав — уже прослышал о грабеже и нервно ходил по гридне.

Худощавый, сутуловатый, порывистый в движениях и речи, с красивыми русыми волосами, блестящими шелком, он был бледен от гнева, тискал тонкую ладонь.

Вячеслав не был воем, дурно сидел на коне, но любил море, мог без конца глядеть на него, мечтал создать могучий флот, сделать все Сурожское море своим, возвратить Азак, захваченный пятьдесят лет назад половцами, повести широкую торговлю. Потому строил крупные ладьи, приходил на палубу заморских кораблей, знал новогреческий, арабский, латинский языки.

Русские бывали в Андалузии, у берегов Иллирии, Крита, Сицилии, доходили до Геркулесовых столбов.

Князь зачитывался «Книгой путей и государств» Ибн-Хор-

¹ Болтун.

дад-бега¹, где рассказывалось, как русские купцы через море Джурджан² достигали нефтяной земли, а оттуда верблюдами добирались до Багдада.

Но сейчас перед Вячеславом лежала обтянутая бархатом книга записей серебра, и он листал ее.

Когда Храп вошел и низко поклонился, князь пронзительно посмотрел на него, с отвращением отметив и бегающий взгляд боярина, и перхоть на плечах его кафтана. Зло подумал: «Голова велика, а мозгу мало».

— Татей выловили? — от ярости хрипло спросил он.

— Выловили, княже.

Лицо Вячеслава пошло красными пятнами.

— Кто казну убил? — спросил он, заикаясь, словно с трудом подбирая слова, во гневе становился косен языком.

— Пришлый. Бовкун со друзьями схитили...

— Серебро нашли?

— Ищем, княже. Упрятали где-то повозку...

— Сколько на ней было?

— Пудов десять, а то и боле...

Князь сжал кулаки:

— Я на то серебро мог построить корабли... Удавить татей в пыточной келье! Удавить!

Потом, поостыв, сказал:

— Удавить успеем... Вырви признание...

Храп возвратился в свои хоромы встревоженным: «Надо на пытках поскорее изничтожить опасных людей: на чужой рот застужки не нашьешь, свинья — борову, боров — всему городу... А Бовкуна — для себя умыкнуть».

На него свалил вину, как на пришлого, да потом спохватился: Бовкун надобен был ему.

У Храпа тайная пещера в горе у дальнего лимана, где хотел он чеканить монеты из похищенного серебра. Вот и задумал увезти туда от казни Евсея, чтобы мастер этот смышлявый чеканил ему монеты. А князю скажет: «Бежал Бовкун и при бегстве убил стражника Силу». Этого Силу, что не поддавался подкупу, безопаснее к протцам отправить.

«И не в таких переделках бывал, а находил выход, главное — словчить», — успокоил себя Храп. Он перекрестился: «Верую во Христа, нашего спасителя, и в нем наша надежда...»

Позвал сына-отрока, глядя на его румянцем налитые щеки, вздохнул: «Чего только не свершишь для чада». Был и еще один сын, да три лета назад задохнулся, играя: подбрасывал грушу и ловил ее ртом.

— Давай, Проша, споем...

Тонким, высоким голосом Храп запел чувствительный тропарь, и при этом детские глаза его стали мечтательны, затуманились от набежавшей слезы.

СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР

Евсей лежал на земляном полу одиночной пыточной кельи — ямы. Оковы горели на запястьях, сердце разрывала боль. Других невинных все эти дни увечили, повалив, били ногами по сердцу. Трое, не выдержав пыток, померли. Трифон — сущий скелет, в чем только душа держалась — перед смертью ума лишился, показал, что он воз угнал, сбросил с кручи в залив.

Евсея пытали, потом поставили с очей на очи с подлым стражником Драным. Тот послух¹ сказал:

— Бовкун воз нагружал...

Писарь, скрипя пером, записывал: «Ночью умыслили казну князеву убить... Бовкун серебро грузил листами...»

Евсей, стиснув зубы, повернулся на другой бок: «Что с чадами теперь станет?» От этой мысли боль в сердце становилась еще сильнее.

Хорошо, что живут хоть в своей землянке. Дед Кузя долго болел. Анна с Ивашкой досматривали за ним, перед смертью дед сказал:

— Переходить, святые души, в мою лачугу...

Там они и остались.

На княжьем дворе, огороженном высокой стеной, и творили лживцы свой суд неправый, на виду у хором, часовни, голых баб из мрамора.

Стояла весна. Цвели заморские розы. Застыли абрикосы и персики в цвету. Сновали розовые скворцы.

У ног князя лежал серовато-желтый, в темных пятнах гепард. Животное было спокойно, только длинный, в черных кольцах, хвост, утолщенный к белому концу, подрагивал да зеленые, в коричневых крапинках глаза поглядывали на Евсея зло.

Кривосуды важно восседали на скамьях помоста, вокруг Вячеславова кресла. Были здесь вкрадчивый тихоня боярин Яким; гривастый тысяцкий Беловолос — строитель укреплений; городник с дряблым лицом и долгим, нагнутым носом; княжьи телохранители — гридни.

¹ Сороковые годы IX века.

² Каспий.

¹ Свидетель.

У архиепископа Арсения, с короткими кудрявыми власами и малой узкой бородой, нашиты на камчатую ризу-фелонь кресты и архангелы. Арсений смотрел на Евсея сострадательно, как богородица в соборе, его ласковые карие очи словно бы рекли: «Смирись, на то божья воля».

Князь середь них сидел, вцепившись пальцами в подлокотники, подавшись туловищем вперед, словно для прыжка собрался. Видел его Евсей третий раз в жизни. Первый — в порту, на корабле, куда всходил в шлеме, жженым золотом изукрашенном, и шлем тот казался неуместным на палубе.

Во второй раз видел Бовкун Вячеслава на Чеканном дворе, вместе с Якимом и Храпом. Тогда бросились в глаза холеные руки князя с тонкими пальцами. Они ласкали монеты, пересыпая их из ладони в ладонь.

А сейчас, на суде этом подлом, разглядел Евсей у князя светлые, почти белые, глаза одержимого человека, не знающего пощады.

Гнев вскипел в груди Евсея: «Все вы, криводушные, изолгались... И храм тот построили, чтоб лжу возвысить, а суд страшный на земле творить. Из одного дерева икона и лопата... Лицемеры... Все лицом меряете... Как лицо важное, так и прав... Вот те, Аннушка, и одолень-трава...»

Бовкун остро оглядел ряды огнищан, алые корзна, в серебре арабские пояса...

«Вырядились, убивцы, обожрались тетеревами да рябчиками, а убогим зиждителям хлеба нет чрево насытить. Даже кладбище свое огородили... Облачились в паволоки перед нашими рубищами. Мыслите: «Чья сила, того и правда!»

— Видись,— приказал князь.

— Неповинен я...— сказал Бовкун.— Подлое измышление. Крови пролитие творите... и бесчестье...

Огнищане зашевелились.

— Загради уста, громитель! — угрожающе крикнул тысяцкий, хватаясь за меч.

У князя тонкие пальцы свело, словно он ими Евсеево горло сжимал. Процедил брезгливо сквозь зубы:

— Ворона не может на орла брань творить...

И, вставая, будто мечом взмахнул:

— Взавтра поутру на Чеканном дворе удавить, дабы другим неповадно было...

Евсей открыл глаза, сел на полу. Железа впились в тело, цемили, мозжили кости, зашлось сердце.

«Долго ль до утра? Значит, Евсей, такая твоя судьба: в Солнцеграде от удавки помереть».

Звякнули засовы двери, вошел стражник Сила. Он лучше

других, добрее. Все поглядывал на Евсея, словно хотел ободрить, да не смел. Иной раз подсовывал корку хлеба.

— Сбирайся! — сказал Сила.

Сбираться-то недолго, все при себе: и горе, и тоска по чадам. Евсея вывели во двор. По небу прошли первые предутренние полосы. Едва теплились, угасая, звезды. Вдали темными громадами высились княжьи хоромы. Мягкий морской ветер оведал лицо, утишал боль.

Вдруг кто-то ударил сзади стражника Силу по голове. Звук был глухим, будто удар нанесли железкой, обернутой ветошью. Сила упал замертво. Подскакал всадник, переброшил Евсея поперек коня и помчался сонными улицами Тмутаракани.

Князя разбудил трясущийся начальник стражи. От страха он долго не мог произнести и слова. Рухнув на пол, прохрипел:

— Бовкун сбежал... Стража убит...

Князь в ночной рубахе, всклокоченный, закричал:

— Всем в погоню! — Пнул ногой начальника стражи: — Тебя казню заместо беглеца!

Стражники переворошили лачугу деда Кузи, били плетью Ивашку и Анну:

— Где отец?

Окровавленных, оставили их на полу. Искали сообщников, бросили в поруб Будимира и Милована, вылавливали на площадях бездомных.

Бовкун как в воду канул.

ТАЙНАЯ ПЕЩЕРА

Когда глаза привыкли к темноте, Евсей разглядел в слабом мерцании плоские невысокие своды пещеры, решетку, отделяющую ее от уходящего в темь коридора, тела спящих на каменном полу, неясные очертания каких-то куч, покрытых рогожей.

В эту глубокую пещеру на краю дальней косы, где тонкая земляная перемычка отделяла гору от короткого лимана и Русского моря, приказал Храп своим помощникам свозить краденое серебро и здесь чеканить монеты.

Храп с Якимом уже бросили за решетку в глубине горы пять холопов, купленных на Торгу, а теперь приволокли сюда и Евсея.

...Бовкун приподнялся, встал, разминая онемевшее тело. Глухо, будто за тридевять земель, казалось, шумело море. Или то шумело в ушах? Звякнули оковы.

Бовкун приподнял одну из рогож. Рука нащупала тонкие листы серебра. Под другой рогожей — зубила и резцы.

Так вот зачем затеяли эти подлые самовластцы суд свой неправый. Тати в бархатных кафтанах решили делать тайно от князя монеты.

Громыхнула, видно, дальняя железная дверь, к решетке подошел человек — лица его Бовкун не мог разглядеть. Человек просунул через решетку кувшин с водой, куски черного хлеба, мясо.

— Слышь, Бовкун, — подозвал он Евсея. — Послужись верой, порадеешь — выйдешь на волю. Монеты чекань точно, как для князя чеканил... Все серебро стратишь — пойдешь с детьми куда хошь из Тмутаракани да еще с собой и деньги унесешь. Давай руки, цепи отопру.

И вдруг закричал сипло:

— Эй, сонные, неча разлеживаться!..

Спящие зашевелились, подняли взлохмаченные головы.

— Бовкун у вас за старшого будет, слухайся во всем его, делай, что прикажет...

И ушел в темноту. Снова громыхнула где-то вдали железная дверь.

К Бовкуну подошел огромный, обросший седой щетиной мужик:

— И тебя скрутили?

Спросил так, будто прежде встречались, хотя видел Евсей его впервые.

— Мерзлому да еще и метель в глаза, — глухо ответил Бовкун.

Кто-то зажег факел, в пещере стало светлей. Поделили харч, ели молча, обреченно. Каждый понимал: попали в поруб страшный, похоронены здесь живо.

Евсей наконец сказал:

— Может, подкоп сумеем свершить?

Сидящий рядом с ним рыжий мужичишка вздохнул тяжело.

— Да вот и Нечай о подкопе твердит... — кивнул он на соседа в седой щетине. — Нет, не вырваться нам отсюда...

— И не из таких капканов выдирались. — Нечай отпил воду, передав кувшин, обтер губы: — Кому охота гибнуть руки сложа?

Бовкун оживился:

— Верно! Пятеро будут делать те проклятые монеты, а шестой наперемежку стену долбить. Денно и ночью. Чую, море здесь недалеко, может, к обрыву пробьемся.

Все немного повеселели, вроде б луч дневной забрезжил вдали: не подыхать же покорно.

Нечай уважительно поглядел на Бовкуна — сила в нем есть, жизнь, видно, мяла, да недомяла.

— В работе шума поболее вершите, — посоветовал Евсей, — подкоп неслышней будет.

Рыжий — его звали Агапом — положил тонкий лист серебра на камень:

— Показывай, мастер, свою науку...

Дни и ночи потекли в тайной пещере тяжелой чередой. Уже дважды уносили отсюда молчаливые стражи ящики с готовой монетой, изрядно поубавилась горка серебряных листов, а подкоп уперся в твердь, и надо было менять ход, отводить его в сторону.

У Якима с Храпом шел свой разговор в гридне.

— В пещере серебра еще на сколько дён осталось? — нервно покусывая тонкие губы, обеспокоенно спросил Яким.

— Да за месяц управятся.

— А дале что нам вершить?

— Удушим всех во сне, как курчат, — тоненьким голосом сказал Храп. — В райские кущи пошлем... — осклабился, поглядел на Якима детски-круглыми глазами.

— Опасно, — посмел не согласиться Яким. — Не дай бог кто случайно обнаружит и через год пещеру, не уйти нам от княжьей расправы. Я другое надумал.

Яким вытащил из-за пояса черепок, стал чертить на нем:

— Вот перемычка... отделяет лиман от моря. Когда море отливает... на двенадцать часов... В лимане сухость... В часы отлива ту перемычку и разгрести... Море снова подступит, зальет лиман, все ходы пещеры и ее... А перед тем всё из пещеры побросаем в море. В ней вода уж стоячей будет, никуда ей не деться, навсегда... Пещера-то вниз идет, под уклон...

Храпу план понравился. Спросил деловито:

— Сколько людя надо для перекопа?

— Человек шесть, не боле.

— Столько верных у меня есть...

Дочеканивали последние монеты, уложили их в последний ящик. Вместе с ним унесли стражи и все, что напоминало о тайной мастерской. В пещере стало пустынно. Страж, задержавшись у решетки, сказал весело:

— Теперь вскоре на волю вам... — Ушел, гулко отбивая шаг.

— Верь черному ворону, — процедил Нечай, — порешат нас, — и полез в пролом.

— Я тя сменю, — бросил ему вслед Бовкун.

Все улеглись спать, но какой тут сон.

Нечай упорно долбил камень и вдруг явственно услышал морской прибой. Он шумел где-то совсем рядом, за стеной, словно звал поторопиться, обещал волю.

Нечай с удесытеренной силой стал вгрызаться зубилом в камень, шептал, ободряя себя: «Ну, поддай, поддай...»

В это время раздались предсмертные вопли в пещере: то стала затапливать ее вода. Она подступила и к Нечаю. Нечай сделал еще несколько отчаянных ударов зубилом и захлебнулся.

СИРОТСТВО

После налета княжых сыскных Ивашка и Анна долго болели от побоев. Их выходила соседка — костлявая женка Пелагея. Поила душистым настоем, прикладывала, понося истязателей, листья прострел-травы к ссадинам.

Никаких вестей о судьбе отца не было, хотя упорно шел слух, что ему удалось бежать. Потом исчез и Милован.

Надо было думать о пропитании. Ивашка, надев длинную холщовую рубаху, порты до щиколоток, пошел на поиски хлеба.

За последние два года он вытянулся, и ему можно было дать больше его лет. На загорелом лице, у губ, проступили светлые волосы, в плечах стал он широк, как отец, и, как отец, ходил неторопливо, немного враскачку, говорил скупно.

В порту и без него было полно голодных ртов. Ивашка пошел к рыбному торгу. Город казался доверху набитым рыбой. Она била тугими хвостами, выброшенная на песчаный берег, трепыхалась пучеглазиками и столбцами на удилицах мальчишек, шкворчала на сковородах обжорных рядов, кучилась возле чанов для засолки...

Ивашка подошел к ставку у берега. В яме, обложенной камнем, с песком на дне, ходила красная рыба, ждала своего часа продажи. Проточная морская вода-пребеж шла в став из одного узкого желоба и выходила из другого.

Возле деревянных ящиков-солилен высились контильни, балычница на четырех столбах с шестами поперек и кровлей сверху.

Балычный мастер-старик, весь в чешуе, одним взмахом ножа отрезал нижнюю часть осетра, вынимал внутренности, отрубал голову, солил и вешал рыбу на жерди.

Покрутившись здесь, Ивашка возвратился к солильням. В деревянных ящиках томилась красная рыба, в чанах, вкопанных в землю, — белая. Владелец солилен — приземистый, бородатый купец — покрикивал на работных людей, что чистили, потрошили рыбу, корзинами вываливали ее с солью в ящики и чаны, задвигали их крышками, обмазывали глиной.

Юнец, чуть постарше Ивашки, высокий, заморенный, с босой губой, залез по приказу купца в ставок, поймал одну рыбину, ударом топора по голове оглушил ее и бросил в мешок, который

держал покупатель. Видно, даже такая работа была не по силам юнцу, он вспотел, светлые, с рыжеватинкой, волосы на его голове взмокли, руки немного дрожали. Вокруг тошно пахло потрохами, крутым рассолом, укропом, прихваченной солнцем хамсой, а над всем этим роились мухи.

Ивашка подошел к юнцу, когда он вылез из ставка, спросил запросто:

— Тебя как звать-то?

Юнец удивленно поглядел на незнакомца с широким посом, добрыми глазами под выцветшими бровями:

— Глебом.

— А я — Ивашка. Работу ищу.

Купец крикнул издали:

— Эй, эй, чо там языки распустили?!

Глеб быстро сказал:

— Ты поди к нему. Может, поставит, — сам ухватился за корзину.

Купец оглядел Ивашку: «Крепкий, хоть и отощал».

— Возьму на пробу. Ларька, — позвал он шустрого молодого рыбака, — поучи рыбака, как чистить да потрошить.

Ларион повел за собой Ивашку, дал ему нож.

Белую рыбу и сельдь здесь солили вместе с чешуей, у сельди вырезали жабры.

Ларион ловко хватал рыбу трехпалой рукой, надрезал ее по брюху, выбрасывал внутренности, мыл рыбу в чистой воде и сбрасывал в рассол. Тарань он разрезал вдоль спины, с обеих сторон и по брюху. При этом все время, неведомо чему, улыбался, выдвигая вперед желтоватые зубы.

Ивашка быстро усвоил премудрости, и купец одобрительно сказал:

— Рыбы тебе с собой дам и два медных... Старайся...

Ивашка под вечер возвращался с Глебом в предградье. Залив походил на голубоватое зеркало. Солнце разбросало по небу красно-сиреневые перья.

Глеб оказался безотцовый, безматерний — тоже сиротой. Жил в землянке у чужэй бабки на Проезжей улице. По дороге они купили хлеб.

— Иной раз, ведаешь, такая рыбина попадет, — говорил Глеб, картавя, вместо «рыбина» у него получилось «гыбина». В речи Глеб приостанавливался на полуслове, будто преодолевая его. — Давесь белугу споймали, хошь верь, хошь нет — двенадцать шагов длины... пятнадцать пуд весу... Внутри у той белуги камень нашли с кулак. Рыбаки сказывали — к счастью...

К Ивашке и Глебу подошли три оборванных хлопца. Один из них — бельмастый — потянул к себе рыбу, заработанную Глебом.

— Что те? — испуганно спросил Глеб.

— Надорвешься! — ответил бельмастый. — Дай подсоблю. — И вдруг ударил Глеба кулаком меж глаз так, что тот полетел наземь.

Ивашка, бросив свою рыбу, саданул обидчика кулаком по уху, потом схватил придорожный камень, поднял над головой.

— Размозжу! — желваки напряглись на его скулах.

И Глеб, размазывая кровь из носа, тоже ухватился за камень. Налетчики понялись.

— Тю, скаженны! Пошутковать нельзя. — Пошли к морю.

Ивашка сочувственно посмотрел на Глеба:

— Больно?

— Да нет. Обидно.

— Вона землянка наша, — сказал Ивашка, — зайдем. Сестренка моя, Анна, верно, заждалась. И рыбу нам изжарит.

— Пойдем, — охотно согласился Глеб.

Анна встретила их на пороге. Глеб с изумлением уставился на миловидную девушку с двумя темно-русскими косами за плечами. На Анне — сарафан из крашенины. Чистый лоб ее перетянут цветной лентой с бисером, волосы гладко причесаны, но возле маленьких ушей завиваются колечками. Точеную, нежную шею охватывает ожерелок из ракушек, словно пытается скрыть багровый рубец.

Глеб будто прилип к земле, не мог сдвинуться с места.

Анна, видя его смущение, засмеялась, при этом милые морщинки пролегли от ее вздернутого носика к губам, сверкнули белые зубы, а светло-карие глаза еще более удлинились.

— Да вы зайдите, — пригласила она Глеба. — Я, чай, не кусаюсь.

Ивашка уже полгода работал на засолке.

Руки его потрескались, лицо снова загорело, а сам он окреп, стал мускулист.

Однажды, придя в свою землянку, он встретил Анну.

— Братiku, — сказала она, мимолетно прикасаясь своей щекой к его, — и мне посчастлило.

На Торгу ее увидела жена боярина Седеги с Серебряной улицы — Настаська.

Проходя рядами, боярыня грызла фисташки. На красивой шее Настаськи густо лежали кораллы — их-то прежде всего и приметилла Анна. А потом и волосы бронзового отлива.

Вдруг Настаська подошла к ней, спросила, глядя в упор густо-зелеными глазами:

— Пойдешь, девка, ко мне в услуги?

Анна от неожиданности оторопела, но сказала тихо:

— Пойду.

...Княжий милостник боярин Седега — высокий, с большой русой бородой, — ведал постройкой кораблей, сопровождал князя в его поездках в Херсонес, Иверию, Трапезунд. У Седеги богатые, под черепицей, хоромы с белёными внутри стенами, с печью, что топили соломой и нефтью, полно прислуги.

Дородной, холеной Настаське хотелось иметь в услужении их больше, чем у всех других бояр.

По одежде из темного недорогого сукна Седегу можно было принять за разбогатевшего владельца мастерской.

Он любил кипрские вина, парную баню, киевские песни, неплохо говорил по-гречески. Был смекалист, оборотист, умело грел руки на княжьей казне, отпускавшей серебро на постройку кораблей, а вот жену свою, Настаську, побаивался, зная ее взыбалмошный, неумный характер.

Неприметно посмеиваясь, глядел он, как Настаська, подражая фрягам, заводила переносные жаровни, мудреные светильники, протирала кожу лица византийскими снадобьями, красила брови и ресницы, растворяя порошок алкул.

«И откель то в Настаське, — дивился он про себя, — дочь сокольничего, а поди ж ты!»

Настаська носила в маленьких ушах длинные, голубой эмали, подвески, на пышной груди — ожерелье с бабочками из цветных камней, а выше запястья — браслет с головой Афродиты: коленопреклоненные амурь привешивали той богине серьги. Облацившись во всю эту роскошь, Настаська часами крутилась у зеркала. Жруней она была редкостной, каждый день ей пекли пироги.

Особенно же любила Настаська давать советы мужу. Перечить он ей не решался, но все делал по-своему.

С прислугой обращалась Настаська грубо, била по щекам, визгливо кричала на все хоромы, оскорбляя и понося.

Детей у Седеги не было, он очень об этом кручинился, а Настаська говорила, что ей и не надо — одни хлопоты, а если он, блудник и баболюб, желает иметь их на стороне, — пусть заводит, только, шалишь, выцарапает она глаза сопернице.

Когда поутру в хоромы Седеги появилась тихая, стеснительная Анна, Настаська начала громко поучать ее:

— Сложи руки не сиди! Бегом твори, расторопно... Пойди медные ступки почисть кирпичом. Нет! Принеси убрus...

Седега подумал не без жалости: «Еще один курчонок в борщ Настаськин попал». Заикнулся было, когда они остались одни:

— Детеныш же еще, ты ее сильно не неволь.

Но Настаська так яростно зыркнула на мужа зелеными глазами в темных шелковистых ресницах, так воинственно подперла кулаками свои пышные бока, что Седега сразу пошел на попятный, сказал примиренно:

— Да то и не моего ума дело.

Возвратилась Анна, принесла убрus. Заметив прошмыгнувшую в углу мышь, Настаська вдруг завизжала, будто ее резали, проворно вскочила на кованый ларь-скриню, крикнула Анне:

— Лови, лови ее!

Но мышь юркнула в нору, и Настаська, слезая с ларя, напустилась на Анну:

— Чо ж ворон ловишь! — Пнула ногой ларь. — Перетряхни одежу, сопрееет вся...

И чего только не было тут: алая атласная шубка на горностаевом меху с огоньками, шубка на хребтах собольих, камчатая серогорячая телогрея с серебряными узорными пуговицами, заморские дымчатые меха.

Анна в жизни не держала такое богатство в руках и, представляя себе, как бы это все выглядело на ней, даже разругалась. «За век столь не переносить, — подумала она. — Вот кому не надобна одолень-трав».

Глеб, с которым Ивашка скоро сдружился, как-то сказал ему, когда они стояли на берегу залива:

— Что ж нам, всю жизнь рыбу потрошить, хозяйску казну набивать?

Ивашка тоже думал не однажды об этом. Надо было приставать к какому-то ремеслу.

Глеб покосился на друга — чего молчит? Осенний ветер-листопад нещадно лохматил пшеничные кудрявые волосы Ивашки.

— Есть здесь гончар — Калистрат... Сам из Киева, а дед его — грек. Калистрату помощники надобны, — словно советуясь, произнес Глеб.

Ивашка вспомнил гончарню отца Корнея Барабаша в Киеве:

— Сходить надо...

Небольшая керамическая мастерская Калистрата стояла недалеко от залива.

Когда Ивашка и Глеб вошли в мастерскую, Калистрат вошел у обжиговой печи. На подставках лежали штемпеля-формы для выделки кувшинных ручек. На гончарном кругу стояли оранжевые горшки, словно освещенные солнцем. А на полу — высокие пифосы, светильники, игрушки в зеленых пятнах, желто-серые горшки со «звериными ручками», похожими на бараний рог.

Калистрат оказался стариком добродушным, забавным. Юнцы ему, видно, понравились, и он согласился взять их в помощники. В прошлом месяце два его подручных отвозили кувшины в Азак, да так и не вернулись оттуда, видно, в беду попали.

В мастерской Ивашке и Глебу было интересней, чем на засолке рыбы, хотя и не намного легче.

Калистрат колдовал над глиняным тестом, очищая его от ненужных примесей, подмешивая то морской песок, то рубленую солому, то ракушки толченые.

Посмеиваясь в седые, будто в морской пене, усы, говорил:

— Глядит, глядит, молодь, как старче ворожит, сосуды различные творит...

У Калистрата были свои любимые присказки. Если что ему не давалось, он сердито бурчал:

— Как с вербы петрушка.

Вспоминая старую историю, непременно заканчивал ее словами:

— Было, да на низ сплыло...

А когда заканчивал работу, потирал руки и приговаривал:

— Аминь, а головой в овин.

По воскресеньям Калистрат неизменно ходил в бедную церквушку у складских дворов. Она больше смахивала на приподнятую клеть, занесенную сюда с киевского Подола: было в ней всего три кадильницы да потрепанное Евангелие. Но Калистрат защищал эту церквушку:

— В ней мизинному¹ человеку способней. Собор не по мне, — и при этом зевал с повизгом.

В ремесле своем Калистрат был мастером великим. Знал тайный состав поливы, примешивал к глазури зóлы пережженных трав и добивался тем яркости красок.

Красноватые амфоры из особого теста покрывал он изнутри хвойной смолой, чтобы дольше держалась в них жидкость. Любо было глядеть, как заглаживал Калистрат бок кувшина мокрой рукой и травой, наносил рисунки и волнистые разводы особыми зубчатыми или плоскими палочками, а то рыбьей костью.

Гордостью Калистрата были блюда: на них зайцы, прижав уши к спине, прыгали куда-то.

Ивашка и Глеб замешивали глину, разносили по домам бояр и купцов готовую посуду, тачкой отвозили черепицу, плитки для облицовки и к вечеру сваливались без сил.

ВАЛУН НА КОСЕ

Сурожское море в сравнении с Русским блекло, как Ирпень рядом с Днепром.

Ивашка любил ходить к Русскому морю, на мыс, что вда-

¹ Ремесленник, купец.

вался в него воловьим языком. Дорога из города петляла узкой стезей — почти заросшей травой, кустами серебристого лоха по краям, — мимо стены монастырской в зеленых мховых линах, мимо маленькой церкви-пещеры, вырубленной в скале отшельником Тихоном, мимо Лысой горы и гроба на берегу протоки. На белой мраморной крышке гроба искусный мастер в стародавние времена прорезал узорчатые кружки, казалось, их можно сдунуть с мрамора.

Плыли над головой облака, то похожие на сад в розовом цвету, то на странников в серых одеждах.

Иная тучка пробегала торопливой дымкой, легкой, как походка Аннуськи, а вслед ей тянулась рыжеватая, как волосы Глеба.

Пахло пылью, нагретыми солнцем гольцами, полынью.

На самой оконечности мыса лежал огромный валун, словно выброшенный морем в дар земле. Время сотворило в боку валуна вмятину. Ивашка клал руку на этот камень, будто обнимая его, и долго глядел на море, слушая его мудрый голос.

Сколько видело оно на своем веку... Тысячи лет обжигало солнце эти камни и этот берег. Тысячи лет, не утомляясь, набегала волна, обтачивая с упорством гранильщика валуны, одаряя цветными камешками. Ветры доносили запахи Царьграда и Трапезунда, неведомых земель, тихими голосами раковин рассказывали о них.

Море было то домашним, то вспухало густо-синей опарой. В такие часы солнце разбрасывало на нем переливчатые рядна, зеленые колодцы с зыбкими водорослями и киселем медуз на дне. Прибрежный, обросший зеленой скользкой шерстью камень нежно ласкала пузырчатая пена.

А то вдруг море свирепело, начинало клокотать водоворотами бездн и коловоротей. Черные крутые волны злобными половецкими ордами, с яростным ревом бросались на скалы, гулко разбиваясь в брызги, по-змеинному шипя, откатывались.

Кричали зловеще чайки-хохотуны, выныривая из пенных котлов, где небо и море свивались в черный клубок, разгулявшиеся волны осатанело бились о валун, сшибались у берега, как сшибались в небе тучи, рождая молнии.

Вот и сегодня, под вечер, пришел Ивашка к своему валуну. Море было тихим, изумрудно-синим. На самом окоеме его виднелся белый парус, казалось, по волнам плыла чайка с поднятыми крыльями. Дальние солнечные столбы уткнулись в море, и белый парус будто скользил меж этими столбами.

Недалеко от берега стали выпрыгивать колесами из воды белобокие дельфины, безбоязненно играть в пятнашки. Один из них не рассчитал полета, рухнул на острые камни берега. Ивашка

подбежал к нему. Мертв! Ивашка сбросил дельфина в море. Немедля к своему собрату обеспокоенно подплыли пять дельфинов. Они начали растирать его лапами. Дельфин зашевелился и, осторожно подхваченный под бока другими, уплыл в море.

Ивашка с разбегу прыгнул вслед. Соленая вода услужливо держала его на своих ладонях. Он перевернулся на спину, скрестил руки на груди. Море качало, как в зыбке. Поглядывало приветливо низкое небо.

Ивашка возвратился на берег, когда фиолетовый закат лег тенями на валун. Со светлой бородки и коротких усов стекала вода. В убаюкивающий шорох вплетался голос дальнего колокола, вечерний умиротворенный благовест. Молчали колокола Гуд и Бурлила, обычно подававшие голос кораблям в тумане. Сейчас, мягко выплывая, вызванивал Лебедь. Ивашка долго стоял у валуна, вел всегдашнюю свою беседу с отцом.

— Где ж тот Солнцеград? — спрашивал его Ивашка в какой уже раз.

— Будет, будет... — тихо отвечали волны голосом отца.

Так захотелось увидеть его. Ведь тогда, в Киеве, тоже не было много месяцев и слуха, а потом оказалось — жив. Может быть, и теперь?

Начинался прилив. Ивашка, глядя на белогривую череду, думал, что волны подгоняет не только ветер, но и бледно проступившие на небе звезды, и загадочный поводырь-месяц.

В лад прибою потекли мысли о нелегкой судьбе Анны, о друге Глебе и Сбыславе: «Ей, верно, как мне, девятнадцать. Нет, меньше, лет восемнадцать... Где она, встречу ли когда? Узнает ли?»

Припомнились быстрые, озорные глаза Сбыславы, и грудь затопило дотоле неведомое тепло. Он подумал о Глебе: «Ему Аннуса по душе, а она и не ведает того».

Глеб был добрым, верным другом, но даже его Ивашка взял сюда, на косу, только однажды. Разговорчивость Глеба, суетливость мешали думать.

Когда они вместе проходили мимо какой-то затопленной пещеры, Глеб, понизив голос, зашептал:

— Об этом месте недобрая слава... Калистрат рассказывал — люд в ней потопили...

У Ивашки тогда сжалось сердце: «Где только люд не топят...»

Сейчас, проходя мимо этого же места, Ивашка поглядывал на скалу. Из щели тонкими струями, как темная кровь, сочилась вода, стекала по обрыву в кустах ломоноса. Ивашка ускорил шаг.

Ночь наступила сразу. Тело оведал прохладный ветер. Разго-

рались ярко звезды. Они бесстрастно глядели и на Тмутаракань, и на оставленную землянку киевского Подола.

Побывать бы в Киеве хоть один день, хоть один час.

Пахло лежалыми водорослями, рыбьей чешуей, солью — все это были запахи города, к которому сердце так и не приросло.

Багряная лунная дорожка пересекла море, тоже звала вдаль.

За поворотом Лысой горы открылись огни — то на берегу залива жгли маячные костры, варили уху.

ЗДРАВСТВУЙ, КИЕВ!

Князь Вячеслав еще с весны приказал боярину Седеге сбить валку, чтоб повезла она Владимиру Мономаху в подарок икру и горчицу, а в обратный путь закупила мех.

Половецкий хан Сырчан, видя выгоду в торговле через его земли, обещал валке неприкосновенность. Но князь назначил в ее охрану большую дружину, приказал идти до Северского Донца, там передать валку из рук в руки дружине Мономаховой, оповещенной цепью конских подстав¹.

Валку послал князь для того, чтобы скрыть истинную, главную цель — поездку в Киев осмяника Якима.

Еще четыре года назад тот мог бы ехать в Киев беспрепятственно, через русскую крепость Белая Вежа. Но теперь между Киевом и Тмутараканью пролежала злая половецкая земля.

Охранная дружина с Северского Донца должна была возвратиться домой без Якима. Ему Вячеслав поручил повести с Мономахом тайные переговоры о совместном завоевании Азака. Вячеслав предлагал свою помощь с реки, дал Якиму свиток с надписью: «Скрытое слово», синим оттиском княжьей печати — корабль у лукоморья, рыба, бутор соли.

С Киевом все сложно: у него свои ревности, хитрости, свое дальновидство. Может, и тмутараканского князя Ростислава отравил тогда не один корсунский котопан?

...Яким стоял перед Вячеславом посол послом: кафтан подбит рудо-желтой камкою, штаны атласные, сапоги желтого сафьяна. Принял свиток с молчаливой важностью, и на лице его князь не мог прочесть ничего, кроме бесстрастной готовности выполнить повеленье.

— И гляди, чтоб Ратибор не пронюхал, — наставлял князь напоследок Якима, — не то начнет отговаривать Владимира...

Тысяцкий Ратибор хорошо помнил свое тмутараканское сидение и теперь, став правой рукой Мономаха, с подозрением относился к Вячеславу.

Валку готовили долго, и неожиданно для себя попал в нее Ивашка.

Калистрат сказал как-то боярину Седеге, покупавшему у него амфоры, что Ивашка умеет обращаться с волами, ходил с отцом по Соляному шляху. Седега, узнав, что этот юнец к тому же и брат Анны, взял его в валку.

Калистрат и свою выгоду искал: поручил Ивашке привезти ему из Киева византийской глазури. «Возвернется, стану как след обучать ремеслу», — решил мастер.

Ивашка ходил сам не свой: неужто сбудется его мечта, и он снова пройдет улицами родного Подола? Если б можно было прихватить с собой Анну, они, может быть, и остались в Киеве, но кто ж возьмет в валку Анну? Да и как найдет их отец, если он жив?

Им предстояло ехать Залозным шляхом — шел он мимо зарослей лоз, по-над Сурожским морем, на Шурукань.

Выехала валка на рассвете.

Анна, целуя брата, зашептала дрожащими губами:

— Теть Марье поклонись... Малышей поцелуй... И Фросе поклонись... Так завидую тебе, Ивасик, так завидую... Мне, братику, землицы киевской привези... горстку... Господь ты храни!

Сжимая руку Глеба, Ивашка тихо попросил:

— Ты для Анны будь замест меня.

Глеб ответил непривычно скупой:

— Езжай спокойно.

...Позади остались Золотые ворота. Колокол Гуд подавал в тумане голос тем, кто шел с моря. А град, что так и не стал родным, уходил, уходил, скрылся из глаз.

Сурожское море распахнулось бельмасто, незряче, походило издали на ковыльную степь.

«Прощай, море, — мысленно обратился к нему Ивашка, идя рядом с волами, — еду к Днепру Славутичу... Что ждет меня в Киеве? Матерью или мачехой встретит?»

Ивашке на мгновение показалось: шагает рядом отец, спрашивает, щуря добрые глаза: «Осилишь путь, хлопче? Все помнишь, чему учил тебя?»

Потом подумалось: «Может, Сбыславу где встречу?» И сразу день стал светлее, и, ускоряя приближение Киева, он, как отец, сунул кнутовище за широкий пояс, негромко, но повелительно крикнул: «Цоб-цобе!»

Когда валка остановилась на отдых под Ставром, Ивашка распряг, пустил на выпас волов, подмазал мажу и отправился повидать Гудыма.

То место, где был пять лет назад его двор, заросло густым

¹ Скорость передвижения в такой цепи — 75 километров в сутки.

бурьяном и лопухами. Поднимались желтоватым замершим дымом высохшие тополя.

Босоногий мальчишка, клубя пылью, бежал по дороге. Ивашка остановил его:

— Здесь Гудым жил. Не ведаешь, хлопче, где он?

Мальчишка шмыгнул облупленным носом, поглядел с любопытством:

— Половцы огнем пожгли. Гудыма с женой истерзали.

Печальным возвращался Ивашка к своей валке: «Доколе ж степь полонить нас будет?»

Возле мажар дымили костры, в котлах на треногах знакомо побулькивало варево, кружили с писком рыжие летучие мыши-вечерницы.

И снова путь: дикie сады, где стаи дубоносов с вскриками «ц-и-ик» налетали на вишни, раскалывая косточки толстыми клювами. Ракита и черная ольха в левадах. Пропитанные молниями рябиновые ягоды в лесу.

В камышовых зарослях куги копошились лысухи, курочки. Молодые утки-хлопунцы били неокрепшими крыльями, как ладонями, по воде. В сумерках источала в сосняке резкий запах ночная красавица в венце желтых листьев. Прятались в бурьянных балках волки.

А степь то и дело, как человек, менялась в лице: бледнела там, где цвела таволга, синела в разливе колокольчиков.

Высились холмики-байбаковины, шныряли серые куропатки. Степь лежала то утомленной от жары, с пересохшими, потрескавшимися губами, то догоняла грозой. Тогда ветер пригибал ковыли, распарывали небо молнии, зверино рычал гром, стлались, будто дым пожарищ, свинцово-синие рваные тучи, и хотелось вдавиться в землю, у нее найти спасение.

Но уходила гроза, и степь наполнялась птичьим разноголосьем, неяркими красками.

Все эти дни и недели Ивашка словно заново родился на свет. Глаза его сияли, широкие ноздри жадно вбирали знакомые запахи. И каждый час рядом был отец-пестун. Он произносил со вздохом: «Горе наше овсяна каша: есть не хочется, а покинуть жаль». Или говорил: «Правде костыли не надобны». Просто-душно смеялся над Аннинными шалостями... Спрашивал строго сына: «Ты для чего живешь?»

«И верно — для чего? Для трудолюбства, для того, чтоб Анну сделать счастливой, чтобы самому повидать света и оставить на земле добрую метку».

«Но ты ведь еще ничего не сотворил, — взыскующе глядел отец. — Лжи и насилью мало противился... Ты — Ивашка Бовкун, а род наш всегда жил в правде...»

Смолистый запах дальнего бора сливался с запахом чабера.

Орел-могильщик опускался к гнезду на вершине высокого дерева, держа в клюве суслика. «Рак-рак!» — вскрикивала голубая сизоворонка. «Хэ-хе!» — словно в ответ ей скрипела сойка.

Ивашка оглаживал вспотевший бок вола:

— Цоб-цобел

Издали завиднелся Киев. Бешено забилося сердце Ивашки. «Здравствуй, батусы!» — хотелось крикнуть ему, но он только плотнее сжал губы.

Жадно вбирали глаза желтеющие заросли на берегах Крещатика, днепровские кручи, уступчатые холмы в осеннем наряде, Девичью гору в красных листьях рябины, ленту Боричева взвоза. А воп гора Щековица, белые стены Детинца, сторожевые башни, главы Софийского собора, печальные церквушки Подола, новый, неведомый мост через Днепр.

Вот так же осенью возвращались они с отцом в Киев, везя соль. И те же вербы по-над Днепром... И та же синяя даль, куда улетают журавли... И так же утомленными голосами зовут к себе колокола.

Сладив все дела в валке, Ивашка пошел к своему детству в дальнем углу Подола на Копырьевом конце.

Вот и знакомая улица. Темнели грачиные гнезда на старых акациях. Уходило в синее марево солнце, небо в желтоватых подпалинах нависло над днепровской кручей, над заброшенным двором Бовкуна.

Покосился плетень с калиткой, и береза сиротливо стояла у порога землянки с провалившейся соломенной крышей. Стропила выступали, как ребра у клячи. Да и по всей улице было немало таких же заброшенных, покинутых землянок, обросших мхом.

Калика-перехожий сказывал в Тмутаракани как-то Ивашке, что в Киеве «потряслась земля и церкви поколебались». Нет, стояли на месте церкви, а вот жизнь потрясла Подол, продолжала надруганье над его обитателями.

Ивашка переступил порог землянки: пахнуло плесенью, запустением; паутина обволокла давно затухшую лампаду в углу. Ивашка вышел во двор. Из колодца, когда-то вырытого отцом под рябиной, женщина в темном платье тянула бадью с водой. На камне-скамье у калитки сидела девчонка годков семи.

Ивашка постоял над ступеньками, ведущими вниз к Днепру. Их было сорок семь, Ивашка хорошо это помнил, но спускаться к вербам почему-то не захотелось. Посмотрел тоскливо на дуб в углу двора, подошел ближе к нему — на коре сохранились в

детстве вырезанные им копьё и щит. Да как же это было давно!

Рядом с дубом горбилась засохшая яблоня. Однажды Анна залезла на нее, но яблок не нашла. Ивашка, стоя внизу, замахнулся топором на дерево:

— Уродишь?..

Анна сверху ответила за яблоню:

— Урожу!

— Ну гляди! — шутливо пригрозил Ивашка. — Не то срублю, — и легонько ударил обухом по стволу.

А еще совсем маленькой, Анна, пригибая пальцы к ладошке, чистила:

— Сорока-ворона кашу варила... — дойдя до большого пальца, строго хмурила белесые брови: — Этому не дала, он коротыш... Дрова не рубил, воду не носил.

Ивашка тревожно подумал: «Не обижает ли кто Аннусю? Нет, Глеб заступится».

Правду батусь говорил: «Легче во тьме пребывать, чем без друга».

Ивашка набрал в мешочек горсть родимой земли: «Повезу ей, обрадуется». Пошел в сторону колодезного сруба.

Женщина подняла лицо от бадьи и вскрикнула:

— Ивашенька!

Он с трудом узнал в поседевшей, иссохшей женщине когда-то златокудрую жену Анфима:

— Теть Марья!

Кинулся к ней. Марья обняла его, положив голову на плечо Ивашки, разрыдалась. К ней испуганно жалась та девчонка, что недавно сидела на камне, тревожно светились ее темные звездочки-глаза.

— Мой-то... и Марфа и Лисавета с глаза померли... Вот одна осталась... — Прижала к себе рукой девочку. Словно оправдываясь, сказала: — Кажись, и не плачу, а слеза бежит...

Вздохнула виновато:

— Нужда изглодала. Ну, пойдем, пойдем к нам в избу. Где отец-то? Анна?

Узнав об исчезновении отца, Марья запричитала:

— Сиротинушки вы мои горькие... Что за доля наша разнесчастная. Извели Евсея, как мово Анфима...

Бросив руки на стол, ткнулась лицом в него, замерла.

Потом, придя в себя, тихо сказала:

— И попотчевать-то нечем в скудности... Пелагеюшка, — попросила она дочку, — достань казанок со щами.

Пелагея метнулась к печи, а Ивашка стал торопливо развязывать узел.

— Тетя Марь, есть вот хлеб у меня и сала шмот...

— Пелагеюшка, — тихо сказала Марья, подбирая волосы под

платок, — сбегай к Осташке Хохре, к дяде Петру с Фросей, скажи — сын Бовкуна возвратился.

Вскоре в избе Марьи стало тесно от народа, пришел даже старый гончар Агафон Барабаш, у кого скрывался Евсей перед побегом из Киева. Борода деда свалилась в клок, хрипы раздирали грудь. В прошлую осень отнялись у него язык и левая рука, да потом отпустило.

Петро Детина, отбросив костыль, долго обнимал Ивашку, гулко хлопал его по спине, втискивая в плечо свой грушеватый нос, отстранив, вглядывался, словно глазам своим не веря:

— Вырос-то как! Ну, точно Евсей. И шипка возле уха... Вот схожесть, на удивленье! Ну, гостек, ну порадовал!

Когда Ивашка повторил рассказ об отце, все приумолкли.

«Так, видно, и не спас я Бовкуна», — горестно думал Хохря.

Фрося всхлипнула, вытирая глаза, схожие с терном, сказала сдавленно:

— Может, еще жив где...

Лицо Петра стало серым, толстые губы задрожали:

— Не такой человек Бовкун, чтобы весть о себе не подать, коли жив был бы...

Дед Агафон поминально перекрестился.

Петро что-то тихо сказал Фросе, и она исчезла.

— И у нас тут, Ивашка, бояре лютуют как хотят, — сказал Петро густым своим басом, и глаза его мрачно блеснули. — Тысяцкий Ратибор — собака не лучше Путяты... Злые дела множит... Люд взвыл... Путятю-то, как приезжал, в смоле утопили, и этот дождется...

— Казначей Нажира кровь пьет, — скрипнул зубами Хохря. — Смердов не блюдут, едим хлеб сух да и то через день. Ненасытству и алчности себялюбых предела не ведают...

Дед Агафон закивал седой головой, покряхтев, подтвердил:

— Богатый чем боле собирает, тем ненасытней... Слыхал, игумен-то Даниил в Ерусалим пошел, — сообщил он вдруг.

— Что нам до того Ерусалима, — гневно сказал Петро. Он сидел на лавке, положив обрубок ноги на костыль. — А князек-то наш, богом данный Мономах, за стол ухватился — не отдерешь.

— Не отдерешь, — подтвердил дед Агафон.

— Сказывают, — громыхнул голос Петра, — саранча половецкая из-за Дона ползет. Вот-то еще беда...

— Ну, ее Мономах не один раз давил... — сказал Хохря.

— Давил! — ожесточенно выкрикнул Петро. — А сколь наших полегло и вбровы им очи выклевали!

Возвратилась Фрося, принесла столбцы, печенные из гороховой муки, кувшин с брагой, соленых огурцов.

— Помянем Евсея Бовкуна, — мрачно сказал Петро, разли-

вая брагу по кружкам.— Эх, ватаман, ватаман,— с болью в голосе произнес он,— разметало твою ватагу... И сам ты сгинул... А все ж сколь не думай, лучше дружбы не надумай!

Он опорожнил кружку, хрустнул огурцом, да, видно, еда в глотку не шла. С ожесточением потер ладонью огромное свое ухо, растегнул ворот рубахи, обнажив волосатую грудь.

— Слышь, Бовкун,— повернулся Петро всем туловищем к Ивашке,— давай я те с горя былинку спою, что отец твой любил. А ты, Фрося, вторь...

Петро уперся могучей спиной о стенку избы и повел:

Высота ль, высота поднебесная,
Глубота, глубота, океан-море,
Широко раздолье по всей земле,
Глубоки омуты днепровские...

Марья не выдержала, застонала, и слезы полились по ее впалым щекам.

— Мы с Анфимом ту песню спевали...

А Ивашка тяжело вздохнул: «И Киев-город вроде родной и передний».

Ивашка пробирался по шумливому торгу на Подоле. Он только слушал здесь старого сказителя былин и сейчас думал: «Был бы жив батусь, может, тоже сложил былинку про Днепр Славутич — брата русской Дон-реки, про лукоморье и Тмутаракань — град двух морей, про черных воронов-бояр, что всюду утесняют убогих, приносят им беды неисчислимые...»

Ивашка поднял голову и остолбенел: перед ним стоял отец Сбыславы Колаш. Темные волосы его посеребрило время, прежде живые глаза потускнели, лицо было испытаным, мрачным.

— Дядь Колаш,— робко сказал Ивашка.

Колаш оглядел ладного парня. Нос репкой, весь облик словно и был ему знаком, а вспомнить не мог, где встречал.

— Бовкуна сын я... Ивашка. Мы на Дон бégли, а вы нас приютили.

— О! Хлопченья! — обрадовался, оживился Колаш.— Нашли бегуны долю на бродях?

Услышав печальный рассказ Ивашки, Колаш снова помрачнел:

— Всюду нас истребляют... Я и сам едва выдрался из долгового поруба... Все, что привез тогда с Таврии, прахом пошло. Доторговался до лопанца...¹

Они присели под деревом, и Колаш рассказал, как очутился здесь.

Переяславский князь отправил своего воеводу с частью дружины в дальние земли. В это время в городе и началась гиль. Посадский человек Кузьма пришел к боярину Дворкову жаловаться, что его, Кузьму, ни за что приспешники боярские батогами били, закон Мономаха рушили.

Дворков приказал жалобщику батогах прибавить.

Тут уж крик поднялся среди челяди и холопов:

— Заместо закона — обида!

— Кто сильнее, тот и правее...

— Сегодня — его, а завтра — нас...

И посадские бунтом пошли. Колаш свою улицу поднял. Осадили князя с младшей дружиной в Детинце.

Да те стрелами многих переяславичей побили, и люд от Детинца отхлынул, стал хоромы боярские ненавистные громить.

Князь послал протопопа Иакинфа с иконой святой богородицы, с попами, облаченными в ризы, народ утишать...

А тем часом мчался гонец в Киев, за помощью.

Владимир Мономах немедля прислал три сотни своей дружины; в Переяславе несчетно худого люда иссек, как траву. Колаш в грудь был ранен, но сумел с дочкой из города бежать...

— Да разве здесь безопасье? Сыск начнут,— горько закончил свой рассказ Колаш и свесил голову.— Может, на Дон податься? — словно советуясь, поглядел он на Ивашку.— Так половцев боязно. А рассудить: бояре да князя лучше этой волчьей степи?

Ивашка наконец решился спросить:

— Сбыслава-то где?

Лицо Колаша посветлело:

— У тетки в Ирпени спрятал... Совсем взрослая стала... Тебя вспоминала... — Прищурился хитро: — Поклон передать?

Ивашка покраснел до корней светлых волос:

— Передайте...

ТМУТАРАКАНСКОЕ СИДЕНИЕ

В лето 6628 года¹, июня первый день, в среду, возвратилась валка из Киева в Тмутаракань. Посчастлило ей безмерно: удалось вовремя проскочить мимо Азака. Немного позже половецкий великий каган Атрак двинул свои силы в киевские пределы, отделив колено в двадцать пять тысяч — брата своего Узембе — взять Тмутаракань, чтоб не нависал этот город за спиной опасностью.

¹ Разорился.

¹ 1120 год.

Вячеслав, предвидя возможный налет, посылал еще в марте к черниговскому князю Давиду Святославичу и епископу Феоктисту гонцов с просьбой о помощи. Молил «брата старшего — в случае беды выручить». Но ответ получил уклончивый, как и от Мономаха, привезенный Якимом. В Киеве Вячеслава называли не иначе как «сурожакином», опасливо и ревниво поглядывали издали и с помощью не спешили. Видно, в беде надо было рассчитывать только на свои силы.

Половецкий стан — разборные кибитки, двухколесные повозки с детьми, кумысными бурдюками, медными котлами, походные идолы с чашами у пояса, стада овец, быков, конские табуны — раскинулся на тысячи сажень у кургана «Орлова могила». Казалось, рядом с Сурожским морем разлилось море половецкое — стойбище юрт.

Потрескивали кизяки в кострах. Подламывая ноги, медленно опускались на землю верблюды, словно облепленные рыжеватым-серым войлоком. Тонко ржали жеребята. В стороне от задымленных юрт с их потертыми коврами высился шелковый шатер малого кагана Узембе, охраняемый воинами с серебряными копьями. К железным приколам, вбитым в землю, привязаны оседланные кони Узембе.

Сам каган — скуластый, низколобый, лет тридцати — в малиновом шелковом халате, шароварах, сапогах с загнутыми вверх носами сидел, поджав под себя ноги, посреди шатра, слушал военачальника Амурату.

У Амураты круглые нагрудные бляхи, серебристые нашивки на рукавах длинногополого кафтана. Невысокий, с бронзовым лицом, на котором буравчики глаз просверлили узкие щели, Амурата говорил отрывисто, как команду давал.

— Лазутчики проводили... Тмутаракань оборонять могут тысяч пятнадцать... Урус доверчив, беспечен... Пустим ввечеру лживую валку из переодетых... Они войдут в град... Резню начнут... Тут мы и подоспеем...

Узембе думает: «Хитер... может, когда и меня прикончит». Они, правда, в знак побратимства пили недавно кровь из пальца друг друга... Да ведь власть сильнее крови.

Узембе соглашается:

— Посылай валку... Самых бесстрашных подбери, кто поихнему говорит...

Амурата, низко склонив колпак, отороченный лисьим мехом, выскользнул из шатра.

В стане веселье: под звуки дудок пьют кумыс, раку, достав из-под седла куски вяленого мяса, пропитанного конским потом, рвут его крепкими зубами. Такие любому перегрызут горло.

Вон отважный воин Аела, в легком плаще, под которым

видны плоть и аркан. Отрезав ножом ломоть мяса от убитого коня, Аела надкусил лакомство, а лучшую часть его поднес своей невесте Багельме.

У нее узорчатый кафтан, шаровары заправлены в сапожки. Из-под огромной шапки с меховой опушкой и желтым широким верхом выскользнули на спину две толстые черные косы, нарумяненное лицо засияло от удовольствия.

— Аела! — тихо позвал Амурата.

Воин подбежал.

У него кривые сильные ноги всадника, маленькие острые уши торчком. В колчане — стрелы с орлиным опереньем, на поясе — кресало, два длинных ножа и кожаный мешочек с сушеной кровью рыси.

Аела с готовностью уставился на Амурату: только слово вымолви — вскочит на большеголового, с коротким хвостом и курчавой густой гривой коня мышиного цвета, помчится, куда велит, убьет, кого велит. Аела налит силой, она чувствуетея в плечах, шее, упругих руках.

И конь у Аелы такой же лютый, как хозяин, — грызет противника, бьет его копытами.

— Ты по-урусски... говоришь? — спрашивает Амурата.

Аела озадачен:

— Мал-мала...

— Пойдем ко мне... в шатер. Отличисься — награжу...

Ивашка повидал сестру, передал ей киевские гостинцы — ленты, кусок льняной ткани, цветной платок. И особо — горсть земли, взятой в их дворе. Анна долго плакала, узнав о смерти Лисаветы и Марфы. Все расспрашивала о тетке Марье, о Фросе... Сказала печально:

— А батечко так и нет...

— Ну а ты здесь как?

— Притерпелась, — не глядя на Ивашку, ответила Анна. Не хотела расстраивать брата рассказами о надругательствах Настаськи, ее неумной злобе.

— Глеб-то помогал?

Анна подняла на брата лучистые, не умеющие лгать глаза:

— Он славный...

Она краснела так же, как брат, до корней волос. Ивашка подумал: «Ну то и ладно».

А Глеб и впрямь не только заботился, но и баловал, как мог, Анну. То приносил ей ожерелье из розового, прозрачного сердолика, найденного на берегу, то мидий, собранных на прибрежных скалах. Девушка, соскоблив водоросли, открывала ножом створки, извлекала мидии и жарила их с луком.

А то как-то на восходе солнца набрал Глеб у песчаной

отмели греющихся крабов, и Анна, сварив их в морской воде, с наслаждением обсасывала клешни.

Прощавшись с сестрой, Ивашка пошел в мастерскую Калистрата.

Стояла жарынь. В солнце будто вбил кто-то черные гвозди. Но вдруг с моря набросился на город смерч. Пыльный столб завихрил, прошел по Сурожской улице, срывая крыши, и умчался. Только в небе теперь засветили на какой-то миг три солнца, а потом сошлись в одно.

Ивашка, укрывшийся во рву от смерча, добрался до мастерской.

Калистрат был доволен им: все привез, как надо, ничего не утаил, сдачу отдал.

Сказал твердо:

— Ремеслу обучу... Умельство передам...

А Глеб был счастлив, что друг возвратился жив и здоров и даже привез ему огниво. До позднего вечера расспрашивал Ивашку о Залозном шляхе, о Киеве...

Ночью они слышали со стороны Золотых ворот какие-то крики, вой собак, по улице бежал человек с факелом, кричал:

— Половцы! Половцы!

Ивашка ухватил толстую палку, Глеб — железный прут, и они побежали к Золотым воротам.

Там все уже закончилось, на земле валялись побитые половцы и несколько стражников. Народ толпился вокруг распряженных мажар. Пожилой стражник рассказывал:

— Валка подъехала к вратам... Ктой-то кричит по-нашему: «Пустить! Половцы за нами гонятся!.. Из Чернигова мы... Пустить, в городе пошлину заплатим». Наш-то Сидор ворота открывать... Стали они въезжать. А Сидор разглядел: на дне одного воза половец притаился. Сидор в крик: «Лазутчики!» Те, что за воротами остались, повскакивали с мажар. Наши едва отбились, задвинули засовы ворот, опустили решетку. А кого впустили, уже здесь прикончили.

Ивашка подошел к одному из убитых. На земле лежал немногим старше его половец с маленькими острыми ушами торчком. Словно припал к земле, прислушиваясь к подоспевающему конскому топоту. Белок глаза узкой полоской уставился в небо.

«Небось у него тоже своя Сбыслава есть, — подумал Ивашка, — так ему, вражине, нас губить надо».

На рассвете половцы стали рушить, жечь предградье, и над ним встала дымная заря.

До этого на дальних подступах к Тмутаракани они уничто-

жили виноградники, превратили пашни в выпасы, разгромили поселение хозар, их заставы.

Теперь в самом подоле все предавали огню и мечу, перебили старых, оковали в полон остальных, разграбили церкви. Кошунствуя, гадили, осквернили родительскую землю — кладбище, превратили в конюшню монастырь, надругались над святынями.

В Тмутаракани за стенами началось смятение. Купец с выпяченными от страха рачьими глазами предлагал вынести половцам мед с рыбой. Его избили до бесчувствия, кричали гневно: «Шелудивых убоялся!» Еще до подхода главных сил половцев, кто побогаче, на плотах и ладьях перебрался в Корчев через пролив. Многие в сумятице потонули. Цены на хлеб повысились втрое; кушцы лживили, что погибли их валки, потому и вздорожанье. На торжищах внутри города то там, то здесь возникали бурливые веча. Подступая к Детинцу, народ кричал:

— Оружье нам давайте!

— Проучим пакостников!

— Лучше ратью погибнем!

— Встанем заедин, а в бесславье не стинем!

— Доспевайте!

— Оружье! На стенах отобьемся!

...При коптящем пламени светильника летописец тмутараканский Алекса писал в келье, примыкавшей к собору: «Тоя ночи учинилась в граде тревога от близости неприятеля, что хочет кровь христианскую пролить беспутно. От самовидца слышал: половцы поганые, батог яростный проведения, зло и вред умышляющие, рыщут на предградье, прокладывают тропы кровавые...»

Тень от всклооченной головы Алексы плясала по стенам кельи, перо скрипело и задыхалось.

Князь стоит у окна верхней гридни. Отсюда ему виден весь половецкий стан: он затопил полосу от крепостных стен до моря. Позади, за спиной Вячеслава, привычные вещи: полки с морскими путеводителями-периплами, книги на греческом, латинском, еврейском языках... Переводы Георгия Амортала, «Взятие Фессалоник» Иоанна Каменната.

На подставе горделиво высится терракотовая ваза с лепными узорами. Стену, облицованную зелеными плитами, украшает турий рог в серебряной оковке, с чудищами, что грызутся. На столце, вразброс, — коробочки из моржовой кости.

Неужто все рухнет и станет добычей степи?!

Князь ссутулился, мысленно произнес слова из Псалтыря: «Не оставь, господи, без внимания стремлений моего сердца! —

хрустнул белыми пальцами с перстнем в виде корабля.— Но прими нас всех и помилуй».

Вячеслав прошел из угла в угол гридни. «На чью помощь рассчитывать? — думал он.— Византийцы разбили под Херсонесом печенегов. Но Иоанн II¹, верно, хочет, чтобы Тмутаракань ослабла в борьбе с половцами... и Давид Строитель не пожелает с ними ссориться... Прошли времена Мстислава, когда народы гор целыми племенами стояли за нас... Слаба стала Тмутаракань, а кому охота слабому помогать. Теперь надо полагаться на свои силы.

Ну, соберет воевода пешцев да тысячи четыре младшей дружины... Наймитов — готов и греков — сот восемь. Мало... совсем мало...

Может, послать Якима к кагану, предложить богатый откуп? Обманет, проклятый, и откуп возьмет и град».

Он быстрее зашагал по гридне. Толстый персидский ковер мягко пружинил под ногами, кафтан из парчи, казалось, давил веригами плечи.

«Надобно поднять и мизинных людей... Схотят ли то светлые бояре? Собрать смыслящих, учинить совет? Иль самому решить?»

Он спустился по мраморной лестнице, прошел в соседний архиепископский двор, в палаты под шатровыми кровлями. Арсения застал в его палатной церкви.

Выслушав князя, архиепископ прикоснулся ладонью к панатии на своей груди, словно погладил на зеленом камне святого Дмитрия с мечом. Перекрестив Вячеслава, сказал:

— Да будет с тобой бог! В сече с половцами, злобой неисполненными, всяк тмутараканец — млад и стар — послужит тебе. Град будет тверд ко взятию, а я помолюсь о Русской земле.

Тревожно вскрикивают сполошные колокола, призывно трубят трубы, грохочут бубны.

Вячеслав, бледный, в окружении дружины выходит на крыльцо хором. Став под знаменем, обращается к тмутараканцам, затопившим княжий двор:

— Братие и сынове! Русские вои на всех местах мужеством честь себе пред народами получали. Поревнуйте и вы в храбрости отцам и дедам своим, не положите на себя порока и посмеяния. Лучше с честью умереть, нежели с бесчестьем жить...

Ивашка и Глеб стоят в толпе рядом. Ивашка думает: «А кто батуся мово загубил?» Но тут же пришла мысль об Анне: «Как же ее половцам отдать?»

— Лучше голову сложить, нежели в стыде, разоре и полоне

быть, — слышался голос князя, — перебьют вражины и сосущих молоко...

Тишина стоит такая, что долетают крики чаек над заливом.

— На краю земли мы Русской, щит ее и надежда... О стены черствые града нашего разобьются вражьи волны... Примем славу, а от Христа небесные венцы, от людей похвалу...

«И батусь бы защищал Тмутаракань. Хоть и полно здесь злыдней, а все ж отчина», — решил Ивашка и шепнул Глебу:

— Станем на защиту?

Глеб кивнул головой:

— Станем.

Неторопливо, могуче зазвонил соборный колокол Буревой, тоже звал на стены.

Оружие раздавали на торгу, у церкви Параскевы Пятницы, возле собора и училищной избы, на Глебовской улице.

Нет хуже покорного ожидания гибели. Теперь всех охватило единое желание — отстоять город, все помыслы направлены были к этому. Точили наконечники стрел, натягивали тетиву. В башнях-вежах, у щитов с прорезями для стрельбы, засели лучники и пращники. Под стеной¹ готовили чаны с кипящей смолой, варом, горшки с нефтью, бревна. Складывали запасы копий и стрел. На верхнюю площадку Золотых ворот втащили камень. Делали завалы у Хозарских, Киевских, Косожских ворот.

Опустел залив. Иные суда отплыли в дальние края, иные — переждать в коктебельской тиши. Несколько — с лучниками — отошли от берега на два перестрела из лука, чтоб в нужный момент помочь городу своими стрелами.

Ночью тмутараканцы сделали вылазку, перебили с десятков половцев, взяли в плен одного воя, притащили в город. Наутро сам князь допрос учинил, требовал сказать, сколько половцев под стенами. Широкоскулый половец, с белой слюной, запекшейся в уголке жесткого рта, зло глядел на Вячеслава узкими глазами и молчал. Князь решил уже бросить пленного в поруб, когда тот заговорил:

— Нас боле, чем песка на берегу... Захлестнем град петлей, конскими хвостами пепел разметим...

Вячеслав опалил половца бешеными глазами, приказал слугам:

— Казнить на площади!

Под вечер Глеб с Ивашкой, поднявшись по восточным каменным ступеням, засели на стене. Камни еще хранили тепло дневного жара. Солнце зашло за темно-синюю тучу, и золотой обо-

¹ Она была сделана из сырцового кирпича, с каменным панцирем. Ширина стены — 5 сажень («прямая сажень» равна 152 сантиметрам, или трем локтям), длина — 4 тысячи шагов.

¹ Император Византии в то время.

док обвел ее края. Быстро темнело. Над башней трепетало простреленное половцами княжье знамя. А дале — терялись из вида остальные двадцать три башни.

На краю моря вспыхивали тревожные зарницы, в потемневшем небе зажглась над головой кровавая звезда.

Половцы пускали редкие стрелы, и они со зловецим свистом вбивались в щиты-заборалы. Потом и стрелять перестали. Ночь обволокла притаившийся город. Тишина разлилась вокруг. Только изредка в неприятельском стане раздавалось лошадиное ржание да вдали, в нескольких поприщах¹, горели волчьими глазами бесчисленные половецкие костры.

Что принесет граду восход солнца? Чьей кровью обогрятся камни стены? Неужто падет град и половецкая волна затопит его?

Ивашка представил бесчинства губителей, как с воем мчатся они по улицам Тмутаракани, врываются в дома, насильничают и грабят.

Вон, забив кляпом рот Анне, волокут ее в неволю.

Нет, не быть тому!

Ивашка придвинул ближе к себе меч и словно бы почувствовал облегчение.

Пала ночная роса. Глеб продрог, Ивашка, привалясь к нему плотнее, спросил тихо:

— Боязно?

— Нет, — ответил Глеб и подумал об Анне: «Кто ж ее защитит, коли не мы?»

Внизу опять возник шум. То половцы погнали пленных заваливать ров срубленными деревьями, сухими водорослями и землей в мешках, связками тростника, падалью, верно, готовились к утреннему штурму. Слышались выкрики-угрозы, стенанья избиваемых.

Поджарый седовласый воевода Сиг приказал побросать со стен в ров кади с нефтью и горящие факелы, поджечь завалы.

Ров разгорелся огромным костром. В свете пламени резко проступали пустынная пристань, башни стены. Пахло жареной падалью, паленым тростником, валил жирный дым.

Туча стрел посыпалась на стену, одна царапнула Глеба по плечу. Пожилой тмутараканец рядом с Ивашкой захрипел предсмертно — стрела впиалась ему в горло.

Потом все затихло.

Вода в заливе зарозовела, легкий туман поплыл над ним, когда у половцев свирепо заиграли дудки — снова начался приступ ворот и стен Тмутаракани.

Со стороны пролива подошли русские ладьи, стали посылать в половецкий стан стрелы.

В двух местах половцам удалось перебраться через ров, приставить к стене лестницы. Вот уже первые щиты, обтянутые кожей, острые племы появились над крепостью.

Ивашка молотком-чеканом ударил по плему, и половец с криком полетел вниз. Ивашка ухватился за свой меч, неистово стал рубить им: «Это вам за батю... Это за маму... За друга Фильку». Ненависть захлестнула его, удесятирила силы, меч притупился. «Может, я тут и Сбыславу спасаю, — билась, вспыхивала мысль, — и ее...»

Глеб, подтаскивая вар, кричал: «Сторонись, ожгу!», бросал колоды на головы осаждающих, сбивал их с лестницы и сталкивал.

Отряд половцев ворвался в полубашню над воротами, стремясь захватить камнемет. Завязалась рукопашная. Русский вой, обхватив, словно обняв, степняка, покатился с ним под откос.

Стрела отсекла мочку уха Ивашки.

Приступы половцев, казалось, шли бесконечными волнами. Но вот они стали слабее и вовсе иссякли.

НАСТАСЬКИНА РАСПРАВА

Уже месяц длится приступ города, а он все отбивается.

Тогда Узембе решил удушить Тмутаракань жаждой, приказал перекопать, перерезать трубы на предградьи между Торжищем и пристанью. Половецкий толмач кричал под стенами:

— Перестоим, пока все не издохнете! Сдавайтесь на милость!

В городе стали рыть колодцы, но вода в них была горько-соленой, непригодной.

У Золотых ворот появились половцы с шапками, вздетыми на копыя, лживо вещали:

— Послы кагана, мир!

Но им никто не верил, ворота не открыли. Тогда половцы, окружив себя пленными, начали таранить ворота окованным бревном. Их отогнали стрелами и варом.

А жажда в городе сушила губы, мутила разум. Город изнемогал. Молебен не принес дождя, не умерил солнцепек. Казалось, солнце светило безжалостно, чтобы виднее были кровь, раны и то, как жизнь погибает от железа и безводья.

Бояре поставили дружинников для охраны запасов воды. У Храпа в подвале воды на месяцы. На княжьем дворе — и того боле: каменные колодцы. Мизинным же воям выдавали на день по четыре глотка.

¹ Поприще равно 115 шагам.

Умер мастер Калистрат. Ивашка отдал старику последние капли своей воды, но было уже поздно.

Весь день выли от жажды собаки.

Настаська Седеги вовсе освирепела. Ей все мерещилось, что слуги тайком пьют воду в подвалах. Она выгнала их всех из дому, оставила только самую смирную — Анну да еще девку Манефу.

Анна была в великой тревоге: «Как там брат, как Глеб? Не случилась ли беда?» О себе она не думала. Только однажды почему-то привиделось: еще в Киеве, в рождественские святки, выскочила она из землянки, лентой перевязала кол в тыну. А утром разглядела: кол оказался с корой — значит, будет жених богатый.

Сейчас, вспоминая эти детские забавы, усмехнулась горько: «Так и не нашла свою одолень-траву».

Анна положила на колени сарафан боярыни — распивала его в талии, задумалась горестно. Что на стене с Ивашкой, с Глебушкой творится? Может, и в живых уж нет? А она здесь сидит с этим проклятым сарафаном.

Раздался крик Настаськи:

— Анька, подь в подвал, принеси кувшин с водой, да гляди не разлей...

Что пить ту воду Анна самовольно не станет, Настаська была почти уверена — не однажды уже проверяла.

Анна сняла наперсток, воткнула иголку в матерiu.

На дворе вечерело. Спустившись в подвал, Анна при свете плошки набрала в кувшин воду из открытого чана меж огромных глиняных бочек-пифосов вдоль стен. В подвале было прохладно, слабо пахло виноградным соком.

Настаська забеспокоилась. Уж не лакает ли влагу бесценную? Она стала тоже спускаться по лестнице в подвал: «Выгоню проклятую тихоню, если что замечу».

Анна подняла уже кувшин из чана, когда услышала крик над ухом:

— Ты что здесь медлишь?

Анна обомлела, кувшин вывалился у нее из рук на каменный пол.

Настаська пришла в неистовое бешенство. Схватив подвернувшуюся под руки железную скобу, она с криком: «Ах ты, тварь!» — что есть силы ударила девушку по голове.

Анна рухнула на каменный пол.

— Подымись, мерзавка, не притворяйся! — продолжая стоять над ней со скобой, закричала Настаська.

Анна недвижно лежала, струйка крови текла из ее головы, смешиваясь с водой.

«Неужто прибила?» — Настаська ковырнула ее ногой.

— Слышь, будет притворяться!..

Настаське стало не по себе. Хорошо, что хоть мужа дома нет и никто не видел. Она подтерла тряпкой кровь на плитах, оттащила в сторону Анну, прикрыла рогожей. «Ночью в саду закопаю, — лихорадочно думала она, — а Манефе скажу, сбежала девка».

Манефу мучила жажда. В поисках глотка воды прокралась она вечером в подвал. Трясаясь от страха, что ее застанет здесь Настаська, оглядела темные, мрачные углы. Слабый свет плошки сгущал тени, и Манефе казалось, нечистая сила притаилась за чаном.

Вдруг она услышала тихий стон и похолодела от ужаса, ноги прилипли к полу.

Стон повторился, он был жалкий, детский, и Манефа пересилила себя, подошла к рогоже, приподняла ее край.

Анна открыла глаза. Лицо ее было блее мела.

— Ты что? — шепотом спросила Манефа.

— Настаська... убила...

— Ах подлая! — вскрикнула Манефа, и куда только страх ее девался. — Погоди, погоди... — Засуетилась она, разорвала нижнюю юбку свою, перевязала Анне голову. — Часом позже за тобой приду.

— Боязно мне, — всхлипнула Анна. — Прикончит она меня...

— Ну ладно, погляжу, что убийца делает... — сказала Манефа и выскользнула из подвала.

Настаська в своей горнице холила перед круглым бронзовым зеркалом лицо, протирала его душистым маслом.

Манефа возвратилась к Анне.

— Ты стоять можешь?

Анна поднялась, голова кружилась, ноги были будто не ее.

— Обопрись о мое плечо, — предложила Манефа, — я тебя в дальней клетке, в подполье спрячу... А завтра к брату и Глебке сбегаю...

В тот же вечер на город упал благодатный ливень. Он шел от моря спасительной стеной, хлестал весело, наотмашь.

Тмутараканцы в облепившей тело мокрой одежде открывали иссохшие рты, набирали влагу в ладони, подставляли посудины.

Потоки бурливо побежали по мостовой, канавам, проложенным вдоль нее, заполняли колодцы, оставляли позади себя лужи. Струи барабанили по крышам, пузырились на площадях.

А наутро вой со стен увидели — половцы ушли.

Так после бури вдруг очищается небо, и трудно представить, что только-только клубились мрачные тучи, раскаты грома сотрясали землю. Снова безмятежна синева неба, ласков залив...

Половцы ушли, оставив лишь прибитые ливнем пепелища да трупы во рву и на подоле.

...Еще ночью прискакал к Узембе, в его шатер на кургане «Орлова могила», гонец от великого кагана. Атрак приказал снять осаду Тмутаракани, немедленно поспешить к Дону — сюда, объединив свои силы, шли русские.

Ночью Настаська, не обнаружив в подвале Анны, подумала с тревогой: «Уползла, гадина». Мужу решила сказать, что девка сбежала. Фряг заезжий к ним, мол, заходил... Сморчок востроглазый... Вот с ним и сбежала... Сколь ни корми холопку, а она все на сторону глядит...

Трапезовать Настаська вышла сонная, накричала на Манефу:

— Дрыхнешь! Анна-то, верно, своровала что, теперь и не сыщешь ее. Поди, харч отнеси мужу... Да гляди, если кроху тронешь — головы не снести!

На улице Манефа слышала радостную весть:

— Половцы ушли!

Боярина она не разыскала, он был уже на княжьем дворе, и побежала к землянке Ивашки.

Ивашка очень нравился Манефе: такой добрый, заботливый, никогда грубого слова не скажет. Она даже видела его часто во сне, то ласково гладила его волосы, то кормила пирогами.

Звонили в буйной радости колокола тмутараканских церквей. Пономари сплели их голоса над городом, возвещая спасение. Услышав этот колокольный хор, истово крестились люди в Корчеве и морях, во всех владениях Тмутаракани.

Обнимались незнакомые на улицах, оплакивали погибших женки, на княжьем дворе Вячеслав щедро одарял дружинников золотыми гривнами. В соборе, откуда бояре уже несли свое на время сложенное богатство, поминали тех, кто, храбрствуя, скончался от многих ран, кто бился, не имея страха, и архиепископ Арсений, возвещая о чудном освобождении града, возносил благодарения богу.

Пробежали по вдруг ожившим торгам глашатаи с криком:

— Княжий приказ: всем не воям сдать оружие! Княжий приказ!

МЕСТЬ

Ивашку и Глеба Манефа застала в землянке. Они только что пришли со стены, сложили оружие в углу, чистили рыбу. Чешуя облепила их лбы и щеки.

Увидя расстроенное, взволнованное лицо девушки, Ивашка бросился к ней:

— Что случилось?

Манефа, всхлипывая, все рассказала. На бледном лице Глебки проступили желтые пятна. Ивашка скрипнул зубами, сжал нож:

— Ну погоди, кровопивка!

Они условились, что в полночь Манефа приведет Анну к дальнему лазу в Седеговом саду, возле густых кустарников и вишни.

Когда Манефа ушла, они долго сидели рядом. «Жива ли Аннушка? — с отчаянием думал Глеб. — Неужто кровью истекла, и никогда не услышу боле ее тонкий голос, и светлые косы истлеют, а черви источат тело?»

Ивашка словно окаменел. Ему стало бы легче, если бы смог заплакать. Но все внутри будто выжгло огнем, опустошило, и лишь рваные мысли еще продолжали терзать мозг: «Батуся они так же, батуся... Как дальше жить, для чего жить? Нашла сестренка свою одолень-траву... Батуся они так же...»

Ветер рвал крыши с домов, половцами шарил по темным улицам, когда они вышли из землянки.

Месяц силился и не мог вынырнуть из водоворота туч. Неохотно били в колотушки сторожа, каждый час начинали новую песню, подавая знак — далеко ли до полуночи.

Мрачной громадой высился над городом божий дом — собор.

Ивашка вспомнил, как стояли они в нем в день прихода в Тмутаракань, какими восторженными глазами Анна глядела на лики святых, на позолоту икон, сострадательную богоматерь.

Ивашка до боли в пальцах стиснул рукоять короткого меча у пояса, плотнее прижал к груди горшок с тлеющей паклей.

Они с Глебом миновали несколько улиц, забор Седеговых хором, у оврага протиснулись в лаз, и прежде известный Ивашке, очутились в саду.

Сад шумел под порывами ветра, будто остерегал. Глухо бились оземь сорванные ветром плоды.

Над кустами поднялась голова Манефы.

— Здесь мы, — прошептала девушка.

Анна обессиленно припала к груди брата.

— Плохо тебе? — спросил он.

— Теперь хорошо... — едва слышно ответила сестра.

Глебка взял в свою руку ее — тонкую и слабую.

— Совсем хорошо, — так же тихо сказала Анна.

— Спасибо тебе, сестрена, — повернулся Ивашка к Манефе, — в эту ночь ты в хоромах не спи, — сказал он непонятно.

Уже за лазом Ивашка взял на руки Анну и понес ее.

На завороте улицы хрипло попросил Глеба:

— Отнеси ее... Я скоро...

— Может, вместе отнесем, а потом возвратимся?

— Нет, я сам. — Он с рук на руки передал Глебу сестру, взял у него небольшой кувшин с нефтью и горшок с жаром.

Глеб с ношей своей исчез, а Ивашка вернулся к лазу.

Прижимаясь к тополиным стволам, стал приближаться к хоромам Седеги.

На Серебряной улице, у ворот, ходил страж, позванивая доспехами. Бодря себя, мурлыкал: «Поздно, спать пора». Делал еще несколько шагов — и снова: «Поздно, спать пора».

Ивашка подполз к подклестям, облил нефтью деревянные подпоры, раздув жар, поднес его. Порыв ветра, словно предлагая свою помощь, усилил огонь, и тот весело побежал кровавыми струйками вверх, взлизывая подпоры.

Ивашка вернулся тем же лазом и неторопливо пошел узким проулком к берегу.

Застрекотала спросонья красноногая морская сорока. На берегу он оглянулся. Над Седеговым двором, над всей Серебряной улицей стояло багровое зарево. Звонил пожарный набат.

— В граде этом быть мне тошно, — сказал Ивашка, возвращаясь в землянку, где Анна уже прикорнула на лежанке. — Пойдешь с нами на Киев?

Глеб поглядел недоумевая:

— А куда же мне без вас деться?

И верно отец говорил: конь узнается при горé, а друг — при беде. «Может, в Ирпень подамся али в Переяслав. Сбыславу сыщу», — подумал Ивашка, вслух же сказал:

— Пойду к валуну, с морем попрощаюсь.

Светало. Ветер улегся, и залив стал нежно-розовым. Медленно входил в него заморский корабль, резал носом водную гладь. Вода серебристыми струями стекала с весел.

Ивашка миновал знакомый дуб. Кто-то из озорства подпоясал его старым кушаком.

Вдали показалась затопленная пещера, и у него сжалось сердце: «Верно, правду говорят, что люд здесь погиб».

Возле моря он долго сидел у валуна. Море было черным, неприветливым, катило бесконечные валы. Ему безразлично было и то, что лежит в землянке обессиленная Анна, и то, что покидают они Тмутаракань. У него были свои тайны, свои пагубы и заботы.

БРОДЫ... БРОДЫ...

Он возвратился в город к полудню. Раздували меха у ручных горнов кузнецы. Звенели наковальни. На Торгу пахло кожей и влажной травой. Восседали над товарами купцы, невозмутимо перебирали четки, будто не было осады, безводья, гибели.

Ивашка потолкался на Торгу. Здесь — только и речи, что о ночном пожаре.

— Пол-улицы, почитай, сгорело...

— Женка Седеги в подвал забилась, живьем изжарилась.

— Ну, эту бог неспроста наказал, сущей ведьмой была...

— Чужое добро выпрок нейдет.

— Пожар к Чеканному двору подступил, тут его и умалили.

— Пустить бы петуха на все хоромы...

— Ну ты, цыц, не то в княжий поруб поволокут...

Ивашка с Глебом собрали торбы. Поддерживая Анну, пошли к Золотым воротам. Их створы были сейчас распахнуты, решетка поднята. Усатый пожилой страж ощущал подозрительными глазами:

— Куда идете?

— На пепелище подолье, — жалобным голосом сказал Глеб. — Может, кто из сродичей в ямах али камышах попрятался.

Страж крикнул:

— Одни головешки на том подолье...

Покосившись на перевязанное ухо Ивашки, спросил:

— Оружие-то сдали?

Глеб с Ивашкой укутали в ветошь, спрятали в торбе накопники копий, стрелы и тетиву, но сейчас Глеб поспешно ответил:

— Еще вчерась!

Страж не стал обыскивать.

— Ну, проходить, искальцы, — сострадательно разрешил он и закричал, увидя въезжающие возы: — Тришка! Прймай мыта!¹

Им долго глядели вслед купола собора, самодовольно румянились на закате, величаво возвышались, чуждо провожая беглецов холодными глазами.

И Сурожское море тоже взирало равнодушно. Казалось, его припорошило коричневатой пылью, только местами пролегали темно-синие, слегка тронутые закатом, короткие дороги.

«Вот и стала нам Тмутаракань землей знаемой», — свесил голову Ивашка.

...И опять зол путь, ерики, глубокие овраги, гряда курганов, непроходимые места, броды, броды... Сколько с отцом их встречал — Мачеха и Журавка, Гнилуша и Лихая, Вербовая и Грачевка, — сколько еще переходить...

От Ставра теперь и вовсе ничего не осталось. Только голо-

¹ Пошлина в Древней Руси уплачивалась за право проезда с товарами.

вешки пожарищ, да вороньи граи на человеческих костях, да коршуны, терзающие околевшего коня... Пустынь! Хотя, нет, вон бредут пепелищем людские тени. Где-то потягивает домашние топор.

И опять сожженные виноградники, вытопченные поля.

Остановились переночевать на развалинах боярской вотчины. Ивашка подумал: «Хоть одна польза от половцев: пауки паука сожрали».

В следующие дни пошли низкие горы: то сизые, то схожие с голым валуном.

И опять — дикое поле, степные озера, отливающие небом, голубая незабудочья затопа лугов, березовые белые поймы да яры с трескотней сизоворонок.

Облитую лунным светом степь таинственно и задумчиво ограждал темный лес, лишь тушканчики играли на едва заметной стезе да кычали в болоте жабы.

Длинные переходы были не под силу Анне, но она ни разу не пожаловалась. Временами ее поочередно несли на руках брат и Глебка, делая частые привалы. Глебка старался предугадать каждое желание девушки, нести ее дольше, чем Ивашка. Анна, доверчиво положив худенькие пальцы на плечо Глебки, спрашивала:

— Тяжко тебе?

Глебка только усмехался — тяжесть нашлась! Да он ее может нести на край света, только бы вот так лежала Анна на его плече.

Ивашка как-то сказал:

— Вес-то в тебе воробыный...

Анна засмеялась, как прежде, щеки ее порозовели, глаза снова сияли лучисто.

...Уже какой день идут они Залозным путем, ловят раков в лиманах, стреляют перепелов, в редких селениях добывают кус хлеба.

В одном из таких селений их настигла радостная весть — древний дед-вещун прошамкал:

— Наши-то русичи половцев на Дону остановили... Показал каган плечи, побегал, боя не приняв.

Сейчас путь Ивашки и Глеба шел мимо глухого пруда в окружении раkit и вязов. Звонкие кобчики сидели на иссохшей вершине дерева на бугре. Стояло тихое, еще не остывшее от дневной жары предвечерье. Краснолобый дятел творил из ствола долбленку.

Глеб незаметно поглядел на друга. Круглые карие глаза его приобрели глубину, взгляд их стал сосредоточеннее, жестче. Впадинки в уголках губ утратили мягкость, отвердели, лицо возмужало.

Глеб уже давно и добровольно признал за Ивашкой старшинство, но было оно ему не в тягость. Просто понимал, что тот умелее его, бесстрашней, и гордился этой дружбой.

Из плавней вышли двое оборвышей, настороженно поглядели на Ивашку и Глеба, словно решая: скрыться ли снова или пойти навстречу?

Наконец один из оборвышей, коренастый, большеголовый, подошел ближе.

— Добривечер, — произнес он скороговоркой и располагаясь улыбнулся, широко открыв рот без двух передних зубов.

— Добривечер, — ответил Ивашка.

Подошел и второй — длинный, из одних жил.

Глебка осторожно поставил наземь Анну, загоразивая ее собой, придвинулся ближе к Ивашке.

Коренастый сказал успокаивающе:

— Да вы не пугайтесь, мы не вражники.

— Мы не из пугливых, — прищурился Ивашка.

— Костыка я, — назвал себя коренастый. Ему было немногим более двадцати, у него живые, бесхитростные глаза. — А это — брательник мой по несчастью, — кивнул Костыка в сторону жилистого, — Савка. По летам мы ровня с вами, да и судьбины, верно, одной...

Они познакомились, сели под деревом у пруда. Суматошились крикливые камышовые воробы.

— С Чернигова сбегли, — доверительно зачастил Костыка, ловко сплюнув через отверстие в зубах. — У нас там шакал... Оря. Хоромы себе строить задумал. А мы — плотники. Вот и впряг, как волов: от зари до зари хребет ломать за похлебку. Да еще лается. Я ему: «Криком изба не рубится». А тут еще Савка подпел: «Вскачь не напашешься». Он на нас с плетью, приказал в поруб, для науки, бросить.

— Жилы рвать на живоглота кому радость? — мрачно подтвердил Савка.

— Думаем на Тмутаракань податься, слышали, там житье вольное, — словно советуясь, поглядел Костыка.

Ивашка зло усмехнулся:

— Послушайте про то сладкое, вольное житье...

Когда он закончил свой рассказ, Костыка почесал затылок.

— Выходит, делать нам и там неча... — Повернулся к Савке: — Давай, брательник, вот с ими в Киев оглобли повертать? — Снова лихо сплюнул: — Может, киевские бояре нам блины запас.

Савка, все время что-либо жевавший — корку хлеба, тростинку, кислицу с диких яблонь, корешок, вырытый из земли, — приостановив движение челюстей, согласился:

— Давай...

— Теперь нас, считай, сила. Савку прокормим,— весело подмигнул Костыка,— а то он вчера сказал: «В поле и жук — мясо».

И залился смехом. Сам-то он мог сутками не есть и даже не вспомнить о еде. Не раз удивлялся себе: «Чи у меня за шкурой жира склады?» А Савка сколько ни жует, никак мысли не прикроет.

В середине сентября, в полдень, они подошли к знакомому Ивашке и Анне берегу Дона, напротив островка. Стояла густая тишина. Кружили стрекозы над камышом. Из него тогда прыгнул на Анну кот.

Возле берега кулик, с белой повязкой под глазами, в красной окоемке бровей, долбил желтым клювом улитку.

На острове, с пожухлой травой, привялыми листьями деревьев, пряталась их хижка...

Казалось, с того времени, как покинули они ее, прошли десятилетия. Ивашка тяжело вздохнул, глаза его потемнели. Глеб посмотрел с тревогой.

— Здесь мы с батусей осели,— кивнул Ивашка на остров.— Половцы спугнули... Может, и жив остался, если бы не проклятая Тмутаракань.

Савка уже успел отконать корень, жевал. Присмиривший Костыка сказал:

— Кабы знать, где твой край...

Анна заплакала, вытирая, как в детстве, слезы кулаками. Глеб кончиками пальцев прикоснулся к ее косе, словно успокаивая и деля горе.

На острове показался человек, и еще один, и еще... Приставив ладони к глазам, они вглядывались в пришельцев.

Потом один из них исчез в камышах и вскоре выгнал оттуда долбленку. В нее сели четверо, не страшась, стали пересекать Дон. Сидевший на носу держал лук на изготовку.

Долбленка мягко ткнулась носом в берег, из нее выпрыгнул обросший пепельными волосами мужчина.

— Дядь Колаш! — как тогда, на киевском Торгу, сказал Ивашка, шагнув к мужчине.

Они обнялись. Колаш поглядел на осунувшееся лицо Анны:

— Аль болела?

Узнав о ее бедах, ласково провел грубой рукой по волосам Анны:

— Сбыслава те обрадуется...

— Здесь она?! — радостно встрепенулась Анна, а у Ивашки гулко заколотилось сердце.

— Здесь...

— Я вот тоже в бегах да бродях,— грустно произнес

Колаш.— В устье Медведицы был, на Хопре... А потом вспомнил — ты сказывал про это место... А то, может, останетесь вовсе с нами? Близ князя — близ смерти... У нас тут обчина... С вами будет двадцать семь беглых... Вот это,— он кивнул на кудрявого, с нательным крестом на груди,— Степка Донец, а рядом,— Колаш перевел глаза на человека с одним глазом и горбатым носом,— Андришка Косой, и еще,— положил руку на плечо юноши лет семнадцати,— Сидор Голодай. Ну, что, беглецы, примам в обчину?

Он обвел своих товарищей темными глазами.

Степка Донец сказал глухим, надтреснутым голосом:

— Как скажешь, Вожак...

Костыка, цвиркнув слюной, подтолкнул локтем Ивашку:

— На миру веселей! — И, повернувшись к Колашу, пообещал: — Понастроим вам изб в достатке. Плотники мы.

Колаш неумело улыбнулся:

— А то мы ноне, как кроты в земле... Будем заедин... Нам если не съединяться — все сгинем...

Ивашке привиделось: их двор на Подоле... Лежит он рядом с отцом на рядне под вязом... Голубеют звезды над головой... А глуховатый голос отца проникает в душу: «Пуще всего товариство цените...»

Ивашка спросил глазами у Глеба: «Остаемся?», и тот согласно кивнул.

...Колаш с Ивашкой, Глебом, Анной и Костыкой подплыли к острову. «Вот здесь хижка наша была... А здесь мы с батусем...»

Колаш, отправив долбленку за остальными, сказал:

— Ходить за мной...

Повел их в чащобу. Сушились сети, стояли бортни. На делянке, меж деревьев, обнаженный до пояса человек с сильными руками и волосатой грудью вырубал крапиву-жигалку, раскидистые кусты белоголового катрана. Еще два человека самодельными мотыгами рыхлили землю. Колаш остановился возле полуобнаженного человека.

— Прймай, Третьяк, пополнение... — сказал он весело.

— То ладно,— разогнулся Третьяк, отирая ладонью пот со лба.

Увидев у Ивашки и Глеба луки, одобрил:

— Нам такие дюже надобны...

Костыка с ходу предложил:

— А давай и я подмогну.

Глеб тоже начал снимать рубашку.

— Привыкайте,— сказал Колаш,— а мы пока харч вам стоготвим. Айда за мной, бовкунята.

Они подошли к землянке с камышовой крышей. В темном проеме показалась девушка.

Ивашка не сразу узнал Сбыславу. От прежней девчонки остались разве только быстрые глаза, но уже смиренные девичьей горделивостью. Волосы ее потемнели, тугой косой спадали до тонкого стана. На матовой щеке вспыхнул серпик, да так и остался, забыв погаснуть.

Колаш добро посмотрел на дочку:

— Аль не узнаешь старых знакомцев?

Нет, она его узнала мгновенно. Все эти годы вспоминала неуклюбного отрока, которому озорно подмигивала, рассказывая его сестре о травах.

Но сейчас это был какой-то совсем другой человек: статный, с ржаными усами на загорелом лице, с глазами темными, как ирпеньское озеро. Кто же это ему, бедненькому, ухо повредил? Надо будет траву положить, что рубец снимает, перевязать.

— Узнала! — певучим, новым для Ивашки голосом, от которого замерло у него сердце и упало с высоты, произнесла девушка.

Ему бы броситься к ней, крикнуть: «Сколь ждал, а дождался!» — но он только улыбнулся сдержанно.

Из-за его спины выступила Анна.

— Сестрена! — вскрикнула Сбыслава и бросилась целовать Анну.

— Похлебка-то у тебя готова, хозяйка? — Колаш спросил дочь, когда она с трудом оторвалась от Анны.

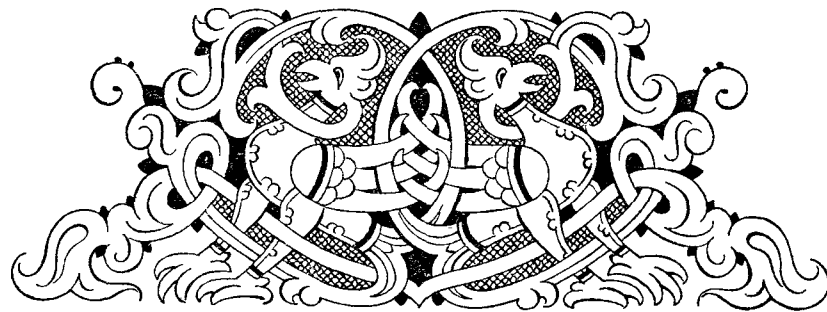
— Готова, батусь...

Девушка взяла за руку Анну, и они исчезли в землянке.

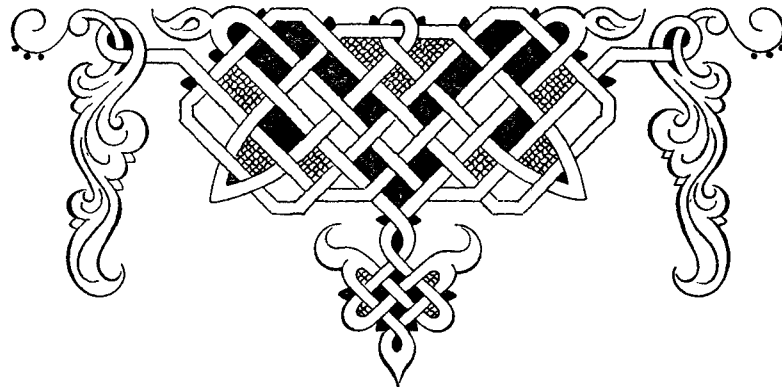
Где-то рядом тихий женский голос запел:

То не зверя два собиралися,
Не два лютые собиралися,
Это кривда с правдой сходилися,
Промеж себя они билися...

— Женка Третьяка, Улька, поет. У нас здесь три семьи, — сказал Колаш. — Ну, Ивашка, сын Евсея, ходи ко мне в избу...

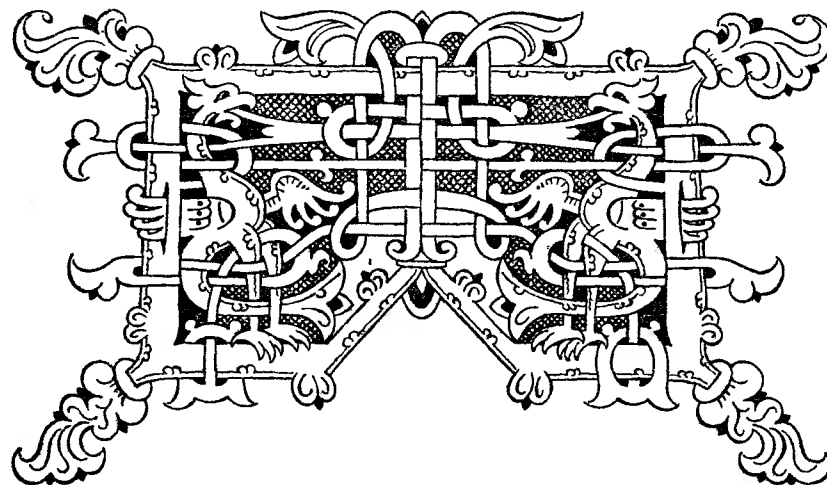


Тимофей с Холопьеёй улицы



...человеколюбие победит тоя беззакония.

Из летописи



РОБКИЕ РАДОСТИ

Тимофей возвращался от кузнеца Авраама вечером. В подмерзших лужах отсвечивали далекие звезды. Воздух был по-весеннему чист, и от Волхова шел колкий, освежающий холодок. Хрустели тонкие льдинки под ногами, и, казалось, в лад с ними звенело сердце от только что испытанного счастья, когда слушал «Слово о полку Игореве». Авраам приютил у себя прохожего монаха, и тот по памяти читал это «Слово...», услышанное им недавно в Киеве.

В кузнице Аврааме Тимофей неожиданно обрел для себя пестуна-учителя.

Был Авраам широкоплеч; на темную гриву волос его, стянутых ремешком по высокому челу, легла широкая седая прядь. Седые нити в густой бороде, выдавая возраст, не ладились с молодыми, приметливыми глазами.

Как-то, еще несколько лет назад, принес Авраам отцу Тимофею в починку свои сапоги из конской кожи, с высоким железным подбором и гвоздями по всей подошве. Отец, поглядев на отвалившийся каблук, хмыкнул:

— Не поймешь: кузнец громыхалы сии делал или наш брат сапожник?

Авраам усмехнулся:

— Кто бы ни делал, а верно послужили.

Тимофей в это время сидел у окна — резал кожу для ремней. Вот с того прихода и привадила кузнец Тимофея, зазвал его к себе в гости.

Жил Авраам на Розваже — улице Неревского конца, у земляного вала, жил бедно, с сестрой, старше его лет на десять, племянником и матерью, древней старухой.

Тимофей зачастил к кузнецу: жадно слушал его рассказы о дальних народах и странах, где довелось побывать ему, о чудных обычаях, а потом стал Авраам обучать его грамоте. Читали Часослов, Псалтырь, Евангелие, писали на кусках березовой коры. В фартуке, с засученными рукавами кузнец присаживался к пеньку-столу и, неловко держа в огромных прокопченных пальцах костяное острие, процарапывал на бересте буквы, складывал из них слова.

Нынешний вечер был для Тимофея настоящим праздником.

Когда монах произнес: «Солнце светит на небе. Игорь князь в Русской земле!» — Авраам, вспомнив, как в скитаниях тосковал по родной земле, побледнел от волнения:

— Истинно так... По отчине и кости плачут...

Сейчас, снова переживая этот вечер, Тимофей думал: «Вот бы написать «Слово о Новгороде», о Волхове величавом, что скоро покатит неторопливые волны свои мимо лесов, мимо древних селений...»

Луна проложила через реку широкий серебряный мост. Было светло как днем. Впереди Тимофея, дробно, словно козочка, постукивая каблучками по деревянному настилу, шла девушка в шубке из бархата, подбитого мехом, в шапке-столбунце, из-под которой свешивались косы с красными лентами. Рядом с девушкой плыла, раскачиваясь, полная пожилая женщина. Тимофей слышал, как она сказала с опаской:

— Пойдем скорее, Оленька, боязно!

— Да ну, тетя, чего бояться! — громко, не для тетки, ответила девушка приятным грудным голосом.

И эта Оленька тоже была в «Слове» о Волхове, о Новгороде, о луне, заливающей землю светом, о нем — пусть некрасивом, никому не нужном и все же счастливым Тимофее.

Они уже миновали на Великой улице двор с высоким жердяным оплотом, за которым глухо рычали спущенные на ночь с цепей собаки, когда откуда-то вынырнули подгулявшие парни. Один из них, плюгавенький, вертлявый, подскочил к девушке, хихикая, попытался обнять ее.

Кровь прихлынула к лицу Тимофея, не помня себя от гнева,

он бросился на обидчика, но его сразу оглушили кистенем¹, сбили с ног, стали топтать сапогами.

— Помогите, люди добрые, помогите! — закричала тетка Ольги, прикрывая собой дрожащую от испуга девушку.

В дальнем конце Козьмодемьянской послышался торопливый бег: кто-то спешил на помощь. Налетчики трусливо разбежались, оставив Тимофея на промерзшей земле.

Тетка Ольги склонилась над ним. Лицо его с коричневым родимым пятном на левой щеке было бледно, окровавлено. Ольга, всхлипывая, пробила ледок подмерзшей лужи, смочила платок и подала его. Женщина стала обтирать Тимофею лицо.

В это время к ним подоспел спугнувший налетчиков немного хмельной молодой грузчик Кулотка — гроза Новгорода и главный озорник его. Богатырского роста, с мускулами, которыми, казалось, до отказа был набит его небрежно распахнутый кожаный жилет, Кулотка вопрошающе поглядел на женщин. Узнав, в чем дело, легко, как ребенка, поднял на руки все еще не очнувшегося Тимофея, спросил, усмехнувшись:

— Куда нести-то храбра?

— Да отнеси, добрый человек, к нам. Куда же его, такого, — решила тетка.

— Тощенький, а смелый, — робко поглядела на него Ольга и вздохнула.

После этого случая Тимофей, поправившись, заходил иногда к новым своим знакомым, в семью весовщика Мячина. У Ольги были еще четыре сестры, все старше ее и все незамужние. Мать умерла при родах Ольги, и девочку баловали в семье.

Невысокая, со вздернутым носиком, с ямочками, играющими на щеках, локтях, с голубыми спокойными-лукавыми глазами, была она себе на уме, тихоней, от которой жди неожиданностей. К Тимофею относилась по-разному: то становилась строгой и важной, то шалила. Она умела взглянуть как-то по-особому, словно зовя и убегая. И в этом мгновенном взгляде снизу вверх были и лукавство, и робость. Улыбка вспыхивала застенчиво, радостно, будто Ольга и не верила и надеялась на возможное счастье.

Она любила смущать Тимофея. Невинно распахнув глаза, приблизит их к нему и скажет:

— Да ты погляди, погляди лучше! Очи-то у меня разноцветные!

Он бормотал, ошалело отворачивая голову, краснея:

— Да ну там...

Но все-таки глядел.

¹ Гирька на ремешке.

И правда, один глаз у нее темнее другого, почти синий. Но и это нравилось ему, как и все в Ольге.

А она, довольная его смятением, тихо смеялась. И смех у нее был какой-то особенный, воркующий.

Ольга сразу почувствовала свою власть над Тимофеем и гордилась, что вот такого застенчивого, не похожего на всех, сделала ручным, привязала к себе покорной тенью. Но стоило ей не видеть Тимофея несколько дней, как она не только не скучала по нем, но даже переставала и вспоминать и улыбкой «себе на уме» поддразнивала уже других.

Как-то Тимофей зашел к Мячиным с другом своим Лаврентием, и ему очень не понравилось, что Лаврентий стал увиваться вокруг Ольги.

«Вот ты какой!» — сердито думал Тимофей, когда они возвращались от Мячиных. Он решил не приходить больше сюда с Лаврентием, но через несколько дней устыдился этой мысли и, виновато улыбаясь, спрашивал друга:

— Когда снова к Мячиным-то пойдем?

Многих удивляла дружба Тимофея с Лаврентием — сыном богача Незды. Дружили они еще с малых лет, когда вместе совершали набеги на Нередицкий холм, откуда открывался весь Новгород, бегали по земляному валу, что опоясывал город, прятались в рябиновой чащобе и хмельниках.

Живой, быстрый в движениях, Тимофей везде бесстрашно заступался за медлительного, неповоротливого Лаврушу.

В какие бы игры ни играли — в кожаный ли мяч, набитый мохом, в бабки ли, — Лаврушу неизменно преследовали неудачи и над ним издевались за нерасторопность, неумение, за то, что неуклюже бегал, переваливаясь на коротких ногах, издевались над тем, что торчат у него большие уши, лоснятся круглое жирное лицо. Мальчишки, даже меньшие возрастом, били Лаврушу, требовали за проход по улице пряников. Только заступничество Тимофея спасало его от этих притеснений.

И Лавруша как умел отвечал привязанностью. Однажды Тимофей, прыгая с забора, насквозь проколол себе гвоздем ногу. Обеими руками сдернув ее с гвоздя, он скатился на землю, стал прикладывать к ране пучки травы. Подбежавший к нему Лавруша, ни мгновения не колеблясь, стащил с себя рубаху, рванул ее, протягивая другу холщовые нелёсы, забормотал:

— Бери, бери...

Да, как ни удивлялись на улице этой дружбе, а она не прекращалась и с годами даже крепла.

Пролетело отрочество... Тимофей очень вытянулся, под рубахой у него проступали острые лопатки, а на лице со впадинами щеками, резко очерченным подбородком, широкими,

сухими, словно от неутоленной жажды, губами, полыхали огромные, строгие глаза. Лаврентий же, напротив, более прежнего раздобрел, оплыл, как свеча, у него появились два подбородка, уступами сбегающие к жирной шее, пухлые пальцы рук словно кто-то перевязал нитками, а мутноватые со ржавинкой глаза едва виднелись. Как и прежде, при ходьбе у него терлись щиколотки ног, в бедрах стал он много шире, чем в плечах, как и прежде, любил поест и особенно — поспать.

— Вот ладно кто-то придумал, что можно спать, — сказал он однажды Тимофею, поскребывая щеки, покрытые скудной рыжеватой растительностью. — Хорошо, что не лошади мы и спим не стоя...

Грамоте Лаврентий обучался дома — приходил к нему монах. Но учился неохотно, под нажимом, готовый каждую минуту улізнуть от мучителя, и боярин Незда в конце концов с презрением махнул на сына рукой: «Слякоть, а не наследник». Решив же так, перестал обращать на него внимание.

В ПОХОД

Весна шла по новгородской земле, как всегда, неторопливо, приостанавливаясь, чтобы набраться сил и продолжать нелегкий путь сквозь заморозки.

В лесах меняли рога лоси, отбирали душла у дятлов белки, из-под снега то там, то здесь победно пробивалась пророска, радуя сердце веселой зеленью, и подсохшие проталины приветно зазывали к себе первых перелетных птиц.

На улицах Новгорода с утра начинала отбивать свои песни весенняя капель. Ноздреватый снег осел, и под мостом появились впадинки, похожие на глубокие норы. Деловитые грачи ворошили белыми клювами мусор у свалок Торга.

А там уже запушились овсянные теплым весенником¹ вербы, вытянулись вдоль канав золотистые корзиночки мать-и-мачехи, сидя на плетнях, забили в колокольца овсянки, и сладкой слезой проступил сок на березовой коре.

Воздух в эти дни был чистым, словно настоящим на травах. Тимофей ходил, как хмельной, вбирая в себя весну, щурясь на пригревающее солнце, прислушиваясь к говорку ручьев. Не его ли, Тимофея, зовет сница: «Ти-фи... Ти-фи...»? Не ему ли кивает пурпурной головкой медуница?

С детства любил Тимофей собирать цветы и травы, разглядывать каждую былинку, что попадалась на глаза. Бывало, пойдешь с матерью по грибы и покоя не дает ей расспросами. И та-

¹ Южный ветер.

щит домой найденное добро, рассовывает по заветным углам мохнатые ольховые сережки, ветки лесной, сладковато пахнущей козьей ивы, жука-цветоеда...

Но что это? Неужто вечевой колокол? Тимофей побежал к Ярославову дворищу.

Вечевой колокол гудел тревожно и требовательно, сзывал на Великое вече.

У каждого колокола в городе был свой голос: один вызывал глухо и тяжко, словно простыл; голос другого выплывал вольно и гибко, как лебедь на озере; третьи бранчливо переругивались тоненькими голосами.

Вечевой можно было узнать из сотен: в него били «в один край». Он звал, будоражил, ему нельзя было не подчиниться.

По Славной, Большой Пробойной, Буянной улицам, мимо низких лачуг, задымленных кузниц, мочил с кожами, от которых нещадно разило, спешили на площадь дегтяри, лодочники, шильники, котельники; перекликаясь на ходу, собирались под стяги своих улиц.

Тимофей устроился поближе к стéпени — высокому помосту, на котором уже стоял лицом к Волхову Незда с шейной печатью посадника на зеленом кафтане.

Незде на вид немногим более сорока лет. У него продолговатое, в холеной светлой бородке лицо с прямым хрящеватым носом, высокий лоб, тонкие извилистые губы. Темные глаза сидят глубоко, приглядываются ко всему с какой-то особенной сосредоточенностью, словно изучают, хотят проникнуть в скрытое от других.

Посадником боярин Незда стал недавно, но добивался этого долго и упорно.

Женившись по расчету на дочери тысяцкого Евпраксии — рыхлой, с большим вялым ртом женщине, много старше его, — Незда взял богатое приданое, пустил его в оборот и быстро пошел в гору. Он не брезговал ничем: давал деньги в рост, принимал вещи в заклад, скупал и перепродавал меха, привозил из дальних стран редкие сорта деревьев — самшит, кедр, кипарис — и втридорога продавал их новгородским умельцам. В купецком объединении «Иванское сто» наживался на продаже воска.

Кроме дома в Новгороде, у Незды было еще сто четырнадцать деревень, владения на Ваге и Двине, борти, леса, рыбные тони, соляные промыслы и становища звероловов.

Как никто другой, умел Незда вовремя выкатить на улицу бочки с брагой, подпоить нужных ему на вече сообщников, подкупить крикунов — у него было несколько сот наймитов на жалованье.

На людях ласковый, обходительный, умеющий хлебосольно принять, поговорить и о ритории, и о ценах на хлеб, он ни перед чем не останавливался, если хотел достичь цели. Даже самые близкие к нему люди только предполагали, что с его именем должно связать и убийство не угодных боярам суздальских сторонников, и странную смерть недавнего посадника Михаила. Когда чернь с Холопней улицы пыталась сбросить в Волхов посадника Константина, Незда только знак подал своим наймитам — и те разметали мятежников. Но эту же чернь он сумел использовать, чтобы изгнать из города суздальского князя Святослава.

...Рядом с Нездой на помосте стоял сухощавый тысяцкий Милонег, опоясанный золотым шитьем.

У боярина Милонег кожа в редких волосках натянута на скулы пергаментом. Двумя пальцами Милонег то и дело многозначительно поглаживает уголки брезгливо опущенных губ.

Возле тысяцкого остановился его племянник — сотский Дробила. Недобро, словно изучая, глядел он маленькими глазами на уличан, подступивших к лавкам внизу; на немногих лавках этих сидели бояре.

Лицо у Дробилы красное, и когда он хмурится, низкий лоб пересекают две продольные багровые линии. Новгородцы прозвали Дробилу Лысым Быком; он знает это, но никто никогда не осмеливается назвать его так в глаза.

У другого конца помоста прежний посадник Захар Ноздрицын — высокий, с крупным, нависшим над губами носом, с кустиками седых волос в ушах — о чем-то говорил двум кончанским старостам, склонив к ним свою большую голову.

Народ тек непрерывным потоком с Плотницкого, Славенского концов, перебегал через мост с Софийской стороны. В дальних улицах Гончарского конца бирючи², надувая багровые щеки, продолжали скликать трубами.

«Многочародство какое!» — поглядел Тимофей на площадь и с восхищением подумал, что именно здесь Господин Великий Новгород указывал путь неугодному князю, говорил бесстрашно: «Иди, откуда пришел, ты нам не люб».

Вдали, возле лавок Великого ряда, Тимофей увидел Кулотку — тот на голову возвышался над всеми, — у вечевой башни приметил Авраама, а отца Ольги — у церкви Николы.

Незда беспокоился: запаздывал владыка. Обычно он не бывал на вече, но сегодня обещал прийти для благословения.

С утра у Незды болел зуб. Он клал на него корень дивосилы — боль утихла, и теперь Незда, опираясь на жезл, все

¹ Горожане.

² Вестники, глашатаи.

прислушивался, не возникнет ли боль снова. Не любил квелых и слабых, сам никогда ничем не болел и эту зубную боль принимал как неожиданное несчастье.

Глядя на море голов, разлившееся от Готского двора у берега до церкви Успения, на онашни, поддевки, Незда замечал у многих в руках топоры, дубины-ослопы, а кое на ком и брони. «Попробуй устрани таких — костей не соберешь», — думал он. — А держать в покорстве — то для умного мужа». Посадник покосился на своих уже подвыпивших молодцов в дальнем конце площади. Они только ждали знака для крика и потасовки. «Понадобятся ли? — продолжал размышлять Незда. — Вчера на тайном совете решили объявить поход против тевтонов, что закрыли новгородским купцам путь к Двине, но выступить надо под стягом защиты эстов... Пусть чернь так мыслит».

Он вспомнил этот вчерашний тайный совет. Собирались с опаской. Заходили в собор словно бы помолиться и потом уже тайным ходом проникали в дом владыки. О совете в городе ведали только те, кто входил в него, и все самые важные решения сначала принимали здесь.

«Одной силой и подкупом удержать чернь в повиновении нельзя», — думал Незда. — Надобно временами и заигрывать с нею, бросать подачки, уступать в малом, чтобы в большом загребать жар ее коростными руками».

Недавно в «Римской истории» Веллея Патеркула он прочел: «...все действия трибуна на пользу плебеев совершались только для приманки и оболыщения толпы...»

Он мысленно с наслаждением повторил эту фразу: «Для приманки и оболыщения»... Умные люди и прежде понимали сие!

Показался в полном облачении владыка Митрофан. Он был величав, и с его бледного лица мрачно глядели на толпу большие властные глаза.

Бирючи в фиолетовых кафтанах раздвигали толпу, прокладывая владыке дорогу к стéпени.

Появление владыки встревожило вече. «Пошто он явился?» — можно было прочитать у всех на лицах.

Митрофан неторопливо опустился на лавку помоста рядом с именитыми боярами.

Незда едва заметным движением руки подал знак — колокол оповестил о начале веча.

Сняв соболью шапку и подойдя к краю стéпени, Незда склонил голову, пальцами прикоснулся к помосту:

— Вечу Великому, Господину Новгороду земной поклон!

Раздались крики:

— Новгород слушает!

Посадник долго не выпрямлялся, потом, разогнув спину, возгласил в наступившей тишине:

— Собрались мы, граждане, дабы решить, как уберечь нашу землю от немцев!

Авраам громко сказал отцу Тимофею:

— Кровью сынов наших хочет Незда добро приумножить!

Отец рванулся к посаднику:

— Мало те, грабители!

Каждый век имеет свое лицо и свою поступь.

Новый, тринадцатый, начался беспокойно. Тень крестоносцев нависла над Приморьем, их окровавленный меч все рушил на своем пути. Как зловещие призраки, вырастали орденские замки Икескола, Гольма, Венден... Где-то на краю новгородского неба клубились мрачные тучи, и отсветы дальних пожаров незримо ложились сейчас на вечернюю площадь, на Волхов, на сумрачные лица уличан.

На мгновение скрылось за тучу солнце, и сразу стало пасмурно, и о берег слышно забила волна.

Напрасны были опасения владыки и Незды, что новгородцы не проявят единогласия, не захотят идти в поход, что понадобятся наемные горланы и потасовщики: «голоса сошлись все на одну речь», отвечали «едиными устами».

Всяк, кто был на этом вече, сердцем почувствовал, как велика опасность: рыцари ордена меченосцев посягали на Двину, возмечтали овладеть водным путем, схватить Новгород за горло.

На помост взмошел изможденный эст с гладко зачесанными рыжано-красного цвета волосами, обратился к вече на ломаном русском языке:

— Много не скажешь, когда сердце кровью обливается... Рыцари опустошают нашу землю... Грабят — «вы наш корм»... Младенца к матери вяжут, за конем волокут... Сил нет... поднялись виронцы, роталийцы, гарионцы, жители Сакаллы... Послали сказать вам: помогите!

Он упал на колени, простер к вече руки, на лице его были написаны мольба и страдание.

Вече заклокотало, как Волхов в непогоду:

— На немцев!

— За новгородскую правду! В поход!

— Встанем насмерть!

— Положим головы за святую Софию!

— Изомрем честно за Великий Новгород!

— На немцев!

И Тимофей кричал истнуленно:

— В поход!

Думал недовольно об отце: «Зачем он так, когда надобно одиночество... Да я первый, хоть и не воин, пойду!»

На Софийской стороне небо заволокло темными тучами, а на Торговой продолжало ярко светить солнце, и от этого тучи над Софией казались еще темнее и чудилось: белые стены бесстрашно прорезают их, взвиваются в синь.

Шум утих, когда владыка поднял, словно для благословения, руку. На его зеленовато-бледном лице проступили крупные капли пота.

— Оружье на врага! — тихо произнес владыка, но людское зхо пронесло его слова до самого края площади. — Огонь, опали противных! И да утишит бури святая София, да отразит напасти и охранит града наши! С нами честной крест и правда! В поход!

Закричала, завывла площадь, потрясая оружием над головами:

— В поход!

«Старый ворон даром не каркнет», — одобрительно подумал Незда о владыке и прошептал вечевому дьяку:

— Читай!

Тот встал:

— От посадника Великого Новгорода Незды и от всех старых посадников, и от тысяцкого Великого Новгорода Милонег, и от всех старых тысяцких, и от бояр, и от житых людей, и от купцов, от черных людей, от всего Великого Новгорода, от всех пяти концов на вече, на Ярославском дворе, положили...

— В поход! В поход! — требовало в один голос вече.

Вступив в ополчение, Тимофей не сразу пошел домой, а долго еще стоял у берега Волхова, задумчиво глядя вдаль.

Солнце, похожее на раскаленный, медленно остывающий щит, уходило за стены Детинца¹, и вдоль берега загорались на воде золотые костры. По течению реки легко скользила узкая ладья.

Тимофей медленно пошел улицами города, миновал двор, где строили стенобитные машины — пороки, и повернул в боковой проулок. Щедро развесила свои сережки ольха, в воздухе стоял запах свежего теса. Из мастерских еще доносились шумы трудового дня: не приглушенные, усталые, как это можно было ожидать, а яростные, спорящие с наступающей ночью.

Тимофей остановился на холме.

У города был свой голос: перекликались наковальни, мягко шипело под резцами станков дерево, плескалась о берег речная волна, серебристо звенели деньги.

Быстро смеркалось. На оранжевом небе чернели купола церквей, колокольни, деревья, зеленовато-оранжево отсвечивал

Волхов. Потом на небе осталась лишь багряная полоса, а по реке шумливо побежали к берегу волны, поднятые караваном плотов.

Тимофей и не предполагал, что так любит свой город! Здесь излазил он каждый закоулок, исходил броды ручьев, сиживал на горках у Жилотуга и Гзени¹, тонул в Мячином озере, сваливался с дерева у Антониева монастыря. На княжеском городище его застигла гроза, и он укрывался в подземелье давно порушенного капища.

Все было дорого его сердцу в том городе: и перунья — священная роща на берегу Ильменя, куда, по преданиям, ходил грустить Садко, и свинцово-бурые волны широкого Волхова, и эти бесчисленные, умеющие молчать соборы и монастыри, словно выросшие из самой новгородской земли, неотделимые от нее или построенные одним зодчим, влюбленным в бескрайние просторы, в суровую простоту.

— Прощай! — шептал Тимофей городу. — Увижу ли тебя, увижу ли Оленьку?

В последний свой приход к ней Тимофей услышал, как отец, завидя его в калитке, сказал Ольге сердито:

— Опять этот голодник!.. Неча приваждать.

Оскорбленный Тимофей, ни слова не промолвив, ушел. И сейчас не пойдет. А вот возвратится из похода... тогда...

Вдали, в центре города, могуче возвышался шестиглавый Софийский собор. И Тимофею казалось, что это стоят плечом к плечу шесть братьев-богатырей: старший и пять помоложе, все в шеломах и тоже зовут новгородцев в поход.

БОЙ У ОТЕПЯ

Возглавил новгородское войско торопецкий князь Мстислав Удалой, правнук Владимира Мономаха.

Был Мстислав человеком вспыльчивым, самолюбивым, не однажды ссорился с Новгородом, но быстро отходил от обид, если видел в том для себя выгоду, и увлекался заманчивым ратным делом.

Приглашенный новгородскими боярами возглавить поход в земли эстов, Мстислав для приличия немного покуражился, а потом, выговорив себе право беспрекословно распоряжаться войском, согласился и с присущим ему рвением повел подготовку похода. Начал он с обучения воинов: как вести сторожевое охранение, заманивать бегством, устраивать засады, кострами показывать ложный лагерь. Отдельно обучал копейщиков и щитоносцев, как, сомкнув щиты и выставив копья, уда-
рять по неприятельским «крыльям».

¹ Речки, впадающие в Волхов.

¹ Крепость.

— В бою не озирайся,— говорил он,— и ведай: коли побежал в страхе — до беды добежишь. Тебе же лучше, если будешь крепко за щитом стоять.

Потом для перевозки раненых выделил коней, по двое соединял их оглоблями с натянутым холстом.

Мстислав собрал сотских отдельно у себя в шатре, за городским валом. Усадив наземь, на звериные шкуры, постоял в раздумье, оглаживая темную, ладно выющую бородку, скрывавшую сабельный шрам.

Мстиславу лет тридцать семь. Высокий, худощавый, он оставлял впечатление человека прямых, открытых действий. Обветренное лицо с густыми бровями, отвисшими усами, оттеняющими полные губы, было сейчас утомлено.

— Хочу остеречь вас, вои,— поднял он серые глаза,— не ставьте недруга овцой, мол, седлами закидаем, а ставьте волком и к схватке готовьтесь, не жалея пота. Лежаньем города не возьмешь. Заранее хочу обучить вас, как управлять боем... На то у вас стяги и трубы...

И он терпеливо стал объяснять, как во время боя собирать под стяги своих воев, показывать стягами, где враг, трубить нападение:

— Коли стяг возволен¹, то — начало боя. Старайтесь вражий стяг подсесть на позор и поношение врагу!

Отпустив сотских, Мстислав еще долго шагал по шатру. «Что еще надобно сделать? — думал он.— Построить каменеты... всем конникам и пешцам раздать топорцы, чтобы держались на ремешке, пока из луков стреляют... В неприятельский стан охотников заслать во вражьей одежде...»

Мысль невольно обратилась к Новгороду. Быть в нем князем не хотел — небезопасно и хлопотно это в непокорном городе, а вот ходить в его защитниках... и чести прибавляло, и выгоды сулило немалые.

После холодных новгородских утренников зацвели наконец лилово-розовые кустарники пахучего волчьего лыка, развернулись листья черемухи, и осиновый пух стал комьями лепиться к ветвям деревьев.

В эти дни перелома к лету и решил Мстислав выступить. Шестнадцатитысячное войско его, состоящее из дружин, охочих людей народного ополчения, владычного полка и полка, собранного в волостях — от четырехсот один вой,— двинулось пеше, конно и на ладах к чудской земле. Впереди сторожа, затем рать и наконец обозы с кормом и доспехами. Где надо, прокладывали мосты и гати; останавливаясь на отдых, окапыва-

лись, расставляли вокруг повозки, и неутомимый Мстислав по нескольку раз за ночь объезжал посты, наказывал нерадивых.

Как-то на рассвете, когда сонная одурь валит даже самых крепких, он обнаружил прикорнувшего лучника Панфилку, что поставлен был стеречь обоз. Задрожав от бешенства, князь, не слезая с коня, стал плетью стегать оторопелого Панфилку:

— Будешь, холоп, службу нести как след? Будешь, голь поганая?

Рот его дергался, глаза побелели.

Кулотка проснулся от криков. Увидя окровавленное лицо лучника, подскочил к князю и, не думая, что делает, поддаваясь только чувству возмущения, рывком стянул Мстислава с коня, прохрипел:

— Пришибу! Думаешь, как князь, так те честь новгородска ни во что? Бей своих дружинников!

Рядом с Кулоткой выросли еще несколько бородатых воев с рогатинами.

— Полегче,— раздался сиплый голос одного из них.

Мстислав, опомнившись и зная, что с новгородцами шутки плохи, процедил свирепо:

— Одна кость! — Вскочил на коня и ускакал.

Оставшиеся молчали. У них уже отлегло от сердца, и они теперь чувствовали неловкость, что были так непочтительны к своему начальнику: чуть, грешным делом, не намили ему бока.

— Строгонек! — снисходительно сказал накопец невысокий большелобый кузнец Есип, глядя в сторону исчезнувшего князя и виновато почесывая затылок.

— Службу любит, сильный сокол,— произнес тот же сиплый голос, что еще недавно предупреждал князя с угрозой: «Полегче».

«Сильным соколом» называли Мстислава заглазно, гордясь его смелостью.

Кулотка, вдруг снова расвирепев, набросился на Панфилку:

— Ты чо, хухря¹, воевать пошел аль пузо чесать?

Он в сердцах огрел Панфилку кулаком по шее, плюнул и отправился досыпать.

На третий день пути добыли вести: из города Киремпе, в верховьях рек Остры и Супоя, вышел две дневки назад обоз меченосцев. Мстислав наградил гонца и тотчас собрал сотских:

— Объявите охочим людям: кто со мной пойдет обоз перехватить?

Пожилой сотский Агафон заикнулся было:

— Негоже те, князь, самому ввязываться, чай, помоложе есть...

¹ Поднят.

¹ Растрепан (новгородское).

Мстислав гневно сверкнул глазами:

— То мне судить! Охотников пришлите к вечеру. Пусть головы окрутят убрусами, чтоб отличать своих в ночи.

Оставшись один, он продолжал обдумывать план ночного налета. Эту пусть маленькую, но дерзкую победу надо одержать во что бы то ни стало, тогда уверятся новгородцы в силе своей, разыграет в них боевой дух.

...Кто знает, что померещилось рыцарям, когда ночью обрушились на них со свистом и гиком дьяволы в белых арабских чалмах.

Успех превзошел самые смелые ожидания новгородцев. Одних только коней они захватили семьсот, перебили немало врагов, а в обозе у них обнаружили оковы, которые те везли для будущих пленных. Кулотка, потрясая связками оков, кричал восторженно:

— Рыли яму, да сами ввалились!

Ободренные первым успехом, новгородцы двинулись дальше, к реке Эмбах, где меж озер Чудским и Барца шли бои эстов с рыцарями за крепость Отепя.

Тимофей оказался в одном десятке с Кулоткой и очень был этому рад. Они вместе участвовали в ночном налете на обоз, достали себе доспехи, коней. На Кулотке была сейчас кольчуга, в руках — топор, у бедра — меч: не успел положить свое снаряжение в обоз. И топор и меч Кулотки казались игрушечными, не по росту его, Тимофей нет-нет да и поглядывал на своего нового друга, невольно улыбаясь.

— Ну чего смеешься, тараканий богатырь? — делая вид, что сердится, спросил наконец Кулотка и ладонью слегка ударил по верхушке Тимофеева шлема.

Тимофей зашатался в седле.

Лаврентий тоже был среди ополченцев (Незда послал его, заботясь о своем имени), ехал, уныло свесив голову.

Покачиваясь в седле, Кулотка развлекал воев:

— Ночь-то темна, кобыла черна, еду-еду да пощупываю — тут ли она, везет ли меня?

Вои хохочут:

— Не поперхнется!

— Как бродом идет...

— Верно рассказываю, — сохраняя серьезность, продолжает Кулотка. — А то, робятки, еще вспомнил: стою я ономедни возле башни Детинца, ан женка Марфутка на возу едет, разогналась — хочет башню сбить. Я гляжу: куда башня полетит?

Новый взрыв хохота встречает и эту шутку.

— Ври, браток, да откусывай! — задорно прокричал Кулот-

ке юнец с лицом, обросшим первым пушком. — Тебя послушать: на вербе груша!

Кулотка повел бровью в его сторону:

— Тож мне — браток! Ближняя родня — на одном солнышке онучи сушили! — И с серьезным видом, словно только что вспомнил наконец, где видел юнца, добавил: — Да это ты через забор козу пряниками кормил: думал, что девка?

...К Отепя, где на высоком холме с крутыми склонами засели рыцари, подошли в сумерках и обложили крепость со всех сторон полками.

Потекли ратные дни осады.

Одна сотня строила башни из бревен, другая неумоимо вела подкопы. Осажденные перехватывали подкопы встречными рвами.

На четвертый день осады рыцари прислали новгородцам записку на стреле: «Вам ли, свиньям, победить медведя? Пьет он воду из Двины, скоро напьется из Волхова».

Мстислав, прочитав это послание, заскрежетал зубами.

— Из Волхова воды не выпить, в Новгороде людей не выбить! — гневно сказал он и пошел к сотне, что возводила осадные башни: приказал строить и ночью.

На десятый день осады новгородцы подкатили башни к стенам крепости и из камнеметов стали бросать такие камни, что их едва поднимали четверо воинов.

Осажденные с вала скатывали огненные колеса, норовя попасть в башни. Отряду новгородских смельчаков удалось поджечь мост возле крепостных ворот. Тогда тевтоны прислали Мстиславу в знак перемирия копьё; ожидая подкрепления, повели переговоры, стараясь затянуть их и выиграть время. Новгородцы доверчиво поддались на эту хитрость; когда же увидели вдали рыцарское подкрепление, оставили часть своих войск для продолжения осады, а остальных повернули лицом к пришельцам.

Подоспел и шеститысячный отряд эстов, влившийся в новгородское войско.

Наступила тревожная ночь. Каждому было ясно, что завтра — смертный бой, и та обманчивая тишина, что притаилась сейчас вокруг, делала предстоящее словно еще неизбежнее.

Кулотка и Тимофей, разбросав руки, лежали навзничь на заросшей ольхой и пахучими кукушкиными слезами лядине, вырубленной в лесу для посева. Не спалось. Июньские звезды помигивали в темном высоком небе. Зеленоватые искры светляков казались отражением звезд. От земли исходила теплая сырость, пахло лесной прелью. Временами где-то совсем близко тоскливо кричала выпелица, шелестел крыльями полуночник-

козой. Собственно, тишины не было. Лес жил своей особой, ночной жизнью, наполненной вкрадчивыми шорохами, неожиданными звериными вскриками, писком летучих мышей, грузной медвежьей поступью, мельканием бабочек-совок, и человек здесь казался лишним и ненужным.

— Почему это, — шепотом спросил Кулотка, с трудом сдерживая готовый прорваться бас, — сначала блескавица бывает, а потом гром?

Кулотка, как и большинство новгородцев, цокал, и поэтому у него получалось «поцему».

Тимофей повернулся лицом к Кулотке, оперся головой на руку:

— Да ведь, коли дровосек вдали древо рубит, мы прежде зрим, как он замахивается, а следом стук слышим. Видно, стуку и грому тоже время надобно добежать до нас. Сначала Илья Пророк копье мечет, потом колесница его грохочет...

— Истинно! — радуется Кулотка. — Голова ж у тебя! — восхищенно говорит он.

— Как у всех! Вот возвратимся домой, я те грамоте обучу...

— Не-ет, куда мне! — беспечно тряхнул кудрями Кулотка. — Борода выросла, а ума не вынесла... У меня, кроме вот этого, — он поднял огромные, как кувалды, кулаки, — ничего нет. Не по моей головушке вся сия премудрая хитрость. Вот если те понадобится хрящики кому обломать, тут Кулотка первый человек!

Они снова умолкли. Тонко зудели комары, за бугром надрылись лягушки, от звездного Лося, стоящего головой на восток, отделилось и упало копытце.

— Ты о чем сейчас помыслил? — спросил Тимофей, продолжая смотреть в темень, где исчезла звезда.

— Да так... — вздохнул Кулотка.

Он постеснялся признаться, что думал о маленькой своей невесте Настеньке. Она одна умела и укротить его буйство, и нашептать такое, от чего сладко щемило сердце. Кулотка любил, взяв осторожно в свою ладонь крохотную руку девушки, нежно гладить ее и шептать бессвязные слова, такие непохожие на те, что говорил он обычно.

— А я... об одной... — тихо начал Тимофей. — Так она мне дорога и мила. Неужто не увижу боле?

Кулотка, словно стряхивая с себя наваждение, грубо расхохотался:

— Неча нам нюни распускать!

Тимофей насупился и умолк.

...На рассвете войска выстроились друг против друга. Тускло блестели новгородские шеломы с шишаками, трепетали разноцветные стяги на копьях — у каждой сотни свой цвет. «Чело» — головной полк — Мстислав выдвинул, а «крыльям» приказал ждать сигнала.

Впереди немецких рядов гарцевали на конях командоры. Влажный ветер, налетая порывами, рвал их белоснежные плащи с нашитыми красными мечами и крестами, и чудилось, бьют крыльями хищные окровавленные птицы.

Тимофей, в шеломе с бармицей, прикрывающей затылок, напряженно вглядывался в неприятельское войско.

Все было необычно в это утро: и словно вздрагивающая пугливо земля, и чужое, суровое небо. Казалось бы, знакомо начинался рассвет — алыми волнами, голубыми разводами. Но к алому цвету примешивался свинец, а голубой был замутнен. И хмурый лес, виднеющийся вдали, темнел неприветливо и мрачно.

Тимофей снова подумал о возможной гибели своей и не поверил в нее, не смог представить, что мир останется, а он исчезнет.

Сбросив с головы шлем, отчего буйный чуб заиграл по ветру, на середину темно-бурого поля выехал Кулотка, оглядел неприятелей синими, охмелевшими от бесстрашия глазами, крикнул с издевкой:

— Кто, храбрецы, на левую руку пойдет? Ай животы свело?!

От вражьего стана отделился всадник. Грудь его облегал латы. Кольчужные чулки, наплечники и наколенники довершали снаряжение. Был он так же высок, как Кулотка, и тоже для чего-то снял шлем. Льняные волосы обрамляли иссиня-бледное продолговатое лицо с тяжелым подбородком.

Рыцарь разгорячил коня и с копьем наперевес, держа его левой рукой спереди, а правой сзади и не выпуская повод, устремился на Кулотку. Вот он все ближе, ближе... Кулотка крутнул своего коня, сверкнул топор на длинной рукояти и, вонзившись в древко копья, перерубил его.

Войска вздрогнули и, напружинясь, замерли. Немец рванул меч из ножен. В то же мгновение Кулотка левой рукой с силой запустил во всадника боевую гирию, и она сбила его с коня. Падая, рыцарь придавил меч своим телом, и он глубоко вошел в землю. Но, не растерявшись, немец выдернул из-за пояса длинный кинжал шириной в ладонь и подсек им сухожилия коня Кулотки. Конь повалился, а Кулотка перелетел через его голову. Вскочив, он выхватил секиру.

Некоторое время Кулотка и его противник кружили, словно каждый выискивал уязвимое место у другого. Но вот рыцарь молниеносным движением полоснул Кулотку кинжалом по лбу.

¹ Молния.

Тот, немного отступив, с размаху опустил секиру на голову врага.

Обтерев рукавом кровь с лица и сверкнув бешеными глазами, крикнул:

— Давай, медведи, скорей замену! Кулотке некогда!

Новгородское войско загрохотало, заулюлюкало, а рыцарское, глухо рыча, двинулось вперед.

Воинственно заиграли новгородские трубы, забили бубны, захлебнулись пронзительно-тонко переливчатые свирели. Ощетинились коня, замерли стрелы на дрожащей, до отказа натянутой тетиве, сулицы¹, занесенные для броска, нетерпеливо ждали своего полета.

— Вперед, за честь новгородску!

— Вперед, храбры!

Из-за леса выползла черно-сизая туча, подбитая золотом. Начинаясь бой.

Ложно отступая, Мстислав втянул основные силы рыцарей в лес. И хотя немцы дрались отчаянно, преимущества оказались на стороне новгородцев — в своих легких доспехах они могли ловчее изворачиваться на узких просеках, быстрее передвигаться.

Тимофей сидел в засаде правого крыла, в ровчике, обросшем колючим чертополохом и липкой малиновой смолкой. Еще утром его дважды ранило стрелами, он потерял много крови, но не думал об этом. Возле Тимофея зябко ежился, несмотря на жару, Лаврентий. Он, казалось, хотел уйти в землю, не слышать свиста стрел, от которого все сжималось внутри, лязга щитов и мечей, конского топота.

На Лаврентий — кольчужная рубаха с короткими рукавами, прорезями спереди и сзади, бляхами. Стоячий воротник кольчуги туго стянут тесьмой. Но и в этом облачении Лаврентий не выглядел воем.

Уткнувшись головой в молочай, отчего лицо его покрылось белыми каплями, Лаврентий смятенно молился: «Господи, прinesi беду... Убережусь — построю те храм великий, только прinesi... Ну какой я воин — сам видишь...»

Приближался конский топот. Лаврентий пугливо приподнял голову — вражья конница мчалась прямо на их засаду.

Ее подпустили совсем близко и встретили тучей стрел. Храпя, начали падать кони, сваливаться всадники, уцелевшие поворачивали коней назад. Один рыцарь, круглый, как бочка, в латах, не сумел повернуть коня, тот переметнулся через кусты и, тяжело раненый, припал на колени. Всадник выпростал ноги из

стремян и, увидев прижавшегося к земле Лаврентия, прыгнул на него, как коршун на кролика. Лаврентий пронзительно завизжал и потерял сознание.

В мгновение ока Тимофей подскочил к рыцарю и со всего размаху опустил палицу на его голову. Рыцарь покорно повалился на бок.

Тимофей, еще дрожа от возбуждения, с неприязнью поглядел на продолжавшего лежать ничком Лаврентия. Тот зашевелился, но голову оторвать от земли не решился. Рывком Тимофей приподнял его за шиворот, встряхнул так, что зазвенела кольчужная рубаха. Гневно глядя в раскисшее бабье лицо, прикрикнул:

— Лик-то людской не теряй! Слышишь?

Из засады неожиданно выдвинулся новгородский полк; рубя и захватывая в плен, погнался перед собой рыцарей. Среди них началась паника. Магистр, оставив на поле боя свой шатер, утерев плащ, первым скрылся в крепости; вслед за ним прискакали фогты-командоры и орденские братья из капитула.

Далеко за полдень новгородские войска, штурмующие Опея, взяли город на копы, ворвались в него через пролом.

Мстислава видели в самых опасных местах: на стене, в гуще городского боя. С топором в руках он врубался в неприятельские ряды, как в густой лес, прокладывая просеку. Шелом его был вдавлен, обрызган кровью, левая рука перевязана.

Кулотка у пролома городской стены показывал эсту, как метать камни порокой.

— Ты, друже, не торопись... Гляди, как надо... — говорил он. Кусок тряпки с запекшейся кровью багровел у него на лбу.

К вечеру бой закончился. Трепещущий на ветру княжеский стяг собирал войско. Отряды похоронников рыли ямы для убитых, записывали их имена.

«Дрались храбры, не слыша ран, не имея страха в сердце, и погибли:

щитник Нежила,
гвоздочник Яков,
котельник Иван,
кожевник Антон,
литец Микифор...»

Списки росли и росли...

Дружинники, тысяцкие и сотские делили захваченное добро.

Усталой походкой, едва держась на ногах, Кулотка прошел мимо пленных, лежавших на пустыре у городской стены. Тяжелораненые стонали, просили пить, хрипели предсмертно. Кулотка в раздумье остановился возле них, повернулся, пошел назад. Достав в обозе ведро, наполнил водой из колодца, понес

¹ Род коня.

раненым. Увидя недоуменный взгляд Лаврентия, сказал виновато:

— Лежачим...

Мстислав Мстиславич возле конюшен повстречал молодого новгородца. Тот, радостно сияя глазами, тащил за узду статного коня, отбитого в городе.

Князь оценивающе оглядел добычу. Бросил через плечо дружинникам: «Мой се конь...» — и продолжал путь.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Сотворив выгодный мир с рыцарями, Мстислав приказал войску собираться в обратный путь.

Глядя, как нагружают суда, захваченные у тевтонов, Мстислав радовался богатствам, что успел сам прихватить. Думал о том, как довольны будут новгородские купцы, — для них он снова расчистил путь.

На одной из ладей, под парусами, сидели Кулотка, Лаврентий и Тимофей. Лаврентий с завистью разглядывал золотую гривенку на груди Кулотки, полученную им за воинство. Сам князь сказал Кулотке: «Воин сей храбросерд и крепкорук», — и нахмурился почему-то при этом.

Кулотка перехватил взгляд Лаврентия и презрительно pokrивился — не любил нездовское отродье. Еще в Новгороде всячески выказывал ему свою неприязнь: будто нечаянно наступал на ногу, при встречах так стискивал руку, что Лаврентий корчился от боли, называл его рохлей и скудобородым. А то замахивался, делая вид, что хочет ударить Лаврентия, сам же медленно подносил руку к своей ноздре, очищая нос, брезгливо разрешал: «Живи, живи, пужливый, не трону...»

Сейчас, сидя в ладье, Кулотка вдруг потянул воздух расплущенным носом:

— А чтой-то вроде бы смердит?

Лаврентий тоже доверчиво понюхал:

— Не чую.

— Ты, телолобец, поди, не выстирал порты после прыгуна того? — спросил Кулотка и захохотал. — Э-эх, вошь в сметане!

Тимофею и раньше не нравились издевки Кулотки, а сейчас, взглянув на несчастного, сгорбившегося от унижения Лаврентия, заметив, как порозовела мочка его большого, когда-то надкусанного собакой уха, Тимофей вскочил так, что ладью качнуло, и, подойдя со сжатыми кулаками к насмешнику, произнес, задыхаясь:

— Не смей... поносить... Друг он мне...

Родимое пятно на левой щеке его побледнело.

Кулотка в первое мгновение даже опешил, потом удивленно подумал: «Вот сморчок! Костями стучит, пупок к хребтине прилип, а туда ж, распыхался! Да я тя пальцем ткну — рассынешься». Однако что-то в глазах Тимофея, во всем облике его было такое, что не разрешило Кулотке грубить, вызвало еще большее уважение к Тимофею, и он примирительно сказал, улыбнувшись:

— Ты со мной помягче, я на голову слабый.

Но Лаврентия после того не трогал.

Тимофей же во все время пути до Новгорода старался, как только мог, дружелюбнее относиться к Лаврентию, даже подарил ему поясной нож с черенком в серебре — единственное, что досталось ему в бою при Опея.

Суда приближались к Новгороду. Еще с Ильменя, окруженного золотистым прибрежным песком, все увидели купола Георгиевского собора. А когда подплыли ближе к городу, он распахнулся во всей своей красе: с Детинцем, обнесенным каменной стеной, с башнями-кострами у въездов, с кустами церковью на Дворище, Торгу и Опоке, с валом, огибающим город, с посадами и слободами, подступающими к широкому кольцу монастырей. Прямо от «концов», от въездных ворот, уходили в неоглядную даль — на Водь и Карелу, на Задвинье и Заволочье, на Печору и Пермь — дремучие леса новгородских владений.

Было тихо. Низко летали чайки. Темно-синяя с золотой гривой туча плыла по небу, отражаясь в Волхове, цепляясь крылом за высокую арку радуги. Тимофей стоял в ладье в полный рост. Удивительно часто менял свой облик Волхов! То становился неприветливым, сурово-свинцовым, то зеленовато-розовым и нежным. Или вдруг серебрился щедро и весело, когда улыбалось ему солнце, и тогда на душе светлело и хотелось петь о жизни, что так многолика. «Где найти краски, чтобы написать сие?» — думал Тимофей. Он жадно глядел на родной город, сился угадать в этом сплетении улиц и садов домик Ольги, с деревянным коньком на тесовой крыше, с голенастой березой у ворот.

На ладьях забили в литавры и бубны, заиграли сурны.

Город встречал на мосту, у причалов, где вой сходили с судов.

— Слава храбрам! Слава! — неслись со всех сторон крики. Летели вверх шапки, играли дудки-кувички, звонили благовестники.

Архиепископ встречал на Пробойной улице крестами, чудотворными иконами и молебном. Мостовые, площадь заполнили игумены, протопопы, дьяконы, иноки, певчие, пономари. Вышел весь священный собор, воеводы и посадники. Народ обнимал

храбров, нес их на руках; голосили жены и матери погибших, неистовствовали колокола...

Крестный ход остановился с молитвой у образа богородицы, нарисованного на городских воротах. Курились кадильницы, склонялись серебряные опахала-рипиды, слышалось церковное пение, и весь этот шумный людской поток двинулся к храму премудрой Софии, что по-прежнему величаво возвышался молчаливыми стенами. Казалось, они впитали в себя все солнце, что скупой отвела природа и холодному Волхову, и суровым окрестностям города, и потому так щедро серебрились.

Вечером, после всенощной, во владычных палатах начался боярский пир — чествовали Мстислава. А на Рогатице, Нутной, Чудинцевой улицах расставили столы для храбров — город угощал ратников мирской бражкой.

Дома Тимофея ждало тяжкое горе: неделю назад был убит у моста неведомыми злодеями отец. Соседи говорили: «Нечисто это, не иначе, стал он кому-то поперек». Незадолго до гибели отец Тимофея схлестнулся на улице с Нездой, крикнул ему: «Без стыда лица не износишь!» Грозился вывести на свет лжу какую-то. Но об этом соседи Тимофею не рассказали. Зачем подозрением сердце ему ранить. Может быть, Незда тут и ни при чем.

Тимофей потерянно бродил по опустевшей избе, наполненной с детства знакомыми запахами дубленой кожи, воска, извести, в которой мокли шкуры, — отец делал ремни и переметные сумы. Об отце вспоминал как о человеке добром, справедливом. Правда, и вспыхивал он легко, как сухой трут, но никогда не носил камня за пазухой и, выложив все, что думал, чем был недоволен, сразу успокаивался и уже виновато поглядывал, словно сетуя: «Эх, опять не сдержался».

В свободные часы любил отец вырезать из дерева фигурки людей, животных, целые сценки: то охоту на лося, то медведя, пляшущего в окружении медвежат. Тимофей заворуженно сидел где-нибудь рядом, боясь шевельнуться, громко дышать, и, не отрываясь, глядел на это рождение чуда из простой деревяшки.

А сколько диковинных сказок, поверий знал отец! Бывало, в зимнюю стужу привалится Тимофей к нему на лавке под полушубком и слушает тихий рокот отцовского голоса, а тот рассказывает: как построили Новгород, как прогнали князей на Рюриково городище, как друг отца, мастер Петрович, расписывал стены Спаса и, не боясь гнева князя Ярослава, сделал все по своему.

«Что ж, — думал сейчас Тимофей, перебирая колодки, — лишнее продам, а сам наймусь подмастерьем к Есипу».

Сосед Есип тоже был кожевником, славился умением вырбатывать сафьян из козьей кожи, давно дружил с отцом Тимофея.

Во время этих размышлений Тимофея вошел бирюч, кратко сказал:

— Незда кличет.

Тимофей накинуд легкий опашень, заломил изрядно порывевшую от непогоды шапку, подумал, усмехнувшись: «В брюхе солома, а шапка с заломом», — и отправился к посаднику.

Шел широким, решительным шагом, немного отбрасывая назад и за спину правую руку, вскинув голову.

Вечерело. Между туч проступили розовые полыньи, пролегли чистые желтые разводья. Софийские купола затерялись в синеве, белые стены прочертили желтизну. Волхов был спокоен, и лишь временами легкий восток едва заметно рябил его ширь. Но вот розовые полыньи растеклись по небу, и тогда в синеву реки вплеся розовый отблеск и софийские купола тенью легли на Волхов.

Снова Тимофей на своей Холопней улице! В походе, стояло закрыть глаза, представлял царапины на ее частоколах, резные украшения на крышах, на повороте — дубок в молодой листве. Даже выбоину мостовой, выщербленное бревно, что пора сменить, знал и видел издали, как едва приметную морщинку на лице матери.

Холопья улица! Сколь ног пробежало по тебе, торопясь на вече, сколь раз выгорала ты дотла, чтобы снова отстроиться. В каждой избе здесь своя судьбина, свое счастье и горе — больше горя, чем счастья...

За невысоким забором угловой избы женский голос озорно пропел:

Хоть и плох муженек,
Да затулье мое,
Завалюсь за него —
Не боюсь никого!

— Не бойся! — поощрил мужской молодой голос.

То и дело Тимофею попадались знакомые. И каждый из них, сейчас встречая его, отмечал невольно, что стал Тимофей после похода много взрослее: по-новому, пытливо смотрели темно-серые глаза, яснее прежнего проступали скулы.

— Здоров, Тимоха! — догоняя, хлопнул его по плечу высокий горбоносый гончар Василь. — С возвращением!

— Спасибо, дядя Василь.

— Вроде бы подросток ты еще, Тимоша! — ласково говорил ему минутой позже дед Антон, оттягивая книзу зеленоватый ус.

И по глазам деда видно, что знает тот о гибели отца и жалеет его, Тимофея, и подбадривает взглядом вылинявших от времени глаз.

Тимофею приятно было чувствовать эту приветливость города, чувствовать, что не безразличен он новгородцам. Он то и дело стягивал шапку с головы, отвечая встречным. При этом на большие уши его двумя густыми темными крыльями спадали волосы, и лицо становилось еще более мужественным.

«Зачем я понадобился Незде?» — недоумевал Тимофей. Он много слышал о начитанности, уме посадника, о знании им языков и питал к Незде восторженное уважение, схожее с тайным преклонением перед этим красивым, таким свободным в обращении вельможей. Но сейчас, идя к нему, Тимофей решил ничем не показывать свое отношение, чтобы не подумал тот, будто заискивает, держать себя с достоинством, подобающим победителю при Отепя.

Тимофей решил даже особенно не спешить — забрался возле Кончанского ручья на земляной вал поглядеть на любимый город. По верху широкого вала шли бревенчатые оплоты, а внизу пролегал глубокий ров с водой и врытыми в землю надолбами. За ровом открывалась зеленая равнина, изрезанная речушками Легошней, Трясовцом и Жилотугом.

На заливных лугах, топких пустошах, меж озерков и заводей щедро разбросаны желтые ковры погремка, островки белой ядовитой чемерицы, огненный цветок «боярской спеси».

Серые скворцы веселыми ватагами облепляли дрожащие ивки, налетали на дремучие заросли бузины, перекликались тонкими голосами, словно вели подсчет своих стай перед сном.

Город отсюда казался еще больше. Жались поближе к воде кожемяки, теснились к оврагам гончары, кузнецы у въездных ворот перехватывали коней дляковки. Вверх от причала грузно поднимался бесконечный обоз, объезжал разбросанные на земле желоба — выдолбленные из стволов трубы для сточных вод, кучи камня, извести и кирпича.

Но, пожалуй, пора идти, а то вовсе стемнеет, и Тимофей отправился на Лубяную улицу, к дому посадника.

Дом Незды стоял близ Торга, был украшен резными оконными наличниками, фигурами чудовищ, обнесен дубовым забором, из-за которого виднелись в дальнем конце двора службы для челяди, изба семейных холопов, поварня, конюшня и погреб.

Во дворе рвался с цепи взлохмаченный пес, взвываясь, давился от хриплого лая.

Незда в подбитой соболем атласной телогрейке, наброшенной на расшитую золотом шелковую рубашку, в красных тафтяных штанах и лазоревых сапогах персидского сафьяна с единорогами, вышитыми на голенищах, сидел возле столика со сдвинутыми шахматными фигурами и сосредоточенно подтачивал

длинные ногти пилкой, похожей на петушиный гребень.

Об этом Лаврушкином друге, что придет сейчас, посадник слышал уже не однажды: говорят, прибаутки составлял такие, что облетали весь город. Это он сочинил: «Дали голодной Меланье олады, а она бурчит — испечены неладно».

Незда весело рассмеялся.

— Ловко придумал! Такого стоит приручить.

При входе Тимофея в хоромы боярин не поднял головы, и Тимофею видны были только волосы его, обильно смазанные пахучим маслом.

Тимофей нахмурился.

— Пришел? — мягким, вкрадчивым голосом произнес посадник, и от хмурости Тимофея не осталось и следа. Он доверчиво поглядел на Незду. — Сын сказывал мне — спас ты его, да и от Мстислава слышал тебе похвалы...

Тимофей застенчиво покраснел:

— Я, как все...

— Вот и решил помочь... — Незда спрятал пилочку, ласково посмотрел на юношу: — Пойдем!

Он поднялся и легкой, быстрой походкой пошел впереди Тимофея, ввел его в большую клеть, почти доверху забитую рукописями и книгами. У юноши от волнения захватило дух. Одним взглядом успел он отметить богатства, собранные здесь.

На полках в беспорядке стояли и лежали сочинения Плиния и Геродота, жития святых, своды законов Рима, повесть о Василии Дионисе, поучения Мономаха, хроники и лечебники.

У Незды было единственное в Новгороде такое большое собственное книгохранилище, он тратил на него огромные деньги, гордился им и при случае с удовольствием показывал гостям.

Владыка, зная о книгохранилище, был недоволен тем, что оно принадлежит не собору, но разговор о передаче хотя бы самых ценных рукописей откладывал — Незда только что возвел на Лубяной улице каменную церковь.

...Стоя посреди клетки, посадник тихо и проникновенно говорил застывшему Тимофею:

— Хочу привести сие в порядок... Ты, сказывали мне, грамотен и трудолюбив. Будешь книгохранильцем? Вознаграждением не обижу...

Тимофей прижал руку к бешено заколотившемуся сердцу:

— Не ведаю, как и благодарить...

Незда согнал возникшую было насмешливую улыбку, подумал: «Увы, лицемерие — дань, которую мы платим, добродетели... Знал бы ты, как отец твой, крикун и оскорбитель, отдал богу душу, умерил бы пыл... Это я ловко придумал: город одобрит, что пригрел сироту». А вслух сказал ласково:

— Не для благодарности делаю... Дал зарок себе: и в боль-

шом и в малом — бог и правда! — Он помолчал и закончил живо: — Значит, решили. Завтра и приступай!

Как всегда, Тимофей с новой вестью поспешил к Аврааму. С кем же поделиться радостью, как не со своим учителем, что прошел большую, нелегкую жизнь?

Авраам сам о себе говорил, что у него не однажды были «рога в торгу» и что жизнь без разбора «била его мордой оземь». И впрямь не щадила она его — пережил он и перевидал столько, что на десятерых хватило бы.

Сын молотобойца, ходил в юности Авраам с ватагой на край новгородской земли, но, кроме своих отмороженных ног, ничего оттуда не принес. Раненный в бою под Киевом, был подобран монахом, и, пока отлеживался — раны на груди заживали медленно, — обучал его монах грамоте, латыни и греческому. Позже нанимался весельником¹ на ближних и дальних реках, работал камнетесом и подручным кузнеца. И где бы ни был, тянуло его к людям: понять, чем живут, как мыслят, чего ждут? А сколько чужого горя он подсмотрел — о том мог бы месяцы рассказывать!

Особенно любил Авраам мастеров-умельцев, чьи золотые руки создавали все на земле — от железной скобы до дворцов. Умельцы и обучили его тайнам кузнечного дела. Были в Новгороде кузнецы: замочники, секирники, гвоздочники, скобочники... Авраам же умел теперь делать не только секиры, гвозди, скобы, но и самые тонкие работы: косы, ножи с узорчатыми лезвиями, а в часы отдыха, «для души», мастерил хитрые пружинные замки с медным рисунком.

Ему минуло двадцать пять, когда проклятухая судьба опять швырнула невесть куда: напали норманнские пираты, захватили в плен. Проданный ими в рабство, Авраам работал в кандалах на италийских галерах. Бежал, скитался у греков и немало еще исколесил чужих земель, узнал чужие языки и обычаи, прежде чем удалось ему добраться до родных пределов. Вскоре по возвращении он женился на дочери новгородского плотника Пантелея Пасынкова. Жена через год умерла, оставив ему двойню.

Своими силами поднял он сыновей, но несколько лет назад они погибли в бою с крестоносцами. А тут еще Незда ограбил Авраама: дал ему займы под огромный процент и позже за бесценок скупил его товары. Но ничто не сломило Авраама: он оставался веселым, общительным, умел выпить с друзьями на пирушке-братчине, отдать последнее артели.

Тимофея он полюбил, прирос к нему душой и не удивился, когда тот пришел рассказать о Нездиных заботах. Но отнесся к ним неодобрительно:

— Напрасно лезешь в пасть к сему дьяволу с елейной улыбкой... Милость его и лыка не стоит.

— Мыслью, язычат на него, — стал защищать Тимофей Незду. — Как сына, он меня обласкал.

— «Обласкал!» — будто от боли, закричал Авраам. — В сердце вьется, а в кошель, коварник, лезет! Спрятал душу свою грязную в темный угол! Неужто не понимаешь, несмысленик, что Незды оголили, изничтожи нас, набивают зоб свой, корму не разбирая, сытости не ведая! Для кого хребет ломим? Для кого?!

Видно, давно наболело у Авраама, что так взволновался. Но умирил себя и уже раздумчиво сказал:

— Что ж, может, и станет польза тебе... Только чаще оглядйся... Это люд такой — против бога идут, да у него же и помогу просят...

Подумал: «Не лучше ль Тимохе долгие телком оставаться, вместо черных туч розово небо зрить? — И решил: — Нет, надо ему глаза открыть. Хотя и не для меча он, не для поля брани растет, а есть в нем великость души, не отступится от своего».

Они заговорили о борьбе с суздальцами, об их сторонниках и противниках в Новгороде. Бояре и крупные купцы, опасаясь ущемления своих вольностей, видели в суздальских ставленниках врагов.

Авраам и его друзья надеялись, что суздальский князь улучшит их жизнь, и поддерживали его.

Тимофей горячо возражал:

— Доколе суздальцы будут чинить происки свои мерзкие? Доколе подлый насильник Всеволод будет измываться над нами? Обозы перехватывает! Людей наших лучших во Владимире держит! Честного Олексу убил ни за что!

Авраам, выслушав, спокойно возразил:

— В драке и не обозы перехватишь. Лучших людей держит? А чем они тебе-то лучшие? За что Олексу убили, нам еще не ведомо. Только знаю: с Нездой Олекса в одну дуду играл. И помани мое слово, — он стал говорить резко, непримиримо, — Незда рад бы нас с потрохами продать... землю новгородскую расшвырять... лишь бы ему от того выгода была!

Тимофей даже отшатнулся:

— Черн вы, дядя Авраам, все зрите! Кто же враг своей земле?

Авраам покачал головой, горько усмехнулся:

— Э-эх, сынок, рассуждаешь ты, как чадо малое! Аль не слышал, что козла надобно бояться спереди, коня сзади, а боярина со всех сторон? Разве по своей воле они на вече шапку скидают? Дрожат за шкуру... А нас подстрекают... Я так мыслю, — только ты не шарахайся от слов моих, не разобравшись, — хотя нам от Всеволода тоже не ждать белых калачей, а все ж он за

¹ Гребец.

соединение Руси, за силу ее, за то, чтобы княжеские драки да боярское своеволие кончились. А Незды лишь за свой карман держатся. Ну, да недолго им кровь пить! — Авраам посмотрел на ошеломленного Тимофея долгим, внимательным взглядом, закончил тихо, убежденно: — В народе, как в туче: в грозу все наружу выйдет!

ДРУЖБА С КУЛОТКОЙ

С отрочества любил Тимофей, забравшись в лесную чащу, слушать переклик птиц, шум деревьев или, лежа на поляне, глядеть, как в поднебесье спешат друг за дружкой тучи-странницы, будто знают край, где живется лучше, и боятся не поспеть туда.

А сейчас все это заменил Тимофею мир книг и рукописей. Он вошел в самую гущу его, и обступили Тимофея герои, чужие жизни, и уже не листья деревьев шелестели, а звучали человеческие голоса, и не тучи проносились над ним, а столетия, и открывались новые, невиданные просторы, и не было им конца, не было предела восхождению.

Получив от Авраама первоначальные знания греческого и латинского языков, Тимофей сам довольно быстро научился читать на этих языках, разговаривал на них со знакомыми писцами из мастерской владыки и теперь дни напролет просиживал над мрачной «Хроникой» византийского монаха Георгия Амартола, вновь переживал вместе с Иосифом Флавием историю разорения Иерусалима, восхищался подвигами Александра Македонского...

Его взволновали слова: «Ум без книг, аки птица спешена. Яко ж она взлетети не может, такожде и ум не домыслится совершенна разума без книг».

Он надолго задумался, прочитав в Шестодневе Иоанна:

«В растениях найдешь признаки, похожие на человеческую юность и старость: одни деревья, будучи срезаны, прозябают, а срубленные и обожженные сосны превращались, заметим, в дубы...»

Что хотел внушить этой мыслью Иоанн?

Способность человека к стойкости? Ведь в сказочном вымысле Шестоднева о птице-фениксе, возрождающейся из огня, о льве, что, дунув мертворожденному львенку в ноздри, дает ему жизнь, есть и мудрость.

Во всем этом надо разобраться, отобрать золотые зерна, и тогда засияют чудесные открытия, такие, как слова Иоанна: «В некоторых деревьях естественный порок исправляется заботами садовника...»

Бежали недели и месяцы, и с каждой прочитанной книгой

Тимофей словно бы вырос, становился сильнее, поднимался на какую-то новую ступеньку, с которой яснее было видно и дальнее и ближнее.

Он редко бывал в городе и лишь однажды встретил на улице Ольгу.

Она потупилась, спросила:

— Что ж не приходишь? Отец спрашивал...

Тимофей пробормотал что-то несвязное: не мог же признаться, что боялся ее, боялся чувства своего, хотел приглушить его временем и разлукой, да плохо ему это удавалось.

...Свободные часы проводил Тимофей чаще всего с Кулоткой, и они очень сдружились.

Правда, у Кулотки была еще своя уличная ватага, верные дружки Васька Черт, Игнат Лихой, Потап Баран, близнецы Прокша и Павша, у которых лица одинаково обрызганы веснушками, — сказывали: потому, что разорили они когда-то ласточкино гнездо.

Но больше, чем ко всем, привязался Кулотка к Тимофею, ходил за ним добровольным охранителем, любил слушать его рассказы и в такие часы становился покорным и тихим.

При всей бесшабашности Кулотки душа у него была незлобивая, открытая. Охотник пображничать, выпить стоялого меда, покурлесить, Кулотка умел, как никто другой, проявить широту новгородской натуры, умел не только ломать ребра, но и самоотверженно защищать квелых.

Была у Кулотки одна смешная слабость: невзирая на бедность свою, щеголял кушаками. Каких у него их только не набралось! Белые и червчатые, вишневые и сизые, дымчатые и сливные... Надевая новый кушак, он говорил иной раз, усмехаясь:

— Рожей подгулял, так кушаком возьму...

Кулотка охотно принимал участие в воинских играх, когда метали копьё в круг на земле, стреляли из лука в войлочные цели, скакали верхом на коне. Но особенно любил он «игрушки» — кулачные бои на масленицу. В драках этих «сам на сам» и «один на стену» был Кулотка непобедим, лучше всех умел давать подрывник, сваливающий с ног. Лишь однажды кто-то распустил ему нос, заложив железную бабку в руку. После этого случая он навсегда остался широконосым и, посмеиваясь, говорил:

— Боле мне никакой кулак не страшен — нанюхался...

Тимофей, выйдя со двора Незды, зашагал Славной улицей к берегу. Плыли по реке багряные листья, оделась в желто-лазоре-вый убор иван-да-марья, суматошились белошекие, в черных

шапочках, лесные гаечки, из осиновых зарослей доносился издали приглушенный рев лосей.

Высокое новгородское небо, как и Волхов, непрестанно меняло свой лик — то проплывали в нем легкие облака в ласковых завитках, то беспощадной стеной вырастали зловещие, черные тучи. Сейчас оно было задумчиво-спокойно, и в его серо-голубизне бесечно плескались стрижи. По реке впереди ладьи белой цепочкой плыли утицы; казалось, вели за собой ладью против течения.

У пристани, протянувшейся бесчисленными причалами, стояли, набирая силы, корабли: готовились отплыть в Готланд и Любек, и ветерок лениво полоскал серые утомленно приспущенные ветрила. Возвышались высокими бортами насады, груженные новгородскими цитами и кольчугами; гнали по реке связки плотов с кусками олова и меди.

Кричала птица, ревел скот, пахло смолой и речной водой.

От обилия товаров — меда и воска черемисских лесов, тюленьего сала с Белого моря, арабских и персидских шелков, греческих орехов, — от мелькания рысых и волчьих колпаков, разноцветных повязок, тюрбанов, суконных шапок пестрило в глазах.

Слышалась речь купцов из Андалузии и Румии¹, Александрии и Венеции. Казалось, со всего света пожаловали гости в Великий Новгород!

На песчаном отлогом берегу, меж разбросанных сетей, весел, чанов с водой, наполненных живой рыбой, лежали оборванные лодочники и весельные наймиты.

Голые новгородские мальчишки руками ловили прозрачных снетков, выбегая из воды, кувыркались на песке. Грузчики, пригибаясь под тяжестью тюков с красным сукном, таскали их по сходням к подводам, скатывали на берег бочки с засоленным налимом.

За пристанью, ближе к Плотницкому концу, учанники строили плоскодонные суда.

Тимофей был еще весь во власти радости, пережитой от увиденных в «Изборнике» рисунков.

«Вот бы, — думал он, — заглавными буквами сказку переписать... «М» нарисовать — вроде бы два молодца в кафтанах рыбу сетями ловят; «К» — воином с копьем и щитом...»

Тяжелая рука осторожно легла на плечо Тимофея. Он очнулся. Перед ним стоял, широко улыбаясь, Кулотка. На нем красная холщовая рубаха, низко перехваченная дымчатым кушаком, старательно заплатаемые порты вправлены в сапоги.

— Эх, наука тя куда мотанула! — добродушно произнес

Кулотка, ласково глядя на друга. — Пошли ко мне, посидим! — И, тряхнув плечами, добавил с сожалением: — Хорош день, да некого бить!

— Тебе б только бить! Когда остепенишься? — пожурил Тимофей.

— Когда плешивые перекудрявятся! — захохотал Кулотка.

Они стали пробираться по Торгу. Со стороны Волхова доносился задорный перестук топоров — то артель плотников чинила старый Великий мост в пятьсот шагов длины.

Теснились друг к другу лавки суконного, мыльного, пушного, серебряного рядов. Торг шумел разноголосом.

— Ягодка-клюква! Ягодка крупна! Девки собирали, с кочки на кочку скакали! — надрывалась бойкая женка с корзиной в руках.

— Постричь, поголить, ус поправить, молодцом поставить! — весело зазывал к себе круглый усатый новгородец, звеня ножницами.

— Эй, дружки, нагревай брюшки, по-дой-ди! — нараспев выкликал возле кружала продавец стоялого меда, сладко жмуря сытые глазки.

В конце Великого ряда, там, где он упирался в мост через Волхов, сидел на земле писец в рваной рубахе, на кусках бересты писал грамоты, кому надобно.

Откуда-то, со стороны лотков хлебников, что здесь же, на берегу, разложили на столах пироги с сигом и сыртью, доносились звуки медного рога, бубен и громкое пение.

Человек двадцать скоморохов-потешников, окруженных толпой хохочущих звак, шли в широко, медленно передвигавшемся вместе с ними кругу вдоль берега к городу.

Один из скоморохов тащил на голове доску с дерущимися куклами. Другой, маленький, щуплый, с носом, о каком рекут, что он «не тем концом пришит», вез на себе здорового детину и кричал козлом. Третий, в кожаной маске, дул в рог, плясал и показывал выучку собаки: она кувыркалась через голову.

Щупленький скоморох, сбросив с себя верзилу так, что тот покатился по земле, стал ловко играть на деревянных ложках, припевая:

У меня все богатство —
Кошка дойная
Да овин киселя,
Крыт сосновой корой...
Всем повинку даю:
По кунце посадничку,
По лисице тысяцкому,
А бирючу бедному
Белу горностаечку!

¹ Рим.

Народ, довольный представлением, бросал монеты, плясал, вместе со скоморохами двигался к городу.

Но яснее всего в шуме новгородского Торга проступал голос железа — самый сильный голос города.

Тимофей прислушался к нему: железо гирями падало на весы, пело пружинами хитрых замков, откликалось подковным цокотом, глухо ворчалось в грудях кольчуг и шеломов, скрежетало напильниками и зубилами, нежно звенело и рокотало, как весенний гром.

Ух, силен, славен Господин Великий Новгород!

Они проходили посредине Торга, и Кулотка мимоходом успевал дать кому-то подножку, выпить, не платя, жбан браги, задрать кафтан молодому боярину. Шел, лихо сдвинув шапку на ухо, развернув плечи, озорно поблескивая глазами, то и дело смачно сплевывая.

— Побережись, квашня, не то черепок до мозга пробью! — зычно предупреждал он, сбивая колпак с зазевавшегося толстяка, и тут же советовал ему через плечо: — Плешь зачеши! Загляделся, как гусь на зарево!

Возле ряда с пирогами молодая полная женка с такими маленькими подбородком и лбом, что лицо казалось приплюснутым, бросила сердито вдогонку Кулотке:

— Шатается, непутевый!

Кулотка замедлил шаг, лениво повернул назад, остановившись напротив женки, стал разглядывать ее с удивлением, словно забавную козявку.

Потом, кивнув в ее сторону, сказал Тимофею с наигранным восхищением:

— Красава! В окно глянет — конь прынет, на двор выйдет — собаки три дня брешут.

Женка, свирепо сверкнув глазами, уперлась кулаками в пышные бока, приготовилась принять бой, но Тимофей решительно потащил друга за рукав.

— Ну к чему те, задиришка, глумление такое? — говорил он, когда воинственная женка уже осталась позади. — Почто срамословишь?

— Скучно! — с каким-то необычным надрывом вдруг признался Кулотка и остановился: — Душа мятется!

Тимофей внимательно посмотрел на друга. Скрывая лукавую улыбку, сказал:

— Вспамятовал я: в Чевском государстве, близ града Праги, один злोकлянувшийся, любитель срамные слова кидать, обращен судом божьим во пса черного, мохнатого... лишь голова чело-вечья осталась.

Кулотка усмехнулся, почесал кудлатый затылок:

— Схоже — и голова у меня собачья станет!..

Они подходили к Кулоткиной избе, стоявшей в конце Рога-тицы — извилистой улицы над неглубоким обрывом. Тимофей рад был, что отвлек друга от мрачных мыслей, хотел сказать что-нибудь утешительное, душевное, но, не найдя нужных слов, вдруг предложил, легонько толкнув Кулотку в бок:

— Давай, кто кого перетянет?

Кулотка ухмыльнулся:

— Спробуй!

Они стали боком, сцепившись правыми руками, силились стянуть один другого с места.

Кулотка пыхтел. Оказывается, этого Тимошку Тонкие Ножки не так-то легко сдвинуть. Тимофей увертывался, делал обманные движения и наконец неожиданно резким выпадом сдвинул Кулотку, а сам остался на месте.

— Удалось картавому крикнуть! — недовольно пробурчал Кулотка.

Тимофей рассмеялся, шлепнул друга по спине:

— Это тебе не кулаком ширять! — и прокукарекал победно кочетом, вытягивая тонкую крепкую шею.

...Они сидели на высоком крыльце избы. Из-за покосившегося забора выглядывали темные, покрытые омшавельми жердями, крыши соседских изб, словно спускавшихся по склону к реке. Возле забора стояла бочка с водой, на случай пожара.

— Скучно! — опять сказал Кулотка, с ненавистью поглядев и на эту бочку, и на забор, и на рябую курицу, проковылявшую с перебитой лапой. — Нет простора мне... Тянет в дальние страны.

Не однажды в последнее время мерещились ему опасные края, богатые бобром и куницей, нехоженные охотничьи тропы. Во снах видел, как пробирается с ватагой ушкуйников¹ за Онегу, минуя мишистые болота и ледяные озера. Ждали его в полуночной стране у Моря Сумрака² соболя и горностаи. Только добраться до них — и привезет домой богатую добычу и женится на крохотке своей Настасье, освободится от вечно полуголодной жизни.

А тут стал Незда собирать дружину ушкуйников — идти на Югру³, выкатил на улицу возле своего дома бочки с брагой, начал в долг продавать шеломы и мечи, снарядил ладьи. «Привезете мехá, — говорил он, — долг вернете, за подмогу каждую третью шкуру мне отдадите, остальное куплю, не скупясь».

Кулотка с помощью Авраама сделал себе меч, набил зипун железками, продал нагрудную гривенку и на вырученные деньги

¹ Участники похода на лодках-ушкуях.

² Ледовитый океан.

³ Северо-восточные владения Новгорода.

купил лук со стрелами. Отец подарил Кулотке свой деревянный, окованный железом щит, хранивший метины еще половецких стрел. Мать поплакала было, да потом смирилась — все едино не удержишь. Надев на себя доспехи, Кулотка предстал перед Нездой. Тот оглядел его прищуренными глазами, усмехнулся:

— Слыхал, битливый¹ ты! Нам такие молодцы надобны! — Про себя подумал: «Уедут — в городе спокойней станет».

Сейчас, рассказав другу обо всех своих приготовлениях, Кулотка нетерпеливо ждал, что ответит тот, и виновато добавил:

— Застоялся я... Размяться б, силу попробовать.

Тимофей добро посмотрел на друга. Лицо его было обветрено, загорело, и только у верхней губы, в самом уголке, белело пятнышко — можно было подумать: прилип в этом месте листок, и солнце не проникло через него. И полные губы, и это пятнышко придавали его лицу выражение детской наивности, которое никак не вязалось с богатырской фигурой.

— Только не лезь на рожон, — попросил Тимофей и неожиданно мечтательно добавил: — Вот бы и тех людей, дальних, грамоте обучить!

— Да тебе-то от этого что? — удивился Кулотка.

— Ты не обижайся. — Тимофей одной рукой притянул его к себе. — Мыслью: неграмотный, что незрячий, — глядит, а не видит...

Догорал вечер; казалось, красное небо нещадно сек синий ливень. В чуть подернутом рябью синевато-розовом Волхове спокойно отражались стены Детинца, купола собора...

«Тиха вода, да от нее потоп живет», — вспомнил Тимофей слова Авраама, что произнес тот недавно с угрозой в голосе, видя, как по улице боярские стражники вели должников. Тимофей еще подумал тогда: «Какой потоп?», но вопроса задавать не стал.

А сейчас вдруг понял, о чем говорил учитель, и сердце тревожно сжалось.

В МИРЕ КНИГ И РУКОПИСЕЙ

Перелистывая рукописи нежинской библиотеки, Тимофей подолгу задерживался на тех из них, что были изукрашены причудливым плетением фигурок зверей и птиц... Звери стояли на задних лапах, лизали свои спины, птицы шествовали, воинственно распушив хвосты. Писец Митька, рисовавший когда-то

их, видно, до того сам залюбовался своей заставкой, что не выдержал и сбоку приписал: «А любя заставица!» Тимофей скупо улыбнулся этой похвальбе мастера: и впрямь любя!

Но особенную радость принесла ему книга в драгоценном окладе с эмальями.

Уже несколько часов сидел Тимофей над ней, и сердце его замирало от светлой зависти: «Ведь вот сумели сотворить такую красу... Эх, мне бы подобное свершить, и тогда знал бы — не даром жил, принес людям радость, какую сейчас испытываю сам... Да, есть на свете вечная, как небо, как звезда, как земля, пробуждающаяся весной краса. И смотрит ли на нее богач Незда или бедняк Кулотка, все едино заставляет она сильнее биться сердце. Вот и надо множить эту вечную, как былины, красу...»

В соседней гридне прохаживался по деревянному настилу Незда в желтой поддевке с ожерельем, холил ногти, любовно оглядывал перстни, нанизанные на тонкие пальцы.

Камни играли, переливались чуждым светом, и трудно было отвести от них глаза. На изумруде вырезан всадник на коне; в черной финифти плавал яхонт червчат, а на нем — пес борзой; в середине другого — гиацинта — человек льву пасть раздирает. Епифаний Кипрский писал о сем камне: «Гасит огонь и помогает женщинам при родах». «Бред! Кровь и пот в себя вобрали, в том и цена их!» — Незда снова любовно поглядел на камни, подошел к двери, заглянул в клеть.

Тимофей, сгорбившись, сидел над пергаментом.

«Его не корми, только рукопись дай...» — довольно усмехнулся Незда. Что греха таить, любил умных людей, слабость питал к ним.

«Откуда жадность такая до знаний у сына сапожника? — продолжал размышлять посадник. — Не то что мой умоокраденный. Из Тимофея толк немалый выйдет... Давал ему переделять грамоты — пишет кратко и по-своему. Ты, Незда, неплохо разбираешься в людях. Из этого книголюба можно извлечь пользу». Его заняла новая мысль: «А почему бы Тимофею не составить жизнеописание посадника Незды? Ну, может, не сейчас, а со временем, когда уменья наберется».

Он даже улыбнулся этой неожиданной мысли — так она ему понравилась. «А впрямь! Власть моя равна власти римского консула либо италийского князя; если у них это водилось, почему бы не быть у нас? Посадник Великого Новгорода! Града, где еще при Ярославе находили пристанище лишенные престола король норвегов Олаф, чады сакского короля Эдмунда Железный Бок, угрский принц Андрей с братом своим Левентою... А пока, — он насмешливо прищурился, — новоявленного Плутарха надо приручать и подкармливать...»

¹ Драчливый.

...«Как постичь тайну красок?» — думал Тимофей, рассматривая заставки и концовки.

Заглавные буквы нарисованы были киноварью, желтой и черной красками. Поднимали клювастые головы грифоны, звали в сказочную даль полуптицы-полульвы, загадочные крылатые серны и кентавры.

И вдруг родилась мысль: «Сделаю подарок Ольге — нарисую для нее свою заставку и отнесу».

Его даже в жар бросило. Захотелось сейчас же, немедленно приступить к делу, но в слюдяное оконце уже заглядывали сумерки. Надо было достать краски, и он решил, что подарок начнет готовить завтра.

Ночь он спал беспокойно. Все представлял, как необычно нарисует, как обрадуется подарку Ольга, благодарно поглядит на него, Тимофея.

Об Ольге думал с каждым днем все больше. Что с того, что не видел ее! От этого она была еще желанней. Он вел с ней долгие разговоры, он советовался с ней, придумывал ласковые имена и не мог бы теперь представить свою жизнь без нее, без этого ощущения, что она где-то рядом, за несколькими поворотами улиц, ходит по тем же мостовым, что и он, дышит одним воздухом с ним.

Среди многих иных талантов есть, верно, и талант любить. Любить нежно, преданно, глубоко и красиво. Любить, не выдавливая из себя чувство, не загрязняя его, а так, как светит солнце, как бьется сердце. И талант этот вовсе не в умении произносить красивые слова, а в целомудренном, внешне, может быть, даже скупом проявлении чувства, безграничной преданности ему.

Тимофей после возвращения из похода был у Мячиных. Отец Ольги теперь отнесся к нему совсем по-иному: расспрашивал о походе, о службе у Незды и поглядывал на Тимофея задумчиво, будто примеряясь и боясь в чем-то ошибиться.

Два месяца рисовал Тимофей заставку, вкладывая в работу всю свою любовь к Ольге, весь пыл горячей, доверчивой души.

Он придумал ввести в плетенку букв девичьи лики — такого нигде не видел — и придал им Ольгино выражение. Он, как великого праздника, ждал вечера, когда отнесет ей свой дар, и этот вечер наконец наступил.

Тимофей застал сестер Мячиных в большой клетке за игрой в «первенчик».

Они, все пятеро, сидели на полу, в кружок. Каждая положила на колено старшей сестре Машке по два пальца. Машка, о которой соседские парни говорили, что у нее «один глаз на полицу, а другой в солоницу», частила скороговоркой:

— Первенчики, друженчики, тринцы, влынцы, поповы ладынцы, цыкень, выкень!

Произнося каждое из этих слов, Машка указывала то на один, то на другой из протянутых пальцев, и если со словом «выкень» палец не успевали спрятать, то начинала скороговорку заезавшаяся.

Игра им, видно, изрядно уже прискучила, и, когда на пороге появился Тимофей, сестры обрадовались возможности потормозить застенчивого гостя. Они вскочили с пола — были сестры все, кроме Ольги, на один лик: безбровы да тощи, — окружили Тимофея.

— Вот ладно, что пришел!

— Будешь с нами в слепого козла?

Отец Мячиных, до сей поры молчаливо что-то тесавший в углу, недовольно прикрикнул:

— Ну что напали?!

Но Ольга уже тащила кусок холста, завязывала им глаза Тимофею, выпроваживала его за дверь.

И как Тимофею ни тошно было сейчас играть в этого слепого козла, он покорно подчинился и застучал в дверь.

— Кто здесь? — спросила Машка, приставив палец к сухоньким, тонким губам и строго озираясь на сестер.

— Слепой козел, — послышалось из-за двери.

Не ходи к нам ногой!
Поди в кут,
Где холсты ткнут,
Там тебе холстик дадут! —

отвечала Машка.

Тимофей, как того требовала игра, недовольно забил ногой о дверь, вошел. Машка изо всей силы хлопнула его по спине, и девицы кинулись врассыпную, чтобы он их искал...

Но Тимофей сегодня скучно играл: так неохотно передвигался, так плохо старался поймать кого-нибудь, что сестры, обиженные, стянули с его глаз повязку и не стали задерживать, когда он, шепнув Ольге: «Я те что-то поведаю», пошел с ней в соседнюю клетку.

Там Ольга села на лавку, щелкая орешки, выжидательно поглядывала на Тимофея. Уж больно таинственным был его вид.

Чувствуя какую-то неловкость и желая прогнать ее, Ольга шаловливо предложила:

— А ну, реки часто: клюй крупки около ступки, клюй крупки около ступки!

Но Тимофей словно бы и не слышал ее. Он с трудом разжал сразу пересохшие губы, тихо произнес:

— Я те подарок принес...

Ольга вынула орешек изо рта, придвинулась ближе.

— Вот придумал! — сказала она с любопытством и нетерпением.

— Сам сделал! — Он осторожно достал из-за пазухи пергаментный лист и, трепеща, протянул его Ольге.

В соседней клетки Ольгины сестры зажужжали веретепами. Машка сидела насупившись. Правду сказать, обидно ей было, что жених появился у самой младшей. Как она, Машка, только ни гадала, ни привораживала к себе женихов! И сученую нитку в воду бросала: свернется — худая участь; и колья в плетие считала: если чет — быть замужем; и башмаки пеплом посыпала, а на ночь гребень под голову клала, волосы смачивала водой, что настоялась на чародейской траве, чтобы дьявол не сунулся вместо суженого сокола.

А женихов почему-то не было! Может, потому, что приданого кот наплакал, да и собой не ахти какая? Хотя бывают и хуже — вон какие уродины выходят. Только бы не дожидаться вдовца старого.

И Машка грустно запела:

Уж как быть девке за старым мужем,
У стар мужа собачья душа,
Кошачьи глаза, совины брови.
Погубит стар муж красну девицу.

Отец напряженно прислушался к тихому журчанию голосов Ольги и Тимофея. Сделав губами такое движение, словно прополоскал рот, недовольно прикрикнул на Машку:

— Да замолчи ты! Только и думки что об женихах! — И снова прислушался.

Ольга приняла странный подарок из рук Тимофея, и тень разочарования пробежала по ее красивому лицу. «Вот всегда он такой, не как все... Надумал, что дарить... Лучше бы какие ни на есть сережки принес!» — Она мельком взглянула на яркий лоскуток, снова свернула его и, небрежно сунув за божницу, зацелкала орешками.

«Ничего, — успокаивал себя Тимофей, — позже разглядит».

Он пробыл у Мячиных недолго, а когда ушел, унося непонятную тяжесть на сердце, Ольга, надувшись, села к окну.

«Когда любят, разве ж такие подарки делают? — думала она сердито. — Вон Кулотка подойдет к саду Настьки, засвистит в три пальца, аж в ушах звон, — и бежит она к нему стремглав... А он из-за пазухи достанет безделицу... так, ни за что, от щедрости... А сейчас уехал с ушкунниками в Югру. Теперь иль с соболями жди, иль голову сломит. Неужто Настька ждать его станет? — Ольга сморщила высокий белоснежный лоб, ожесточенно решила: — Будет ждать, дура!»

Ей вдруг стало тоскливо, жаль себя.

«Где судьба моя бродит? — пригорюнившись, думала она. — Нездлин Лаврентий вяжется. Уродина, да зато богат... Вышла б за него — девки от зависти лопнули!»

Она снова возвратилась мыслью к Тимофею. К нему относилась и насмешливо тощий да некрасивый какой, — и с невольным уважением, даже чувствовала страх перед его необычностью.

«Чудно! Картинку принес... Ну к чему она? — Покосилась на уголок пергамента, выглядывающий из-за божницы. Но встать не захотела. — И глядит своими глазницами с синими кругами... Сестры смеются, спрашивают: «Тебе с ним не страшно, когда одни остаетесь? Строгий он у тебя». Да уж не из веселых».

Она вздохнула и пошла к сестрам.

СВАДЬБА

Праздновали новое лето. После молебна в Софийском соборе владыка обтер мокрой губкой икону, омыл руки и погрузил в воду крест. Запели тропарь¹, и крестный ход двинулся от собора по улице.

В поднебесье мчались взбитые облака. Отрываясь от них, таяли прозрачные белые клубки.

«Завтра будет ведро», — глядя на маленькие тающие клубки, подумал Тимофей. Он решил возвратиться в собор.

Тимофей любил его не в часы многолюдья, а вот таким, как сейчас: тихим и молчаливым, словно к чему-то прислушивающимся. Каждый раз открывал он здесь для себя что-то новое: то дивную линию арок, то нежный узор деревянной резьбы или каменного ковра. Эти открытия наполняли душу светлой радостью. В такие минуты он чувствовал в себе прежде неведомые ему силы, будто суждено свершить ему что-то большое, важное. Так, верно, в молодом деревце бродят живительные соки, нетерпеливо ожидая весеннего расцвета.

С трудом приоткрыв кованую дверь, Тимофей проскользнул на широкую каменную лестницу, что, извиваясь, вела на хоры. Здесь, поближе к нему, обычно молились именные.

На стене возле колонны чья-то нетвердая рука нацарапала: «Се Степан псал». Миновав ризницы и не ведая, что неподалеку глубокий тайник, где хранится городская казна, Тимофей остановился у края хоров и стал вглядываться в росписи под куполом. Совсем молодой пророк Даниил, с серьезным, задумчивым лицом, поднял коричневую длань, словно говоря: «Не торопи-

¹ Церковная песнь.

тись, вдумайтесь». Убеждая, приложил руку к сердцу худой Соломон.

Послышались чьи-то шаги, и Тимофей поспешно спустился вниз. Утомленно мерцали свечи. Нежные краски притвора влекли, как откровение. Тимофей подошел ближе к росписи. Печально смотрела на него своими огромными глазами Елена Мартирьевской паперти. Над головой ее русский мастер сделал надпись: «Олёна». О чем думала эта Олёна? Чем-то напоминала она Тимофею его мать, раньше срока умершую от непосильной работы. Может быть, печалью в глазах, когда лежала тихая и покорная, прощаясь со светом и угасая?

Тимофей вышел на улицу.

Солнце пронизало вспенившиеся облака, и лик города просветлел, и засеребрились стены собора. Но северная сдержанность природы чувствовалась и в неяркой зелени садов, и в порывах ветра, что временами приносил издалека дыхание Студеного моря. Тимофей глубоко, всей грудью вдохнул воздух. Эх, до чего на свете люблю! Любо вдыхать этот ветерок луговых просторов и дальних морей, слушать вкрадчивый плеск волховской волны, подставлять лицо скупому, то и дело прячущемуся солнцу и ждать от каждого дня, от каждой былинки чуда!

И, как это все чаще бывало теперь с ним, Тимофей внутренне снова ощутил приближение какой-то далекой светлой радости. Он не мог бы сказать точно, чего ждет, во что верит, но всем существом своим чуял: грядет тот желанный век, что принесет с собой великие свершения!

Мысли были неясны, клубились, как утренний туман над Волховом, но сердцем знал — вот так же, как сейчас, из-за туч брызнет лучами щедрое солнце, согревая озябший, истосковавшийся по свету мир.

На Легощинской улице Тимофей встретил Авраама. Кузнец обрадовался, стал шутить:

— Аль зазнался, сынок, не заходишь?

— Что вы, дядя Авраам! Недосуг... — И вдруг выпалил: — Оженимся собираюсь! На Ольге Мячиной...

— Да ну?... — Авраам неодобрительно крикнул. — Неужто Мячин снизошел, не брюзжит боле, как худая муха в осень? Хотя, когда пять дочерей... — Он усмехнулся, в глазах его промелькнула живая, умная хитринка. — Вола в гости зовут не медить, а воду возить...

Тимофей насупился.

— Ну, лишнее болтаю, — посерьезнел Авраам. — Счастья тебе...

— Вы, дядя Авраам, посаженным отцом будете? — тихо, просительно произнес Тимофей.

Старый кузнец успокоил его:

— Кому ж боле? Ясно, буду!

Только сейчас заметил Тимофей, что его учитель за последнее время очень осунулся, похудел.

— Не болеете часом, дядя Авраам? — обеспокоенно спросил он.

Кузнец насупился:

— Здоров, да одни чирьи зарабатываю, квас кишки переел.

И впрямь, почти все, что он зарабатывал, приходилось опять отдавать за долги Незде. А тут еще сестра заболела, племянник руку повредил, таская бревна, у всех одежда издырилась.

Они расстались. И Авраам, продолжая путь, огорченно думал: «Ну какая она ему опора. Пышнотела, а недума. Все смешки ни с чего да смешки... Что нашел в ней? А может, так и должно быть: серьезность устает и вот к такой тянется? — Ольгу знал с детства, видел, как росла, превращаясь из малолетки в невесту. Была в ней кошачья, вкрадчивая гибкость, раздражавшая его, старика, и вся она — с маленькими, хищными зубами, вызывающей походкой — была, как он определил, «игрющая, гордая на бабы семьдесят две увертки на день». Авраам пошевелил густыми бровями, то собирая их на переносице, то распрямляя. — Ну, да не мне быть судьей и отговорщиком. — Усмехнулся, вспомнив, как в молодости сам говорил о полюбившем сердце: «Без огня горит, без ран болит...» Да... младость резвости полна, и не нам, старикам, судить, кого надобно любить, а кого нет. С нашей меркой ввек не полюбишь...»

Когда Тимофей в первый раз заслал сватов, ему отказали.

— Молода, пусть вольной погуляет, — сказал отец Ольги, значительно поджимая губы.

Во второй раз, через полгода, приняли сватов приветливо и назначили сговорный день.

Авраам с Тимофеем пришли под вечер. Мячины посадили их в горнице на почетном месте, в переднем углу. Некоторое время все молчали, только было слышно, как во дворе суматошились куры.

Начал разговор Авраам.

— Мы для доброго дела пожаловали... — сказал он с достоинством и оперся ладонями о свои широко расставленные колени. — У вас есть березка, у нас — дуб, давайте вместе гнуть!

— Рады приезду, — степенно ответил Мячин, поглаживая плешивую голову, а Ольга, вспыхнув, выпорхнула из горницы. — Это верно, березка у нас отменная! — Он стал расхваливать дочку.

Кузнец, терпеливо слушая, думал незло о Мячине: «Худое колесо всегда больше скрипит».

Уговаривались они обстоятельно, не спеша, мучая молчаливого Тимофея этими уговорами, и наконец, сели составлять рядную запись.

«В зимний мясоед, — выводил Авраам, — возьму я, Тимофей, себе в жены Ольгу... Так? Родственники выдают за нее приданое: лавку, стол, платье... А за попятное...»

«Да кончайте же, какое там попятное! — молча переживал Тимофей. — Не надобно мне и приданого вашего, все сам зарабатую».

«Мужу не бить жены своей», — хитро улыбаясь в бороду, писал Авраам.

Тимофей подивился: «Бить? На руках носить буду!»

Он вспомнил почему-то, как весной спрашивал Ольгу, когда они ходили по-над рекой:

— Что ты боле ценишь — силу аль ласковость?

— Ведомо, силу, — не задумываясь, откликнулась Ольга.

Его лишь мимоходом задел такой ответ, но он тотчас решил: «Значит, стану сильным!»

Вскоре Тимофей сжег на Ольгиной прялке куделю — мол, пора тебе расставаться с девичеством. Назначен был день свадьбы. Она прошла для Тимофея в сладком чаду.

Зажглись на пиру свадебные свечи; тощая, как жердь, сваха, загорюдив Ольгу от жениха, сняла с ее головы венок и, обмакнув гребень в мед, расчесала ей волосы, скрутила их и спрятала под покрывало.

Тимофею поднесли деревянную чашу с брагой. Он испил ее и, бросив чашу под ноги, стал вместе с Ольгой топтать.

— Так потопчем... всех, кто замыслит сеять меж нами раздор... нелюбовь, — в один голос приговаривали они, старательно вдавливая в пол обломки чаши.

Пьяненький Лаврентий надел на себя тулуп шерстью вверх; подойдя к Ольге, скривил влажный рот:

— Так что... пусть детей, сколь шерстинок будет... — и засмеялся нехорошо.

Ольга, взяв в руку чарку, постаралась чокнуться с женихом посильнее, чтобы из ее чарки брага выплеснулась в Тимофееву.

Лаврентий захохотал:

— Быть ему под пятой у женки!

Тогда встал из-за стола Мячин, принес плетъ и, легонько ударив ею дочь по спине, спросил:

— Узнаешь... того... отцовскую власть? Да... — Это «да» он любил повторять словно бы для себя, раздумчиво. Он пытался придать строгость своим маленьким, белесым, как у вареного судака, глазам, но они только жалко помигивали. — Отныне... того... власть переходит в мужнины руки. Да... Ослушаешься — он тебя научит этим витнем... Да...

Мячин передал плетъ жениху.

Тимофей неловко заткнул ее за пояс; мучительно краснея, сказал:

— Мыслью, не станет нужды... — Подумал с нежностью: «Будем жить дружно, как зерна в одном колосе».

Лицо его словно светилось изнутри, и Ольга подивилась: «Как на образах». Она только сейчас разглядела чистый, просторный лоб Тимофея, тонкую, крепкую шею.

Дородная тетка Ольги, сидя рядом с Тимофеем, все роняла слезы:

— Ты, Тимоша, не обижай наше дитятко малое, перазумное... — и умилительно поглядывала на пучок калины с алой лентой, заткнутый в кувшин возле жениха и невесты.

Потом все стало еще смутнее и чаднее, и Тимофею казалось, что это сон, и он боялся проснуться и смотрел на Ольгу восторженными, удивленными глазами, будто тоже видел ее впервые. Он опьянел не от выпитого, а от любви, счастья и сидел за столом нескладный, скованный, только блаженно улыбаясь: «Эх, нету братеника Кулотки! Где-то он сейчас?.. Скорее камень начнет плавать, а хмель тонуть, чем порушится наша дружба крепкодушная».

Тимофей нашел глазами Кулоткину Настеньку. Крохотная, притихшая, она сидела в ряду подружек Ольги, улыбалась Тимофею милой, застенчивой улыбкой, словно ожидая терпеливо своего счастья. Маленькие точеные ее руки, русая головка, которую склонила она к своему плечу, — вся она показалась Тимофею такой родной, близкой, что он тоже ответил улыбкой, говоря ей: «Ничего, ничего, потерпи. Скоро вернется наш Кулотка».

Играли в бубны потешники, плясали и пели гости, вся «природа» невесты: сестры, дядьки и тетки. Только Машка хмурилась, не пела, лишь рот раскрывала, будто поет.

Поздно ночью разгоряченная Ольга выскочила на крыльцо, остановилась у перил. За Ольгой тенью скользнул Лаврентий.

— Завидки берут на Тимофея, — вплотную подойдя к ней, сказал он тихо.

— Сам плохо старался, — метнула на него из-под платка лукавый взгляд Ольга и отодвинулась.

Он приблизил к ней лицо:

— Еще постараюсь... — голос сразу охрип.

В это время на крыльцо вышел Тимофей. Морозный воздух приятно опохнул его.

Высоко в небе стояла луна, и синевато искрился снег на пустынной улице. На дальних перекрестках, возле сторожек и решеток, перегородивших на ночь улицы, ярко горели костры...

Приглушенные дверью, доносились крики гуляющих на свадьбе, их нестройное пение.

Тимофеем подошел к перилам, обнял одной рукой Лаврентия, другой Ольгу; привлекая их к себе, счастливо и растроганно сказал:

— Милые вы мои, други на всю жизнь... Эх, Кулотки нет!

Призывно мерцало созвездие Гончих Псов, стыдливо рдели три звездочки Девичьих Зорь, а Млечный Путь, казалось, вел в дальние земли, к Кулотке...

СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ

Отшумела свадьба, и жизнь молодоженов потекла спокойным руслом. Поселились они в избе Тимофея на краю Холопней улицы. Тимофей прирабатывал и сапожничаньем, и тем, что изготовлял азбуки для продажи на Торгу.

На продолговатых дощечках процарапывал он все буквы алфавита, а внизу оставлял свободное место — натирать воском и списывать те буквы. К удивлению и радости Ольги, азбуки распродавались легко. Что касается обещаний Незды, то он, увидя бескорыстие Тимофея, сначала платил жалование от случая к случаю, каждый раз делая это как одолжение, как подарок «ни за что», но потом стал все же щедрее.

Он все более убеждался, что Тимофеем не только умен, но, и это было еще важнее, наделен природой необычными способностями.

Следует только прочнее привязать его к себе неприметно и тонко.

Да в сем Незде советчики не надобны, и умения не занимать.

Увлеченный работой, Тимофей не замечал, что в городе простой люд стал относиться к нему холодней, настороженнее, словно бы присматриваясь и не зная, чего можно ожидать от него.

Кое-кто начал заискивать перед Тимофеем, кое-кто хмуриться при встрече, а Игнат Лихой однажды, по простоте, брякнул:

— Как на нездовских-то хлебах? Стараешься?

Тимофей не обиделся, ответил спокойно:

— А чо же? И ты, чай, на моем месте старался б.

Сам же подумал: «Не краду, зла не умышляю... Что я Незде? А он приветлив. Вон недавно пергамент подарил, мешок зерна дал. Как это не ценить? Если дале так пойдет, и обучусь многому, и с Ольгой заживем неплохо... А свалки да драки к чему мне?»

Тимофей восхищался хозяйственностью Ольги, ее умением внести в дом уют и чистоту.

Она была редкостной домодержицей: на пороге появилась рогожка — обтирать обувь, на подоконниках — дорожки с узорами, вышитыми Ольгой росписью по выдерге; у пояса ее всегда висел игольник и роговой наперсток; широкая скамья-кровать, покрытая звериной шкурой, лавки у стен, стол по нескольку раз на день обтирались ею; даже под образом Николы-чудотворца, что висел в углу, лежало на полке крылышко для обметания пыли с полки.

С чем не могла Ольга справиться, так это с неистребимым запахом кваса, которым отец Тимофея при жизни и кожи дубил, и обливался в бане. Казалось, запахом этим пропитались стены, и Ольге не удавалось перешибить его никакими травами.

У Тимофея был свой угол — с пергаментом, красками, перьями; у Ольги — свой, с еще материнским ларчиком, наполненным дешевенькими безделницами. Любила она переключивать и рассматривать ушные подвески, янтарные бусы, витые браслеты из разноцветного стекла, височные кольца и особенно гордость свою — ожерелье с красным сердоликом.

Тимофею не нравилась вся эта безвкусица, но, не желая огорчать Ольгу, он делал вид, что не замечает ее пристрастия. Однажды, через месяц после свадьбы, он предложил Ольге: — А давай, Олюня, я тя грамоте обучу!

Она удивленно засмеялась, прижалась к нему:

— Ну к чему мне это? Сам пойми — к чему? Щи тебе я и без грамоты сварю... Верно?

И он, поражаясь этой детской, безыскусной наивности, решил сейчас не настаивать.

Любила Ольга верить ему свои сны.

— Гляжу, — от страха широко раскрыв голубые глаза, говорила она поутру, — будто на лавке я, а поверх меня покров черный, а на нем вороны черные скачут. К чему бы это?

— Не иначе к граду! — хохотал Тимофей.

Ольга обидчиво умолкала.

Вообще придавала она немалое значение разным приметам. У порога прибила подкову на счастье, прятала связку оберегов-талисманов, сделанных из дерева: ложку — к сытости, птицу — к добру.

Однажды Тимофей даже испугался, когда при ударе первого весеннего грома вдруг, сорвавшись с лавки, кинулась Ольга к двери, исчезла за ней. Он побежал вслед, глядит: Ольга подперла спиной липу, что росла у крыльца.

— Ты чего? — испуганно спросил Тимофей.

— Телу крепость достаю, — еще плотнее прижимаясь к дереву, убежденно ответила Ольга.

Ходила она и дома опрятно одетой: в червчатом летнике из зуфи, в зеленых сафьяновых сапожках, подаренных Тимофеем, на голове постоянно носила голубой поддубрусник¹, от которого глаза ее становились еще голубее.

Хозяйство Ольги было внизу, в подизбице. Здесь стояли, как на смотру, кадь с зерном, горшки, оплетенные берестой, деревянное корыто для теста, ведра и кувшины. Ольга любила готовить пищу и от тетки переняла умение поварить.

Она знала секрет, как делать пдобые пироги из квашеного теста и пряженые из пресного, начиненные мясом и кашей. На масленицу напекла такие — с творогом, яйцами и рыбой, — что слюнки текли. А в постные дни готовила отменные пироги с рыбой и горохом на льняном масле.

Она знала секрет, как по-особому квасить капусту, приготовлять злой хрен, редьку в патоке. В кладовушке у нее появились засоленные в запас огурцы, моченые яблоки, набирающие соки под тяжестью нагнетного камня.

Но самую большую радость приносили Тимофею те вечера вдвоем с Ольгой, когда они, уже затушив лучину, шептались в темноте.

Может быть, именно в этом тихом журчании шепота и была самая большая сладость, самое большое счастье? И он, вообще-то безмолвник, шептал ей, что когда-нибудь напишет «Слово о Новгороде» и оно потрясет людские сердца, нарисует красками, ласкающими глаз, невиданные буквы...

Ольга лежала тихонько, не шелохнувшись, оцепенелым камушком, думала с обидой: «Все у него не как у людей... Нет того, чтобы обнять до хруста... завел свое — буквы да слово! А я? Вон Лаврентий и сейчас вьется — обещает золотые подвески. Да не нужен вовсе! Спать хочется, а скажешь — обидится».

Тимофей облизнул пересохшие губы.

Она с готовностью спросила:

— Дать пить? — и, не дожидаясь ответа, вскочила, прошлепала босыми ногами по полу, налила в ковш вишневого настоя, разбавила ее водой.

Оттого, что услужала Тимофею, получала какое-то особое удовольствие: все становилось ясным — и для чего она с ним, и что ей надо делать.

Тимофей пил в темноте, а Ольга, поднося к его губам маленькую теплую ладонь, заботливо собирала в нее вишневые косточки, чтобы не насорил.

Напоив его, она легла рядом, и снова потек убаюкивающий, докучливый шепот о непонятном ей и ненужном.

Ольга бесшумно зевнула до слез.

— Ты внимлешь? — спросил он ласково и, проведя рукой по ее глазам, ощутил влагу. Радость обожгла его: «Это она за меня переживает».

— Внемлю, — сонно ответила Ольга, и скоро он различил мерное ее посапывание.

«Как малого дитя сморило, — Тимофей с нежностью погладил длинные пушистые ее волосы. — Лада моя». Не спалось. Он соскользнул со скамьи, вышел на крыльцо.

Город чутко дремал. Неясно вырисовывалась на сером небе одноглавая церковь. Прокричал за рекой кочет и, захлебнувшись сонливостью, умолк. Притаившись, спали в низинах серовато-курчавые сады. Лишь изредка порыв ветра перебирал их листву, и казалось, она что-то сонно шепчет.

«Какая Олюня душевная! — думал Тимофей. — Во всем будет опорой... Доброе сердце будет опорой».

И даже тот холодок отчужденности, что иногда открывал он в ней, Тимофей объяснял неразбуженностью чувства, и от этого Ольга становилась ему еще милее и ближе.

— Все придет, все придет... — прошептал он, и ему захотелось написать похвальное «Слово женщине», как писали когда-то гимн солнцу.

«Все лучшее, что есть на свете, соединилось с твоим именем, о женщина! — слагал он «Слово». — Ты — невеста, мать, возлюбленная, сестра... В тебе так много ласковости, привязанности, заботливости, с тобой становишься чище, и хочется сделать что-то наилучшее¹, благое, чтобы ты, гордясь, улыбнулась благодарно... Что может быть краше девичьей поступи, краше начала любви, когда все неясно, полно особого смысла...

Ласкает глаз молодой дубок, влечет к себе величавая гладь Волхова, но что может быть купавее² улыбки матери, зрящей свое усыпавшее чадо?»

Начинался неторопливый синевато-молочный рассвет. Бледнела и таяла сиротливая луна. По-утреннему вятно клекотал Волхов.

У берега, просыпаясь, заворочались, заполоскались чирки. В сторону от реки пролетела черно-желтая иволга, скрылась в редколесье, и уже оттуда донесся ее удивленный крик.

Но вот на зеленовато-бирюзовом небе проступили розовые и янтарные прожилки, они становились все ярче, сочнее, и наконец над землей поднялось спокойное, веселое солнце, и заиграла, переливаясь, густая роса на желтых цветах касатика, и начали утренний благовест птицы в садах, покрытых розовым цветом яблонь.

¹ Женский головной убор из тафты.

¹ Наилучшее.

² Красивее.

«Минет сто, двести, пятьсот лет,— думал Тимофей,— все так же над головой будут проплывать облака, нескончаемо катить свои быстротечные волны могучий Волхов... От нас не останется даже праха... И все же мы останемся! Останутся деяния наши, человечьи чувства... и неувядаемо будет сиять великая краса, и какому-то другому Тимофею восхочется при виде березки припасть ланитой¹ к ее белоснежной коре...»

Он пытался представить себе эту жизнь людей через пятьсот, семьсот лет и не мог.

О чем будут они мыслить? Как одеваться? Какой будет вот эта Холопья улица, что расстилается сейчас перед ним?

И кто ведает... может быть, другой Тимофей в одежде, совсем непохожей на его, с жизнью, совсем непохожей на его, будет стоять на пороге совсем иной избы и ждать пробуждения иной Ольги? Она будет такая же, как его, и совсем другая.

Но как ни силился Тимофей представить тот дальний век, воображение отказывало ему — все было словно в густом тумане.

Только знал и верил: будет лучше, несравненно лучше — правдивей и краше.

РАЗДУМЬЯ

Тимофей не заметил, как очутился за городом, в знакомых местах, где в отрочестве играл с Лаврентием в смелых людей, лазил по пригоркам, открывал тайные пещеры.

Недавно прошел дождь, и капли на кончиках ивовых веток походили на светляков. В свежем воздухе разлилась тишина. Пахло мятой и осенней болотной водой. Как и прежде, гляделась в речную гладь, любуясь своими белыми, словно выросшими из холма, стенами, церковь Спаса-на-Нередице. Возле самого купола ее чудом примостилось деревце, изо всех сил тянулось ввысь.

Тимофей вошел в церковь. Его охватила гулкая прохлада. Через узкие оконные прорези на каменные плиты легли неяркие лучи солнца — их появление здесь было неожиданным.

Он долго разглядывал щедро расписанные стены. Под самым сводом поднял для благословения десницу белобородый святой Григорий в белом подризнике, в голубой с тремя черными крестами епитрахили, в красном плаще, шитом золотом, поглядывая вниз. Краски казались прозрачными, а вся фигура — легкой, летящей.

Великомученица Варвара в красной мантии с запоной будто

покачивала подвесками в крохотных ушах. Тимофей подивился этим подвескам: уж больно мирскими они выглядели.

Но особенно поразила его картина Страшного суда: богач, корчась в адском пламени, молил бедного Лазаря дать ему каплю воды, а сатана протягивал богачу сосуд с огнем: «Друже богатый, испей горящего пламени».

Такая надпись в княжеском храме! Неспроста отец рассказывал Тимофею о мастере Петровиче, что осмелился сотворить подобное, а учитель Авраам говорил: «Ты пойдй, пойдй туда, погляди-ка получше — может, младенец, что и уразумеешь...»

По правую сторону горнего места, в нише, изображен был пещерный пророк Илья. У него буйные волосы, седая борода. «Тоже земной,— подумал Тимофей.— Дивно умеют стенописать гречины, а все ж надобно писать нам по-своему, вот так, как Петрович, чтобы похожи были на Кулотку, на отца моего, на Ольгу...»

Тимофей покинул церковь и стал спускаться с холма.

Заплетала следы трава. Во влажной низине оврага желтели заросли курослепа, цвел голубой шлемник. На дальних полянах дразнила желтыми язычками шершавая кульбаба. А в лугах развевал по ветру пряди козлобородник, цвела лиловая мята и назойливо выкрикивала свое «киги! киги!» пигалица, будто что-то выпрашивала или скучно жаловалась. «Ведь вот поди ты — каждая птица свое платье и голос имеет», — подумал Тимофей.

Он поднял с земли толстую гибкую ветку; надавливая на нее коленом и напрягаясь так, что вздулись жилы на руках, разломил ее. Улыбнулся победно, отбросил прочь отломанные куски и, распахнув руки, потянулся, словно хотел обнять весь мир.

«Реки сбегаются к морям,— думал Тимофей,— их воды становятся волнами. Так и в книжном море. Есть и новгородская волна. Что я? Горсточка влаги в той волне, но и я могу прибавить ей силу. Наступит пора, и внешним поводом разольется по свету людская мудрость, накопленная и горсточками и потоками, теми, кто умнее, учнее меня... Пусть не я, иные, на смену грядущие, прославят Отчизну не только деяньями, а и словом правдивым...»

Он сел на пенек, укутанный уже поникшей, осенней травой, стебли ее обвинял бело-зеленый гречишник. Усмехнулся: в детстве верил, что под такими пеньками клады упрятаны.

«Дабы съесть орех,— продолжал размышлять Тимофей,— его надо излущить от скорлупы. Так и со словом: освободи его от притворной мудрости, сделай простым, чтобы истинный вкус обрел».

В тихих водах Спасовки отражались купы серебристых ив и берез. Резвились нырки, взмывали ласточки, едва не касаясь

¹ Щечкой.

крылами воды, и одинокая крушинница¹ лениво кружила над водой. Рядом с Тимофеем, выбиваясь из-под камня, неустойчиво журчал холодный ключ, а в поднебесье бесконечными стаями тянулись на юг чибисы и перепела.

Всем сердцем своим любил и чувствовал Тимофей новгородскую задумчивую осень, ее закаты и восходы, ее залитые водой мшистые луга, и этот темно-зеленый бархат трав, и эту негромкую, усталую переключку птиц. Он любил лес, охваченный пламенем: осины, небрежно набросившие на плечи багряные плащи, черемуху, величественно нарядившуюся в пурпур, стыдливо розовеющий бересклет, ольху, что еще долго стоит в скромном зеленом уборе.

Заполняют сады синицы, стаи куропаток бродят по оврагам, красавы со вздыбленными хохолками обшипывают рябины, а по почам неподалеку от стен Детинца пугает прохожих злое щим криком ушастая сова.

Осень, осень! Утренняя роса на паутине, поземка из листьев по улицам, веселый перемиг аютиных глазок на чернеющих делянках, сосредоточенный взгляд ядовитого вороньего глаза в лесу... И грациозные гнезда на черных деревьях, и печальные луковки церквей на сером, в желтоватых подпалинах небе.

Откуда-то вынырнул юркий белоголовый мальчонка; протягивая Тимофею кусок бересты, попросил тонким голосом:

— Дяденька, сделай ладью. Ну чо те стоит, сделай!

Тимофей взял протянутый кусок березовой коры.

— Ладью так ладью, — охотно согласился он, снял с кожаного пояса нож-складень и начал строгать кору.

Мысли невольно обратились к Кулотке: «Где он? Что стало с ушкуйниками? Может быть, Авраам получил от Кулотки весть?»

Выстрогав ладью, Тимофей отдал ее мальцу, потом процарапал на берестяной коре: «Поклон от Тимофея Аврааму. К вечеру приду», — и спросил:

— Звать-то тебя как?

— Онфим...

— Кузнеца Авраама с Неревского конца ведаешь?

— Ведаю.

— Вот, Онфим, грамотку ему снеси. — Он порылся в кармапах, нашел отвердевший медовый пряник — два голубя на ветке сидят. — Получай! — И подтолкнул мальчонку.

Тот припустил так, что только пятки засверкали.

Авраам, стоя у ворот своей кузни, молча, с неприязнью глядел на проходившего мимо Незду. На посаднике суконный каф-

тан с золотым прыском, красные легкие сапоги. Он смотрел на кузнеца в упор, взглядом требуя почтения. Не дождавшись, скривился принужденно:

— Не признаешь, должничок?

— Как не признать! Да беда — гнаться не привычен.

— Гляди, упрешься — переломись! — со скрытой угрозой в голосе произнес Незда, но тотчас, добродушно улыбнувшись, пошутил: — Сверху-то легко плевать, снизу сподручно ли?

— Спробуем, — сузил глаза Авраам, и, казалось, они полыхнули язычками ненависти.

«Повремени, прямодушный, скручу я тебя — милости попросишь!» — мысленно пообещал посадник и легкой походкой беспечного и всем довольного человека пошел дальше.

А кузнец, глядя ему вслед, думал: «Изгубило б тебя болезнями, присвойщик! Ишь плывет, как вошь в коросте. Погоди, встретимся еще на одной стезе — рылом хрен заставлю копать».

К Аврааму подбежал мальчик; протягивая кусок коры, сказал, с трудом переводя дыхание:

— Дяденька, тощой передал... Вот...

И посмотрел снизу вверх выжидательно.

Когда Тимофей шагнул в открытую дверь кузницы, Авраам загружал рудой и древесным углем сыродувную печь-домницу. В мастерской, заполненной дымом, валялись на земляном полу клещи, молот, мехи. Кисловато пахло остывшее от накала железо.

Авраам разогнулся:

— Пришел, сынок?

— Доброго здоровья! Я узнать — нет ли вестей о Кулотке? Тревожусь...

— Сгинул ухарь, — покачал головой Авраам, — ничего не слышать...

Они помолчали.

— Как с молодой-то живешь? — спросил Авраам, неторопливо вытирая руки тряпкой.

— Ладно! — живо откликнулся Тимофей. — Как один...

— Дай-то бог! — Авраам опять помолчал, словно колеблясь: говорить ли? И, видно, решившись, сказал неохотно: — Мирская молва что морская волна... Болтают: торкается в избу, когда тебя нет, нездовский кисляй.

Сказал и сам пожалел. Лицо Тимофея стало темным от гнева:

— Подлые наговоры! Не верьте, дядя Авраам! Друг он мой! Если другу не верить — кому верить?

— Ну, прости. За всеми мухами не убегаешь. И я хорош — болтлив, как женка с Торга. Прости... — Он хитро прищурил

¹ Бабочка.

серые умные глаза: — А я тут примыслил... — Кузнец поднял с пола запыленную полосу железа и с силой вдавил в нее большой палец руки. Протягивая полосу Тимофею, предложил: — Гляди да смекай, коли мышлявый.

Тимофей, ничего не понимая, с недоумением разглядывал волнистый отпечаток пальца.

— Не догадался? — Авраам довольно погладил бороду, поднял правую густую бровь, посмотрел пытливо на Тимофея. — А кабы и буквы вот так оттискивать? А? Как печать-перстень? Отлить буковки и отпечатывать? Как мыслишь, мастер?

Тимофей даже подскочил от удивления и радости.

— А верно! Можно! — захлебываясь, воскликнул он. — Можно!

— Я слышал от гостей приезжих, — задумчиво сказал Авраам, — у китайцев один кузнец, вроде бы Мишей¹ звали, тоже, давно тому, додумался знаки из глины делать...

Они еще долго и увлеченно обсуждали, как бы и впрямь придумать такую хитрость вместо рукописания, и Авраам, проведя рукой по своей гривастой голове, сказал задумчиво:

— Может, в нашем Новгороде потому и людей грамотных боле, и летописание уже два столетия, что свободнее у нас дышится, чем в других городах? У нас простой людин к грамоте тянется...

— Людям всегда надо правду в глаза говорить! — словно отвечая на какие-то свои мысли, страстно воскликнул Тимофей и хрустнул нервными худыми пальцами.

— Так-то оно, дружок, так, — согласился Авраам. — Правдивое слово к сердцу льнет. Да ведь и очи колет... А богатеи ой как очи свои берегут...

И на этот раз Тимофей долго задержался у своего учителя.

КУЛОТКА В ЗЕМЛЯХ ЮГРЫ

Девять ушкуев отплыло из Новгорода, держа путь на северо-восток, в край непуганых птиц, некошенных трав, неловленного зверя.

Многие из этой ватаги в двести человек не впервой отправлялись на повольничество, бывали уже и за Большим камнем², и на берегах Студеного моря, и в Югре, ходили сквозь льды и тундрой, под парусом и на веслах, пробивались на лыжах и нартах, знали, сколько одиноких крестов разбросано по бескрайним северным просторам.

¹ Кузнец Би Шен жил в середине XI века.

² Уральский хребет.

На этот раз, добравшись до Онеги, ватага разделилась. Шесть ушкуев пошли к Терскому берегу¹, а три, возглавляемые угрюмым племянником боярина Милонег Дробилой, стали пробиваться к Двине и затем Печорой — в югорские земли. В этой ватаге и был Кулотка.

Ушкуи под серыми парусами скользили мимо неприветливых берегов, заросших дремучим лесом, мимо гряд опоков, что стертыми обмылками то выходили из красноватой глины, то скрывались под водой.

У порогов и водопадов ушкуи приходилось, надрываясь, ссаживая плечи, тащить волоком по земле.

Нет, не забава стягивать ладьи с мелей, по горло в воде переходить через реки, сутками брести под дождем или задыхаться от комариных туч.

Среди ушкунников были и смерды, и бегляне-холопы, и боярские сынки, и черный люд — голь да чадь, бесприютные бродяги. Многих съединяла жажда наживы, и Кулотка, которого манили приключения, открытия неведомых, богатых зверем земель, скоро убедился, что все в этом походе было не так, как он себе представлял.

Очутившись в югорских землях, ушкунники стали бесчинствовать. Поймав жителя, пытали его, а выведая, где становище, иалетали, жгли и грабили.

Особенно отличался Дробила. Беспощадный, с налитыми кровью глазами, он иступленно вырезал югорские семьи, охотился за ними, как за зверьем.

На одном становище он, убив женщину, схватил за ноги ее ребенка, размахнулся, собираясь разозжить ему голову.

Кулотка не выдержал, подбежал к Дробиле, ударом в тяжелую, обросшую щетиной челюсть повалил наземь.

Низкорослый круглощекий югор, с глазами, блестящими от слез, подхватил своего дитя и скрылся с ним в лесу.

Дробила поднялся с земли. Выплывая зубы, процедил, с ненавистью глядя на Кулотку:

— В Новгороде... сочтемся... Иди из сотни... с югричами... милуйся...

— И пойду, — сказал Кулотка, тяжело дыша, рукой сжимая топор за кушаком, готовый отразить нападение.

Рядом с ним стали еще два ушкунника — зверобой Косарик и беглый холоп Гришка Сверчок. Гришка, недобро раздувая ноздри маленького носа, уставился предостерегающе на Дробилу. Косарик, нахлобучив свою шапку на узкие темные глаза, предложил весело сотскому:

— Вали своей дорогой!

¹ Мурманское море.

А когда Дробила с остальными молча пошел дальше, Косарик помрачнел и неуверенно спросил у Гришки и Кулотки:

— Не пропадем, братаны?

Втроем они двинулись назад, домой.

«Не на грабеж ехали, на промысел,— думал Кулотка, бредя за нартой, запряженной белыми оленями с обломанными рогами.— Искатели мы, а не тати и убийцы... И не стыдно будет Тимофею рассказать, как добывал себе мех, чтобы возвратиться к Настюшке с добром».

О Насте думал, как о тепле, как о любимом Новгороде, как о том, ради чего стоит жить и принять любые муки, только бы возвратиться к ней.

Их обступила ледяная пустыня с незамерзающими потоками воды, то там, то здесь выбивающейся откуда-то из глубины. Вода заливала нарты, исчезала так же неожиданно, как и появлялась.

Олени выбились из сил, их пришлось бросить и самим впрячься в нарты.

На пятый день, уже в сумерках, настигла непоправимая беда. Они пробирались по неверному льду. Косарик и Гришка тянули лямки впереди, Кулотка подталкивал нарты сзади. Лед провалился так неожиданно, что Кулотка успел лишь рвануть нарты на себя. Косарик же и Гришка мгновенно исчезли в полынье. Кулотка подбежал к черному провалу; ширяя в него короткой лыжей, кричал иступленно:

— Хватай, слыши! Я здесь — хватай!

Но Косарик и Гришка больше не появились.

Ошеломленный, подавленный, Кулотка долго стоял у страшной водяной ямы, все не веря в гибель товарищей. Впервые в жизни он плакал. Это был даже не плач, а судорожные всхлипывания, которых он никак не мог унять. Но делать было нечего, и, бросив нарты, тяжело горбясь, Кулотка продолжал путь один.

Северная зима преследовала его по пятам. Он узнал волчий вой, выюги, остервенелые вихри метелей, поземку, что расстилалась по снегу, как белый дым, многоцветные шатры северного сияния и тлеющий зеленовато-желтый огонь неприветливой зари.

В заплечном мешке у него было десятка два шкурок песцов, и это придавало сил, подбадривало.

Хорошо, что с детства привык он к лишениям, голоду и стуже.

Лютый мороз обжигал лицо, облеплял снежной маской, мешал дышать, казалось, наваливался ледяной грудью.

От нестерпимой снежной белизны ломило глаза.

Но Кулотка упорно продвигался на лыжах, проваливаясь в

суробы меж торосов, падая в расщелины, карабкаясь вверх, срываясь и вновь выползая. «Врешь, не осилишь!» — стискивал он зубы.

У Кулотки кончились запасы, и он теперь питался мхом, ягодами клюквы, сохранившимися под снегом. Иногда находил, словно богом посланных, кем-то недавно убитых зайцев, белых куропаток и удивлялся: откуда это?

Рысь близко шла по его следу. Он пустил в нее стрелу; рысь прыгнула, но только разодрала ему плечо. Кулотка размозжил ей голову топориком и потом долго, с наслаждением пил ее горячую кровь. Насытившись, разглядел рысь получше: хвост короткий, словно рубленый, черные кисточки на ушах, а в боку — что за чудо! — не его, Кулотки, стрела, а чья-то чужая. Он уже отвык удивляться чему бы то ни было в этой суровой стране, поэтому не удивился и теперь.

К вечеру он стал переправляться через узкую, глубокую речку, достиг уже ее середины, когда лед проломился и вода нестерпимо обожгла тело, жадно охватила его. Кулотка успел только сбросить с себя мешок с мехами, и тот закачался на поверхности, как поплавок.

Последняя мысль была о Настеньке: «Вот и не доведется встретиться...» Кулотка пошел ко дну.

ВЛАДЫКА

Новгородский владыка сидит один в глубоком кресле. Пальцы его покоятся на обтянутых кожей подлокотниках, голова утомленно откинута на высокую спинку.

Снег залепил слюдяные окна в деревянных переплетах. Тускло поблескивает в дальнем углу кельи выпосной крест, теплится лампада перед иконой в затворе, где обычно молился владыка.

Тишина и знакомый, едва уловимый запах ладана действуют умиротворяюще.

Бесшумно двигаясь по войлоку, старый келейник зажег свечи, придвинул к ногам владыки мягкую подушку и так же бесшумно скрылся.

На владыке — легкий подрясник, бархатная шапочка-скуфья, на груди привычно пригrelась круглая панагия¹ в оправе с жемчугом. Отечное лицо владыки изборождено глубокими морщинами, устало и бледно. Усталость серой тенью легла на большой выпуклый лоб, угнездилась в синеватых, набухших на висках жилах.

¹ Иконка.

День был утомительный, после службы в соборе принимал послов датского короля Канута VI. Опять датчане затевают неладное — тайно сговариваются с папой Иннокентием III, с германским королем Филиппом Швабским и крестоносцами... Надо всеми силами отстаивать православную церковь...

Владыка прикрыл глаза, зашептал привычно:

— О, пречистая богородица-царица, мать Христа — бога нашего! Соблуди церковь свою недвижимую святой и нерушимой до скончания мира... Приими молитву раба твоего архиепископа Митрофана, подай ему и стаду Христову милость и благословение духовное, дай живот многолетен ему со всеми детьми-повгородцами...

Многолетен! Доживаю последние годы... Прошел длинный, тернистый путь... Сын суздальского пономаря, Митрофан рано получил книжное воспитание. Пятнадцати лет очутился в монастыре, среди лесов и болот, проявил редкостное благочестие и смирение: в понедельник, среду и пяток вкушал лишь хлеб с водой и слезами, охотно услужал братии; в постах, бдении, уединенных молитвах проходило молчаливое житие. И на него обратили внимание, перевели в Антониев монастырь, где он, слабый и хворый, носил железные вериги, был замечен владыкой Мартирием и назначен его казначеем.

И вот здесь-то, когда оставался Митрофан наедине со своими мыслями, у него все чаще, с неожиданной силой, стала возникать честолюбивая мечта о власти. Он бы и сам не мог сказать, с чего именно это началось: с чтения ли еще в монашестве книг о властелинах, когда игрой воображения вызывал он самые смелые картины, или с того, что, став казначеем, приблизился к владыке и власти его. Он только помнил, что особенно ярко разгорелось это неуемное пламя и начало жечь пестерпимым огнем после того, как впервые увидел он облачение владыки перед службой.

Поверх длинного белого подрясника с широкими рукавами надели на неказистого Мартирия нашейную узкую епитрахиль коричневого цвета, затем фелонь¹ бухарского шелка, на груди и плечах его забелел омофор², расшитый золотыми нитями, на голову легла митра, украшенная драгоценными камнями, а в руки взял владыка кизилевый посох с наверху из слоновой кости.

Нежданная мысль обожгла тогда Митрофана: «Да я ж умнее тебя, и на мне все это величавее было б».

На мгновение он почувствовал, как лоб его приятно сдавила митра, руки ощутили холодок костяного наверху.

¹ Риза.

² Часть архиерейского облачения.

Ему даже снится стало, как надевает он на себя одежды владыки, и, просыпаясь, он шептал смятенно, в тоске: «Господи, освободи душу мою от вожделения».

Через много лет Митрофан стал игуменом Антониева монастыря, правой рукой владыки, который с этого времени начал отчего-то чахнуть и умер в корчах у озера Селигер, едучи с Митрофаном по вызову в суздальский Владимир. Похоронили Мартирия в золотой паперти Софийского собора, а на площади у Софии собралось вече для выбора нового владыки. Хотел было Всеволод без выборов назначить епископа, да раздумал — с Новгородом тонкость надобна: хотя бы вид сделать, что вече избрало.

На трех одинаковых жребиях записал посадник по одному имени: Антония, Спиридона, Митрофана. Жребий скрепили печатью Софийского собора и положили на главный престол. После литургии к престолу подвели рыжего слепца Федора Чапиного. Был Чапиного худ, редковолос, а на его лисьем лице, казалось от испуга, обильно проступили темные пятна.

Протянув чуткие пальцы к престолу, слепец легким прикосновением ощупал, огладил все жребии, на секунду задержался на одном из них, словно прочел что-то лишь ему видимое, и, оставив этот жребий на алтаре, два других поспешно передал седенькому, с козлиной бородкой соборному протопопу Матурице. Тот вынес их на площадь к народу, потоптался и, развернув первый жребий, возгласил тоненьким, пронзительным голосом:

— Спиридон!

В толпе зашумели, будто ветер прошел по верхушкам деревьев, зашептались: «Отвергнут престолом... отвергнут».

А пронзительный голос Матурицы вновь выкрикнул, считая со второго жребия:

— Антоний!

И, словно собор обвалился, закричали разом тысячи глоток, вспокоенные вороны шархнули в поднебесье, поднимая неистовый грой.

— Святая София Митрофана избрала!

— По божьему изволению!

— Суздальский подручник!

— Многая лета владыке Митрофану!

— Заглохни, горлодер, чо кадык распустил!

— Засовом рот не запрешь!

— Запрем!

— Митрофан — владыка!

— Готовь запасную голову!

Завязался короткий бой и тут же улегся.

Слепец за алтарем настороженно прислушивался. Различив

крики: «Митрофан — владыка!», он облегченно вздохнул и вытер пот со лба. «Теперь, Чапиног, и на твою старость перепадет!» — радостно подумал он.

И Матурица был необычно возбужден. «Неужто стану казначеем? Неужто стану?» — бесконечно задавал он себе вопрос.

Посадник и тысяцкий нашли Митрофана в одной из комнат владычного дома.

— Пришли, отче-владыка, возводить тя на сени! — низко кланяясь, сообщили они.

— Недостоин я сана великого, — смиренно сказал Митрофан, но его взяли под руки и повели сначала по ступенькам к сеням, а потом в Крестовую палату.

И весь путь туда неоступно билась, трепетала радостная мысль: «Вот и достиг, достиг!» И снова, как тогда, при облачении владыки, только на этот раз не в помыслах, а въявь почувствовал он и сладостную тяжесть митры, и долгожданный холодок посоха.

«Достиг... и богатства и власти...»

Он принимал послов и отправлял своих в дальние и ближние земли, судил, благословлял ратные походы, подписывал договоры и уславливался о мире.

В тайники владычной казны бесконечным потоком текли пошлины с судебных тягот, доходы с десятины, «благословенные куницы» за посвящения в духовный сан, «поплевная поплина» с псковских священников и «новоженные убрусы» с венчаний. Текли приношения смердов, деньги за пользование весами, что стояли в церковных притворах, «подъезд» и «поминки», за поездки по епархии.

Впрочем, сам владыка выезжал не часто, но всюду рассылал своих «десятников», и они творили его именем суд и расправу, в городах над духовенством начальствовали соборные протопопы. Митрофан же занят был тем, что строил башни, городские стены церкви, расходуя казенные деньги, и ему казалось, что этим строительством он и сам все выше взбирается по каким-то невидимым ступеням.

В его распоряжении был полк «владычных молодцов», дворецкие, ключники, приставы, многочисленная дворня: все эти чапники, стольники, истопники, медовары, звонцы, строители, рукодельники... Во дворе стояли и строились сушила, погребя, житницы, работали мастерские серебряных дел, кузнечные, шорные, столярные — всех не перечесть.

Софийские дьяки вели владычные записи. «Софийские бояре и чада боярские» — софияне — из рук его получали за верную службу земли.

Да и его собственные владения — деревни со смердами, луга,

леса, пашни, покосы, рыбные ловицы — были разбросаны повсюду.

«Достиг! — Он усмехнулся грустно, погладил панагию на груди. — А счастья нет... Все суета, прах, тлен... И на пороге — смерть... И, кроме усталости, ничего нет».

Пересиливая себя, он встал с кресла, подошел к медному рукомойнику, висящему на цепочке в углу кельи. Был тот рукомойник чуден: монахи сказывали новгородцам, поймал однажды еще владыка Иоанн в него беса крестным знамением и заставил того беса за ночь свезти себя в Иерусалим и доставить обратно.

Митрофан омыл руки, лицо, и будто от этого мысли его сразу приняли иное направление, а сам он, стряхнув минутную слабость духа, распрямился: «Завтра надобно собрать тайный совет: в городе неспокойно. Ладно, что никто еще не проведал о сем совете, — разумная сила должна управлять всем, хотя бы исподволь...»

Вспомнил вече, проклятое богом, и гневно сверкнули глаза: «Делает все, что хочет! Епископа Стефана посадили на кобылу, заставили играть на волынке, а потом удавили. Федора таскали за волосы, пинками выгнали с владычного двора, псов натравили, хороши забавы у Господина Великого Новгорода, у худых его мужиков-вечников! Одного владыку, негодивцы, прогоняют потому, что он «пришелец», другого — потому, что стоят морозы... Тысячеглавое чудовище! Только и ждет часа своего. Если не усилить власть больших людей, худые верх возьмут».

Ему на мгновение показалось, что зазвонил панихидно вечевой ненавистный колокол, и сердце заныло. Нет, послышалось!

Он резко повернулся, чтобы вытереть руки, и вдруг припал к креслу, оперся о него: поясицу пронизали страшные кинжальные удары. Митрофан задохнулся от боли, стиснул зубы, с трудом сдерживая крик; на лбу его выступил холодный пот.

Начинался приступ каменной болезни.

ТАЙНЫЙ СОВЕТ

Нынешняя зима была страшной для Новгорода. Еще летом все пожгла сухмень, осенью мороз убил озимицу, потом обрушилось на людей и скот моровое поветрие. Болезнь, словно рогатой, ударяла человека под ключицу, горло делалось красным, набухали железы — он начинал харкать кровью и на третьи сутки сторал.

Некий монах видел не во сне, не в привидении, а наяву знамение: шла богородица, и кровь стекала с ее ризы, и явился змий безглавый, ухватил того монаха, аки ветер, понес и под

мост бросил, и лежал он овцой бессловесной. И было после того в небесах обильное шествие хвостатых, словно бы с волосами распущенными, и звонили сами колокола.

Народ сокрушался — неспроста это: духи умерших скачут на конях по улицам, поражают всех без разбора.

От мора и глада гибли тысячи, живые не поспевали хоронить мертвых. Смерд стоял над городом. Наемщики свозили трупы на церковные дворы, клали по нескольку в гроб, без счета бросали в скудельни¹.

...Пятый день валил снег. Намело сугробы у стен Софийского собора, и кажется, подпирают его белые, высокие лаги. Давно бы пора прийти весне, но она, видно, забыла о новгородцах, прогневалась на них неведомо за что.

Резкий ветер свищет подгулявшим ушкуйником, ударяясь о звонницы, заставляет тихо стонать колокола, взметает вихри снега на пустынной вечевой площади и, куролеса, мчитя по Великому мосту к дальним городским воротам.

Редкий прохожий решается пройти в этот вечер метельной улицей. Снег все валит и валит, облепляет башни и стены Детинца. В такую непогоду трудно представить весенний Волхов, шумливый Торг, трудно представить, что можно делать что-либо, а не сидеть у печи, подбрасывая в нее поленья.

Но к дому Незды один за другим пробираются какие-то люди, скрываются в воротах. Вот идет, тяжело сопя, с трудом преодолевая ветер и снег, дородный муж — старый посадник Захар Ноздрицын. Внезапно он шарахается в сторону: почти у самого дома Незды, рыча и сверкая зелеными глазами, гложет труп младенца одичалый пес. Возле младенца лежит мертвая женщина. Захар крестится и торопливо вваливается во двор.

У Незды сегодня сбор тайного совета.

Владыку скрутила болезнь, он пил настойку из семи трав и жалобно стонал. Незда решил собрать совет у себя — дела не разрешали откладывать.

В гридне с образами, прикрытыми занавесками, со стенами, обитыми сукном, с ковром на полу собрались все те же: прежние посадники и тысяцкие да Милонег. Сидели на меховых полавочниках, оттаивали заиндевелые бороды.

Свечи в железных ставцах на стенах, в хоросе, подвешенной к потолку, щедро освещали уставленный яствами дубовый стол посреди гридни.

Золотилась гусятина в судках с резными птицами, манили подрумяненной кожицей поросята. Копченые сиги величиной с руку распластались на серебряных блюдах с самоцветами по ободьям. Ендовы, наполненные пивом, венгерскими и романей-

скими винами, выстроились стражами меж блюд. Огни свечей играли на высоких стоянцах кубков, на серебряной оковке турных рогов, на солонках с чешуйчатыми боками.

Незда отпустил слуг, сам гостеприимничал:

— Не побрезгайте... Сига-то давно для вас берег...

Был Незда сегодня возбужден и красив, чаще других пригублял ковш с медом, ставленным на дрожжах и хлебе, но не пьянел. Верно, потому, что нервничал: «Сказать им или нет, что подозреваю — владыка с Юрием Суздальским снюхался? — Решил: — Не скажу. Милонег первый побежит завтра к Митрофану выдавать... Мстислав к Киеву пошел, и прикончит Юрий меня, как Всеволод Олексу...»

Недолюбливал Незда и Мстислава, но не считал его опасным для себя и не прочь был, чтобы тот находился сейчас где-нибудь поблизости.

От Юрия Незда не ждал для себя добра. «Хочет сделать братьев своих самовластными князьями, в Новгороде своего посадника поставить. И ведь добился — брата его Ярослава пригласили на княжение, — недовольно подумал Незда, отпивая из ковша и делая вид, что опьянел окончательно. — Что мне с того, что Юрий сильнее станет! Мне забота — наш род крепить, нашу мощь полнить. Вече надо не разгонять, как вожделеет Митрофан, а по-своему поворачивать... — Усмехнулся, сузив глаза: — В случае чего, дам знак своим: подпалим город с разных концов... завьюжит огненная метель, в ней сподручней свершить замысленное».

Вздрогнул, как от озноба. Жутковато было вести эту игру, но вел ее безоглядно, веря в свое неизменное счастье.

С мороза выпили немало и гости, языки вскоре развязались, голоса стали громче.

От этих громких голосов и проснулся Тимофей в соседней клети. Он лежал на полу, укрывшись тулупом, за изгородью из рукописей и книг, которые словно бы составляли колодезный сруб. В этот сруб с вечера забрался Тимофей, решив домой не идти, а утром встать пораньше и дочитать увлекшую его рукопись киевского митрополита Илариона «Слово о законе и благодати» — уж больно хорошо писал Иларион о предках русских, «мужеством и храбрым прославивших в странах многих...»

Тимофей предупредил Ольгу, что домой не придет. Незда же перед сбором гостей заглянул в клеть с книгами, но никого там не заметил и решил, что книгохранилец ушел.

Тимофей прислушался.

— А я взаимы даю муку... Пошто не дать, если в ногах ползают? — раздался надтреснутый голос, и Тимофей узнал старого посадника Захара.

¹ Место погребения.

— Да ведь затхлая та мука твоя! — прорычал тысяцкий Анастасий.

— А кто ж им брать велит, пустьдохнут! — Захар крепкими зубами разгрыз гусиную кость, стал обсасывать ее. — Для друзей последний кусок съем...

«Подлые вы, подлые! — ужаснулся Тимофей. — На glede и more наживаетесь...»

А за дверью раздался вкрадчивый голос Незды:

— Вот что, мудрые мужи новгородские, хочу вам немало-важную весть поведать: в Торжке черныи люд гиль поднял...

Он помолчал. В gridне воцарилась тишина, только кто-то чавкал, и казалось: мнут мокрое белье.

— А нам-то что с того? — пьяно спросил Анастасий.

— Да хоть в преисподню провалиться Торжку! — подтвердил и Захар.

— А мы вече призовем идти на Торжок, — продолжал Незда.

— Да кто ж пойдет? В граде одна голь осталась... И какая нам польза? — не понимая, допытывался Милонег.

— Вот какая, законодавцы, — еще вкрадчивее произнес Незда. — Скажем на вече: глад в Новгороде потому, что в Торжке возы с хлебом задерживают... Наши ж люди те возы в Торжке и задержат... И отправим в Торжок чернь на чернь, самых буявых... Выходит, есть нам польза — поубавить сброда...

Снова воцарилась тишина. Первым изумленно нарушил ее Анастасий:

— Ну, дальновидец ты, Незда! Дальновидец! Замыслить такое? А? Пусть свиньи пережрут друг друга! — Он радостно захохотал, и они все вместе стали оживленно обсуждать, как лучше подбить чернь на поход, когда собрать вече.

— Я на вече, — сказал Незда, — возведу: жалую на поход обоз муки. Да и вы раскошесь. Окупится.

Тимофей лежал ни жив ни мертв: «Так вот каков Незда, вот каков!» Ему припомнились слова Авраама: «Спрятал душу свою грязную в темный угол...»

А голос Незды уже иное предлагал:

— Мы, мужи великие, смертны. Заберет нас господь к себе в рай, а на земле и памяти о нас не останется. Не обидно ли сие? Надо, чтобы свой человек о нас в летописи помянул. Мыслью, может сие сделать Тимофей, что я приютил. Поручим ему. Дабы потомки знали справедливость передних мужей... Слово — ветер, а письмо век.

— Может, боле пристало ту летопись владычным писцам творить? — с ревнивым сомнением спросил Милонег.

— Думал я о сем... — раздался в ответ голос Незды. — Пусть пишут... А Тимофей не писатель, а сам писатель. Приглядываюсь я к нему — премудр не по летам. К тому же друг сына

моего, покорлив. А поглядели бы, какие заставки делает! Да я сейчас принесу...

Тимофей похолодел, сжался в комок.

Незда поднялся, чтобы взять поставец со свечой и пойти в соседнюю клеть, но Милонег сказал:

— Тебе, посадник, виднее. Тимофей так Тимофей. А нам пора расходиться — время позднее.

Они задвигали лавками, затопали сапогами, и скоро в gridне наступила тишина.

Тимофей лежал с широко открытыми глазами. Он видел трупы на улицах Новгорода, слышал умоляющий шепот умирающих: «Хлеба... хлеба...»

Ему нестерпимо стыдно стало своих прежних мыслей о «вечной красе», одинаковой и для Незды, и для Кулотки.

— Множить красу! — издеваясь над собой, презрительно шептал он. — Для кого? Вот для сих богатын, что замышляют черное дело? Разве не ясно тебе, глупец, что неподкупная правда — родная сестра красы? А губителей надо зубами рвать, зубами! — Он до боли сжал кулаки, так, что ногти впились в ладони. — Господи, дай силы завтра не выдать себя, дай силы... Опишу я ваш золотой век — запрыгаете!»

СЛОВО О НОВГОРОДЕ

Утром, когда Незда вошел в клеть Тимофея, он застал его уже там и опять подивился его прилежанию. Книгохранилец старательно подклеивал «Устав о мостах» Ярослава Мудрого.

Тимофей показался Незде бледнее обычного, ввалившиеся глаза его лихорадочно блестели.

— Не болен ли? — с ласковой заботливостью спросил посадник, перебирая крупные янтарные четки.

— Да, недужится... — не поднимая головы, ответил Тимофей.

— Верно, простыл? Поди домой. Жена молодая настоячку малиновую даст, все как рукой снимет. — Он пошел к двери, но, будто что-то вспомнив, возвратился: — Порадую тебя... — Помолчав, сказал торжественно: — Выпала тебе, Тимоша, великая честь — правду написать о Господине Новгороде, о тех, кто владеет и рядит им по праву!.. Выздоровеешь — садись за наше жизнеописание. Бог и правду — в помощь! Верю: сделаешь сие как преданный слуга, и наперед рад за тебя, как за сына... Награжу щедро. А сейчас поди в кладовую — выдадут тебе полкади муки. Небось не помешает.

Про себя подумал: «Кто знает... может, так и приходит бес-смертие правителей? Что ведали б мы о Сулле, не будь Алпиана,

о тирании Набида без Полибия? — На секунду возникло лицо Тимофеева отца, но отогнал это видение, как слабость. — Стоит гривной брякнуть — и любой куплен, — повторил он то, что не однажды говорил себе. — А купить не можешь — хватай за рога, не то тебя схватят».

Уголки тонких губ дрогнули. «Сильный скольких сможет, столько и сложен» — так учил его отец, скупая перед гладом хлеб, так учит он Лаврентия. В том и мудрость вся. Вот только пойдет ли Лаврентию на пользу то, что внушает ему...

Тимофей вышел на заснеженную улицу. Ветер утих. Сугробы снега занесли изгороди, избы с заколоченными дверьми, белыми горбами легли на крыши. Безмятежно серебрились купола церквей. Плыл над городом звон, утешая убогих.

Кое-где поднимались от изб к сиреневому небу бессильные дымы. Облезлый ворон, сидя на верхушке заиндевело́го дерева, косо поглядывал вниз и требовательно каркал.

За мукой Тимофей не пошел. «Пусть подавится ею, а меня не купит. — С болью подумал об Ольге: — Ждет она, что принесу... — Но тотчас отбросил эту мысль: — Ничего, мы, как все...»

Пустынной улицей шла от реки пожилая женщина с ведрами на коромысле. Черный платок подступал к скорбным ее глазам. Вот женщина поскользнулась, упала, расплескала воду, попыталась подняться и не смогла. Покорно припав к мгновенно обледневшему снегу, прикрыла глаза. И сразу над ней закружил, каркая, ворон. Мимо женщины прошел, не взглянув на нее, боярин в бобровой шубе и высокой шапке, ускорил шаг.

Тимофей подбежал к женщине, испуганно забормотал, отрывая ее от замерзшей воды:

— Ну что ты, что? Иди домой...

Женщина поднялась, поглядела на Тимофея пустыми глазами, и вдруг судорога искривила ее белые губы:

— Нежата помер.

Она побрела неведомо куда.

А над городом плыл и плыл задумчивый и печальный, как тихий вдовий плач, похоронный звон, и казалось, не будет ему конца, и сердце сжималось от тоски.

Вдруг улицу огласили крики: два дюжих боярских приспешника тащили по снегу костлявого, упирающегося новгородца.

— Да отколь же мне ноне деньги взять?! — кричал костлявый, силясь вырваться из цепких рук.

Но его подталкивали сзади коленями, втащили во двор боярина Анастасия, и уже оттуда до Тимофея донесся грубый голос взыщика:

— Приволокли? Вот дам те палок — узнаешь, как долг заживлять! Забью до смерти, а с женки взыщу.

Тимофей торопливо зашагал к Аврааму. К нему всегда тянуло, когда на душе было тяжело, когда надо было посоветоваться или поделиться радостью. Сейчас гнев душил Тимофея, он знал: надо обо всем, что открылось вчера, поведать Аврааму, и тот придумает, как спасти город.

Кузнец, услышав рассказ о тайном совете, пришел в неистовство:

— Надумали, волчьи души! Погодите, мы вам приготовим поход... Сбегай, Тимоша, поскликай ко мне Павшу, Прокшу, Игната — всех наших... Мигом!

В нижней клети Ольга скребла ножом стол, вспоминала, как однажды, еще в девичестве, задумала узнать, сварливая ли свекровь ей попадется. Налила в сковороду воды, положила камушки да охлопки и зажгла те охлопки, сверху горшком прикрыла. Вода забулькала — подавала знак: жди плохую свекровь.

Ольга печально вздохнула: «Ан никакой свекрови нет... и, может, худо то... Обо всем самой забота, муж как чадо неумелое, не ведает, что откуда берется. И ничего не будет — не заметит. В избе пусто, на завтра корки нет. Где достать? — Слезы невольно потекли у нее из глаз. — Даже синиц покормить нечем».

Во дворе пристроил Тимофей к липе лоток для синиц, подкармливал их крошками и сухими ягодами, приучал, чтоб не улетали. «Хоть тараканов ошпарь да вынеси им, как другие делают. Да у меня тараканам раздолья нет», — сквозь слезы улыбнулась Ольга.

Послышались шаги Тимофея. Он стряхивал на пороге снег с сапог. Войдя в избу, сразу заметил слезы Ольги, спросил встревоженно:

— Что ты?

— Ничего... — Она силилась не расплакаться и не выдержала, всхлипнула: — Осьминка ржи — гривна, что дале будет? Ты-то что принес?

Он обнял ее:

— Переждемся. Достану!

— Да-а, «переждемся»! — недоверчиво протянула она. — Всегда ты так... — Но приободрилась: — Погоди, сейчас накормлю.

Он отказался. Есть не хотелось. Поднялся наверх, сбросил с себя тулуп, выпил воды из глиняного кувшина и нервно заходил по горнице.

«Надо все продумать, все. Чем начать «Слово» и чем закончить? Строить, как храм или крепость, по чертежу... И писать без украс, не пропуская правды... Сначала начерно, на бересте...

Слова простые отделять от мудреных, дабы просторечно было...

Вспомнил, как Авраам говорил: «На правду мало слов надобно». И верно, в краткости — сила.

Он присел на лавку у стола, переплетя ноги, положив подбородок на ладонь тонкой руки: «О ком писать? И для чего все то, что напишу? И где самому стоять и что защищать? Неужто так писать, как и прежде писали: о граде, о громе, о возе сена, что в Волхове потонул?»

Вскочил, опять забегал по пустой клетке. «Нет, нет, надобно писать «Слово о Новгороде», об Аврааме и Кулотке, о женщине, что поднимал сегодня, и о подлых богатеях... Вот не люб мне, Тимофею, князь Владимирский Юрий, но что я, когда есть Русь неоглядная, ее заботы и правда?»

Он на мгновение представил эти необъятные просторы: Киев и Суздаль, Волга и Днепр. «Вот бы съединить это все, как мечтает Авраам, наделить одним разумом, и тогда никто не страшен. Сила против врагов удесятерится, и гордые гречины станут приезжать на Русь в ученье, и на весь свет прогремит наша слава. Значит, прав Авраам. Значит, надобно мне шире и дальше Новгорода глядеть, блюсти в «Слове» справедливость, отмечая малую, Тимофееву, неприязнь. Записывать, что в одно и то же лето произошло не только у нас, но и во всей земле Русской...»

Так он метался до ранних сумерек, и Ольга уже несколько раз испуганно поглядывала на него, предлагала повечерять, но он все отказывался.

Трудно ей приходилось с таким — непонятым. Был бы, как все, сапожником аль плотником, жили б тихо, бестревожно... А то молчит днями, что-то свое обдумывает, или вдруг словно прорвет его весельем. Прошлой весной в первый ливень выбежал во двор, заплясал мальчишкой по лужам, горланил, подставляя лицо струям:

Дождь, дождь,
На бабину рожь,
На дедову пшеницу,
На девкин лен
Поливай ведром!

А потом мокрый вскочил в избу — и к ней. А она — вкруг стола. Визг, шум. Будто другой совсем. Но ненадолго. Потом опять посумрачнел, вышел на порог и, скрестив руки на груди, глядел и глядел куда-то вдаль, будто за стенами Детинца, за лесами различал что-то лишь ему одному доступное. И тогда увидела Ольга на лице его уже знакомую ей тень непонятного, что отгораживало Тимофея, делало его чужим и трудным.

...Ольга налила в светильник медвежьего жира, зажгла клочок пакли и решительно стала накрывать на стол. Положила гор-

бушку ржаного хлеба, поставила миску пшеничной каши, села рядом с Тимофеем.

— Я-то повечеряла,— обманула она и отщипнула от горбушки кроху.

В ушах ее блеснули подвески — уточки с яхонтами.

— Это откуда? — спросил Тимофей, рассеянно глядя на подвески.

Ольга покраснела, подняла ясный лик:

— Тетя подарила...

— Ладны какие! — залюбовался Тимофей. — Ты в них еще краше. — Он притянул ее к себе, неподатливую, упирающуюся.

— Ну что ты вздумал... Ешь, пока не остыло.

Тимофей неумело ткнулся губами в ее голову, укололся гребнем. А на душе как-то сразу посветлело, стало легче. Думал: «Пока Олюшка рядом — все одолею. Не покривлю совестью: тем и послужу Новгороду, что расскажу о нем правду. Правду о том, что есть тайный совет, что на вече все подстраивают, что стонет земля новгородская под пятой у бояр. Вот это и будет тем «Словом о Новгороде», о котором мечтал когда-то, идя за Олюшкой, слагая песню о Волхове...»

Он сел писать.

Сменялись дни. Он забывал о пище, вскакивал ночью, чтобы записать на бересте строку, плакал и смеялся над ней. Он не помнил времени, когда был счастливее, чем сейчас. Все прежде сделанное казалось ничтожным, неумелым, и верил: то, что делает ныне, наконец настоящее, ради чего появился на свет и жил.

Но потом, перечитывая написанное, иступленно разрывал кору: «Не то! Не то!»

Порой вспыхивала, как черная молния, мысль: «Не дадут дописать!» Но шептал:

— Нет, напишу... пусть не при мне... пусть потомки прочтут, им поведаю правду...

На четвертый день Тимофей решил выйти подышать свежим воздухом. Его тянуло к Волхovu. Было у него там излюбленное место на крутом берегу, возле могучего дуба. Отсюда открывались широкие дали, здесь хорошо думалось.

Тимофей вышел на улицу. Накрикивали тепло галки, было безветренно, от чистого крепкого воздуха кружилась голова.

Скоро весна!

И хотя сейчас еще заметены снегом и черная, в трещинах, кора липы, и подвески орешника, и темные шишки ольхи, а все же улавливал Тимофей приближение весны. Она чудилась ему в робком запеве побуревших за зиму овсянок, в усилившемся

запахе тополиных почек. Ему на мгновение показалось даже, что в сосновом бору начали свое бормотание тетерева.

Тимофей поднял голову, прислушиваясь, и только теперь заметил, что в городе царит какое-то тревожное оживление. Тревога невольно передалась и ему; она усилилась, когда в городе забили колокола.

Пока Тимофея не было, к нему в избу пожаловал нежданный гость. У ворот остановились сани, запряженные серыми, с голубым отливом конями, известными всему городу.

Ольга замерла у двери, увидев входящего посадника Незду. Он окинул ее зорким взглядом, сказал ласково:

— Пришел проведать Тимофея... Что, все недужит?

Незду беспокоило долгое отсутствие Тимофея: не взбрело бы болтать в городе о поручении.

— Да... нет... — пролепетала чуть слышно Ольга, в смятении думая, что Незда пришел из-за Лаврентия. — Вышел куда-то... К реке...

— Забыл Тимоша муку-то взять — пришлю, — все с той же ласковой участливостью сказал Незда. — Не голодать же вам

Он подошел к столу, заваленному берестяными листами, присел, не снимая собольей шапки, стал перебирать листы. И вдруг побагровел, желваки забегали на щеках. Ольга испуганно глядела на посадника. Незда читал: «Лютый глад осьминка ржи по гривне... Люди едят мох, желуды, конину иные древесну гниль толкут... Трупы на улице, Торгу и путях, и всюду... Беда на всех... скорбь и тоска зрящим детей, плачущих о хлебе; богатеи же, чьи души и совесть заросли, наживаются на горе народном, тайно замышляют извести люда поболее...»

Незда резко встал. Остервенело разорвал берестяной лист, что читал, остальные начал совать за пазуху шубы. С такой силой пнул лавку, что она с грохотом повалилась на пол.

— Отплатил, нечестивец, за то, что кормил! — в бешенстве прокричал он и быстро пошел к двери.

Во дворе отрывисто и так громко, что Ольга слышала, приказал двум ожидавшим его блюстителям:

— Тимофея сыскать у реки... Посадить в яму

Отпустил сани. Грозный, налитый гневом, пошел улицей «Сгною, дьявольское отродье, за вражьи наветы! Сгною!»

Возле Детинца Незду нагнал посланец Митрофана, хаясь от скорой ходьбы, сказал.

— Отец владыка... к себе кличет... Немедля!

Незда недовольно нахмурился: «Больно много старый хрыч власти взял: «Немедля!» Вон и на торговлю лапу наложил, разослал приказы: «Воск, и мед, и свинец, и квасцы, и ладан весить на крюк, под церковью, а таможенникам в то не всту

паться...» «Немедля!» Нам недолго и другого избрать. Шепну черни, что не блюдет ее, и вся недолга». Но шаг ускорил.

Только войдя во владычный двор и минуя каменные поварни, питейные погреба, снова придержал шаг — не к лицу посаднику бегать. В саду притаились осыпанные снегом яблоньки и молодые тополя, шиньрилы зеленоватые крючконосые клесты, залетевшие сюда из леса.

Проходя владычными покоями, Незда заметил какого-то высокого человека в монашеской одежде. Тот поспешно отступил в нишу, опустил голову так, что тень закрыла его смуглое лицо. Но посадник успел узнать суздальского сотника Елисея Друбина. Незда видел его однажды во дворце у князя Всеволода, запомнил этот взгляд темных продолговатых глаз.

«Так и ведал! Старая лиса снюхалась с Юрием, сыном Всеволода, — смекнул посадник, думая о владыке. — Небось замыслил мне шею свернуть! — Он укоротил шаг, чтобы успеть обдумать важное открытие. Решил: — Случай представится — расскажу на вече об этом Елисее, подниму всех своих».

Человек, узанный Нездой, был действительно сотником Друбиным, которого послал к Митрофану князь Юрий спросить: «Не время ли? Поддержит ли город? Мстислав ушел на Днепр. Не время ли расправиться с непокорливым боярством?»

Достаточно было Незде взглянуть на владыку, чтобы понять: тот чем-то очень встревожен. Белое отечное лицо его было озабочено, отвисшие синеватые мешки под глазами набрякли более обычного, властный вырез ноздрей стал резче. На владыке длинная черная ряса, пухлые пальцы его нервно сжимают посох.

— Окаянные крамольники затевают смуту бесовскую, — обратив на Незду тяжелый, давящий взгляд, сообщил он так, словно они давно уже вели разговор. — Во всех концах собирают вече — болота смрадные. Кричат, что их на Торжок хотят отправить со злым умыслом... Откуда? — со сдержанной яростью в голосе спросил он и выпрямился в кресле. — Тебя, посадник, вопрошаю: откуда ведомо им то, что тайно решали?

Незда молчал, и вдруг всплыла строчка, прочитанная только что в избе Тимофея: «Тайно замышляют извести поболее...» А и впрямь, откуда подлый Тимофей мог проведать?

Незда вынужден был рассказать владыке о том, как поручил Тимофею вести летопись (не сказал — жизнеописание) и что из этого вышло. Он достал из кармана и протянул Митрофану берестяные листы. Владыка, кивнув посаднику, чтобы сел, начал внимательно читать. Прочитав, не торопился говорить, и Незда знал — осуждает. За все: и за то, что не сдал самое ценное из своей библиотеки в соборную, и за то, что завел своего летописца, не сказав об этом прежде...

«Довертелся, честолюбец! — зло думал владыка, поджав губы. — Погоди, чернь распластает — не быть тебе посадником».

— Яблоко от яблони далеко не упадет, — произнес Митрофан, положив руки на Тимофеевы записи. — Разве не зришь: выученик Авраамки, злейшего богохульника и подстрекателя... Только и мыслят бурю поднять от дьявола. Мне сказывали — Авраамка о монахах пакостно отзывался: что посты, мол, без добрых дел? И скот не ест мяса, не пьет хмельного, лежит на голой земле, а все же скотом остается. Каково?

— Пес и на бога брешет, — сочувственно, словно успокаивая, отозвался Незда.

Владыка так посмотрел на Незду, будто это он подсказал Аврааму ересь, сам мыслил с горечью: «И ведь прав богоборник Авраамка: в монастырях леность и тунеядство, за постом и святостью укрывают пакостливость и лицемерие. Везде падение».

Он сердито поерзал в кресле.

— Азбуки продают, досадители! Думаешь, с проста все это? — Он с силой ударил посохом о пол. — Для подкopa церкви! Хотят, чтоб не мы, а они, простецы, летописи составляли! Так дале пойдет — вздумают югру, чужь да голодников грамоте учить... Вместо книг духовных басни-кошуны писать...

Глаза владыки остро блеснули, он привалил к коленям посох, зло стиснул пальцы. Подумал: «На таких надо берестяные шеломы с венцами соломенными надевать, водить по городу и поджигать те венцы».

Продолжал уже спокойнее, приспустив набрякшие вежды:

— Мы летопись пишем, дабы не проникало зловерное, дабы служила она и после смерти нашей памятником деяний, возвращала поколения. А Тимофеям-ропотникам дай волю — об одной гили писать станут, такую скверну сотворят — ввек не расхлебашь. Нюхнули, холопы, свободы, и голова закружилась: возмечтали о вече, что всех именитых изгонит! — Он резко оборвал речь, приказал: — Ко мне в темницу его доставь!

— А я мыслил...

— Ко мне! Дедята в застенке разом язык ему развяжет. Возмутителей надо давить, как мышей, что точат древо жизни. — Он приостановился, посмотрел испытующе на Незду: — Если что меж нас и было, сейчас не время розни... Не съединимся — они нас съедят... по рукам и ногам веревками... долбней оглушат да метнут с моста. Небось не хочешь?

— Выплывем, — самоуверенно усмехнулся Незда.

Слух о том, что Незда замыслил недоброе, взволновал город. Во всех концах его зазвонили сплошные колокола. Малые вече собирались всюду, даже по дворам. Новгородцы, вооруженные кто чем мог, сбегались на площадь.

Тимофей, услышав призывы колоколов, бросился к Неревскому концу, но нездовские стражники свалили его с ног, скрутили позади руки и, забив рот кляпом, куда-то потащили. Тащили недолго — повстречали владычных слуг, и те, перехватив Тимофея, поволокли его уже сами.

Все это произошло так неожиданно, что Тимофей пришел в себя только на земляном полу выстуженной темницы, куда его с размаху бросили. Шуршали крысы в грязном сене, бесстрашно пиныряли вокруг.

...Во дворе своей кузни Авраам кричал, раздавая топоры и рогаины:

— Незда замыслил предать нас, натравить на Торжок, перебить поболее!..

Толпа ревела:

— Смерть собаке!

— Он против бога и Великого Новгорода!

— В прорубь супостата!

Незда, только что возвратившийся от владыки домой, успел лишь снять с себя шубу, когда в ворота с набитыми на них прорезными бляхами из железа яростно застучали.

В gridню вбежал до полусмерти перепуганный старый слуга Онаний:

— Чернь... Несметно... Разнесут...

Он весь трясся, смотрел на господина обезумелыми глазами. Пытался непослушными пальцами застегнуть пуговицу на кафтане.

Незда вплотную подошел к Онанию, наотмашь ударил его по лицу:

— Что трясешься, падаль? Заваливай двери!

Крики толпы и тяжелый грохот у кованых ворот становились все громче. Били чем-то и в железные ставни на окнах.

Мысль Незды заработала лихорадочно. Что делать? Выйти с посулами? Не поверят. Бежать? Но куда? И вдруг сразу стало легче дышать — тайный ход! Скорее к тайному ходу! А там можно, на худой конец, и к Юрию податься: мол, поддержи, милостивец... Ну да видно будет.

Тайный ход из Нездиного двора к церкви, что он построил, рыли много лет, по ночам. О ходе никто в городе не знал. Все, кто его рыл, стараниями Незды давно были уничтожены. Надо немедленно спуститься в подвал, отбросить плиту — и спасен!

Он рванул дверь, ведущую в сени, и отступил: на пороге стоял кузнец Авраам с мечом в руках.

Сумрачно глядя на Незду ненавидящими глазами, спросил глухо:

— Аль не ко времени, посадничек?

Авраам шагнул в гридню, а за ним молчаливыми тенями — Потап Баран и Васька Черт. Боясь упустить Незду, они втроем перелезли через забор, убили во дворе пса, преграждавшего им путь.

Воцарилось молчание. Оно было страшнее криков и угроз.

Наконец его прервал Авраам:

— Пойдем, душегуб!

Незда побледнел. Пытаясь сохранить спокойствие, сказал:

— Нет у тебя права...

— Есть у меня полная мочь и право. Пред народом на площади ответишь, — глухо произнес кузнец.

Незда, выдавив улыбку, сказал, обращаясь не к Аврааму, а к Потапу и Ваське:

— Да кой вам расчет меня прежде времени на растерзание толпе вести? Давайте уж, коли на то пошло, я вам потайник свой с драгоценными камнями покажу — и делу конец. Не раз помянете добрым словом своего посадника. Бог свидетель — покажу.

Широкое лицо Авраама передернулось, ноздри гневно раздулись:

— Купить хочешь?

Но Потап Баран, коренастый, медлительный, с отвисшей челюстью и застывшими зеленоватыми глазами, шагнул к Незде:

— А ну показывай свои камения!

— Сбежит он! — предостерегающе крикнул Авраам.

Васька Черт — черный и гибкий, как угорь, — повел хищным, горбатым носом, огладил топор:

— Далеко не убежит. Показывай!

Незда, сопровождаемый Васькой и Потапом, вышел. Авраам, недовольный тем, что не сумел отвести их от корысти, продолжал стоять посреди гридни.

Все было здесь чуждо и ненавистно ему, все было награблено у него и у таких, как он. Злоба душила Авраама. Стиснув меч, он начал яростно крушить им лавки с резной спинкой — за все! За все! Шкафы с узорными створками — за все! За все! Словно в этом истреблении находил выход накопившемуся гневу.

Толпа за воротами нетерпеливо шумела, ожидая возвращения Авраама, Потапа и Васьки.

Топот и крики в дальних клетях привели Авраама в себя. «Сбежал!» — похолодел он, кинувшись к двери.

В гридню ввалились Потап и Васька, грузно бросили на пол что-то завернутое в ковер.

Васька, отерев пот со лба, стал возбужденно рассказывать:

— Набрехал об камениях... Мы его как повели, а он, вихлявый, шасть по лестнице! Я — за ним! Он — к подвалу!.. Тут я его настиг и маненько обухом по затылку огладил...

Васька отвернул угол ковра. Незда лежал, скорчившись, кровь запеклась у него на затылке, с шеи свешивалась на цепочке печать посадника — лев грозно заносил лапу.

Васька снова укрыл тело. Обращаясь к Потапу, сказал:

— Бери за другой край, понесем на Волхов топить, народ порадуем!

На улице, у ворот, ношу встретили криками:

— Любил, обидитель, других топить — ноне сам поплавай!

— Рада б курица не идти, да за крыло волокут!

— Зло развел, криводушный!

Протиснулась старуха в рваной одежде: отвернув угол ковра, сказала, будто Незда мог ее слышать:

— Это бог ты наказал за внука, что ход под землей тебе рыл... — И плюнула на труп.

Высокий, косая сажень в плечах, новгородец, поглядев на Незду, произнес удивленно, словно про себя:

— По бороде — апостол, а по зубам — собака...

И тут же раздались голоса:

— Изберем Авраама!

— Авраама посадником!

— Авра-а-а-ама!

— Щенка Незды — в прорубь!

В открытые ворота хлынула толпа, побежала крутой дубовой лестницей, сениями, что висели в воздухе на подпорках. Лаврентия в хоромашах не нашли и, переломав все, что попало под руки, поделив меж собой запасы погребов и житниц, бросились ко дворам бояр Захара и Анастасия.

Когда Лаврентий возвратился домой, толпы уже не было. В сенях валялись в щепу разбитые лавки, ножки от стола, осколки посуды. Под лестницей увидел переломанный посох отца с изображением его головы: казалось, Незда продолжал язвительно улыбаться, глядя на разрушение. Лаврентий сразу взмок от страха.

Откуда-то вылез, весь в паутине и пыли, Онаний, стал рассказывать молодому господину, как потащили к реке топить его отца, а матушку не тронули, и она схоронилась у соседей; как все Нездины холопы, кроме него, Онания, попрятались, а иные вместе с татями подались в город.

Лаврентий вошел в гридню отца. Среди разорванных длинных берест увидал одну, уцелевшую, поднял ее с пола:

«Село Овсеево — 60 белок; Мохово — 33; Васильево — 40, полоть мяса, солод. Гришка Екуев — 3 куницы; Фока — 6 белок. Купил у Филиппа росомаху, а у Есипа пять лис...»

Лаврентий спрятал расписку — пригодится. Радостно подумал: «Теперь я владеец всего... Должность отца перейдет. Главное — поживу как люблю».

Отца несколько не было жаль, при жизни его чувствовал презрение к себе и платил за то страхом и тайной неприязнью. Отец говорил с ним редко, нехотя, с пренебрежением цедя сквозь зубы.

«Ольге еще подарок сделаю, — промелькнула мысль, и Лаврентий улыбнулся: — Не пробраться ль к ней дворами? Тимофей-то сидит, да и мне там безопасней». О том, что Тимофея схватили, слышал на улице.

Невольно вспомнил совместные с Тимофеем детские игры, бой при Отеца, заступничество Тимофея в ладье, и что-то, похожее на укор совести, шевельнулось у него в душе.

Лаврентию стало жаль Тимофея, захотелось помочь ему в беде. Но эти мимолетные чувства, скорее навеянные воспоминаниями, чем добротой сердца, вытеснил голос отца. «Всяк человек — ложь», — произнес он, и Лаврентий даже вздрогнул, оглянулся. Нет, он был один.

«А я чем лучше других? — мысленно успокоил себя Лаврентий. — Какое мне дело до Тимофея, до всех на свете? Лишь бы мне хорошо было».

Лаврентий заторопился, достал из потайного шкафа в стене отцовской гридни ларчик с драгоценностями (боялся оставить его здесь: «Еще возвратятся»), окутал тряпьем. «От Ольги, как темнеет, пойду в сад владычный, закопаю там ларь на время». За пазуху он сунул материнское золотое оплечье. Подумал о Тимофее: «Пусть посидит. Когда выпустят, я ему денег дам. Небось обрадуется».

А толпы, как весенние реки в Ильмень, все стекались теперь на Торговую площадь.

Валом валили бронники, мостники, ладейники, каменосечцы, воскобойники, тесляры.

Без устали звали сполошные колокола. Вооруженные острогами и топорами, прибежали смерды из пригорода: с деревни Горки, из сел Лисичьего, Медведево, с Черного Бора, из-под Нередицкого монастыря, с Березовского погоста.

Мятежные стяги, собирая люд, заколыхались над площадью. Ракомские смерды, прежде чем уйти в город, порешили злобно своего старосту, принесли его голову в мешке.

Простолоудины, с которых даньщики брали куны, поборы белками и мукбй, которых то и дело заставляли безвозмездно возить что придется, кинулись на площадь искать правду.

Общинник бежал рядом с кузнецом и плотником. Поднялась встань народная — люд меньший пошел против больших!

А на дворе стояло семь погод: сеяло, веяло, крутило, мутило, рвало, то сверху лило, то снизу мело. Не поймешь — зима ли, весна ли, осень? Дважды лед на Волхове трогался и снова застывал.

...Владыка приказал собрать на Софийское вече именитых людей и свой полк. С помоста уже кричал тысяцкий Милонег, и на худой его шее бились набухшие ненавистью жилы:

— Холоп пошел на господина! Поодиночке крамольники всех нас передуют. Чернь умирот только меч!

В Милонегу полетело несколько шапок с камнями, но гильчиков здесь же быстро скрутили.

До Тимофея доносились какие-то неясные крики, однако он не мог понять, что происходит.

«Молю тя, господи, — шептал он истово, — молю: заступись, накажи беззаконников, собирающих богатство! Неужто может кривда правду осилить?»

Но молитва не приносила облегчения, невольно приходили злые мысли: «Может, может, коли неправедные правители сотворяют лютые обиды над меньшими!»

Он вспомнил все то, что слышал на тайном совете, перед его глазами встали должник, которого тащили по улице на расправу, женщина, покорно лежащая на снегу, и он с новой силой обратился к богу: «Осуди, господи, богатых за их великие неправды, воздай месть на Страшном и справедливом суде твоём!»

Словно в ответ на этот страстный призыв заскрежетал засов дверей, и на пороге, загораживая свет, выросла огромная фигура.

— Выходи, голуба! — прорычал кто-то и захохотал.

Тимофей поднялся. Перед ним стоял, широко расставив корчаги ног, палач владыки — одноглазый Дедеята Нечистый.

Тимофея повели владычным двором мимо свечной мастерской, и сердце его сжалось от страшного предчувствия: не в Чертову ли башню ведут, где (об этом новгородцы говорили шепотом) пол усеян черепами и костями загубленных?

Долго шли каким-то подземным ходом, пока не очутились у судебной избы — Одрины, что уединенно стояла в дальнем углу двора, окруженная бревенчатым забором.

Над дверью Одрины написан лик спасителя. Он держал в руках книгу, открытую на словах: «Не на лице зряще судите сынове человечестии, но праведен суд судите, им же бо судом судите — судится и вам».

Тимофей переступил порог Одрины.

За длинным столом, покрытым темным сукном, сидел сам владыка, рядом с ним — подслеповатый дьяк, а сбоку зачинивал лебединое перо молодой быстроглазый подьячий с едва пробивающимися светлыми усиками над верхней губой.

Через окна в толстых переплетах свет почти не проникал.

— Дело твое, богоотступное, дерзостное, решать будем, — тихо произнес владыка, не поднимая глаз от берестяных листов, что лежали возле его пухлых пальцев на столе.

Тимофей похолодел, узнав свои записи.

НЕЖДАНЫЙ ДРУГ

Очнулся Кулотка оттого, что чьи-то проворные, заботливые руки растирали его тело. Он лежал в землянке на оленьей шкуре. Сквозь окна со вставленными тонкими льдинками пробивалась сероватая мгла. Над Кулоткой склонилось удивительно знакомое нерусское лицо — круглое, с глазами немного вкось. «Да это же югор, что с чадом своим в лес побежал, когда я Дробилу стукнул», — сообразил Кулотка.

Маленький югор жестами, то приседая, то что-то гортанно выкрикивая, объяснял Кулотке, как долго шел следом за ним, охраняя от бед, подбрасывая убитых зверьков, как, увидя прыгнувшую на Кулотку рысь, пустил в нее стрелу и поспешил на помощь, когда богатырь стал тонуть.

— За добро — два добра, — говорил югор на своем языке, и Кулотка, не понимая точно смысла этих слов, догадывался, что они сердечные.

А югор продолжал рассказывать жестами, что Дробила и его ватажники уже отправились на тот свет (правда, не сообщил, что их заманили к себе югры, пообещав горностаев, и ночью перебили всех).

Кулотка поправлялся медленно. Пумга (так звали этого маленького жителя Югры) ухаживал за ним, как за ребенком. Лечил потрескавшиеся, кровоточащие десны, мазал каким-то вонючим раствором черные раны на щеках, растирал опухоли под коленями, давал пить горькую настойку. И все это с доброй улыбкой черных глаз, блестящих, как кожа тюленя, вынырнувшего из воды.

Когда Кулотка впервые поднялся, они сели в землянке рядом у огня. Пумга настрегивал мерзлую рыбу. Кулотка делал силки. Ему очень захотелось рассказать Пумге о Тимофее. Он встал, соображая, как бы это сделать понятнее, показал рукой на себя, на Пумгу, обнял его и махнул рукой в сторону Новгорода.

— Понимаешь? Дружок у меня там! Тимоша! — крикнул Кулотка Пумге в самое ухо, словно он от этого должен был лучше понять.

Пумга с минуту озадаченно глядел на Кулотку, потом лицо его прояснилось, он тоже обнял Кулотку и, крикнув: «Тумоша!» — стал нежно гладить себя по щекам, приседая, подпрыгивая, танцем показывая, что понял Кулотку: эта самая Тумоша его возлюбленная, и, когда Кулотка выздоровеет, непременно состоится свадьба. Вполне довольные объяснением, они продолжали свою работу.

Глядя на Пумгу, Кулотка думал: «Разве ж он дикий! Людин как людин, не хуже любого новгородца».

Были у югра и смешные обычаи. Так однажды Пумга осторожно выкопал из земли лапу медведя; бережно держа ее перед собой, стал объяснять Кулотке, что лапа эта охраняет его, Пумгу, от бед. А потом откуда-то привел прирученного медвежонка и, смешно, заискивающе кланяясь ему, как иконе, забормотал непонятное. Медвежонок добро урчал, тыкался мокрым носом в колени Пумги.

Кулотка, глядя на них, улыбался; кивнув в сторону медвежонка, добродушно посоветовал Пумге:

— Богу молись, а к берегу сам гребись.

Пумга радостно закивал головой, словно принимая совет.

Подняв Кулотку на ноги, Пумга стал обучать его языку тайги и тундры: как находить дорогу по снеговым волнам-заstrужинам, что оставляет ветер; как делать костры из сухого мха, расставлять ловушки-пасти для зверя, ивовые плетни для рыбы, сохранять ее в ямах; как различать след горностая и ловко снимать шкуру песца.

Когда все эти премудрости были постигнуты Кулоткой, Пумга повел его в самые обильные пушным зверем места осматривать ловушки. Он ругался и тряс кулаками, обнаружив у одной из них обглоданные росомехой кости соболя, а первого же вынутого из пасти серебристого песца подарил Кулотке со словами:

— Твой... твой... скоро сам добудешь.

За несколько месяцев, что пробыл Кулотка у Пумги, он научился понимать его речь и, усмехаясь, говорил: «Не такой я, выходит, бестолковый, как наговаривал на себя Тимофею. Верно, от сполохов у меня у мозгах посветлело».

Застенчиво улыбаясь, Пумга называл его Гульоткой, и в тоне его чувствовались привязанность к новгородцу, верность ему и гордость за возникшую дружбу.

Пумга любил петь своему другу низким, гортанным голосом о долгом пути в звездную ночь, о песцах, что таякают на рас-

свете, о бивнях древних мамонтов, воинственно торчащих меж ледяных глыб, о маленьком сыне своем Уйгане, которого спас богатырь Гулотка, о сыне, который живет сейчас в безопасности у сестры Пумги.

И Кулотка тоже ревел медведем:

Ходит синий вал
По Ильмень-озеру,
Ходит синий вал
По чисту Волхову...

Пумга слушал внимательно, в такт песне покачивал головой в меховой шапке.

Кулотка привязался к Пумге, но, когда пришла северная весна, с ее словно вновь родившимся солнцем, с чернеющими оттаявшими камнями, меж которых победно проступали камне-ломки, со снежными жаворопками, что бередили сердце своим пением, Кулотка затосковал. С непривычной для него нежностью замечал он беготню проворных белых пуночек, похожих на снежки, синие теши на тающем льду, прислушивался к перекличке токующих куличков, и его неудержимо потянуло к родному городу.

Но только поздней осенью, когда Кулотка окончательно окреп, Пумга согласился отпустить его. Сам снарядил, дал в запас рубаху из шкуры молодого оленя, заячьи носки, повез Кулотку в своей осиповой лодке-обласе. Они долго обнимались, прощаясь, и Кулотка двинулся к дому один с заплечной сумкой, набитой богатой добычей.

Он так ясно представлял себе встречу с Настенькой, радость в ее бирюзовых глазах под короткими бровками, ее круглое с золотистым пушком лицо, как скажет ей: «А я те подарки пустяшные привез, вот...» Он так ясно представлял себе все это, что ноги сами несли его к дому.

На своем пути Кулотка часто встречал холмики подтаявших льдин, среди которых водружены были кресты из лыж. «Верно, наши погибли, — думал он горестно. — Сколь безымянных храбров сложило головы в суровом крае!»

Однако эти печальные мысли скоро снова сменялись мыслями о встрече с Настенькой. Она улыбнется ему, показывая мелкие белоснежные зубки, а он, глядя на них, спросит: «Отгадай, что это: около прорубки стоят белы голубки?» И она догадается, застенчиво прильнет к нему.

Ведь вот чудо: когда бы ни думал он о Настеньке, в сердце его не закрадывалось и тени недоверия или сомнения. Он верил каждому ее слову, знал, что всегда она сумеет постоять за себя, не уронит ни своей, ни его чести. Верил, что будет Настенька

опорой и радостью, той единственной и желанной на свете, что украсит жизнь, придаст ей особый смысл.

Рядом с ней и сам он будет лучше, чтобы гордилась Настенька им, проведя легкой, теплой ладонью по его волосам, сказала: «Дитятко ты мое разумное».

И впрямь почувствует он себя дитяткой, уткнется лицом в ее плечо, станет покорным и ласковым.

А Настенька в один из таких вечеров, когда мечтал о ней в пути Кулотка, стыдливо шептала Ольге, сидя с ней на лавке возле Тимофеевой избы:

— Сказали б мне: «Выбирай, что хочешь, — аль на часок один увидеть своего Кулотку, аль злата дадим тебе весом с него». Я б, и миг не думая, решила: «Не надобно мне злата вашего, пускай Кулотка предо мной предстанет».

Ольга посмотрела на нее изумленно, неожиданно для самой себя прошептала страстно:

— Думаешь, я совсем пустошна? Мыслью легко: помани побегу? Так думаешь?

Настя замотала отрицательно головой, испуганно поглядела на подругу.

— Я себе цену знаю! — гордо произнесла Ольга и вздернула маленький нос. — И хочу сильно любить... И власть его чутить... И чтоб он без меня, как без воздуха... А я б ему — и ласку и заботу... Веришь? — Она судорожно вцепилась в рукав подруги, приблизила к ней свое лицо.

— Да как же иначе! — искренне удивилась Настя. — Так и надобно.

Ольга доверчиво прижалась к ней.

...Месяц за месяцем пробивался Кулотка к дому, снова терпя лишения и невзгоды. Чем ближе к Новгороду, тем старательнее обходил он людные места, зная, что всюду рыщут наймиты Незды и Милонег: подпоив добытчиков, ограбляют их.

Но вот наступил и долгожданный день встречи с любимым городом!

Кулотка вошел в него в тот час, когда голь стекалась на Торговую сторону. Вместе со всеми побежал и он на площадь. Круглоликие близнецы Прокша и Павша встретили его радостными возгласами:

— Здоров, Кулотка!

— Вовремя подоспел!

Они рассматривали его, словно не верили своим глазам.

— Ты чо такой бурый да тощий?

— А Тимофея нашего бросили в поруб на владычном дворе!

— За что? Когда? — рванулся Кулотка.

— За правду!

— Сегодня схватили...

Кулотка забыл обо всем на свете: о том, что мечтал переступить порог отчего дома, обнять отца с матерью, тотчас повидать Настасью, о том, что у него драгоценные шкурки за плечами, что устал. Тимофей попал в беду, и его надо было выручать.

И Кулотка закричал во всю силу легких:

— Братаны! Пробьемся к порубу! Выручим Тимофея!

— Пробьемся! Выручим! — с готовностью подхватили десятки голосов.

— Какой Тимофей-то? — на бегу, туже подтягивая веревку на рваном кожане, спрашивал возчик Гостиата у гончара с Рогатинской улицы.

— Да с Холопьем... Наш грамотник!

— Поддай! — закричал Гостиата, словно только и ждал этого ответа, и побежал еще быстрее.

ВСТАНЬ НОВГОРОДСКАЯ

Владыка медленно поднял на Тимофея глаза. Черные зрачки их были остры.

Изможденный, с еще более ввалившимися щеками, Тимофей стоял перед ним уже более получаса, сжав губы и только поглядывая исподлобья, когда владыка предлагал покаяться, рассказать о единомышленниках, дать клятву не писать более так, как писал.

— Смири гордыню, — глухо увещевал владыка, не отводя сурового взгляда от лица Тимофея, — повинись — и избежешь огня будущего...

Деятая Нечистый раздувал горн в углу избы, накалял невиданной формы плотно сжимающиеся клещи. Шум за стенами избы становился все громче, походил на рокот Волхова. Откуда-то из-под пола раздавались приглушенные стоны.

«Все едино не повредить вам душу мою, писать стану одну правду! — мысленно давал клятву Тимофей. — Правду не выжжешь огнем, не устроишь пыткой... Пальцы отрубите — зубами писать стану, кровью из ран! Что за птица без крыл, рыба без плавников! И если дан мне природой голос, как не петь правдивую песню?»

— Поклянись! Ты млад, и я прощу, сделаю соборным летописцем, — вкрадывался в душу голос владыки.

Тимофей метнул на него хмурый взгляд: «Хочешь посадить в золотую клетку и заставить каркать по-вороньи?»

Стенания под полом стали явственней. «Ради господи... помилуй мя... ради господи...» — слышалось оттуда.

Тимофей впервые разжал губы:

— Одну правду писать буду!

Владыка резко поднялся, лицо его покрылось пятнами, в уголках губ выступила пена. Не сдерживая более себя, закричал:

— Знаю твою правду, ехидново исчадь! — И тихо, словно нанося припасенный удар, произнес, подаваясь всем телом к Тимофею: — Дьяволица... твоя Ольга спуталась с Лаврентием... Что скажешь, правдивец?

Тимофей, отпрянув, задрожал от гнева; сжимая кулаки, закричал:

— Лжа! Навет! Безгрешна она! Не переломить вам душу мою! Буду правду писать, как прежде! Лжа!

Лицо Митрофана сделалось серым, нестерпимо острые зрачки жгли Тимофея.

— Не писать тебе боле вовсе! — протолкнул Митрофан сквозь стиснутые зубы и, выйдя из-за стола, тихо приказал Деяте: — Обезручь! — Быстрым шагом пересек избу, скрылся за дверью.

...На Торговой площади люд кричал, видя, как собираются недруги на Софийской стороне:

— Мост разломать!

— Взять их на щит!

— Душат гладом! На щит!

— Хлеб сеем, а мякину жуем.

— Продают нас за ногату!

Костлявый новгородец — должник, которого недавно на глазах Тимофея тащили к боярину, — взобравшись на бочку, рывком разодрал на себе рубаху, показывая исполосованную, впающую грудь, кричал:

— Понатерпелись, буде!

— Буде! — свирепо сверкнул огромными глазами обросший темной щетиной Игнат Лихой. — Кузнец Авраам — наш посадник! Мы — Новгород — избираем!

— Авраама! — подхватили тысячи голосов. — Новгород избирает!

Кузнеца подняли, передавая из рук в руки, поставили на помост. Авраам обвел площадь затуманенными от волнения глазами. «Не подведу ни в чем, послужу, как совесть прикажет», — обещали они.

Авраам низко поклонился, зычно сказал:

— Благодарю на чести, Господин Великий Новгород!

Потом выпрямился. Подняв над головой меч, крикнул, сбегая со ступени:

¹ Мелкая монета.

— Вперед! На мост!

За ним ринулись все, кто был на площади.

И на Софийской стороне, увидя эту движущуюся толпу, рванулись к мосту, словно желая первыми перебежать его.

Они сшиблись посредине, как две волны.

Петели камни и гири, били по головам молоты и топоры, вгрызались в самую гущу мечи и рогаины. Крики, стоны, вопли, лязг оружия разнеслись далеко по городу. Рваные снежные тучи, обогранные лучами заходящего солнца, повисли над мостом, казалось, окропляли его кровью.

То одна, то другая волна наступала и отступала. Боярские жены, подхватив добро и детей, прятались в подвалы — тряслась в страхе Прусская улица!

Сеча шла не только на мосту, но и под ним, на уже ненадежном волховском льду, на берегу под стенами Детинца.

То и дело с моста падали сброшенные тела, пробивая лед, шли ко дну. Игнат Лихой, падая, зацепился армяком за выступ сваи, повис над льдом. Милонег, крикнув, всадил в его спину меч. Иные, сброшенные с моста, придя в себя, снова лезли по сваям вверх, в гущу драки.

Кулотка, взяв обеими руками свинцовую булаву, отнятую у боярского сына Нестряты, крушил ею направо и налево. Лицо его, опаленное северным снегом, обрамленное густой курчавой бородкой, казалось бронзовым. В пылу сражения он не почувствовал, как чей-то меч случайно срезал у него на спине мешок со шкурками и они полетели под ноги дерущихся. Наоборот, ощутив неожиданное облегчение, Кулотка с еще более веселой остротой прокладывал себе путь.

Торговая сторона явно теснила Софийскую. И тогда вдруг, словно какой-то успокоительный ветер прошел по мосту, руки, поднятые для удара, стали опускаться, свержая крестное знамение.

— Владыка, владыка! — пронеслось в толпе.

Он спустился с Епископской улицы и, не торопясь, шел посредине моста. Впереди архимандрит и игумен несли чудный крест и образ святой Софии — белого крылатого ангела под сияющей звездой. Они подносили крест и образ к губам остывающих от битвы воев и шествовали дальше.

— Дети мои! — говорил владыка, умиротворяюще поднимая десницу. — Не соступайтесь на бой! Примиритесь! Господь против кровопролития...

— Не верьте ему! — раздался одинокий голос Авраама и замер, будто повис в воздухе.

Привычная сила повиновения была столь велика, что враждующие волны отхлынули друг от друга.

И в это время в тыл черни ударил владычный полк. Он появился с развернутым знаменем, как на поле боя, обрушился всей силой своей на чернь. В первое мгновение она растерялась, заметалась меж двух стен. Но замешательство продолжалось недолго. Измена удесятирила силы. Все руша на своем пути, восставший люд стал еще упорнее пробиваться через мост, к владыке. Защищенный стеной воев, Митрофан уже успел возвратиться на Софийскую сторону и, стоя у Пречистенских въездных ворот Детинца, возле вековой сосны, наблюдал за продолжением боя, всем видом своим показывая, что бессилен как-либо унять враждующих и то, что произошло, от него не зависит.

Но вот он встревожился, лицо его побледнело: на владычный полк напали свежие силы мятежников, теперь полк дрогнул и побежал.

А по мосту упорно пробивались все ближе и ближе к владыке Авраам, Кулотка, Прокша и Павша. Распаленный Кулотка показался владыке самим сатаной.

Митрофан услышал его крик: «Ждешь, кроволитец?!» — и, подхватив ризу, старчески перебирая тонкими ногами, засеменил к открытым дверям Софийского собора.

...На Волхове меж льдин плавали трупы. Черные волны жадно заглатывали их.

Покрывая голосом шум сражения, кричал Кулотка:

— Нажми, голода, руби змеюк! Чай, не блох чесать! Нажми!

Дедята Нечистый подошел вплотную к Тимофею, держа в руках раскаленные клещи. Тимофей невольно отступил.

— И не таких укорачивали, — упершись единственным, свирепым оком в Тимофея, прохрипел Дедята и вдруг схватил его клещами за кисть правой руки.

Раздался хруст расплюснутых пальцев, нечеловеческий крик, запахло паленым мясом.

Тимофей побледнел и, потеряв сознание, рухнул на земляной пол.

Дедята презрительно поглядел на неподвижное тело, сплюнул:

— Кончился летописец.

Тимофей пошевелился. Дедята взял в углу ведро, наполненное водой, с силой окатил Тимофея. Тот приподнялся на левой руке, оглядел избу мутными глазами. Темные волосы прилипли к его лбу, с них на потрескавшиеся губы стекала вода.

— Занеможел, птаха? — поднимая его с пола за цепочку нательного креста, с напускной участливостью спросил Дедята и, встряхнув, свирепо закричал: — Станешь, как прежде, писать?!

Тимофей выпрямился, бесстрашно глядя на мучителя, сказал хрипло:

— Не заставишь накриве... Как прежде буду...

— Брешешь, кончился летописец! — зарычал Нечистый и уже остывшими клещами потянулся к кисти левой руки Тимофея.

Он не успел дотянуться — с грохотом распахнулась окованная дверь избы, и на пороге ее появился Кулотка. Зипун висел на нем ключьями, лицо было в кровоподтеках, светлые кудри колтуном скатались на непокрытой голове.

Кулотка с порога прыгнул на Дедяту, но тот, отбросив клещи, выхватил из-за голенища нож и всадил его по рукоять в грудь Кулотки. Кулотка упал на палача, придавив его своим телом. Железные пальцы его дотянулись до горла Дедяты и разжались только тогда, когда Нечистый омертвело выпрямился.

Тимофей бросился к Кулотке. У него хватило сил вытащить нож из груди мертвого друга, и он снова потерял сознание.

Изба наполнилась новгородцами, пробившимися через мост Авраам склонился над Тимофеем, обмотал искалеченную руку тряпкой, Павша и Прокша поднесли к губам Тимофея склянку с вином, добытую у Милонеге. В избу вбежала маленькая, похожая на девочку, Настасья.

Услышав, что Кулотка появился в городе, она, схватив острогу, устремилась к мосту — где же еще ему быть! И там, увидя его впереди, стала пробираться к нему. Но ее все оттирали, и она упустила его из виду. Сейчас, вбежав в избу, Настасья остановилась, как в столбняке, с ужасом уставилась на Кулотку. Он лежал на спине спокойно, словно на время уснул, только впадины глаз пугающе окаменели.

Настасья с рыданием бросилась к нему на грудь; никого не стыдясь, закричала:

— Суженый мой! Очнись, суженый мой!

Прижимая к груди искалеченную руку, пошатываясь, Тимофей вышел из Одрины на владычный двор. Неясно проступал в темноте Софийский собор.

«За белыми стенами — черные души! — с ненавистью поглядел на него Тимофей. — Кто, как не вы, подослали убийц к моему отцу!»

Тимофей долго брел домой.

По улицам еще металась в ночи смоляные факелы.

Бой затих, и только кое-где, как переключка, слышались в темноте гулки от близости Волхова голоса:

— Владыка-то сбежал из города.

— Утек, подлюка... Житницы с собой не унес...

— А Нездиного щенка давень за город вывели, ларь какой-то отняли, пинок дали — не попадайся боле!

— Рыло-то ему ктой-то отменно расписал!

— Эх, в монастырях знатно порастрясли боярское добро!

— А чо горит?

— Хоромы Незды и Милонеге...

Все это происходило где-то рядом с Тимофеем, глубоко не задевая его сознания.

На Торговой стороне полыхали дома. Огромные языки пламени взметались к небу, зловеющие отсветы их недобро играли на мрачной воде Волхова.

Но Тимофей шел словно в черном непроницаемом тумане, ничего не видя. Нет Кулотки, нет... И как теперь без руки писать?

Валил мокрый снег. Багровые искры пожара сплетались с хлопьями снега, казалось, мела невиданная пурга. Одежда прилипла к телу Тимофея, мучительно болела рука. Он ткнул ногой дверь своей избы. Одиноким огоньком горела, потрескивая, лучина. Ольги не было.

«Верно, у соседей, — подумал Тимофей и невольно вспомнил то, что говорил о ней владыка. Гнев захлестнул его: — Лжа! Не могла Ольга изменить! Затравить меня хотите! Лжа!»

Он стал на колени возле лавки, положил голову на шкуру, прошептал нежно:

— Поклеп не коснется тебя, любя моя! Не бойся, не коснется.

В памяти неожиданно возник разговор об Ольге с Авраамом. Отгоняя его прочь, Тимофей успокаивал себя мысленно: «Не все след принимать, что по реке плывет, не всему верить, о чем люди говорят».

Он вспомнил вишневые косточки, что собирала Ольга в ладошку в темноте.

— Нет, нет ее провинки! Изолгали!

И вдруг почувствовал что-то твердое под щекой. Увидел на шкуре нож Лаврентия, оброненный им, тот поясной нож с черенком в серебре, что подарил ему когда-то в ладье, после боя у Отепя.

Тимофей задохнулся. Казалось, сердце остановилось. Он схватил здоровой рукой этот нож, как змею, глядел на него с ужасом и ненавистью. Рыдания подкатили к горлу, все тело его содрогалось.

С бешенством швырнул он нож, и тот вонзился в пол у порога.

А подлая память услужливо подсунула: река... и он с Ольгой, и ее ответ: «Сила». Всплыло жирное лицо Лаврентия: «И это сила?» И еще... как-то Ольга сказала о Настасье: «Ну

чего она ждет Кулотку? Слова не давала, а девичье дорогое время теряет». Тимофей тогда впервые закричал на нее: «Да ты смыслишь, что говоришь?!»

Ольга прижалась к нему, заласкалась: «Пошутила я, пошутила... Ну что ты все к сердцу так близко берешь?»

Нет, не шутила она, просто вырвалась муть из глубины души. Как мог он жить столько под одной кровлей, не ведая, кого пригрел?

С полки свешивалась плеть, когда-то врученная ему отцом Ольги. Исполосовать? Или притвориться слепцом? Будто ничего не увидел, не понял?

Он застонал от боли.

— Нет, не могу! Вырвать из сердца! Или задушить своими руками!

Тимофей закричал зубами, сердце раздирала боль, она была сильнее, чем боль в руке.

В сенях стукнула дверь, и на пороге появилась запыхавшаяся, порозовевшая от быстрой ходьбы Ольга, воскликнула радостно:

— Выпустили?

И нежданно в глубине души его пробилась робкая надежда: «Сейчас прояснится... Ничего не было... все по-старому» Это возникло как мольба к жизни — пощадить его хотя бы здесь.

Ольга хотела броситься к Тимофею, но, увидя выражение его лица, налившиеся кровью глаза, кулачки руки с окровавленной тряпкой, нож у порога, смертельно побледнела.

От страха лицо ее стало некрасивым, она рухнула на колени, завывала:

— Нет вины моей!.. Нет!.. Прости!

В неистовстве Тимофей подбежал к ней, схватил за руку так, что Ольга вскрикнула.

— Что, что простить?

Она закрыла глаза, готовая на смерть, на побои. Тимофей гадливо отшвырнул Ольгу от себя, приглушенно стелая, выбежал на улицу.

Ольга продолжала лежать ничком на полу. Что могла она сделать? Как доказать, что ничего не было, когда кругом вивата? Принимала подарки, скрытничала...

И сегодня Лаврентий пришел под вечер — она только зажгла лучину, — сразу показался ей каким-то странным, взъерошенным.

Поставил на стол тяжелый ларь; отбросив крышку его, прошептал, ликуя:

— Гляди!

В ларе навалом ожерелья, кресты, перстни, браслеты, золотые с эмалью колты и камни, камни... От их ослепительного сияния Ольга даже глаза зажмурила, а когда открыла — невольно залюбовалась чудной игрой лучей.

Лаврентий же, довольный произведенным впечатлением, ближе пододвинул к ней ларь:

— Да ты погляди! Захочешь — все твоим станет! Погляди!

Она отстранилась, строго сказала:

— Не надо! Ты уходи! — Не хотела и разглядывать все это, когда Тимофей в беде. — Уходи!

Но Лаврентий протянул ей золотое оплечье:

— Да ты только примерь! Ну чего боишься? Примерь скорее!

Оплечье красоты невиданной: на золотых пластинах, нежно раскрашенных по эмали в изумруд и синь, сидели птицы у древа жизни.

Рука Ольги невольно потянулась приложить оплечье к груди, полюбоваться, как станет выглядеть.

И вдруг Лаврентий набросился. Рот слюнявый, расквашенный, глаза юродивого...

Она задохнулась от неожиданности, гадливости, ударила его по лицу ожерельем, убежала, плача, к соседям, рассказывала им обо всем... И вот эта страшная встреча с Тимофеем...

Да, он вправе, вправе не верить ей, подлой!

Ольга уткнулась лицом в пол и зарыдала.

Только теперь она поняла, как свята и верна Тимофеева любовь, как не ценила она ее... Пусть он безмолвник, а кому она, Ольга, более, чем ему, надобна?

Она вспомнила его жениховский подарок — заставку, что с таким пренебрежением сунула за божницу, и сердце заныло еще сильнее: не умела ценить, ни во что ставила его...

А теперь не поверит... Лучше б убил или хоть ударил — легче б стало.

Как, как убедить его, что соблюла верность? Может, пойти к владыке, броситься в ноги и признаться во всем, чтобы наказал ее, но и вернул Тимофея? Может, пойти к отцу и повиниться, что не дорожила мужем, что в голове дурь сидела, и пусть он, отец, накажет ее? Или на улице пасть к ногам Тимофея, обхватить их и не выпускать, пока не поверит?

Ей на секунду представилось, никогда больше не будет Тимофеем, как голубь-бормотун, шептать ей ночью слова откровений, и станет она ему чужой-чужениной, неверной, брошенной женой.

— Не могу без тебя — в петлю кинусь! — крикнула она при

мысли об этом бедстве и громко, жалобно заголосила, омывая слезами душу: — Тимоша, за что ты... Тимоша...

На улице Тимофея обступила темень. Где-то недалеко громыхал гром. Продолжал идти липкий снег.

Сердечная боль погнала Тимофея к дубу над Волховом. Гроза приближалась. Это была та необыкновенная зимняя гроза, о которой потом еще долго с недоумением упоминали летописцы.

Вспышки молний следовали одна за другой, и тогда видно было, как внизу, в проломах льда, бурлили и метались черные волны, тянулись к черному небу.

С непокрытой поседевшей головой стоял Тимофей у дуба, напряженно вглядываясь в пляшущие волны, будто силился рассмотреть в них что-то.

С раздирающим уши треском ударила молния в дуб, возле которого стоял Тимофей, опалила дерево.

— Почему не в меня, почему не в меня? — как в бреду, вопрошал Тимофей темноту.

Он шагнул к обрыву. Ему почудилось: волны теперь тянутся к нему, зовут его. Снова к измученному сердцу прихлынуло все: коварство Незды... владыка, что толкал ко лжи... пытки... гибель Кулотки... предательство Лаврентия... и Ольга... Не во что верить... нечего ждать...

На мгновение в обезумевшей голове мелькнула больная мысль: «Все кончено, затравили, растоптали, к чему противиться?»

Небо снова прорезала молния. Опаленный дуб продолжал гордо стоять над обрывом, воздевая черные ветви к небу, будто угрожая ему.

Пальцы левой руки Тимофея случайно коснулись костяного стержня для письма, что неразлучно висел у пояса. Казалось, стержень напомнил о себе, и Тимофей нежно погладил его.

«Лживите, не кончился летописец Тимофей, еще не всё вы у меня отняли! — Он до боли сжал зубы. — Когда плавят, зерна железа слипаются в крицу... Где взять сердцу твердость, как стеснить его в крицу?»

Тимофей снова нежно прикоснулся здоровой рукой к костяному стержню: «Нет, верю в правду... в честных, простых людей...»

Он медленно повернулся спиной к Волхову и пошел к избе Авраама.

Навстречу бежала простоволосая женщина, кричала горестно:

— Тимофей, Тимоша!

«Оленька!» — радостно дрогнуло сердце, и, повинувшись

только ему, Тимофей бросился к Ольге, прижал ее к себе, целуя мокрые, соленные от слез щеки, забормотал, успокаивая:

— Не надо, Олюня, не надо... верю... Хотя весь свет... верю...

По небу разметалось гневное зарево пожара. Пламя бушевало теперь на вечевой площади, перекинулось к Великому ряду, охватило Нутную улицу, пробиралось по мосту к Софийской стороне. Горящие головни осыпали крыши домов.

Над городом кружила красная метель.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Как-то был я на раскопках древнего Новгорода. Ученые-археологи и сотни их помощников откапывали перекресток Холопьев и Великой улиц.

Перед нами возникали остатки усадеб, построек, древние мастовые. Земля заботливо сберегла следы родной старины: мастерскую кузнеца и детские костяные коньки, стремяна и посох с вырезанной на нем мужской головой, сапожные колодки и глиняные тигли с прикипевшей бронзой...

Но ни с чем не сравнимую радость приносили найденные грамоты на бересте: с помощью этих грамот древний Новгород вдруг заговорил с нами десятками голосов.

Грамоты, часто похожие на свернутые кольца из коры, как величайшую драгоценность, доставляли в лабораторию, построенную здесь же, возле раскопок, промывали горячей водой, осторожно расправляли, высушивали, чтобы затем разобрать, о чем в них поведали нам новгородцы.

Вот в одной усадьбе найдено одиннадцать грамот, написанных каким-то мальчиком Онфимом. Эту находку ученые назвали «Архивом школьника». Онфим жил тогда же, когда и Тимофей, и, видно, на этих полосках бересты учился писать и рисовать.

На одной широкой полоске он процарапал: «Поклон от Онфима», на другой нарисовал человечков — толстого и тощего, на третьей опять проступают буквы.

Кто обучал Онфима? Может быть, Тимофей? Может быть, Онфим и есть тот мальчонка, с которым передавал Тимофей письмо Аврааму?

Все новые и новые древние письма находят ученые — сотни грамот!

А сколько их еще хранит земля! Кто знает...

Не хотелось уходить из лаборатории. Но что это проступает на бересте?

«У попа... два горшка масла, а у Нездыле...» Нездыля? Да не родич ли это посадника Незды?

Я волнуюсь все больше, и волнение усиливается с каждой вновь найденной грамотой: а вдруг... а вдруг разыщут Тимофеево «Слово»?

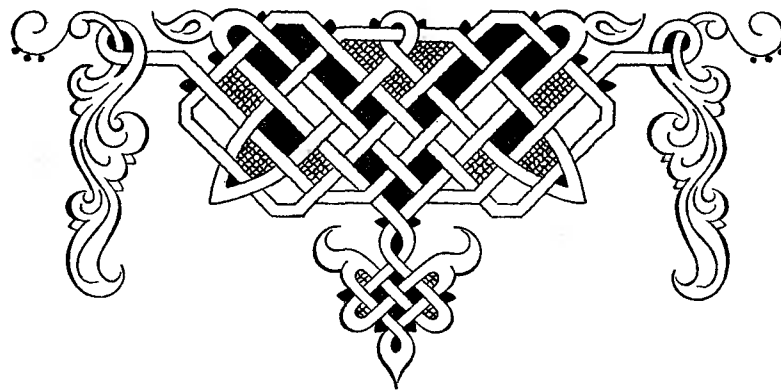
Страстно, всем сердцем верю: правдивая летопись, написанная неподкупным Тимофеем, лежит где-то в земле и ждет своего открывателя.

Я даже вижу ее наклоненные буквы на коре, процарапанные с огромными усилиями левой рукой.

И когда найдут наконец и прочтут эту летопись, еще ближе и дороже станет нам Тимофей с Холопией улицы.

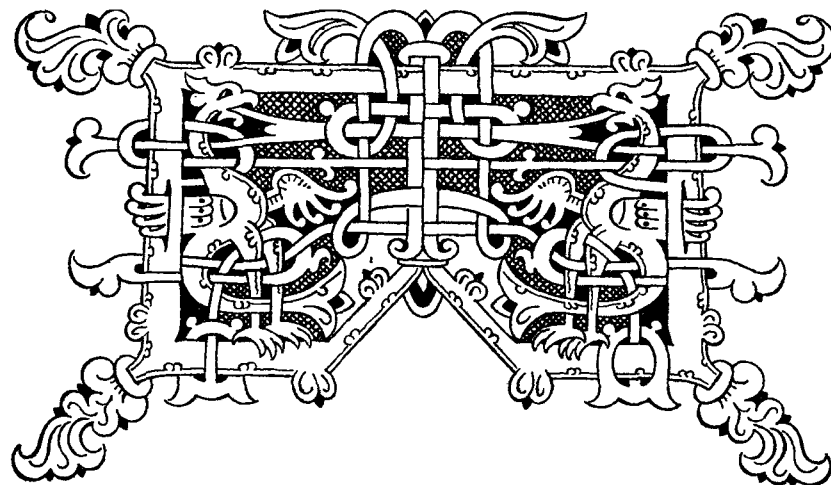


Ханский ярлык



Град сей славен будет во всех
градах русских, и въздут руки его
на плеща врага его.

Из летописи



ВОССТАНИЕ В ТВЕРИ

Но широкой главной улице Твери в город въезжал с отрядом сильным двоюродный брат хана Узбека — баскак Чолхан Дедентьевич.

Вороной конь его с белым пятном на лбу грыз удила, косил по сторонам.

На Чолхане — белый шелковый халат, островерхая шапка из войлока. Злое лицо его с черной бородой, черными редкими усами, сабельным шрамом на смуглой щеке надменно окаменело.

Тверичи, стоя у ворот своих дворов, хмуро глядят на пришельцев: скуласты недобрые татарские лица, непонятна, ненавистна речь.

О Чолхане, внуке хана Менгу-Темира, слышали — безжалостен: чтобы доказать свою верность Узбеку, убил сына родного. Да и по обличью сразу видно — кроволитец.

Позади Чолхана едут богатые татары в синих, красных халатах, войлочных белых шапках, а дальше растянулся отряд. На кого ни глянь — рыскают свирепые, как у голодных волков глаза.

У дворов бормочут:

- Ишь, пуза наели на хлебах наших...
- Оголодали, нехристи, Русскую землю...
- Щелканья стая...

Востроносенький мальчонка лет восьми — Матвея-кольчужника сын, Петянька, — привлеченный яркими халатами, побежал возле отряда. Татарин с урезанным ухом хлестнул малыша плетью через плечо. Петянька залился кровью, упал в пыль. Мать подбежала к нему. Укрывая телом своим, закричала бесстрашно:

- Не смеешь, басурман, дите бить, не смеешь!

Татарин и ее хлестнул раз, другой. Лицо его перекосилось от злобы:

- На колени, помет собачий! Не сметь на могучего хана глядеть, на колени!

Заставив женщину пригнуться, он поскакал вдогонку отряду. Залаяла вслед собачонка. Татарин на ходу пустил в нее стрелу, пригвоздил к земле.

Почти все тверичи спрятались, притаились, над городом нависла зловещая тишина.

Едет главной улицей Твери отряд Чолхана Дедентьевича.

На краю площади, возле избы, стоят юноша с девушкой, смотрят на татар с любопытством и испугом. Через три дня свадьба назначена. Как же теперь?.. Молодой татарин с широким вдавленным носом, хищно изогнувшись, метнул аркан. Петля захлестнула шею девушки, приглушила ее вскрик. Татарин, подтянул по земле девушку к себе, забил кляпом ей рот, поволок за конем. Все это произошло так мгновенно, что жених оцепенел. А придя в себя, бросился на защиту невесты. Но десяток татар наскочили на него, стали топтать конями, рубить саблями и, оставив позади себя кровавое месиво, продолжали путь.

Чолхан въехал на княжеский двор. Бледному тверскому князю Александру процедил сквозь зубы:

- Убирайся с глаз, здесь я сяду.
- У меня ханский ярлык... — начал было Александр, но, увидев побелевшие от ярости глаза Чолхана, торопливо пошел собирать семью.

Еще тревожнее стало в Твери. От избы к избе передавали в смятении:

- Щелкан требует с каждого по шкуре соболя, бобра и лисы.
- Да отколь же нам взять для него, проклятого?
- Кто не даст — детей отбирает...
- Говорят, навсегда князем сел, нашу веру сменить заставит...

— Насмеханье!

— Дракон лютый!

— Тверские города баскакам раздаст...

В городе начался разбой. Татары ходили по избам, брали что приглянется, набивали добром свои переметные сумы.

Чолхан, подбоченясь, сидел на коне посреди городской площади. К нему подводили непокорных, били палками и кнутым; разжигая докрасна железо, ставили на щеке признак.

Гнали мимо девушек со связанными назад руками. Они шли плечом к плечу, пригнув головы, пыля босыми ногами. Чолхан, подняв плетку, властно остановил пленниц. Оглядел их сузившимися глазами, раздув ноздри, отрывисто приказал сотнику:

- На мой двор!

Сотник завистливо ухмыльнулся. Подойдя к высокой простоволосой девушке, плетью приподнял подбородок:

- Эй, эй! Веселая нада! Вперед...

Чолхан отвернулся. Холодными глазами смотрел на то, что происходило вокруг. На его острокнутом лице написаны были и торжество, и жестокость, и презрение ко всем этим, кому время от времени надо было напоминать о грозной власти повелителей мира.

Он чувствовал себя властителем урусов и у каждого из них словно ощупывал мускулы — на что согдится: убить ли сейчас или тащить на аркане степью. А брату — великому хану Узбеку — он скажет: «Нарушил твою охранную грамоту, выданную тверскому князю, потому что подлые осмелились не повиноваться, поносили тебя». «Великий Узбек одобрит расправу», — решил он и успокоился.

Следующий день был праздник Успения. Да какой это праздник — глаза бы на свет не глядели!.. Дьякон Дюдько — всей Твери известный кутила — проснулся на зорьке, вспомнил все, что вчера свершилось в городе, и сердце заныло. Он встал — большой, неуклюжий, — оделся, заглянул в конюшню. Мирно хрустела овсом тучная соловая кобылица. Выкупать бы ее, да как проведешь к воде, когда всюду басурманы шныряют? Э-э, волков бояться — в лес не ходить!

Дюдько подтянул туже веревку на своей рясе, набросил попоу на кобылицу и вывел ее на улицу.

Было тихо. Солнце вишнево окрасило небо. Пахло утрепней речной водой. Нигде ни души. Купались в пыли на дороге воробы. Прокричал в дальнем конце улицы петух.

Дюдько начал уже спускаться к Волге, когда навстречу ему показались три верховых татарина без луков. Поравнявшись с

¹ Светло-желтая.

дьяконом, один из татар соскочил с коня на землю и, ухватив за повод Дюдькову кобылицу, крикнул гортанно, словно пролаял:

— Моя!

— Брешешь, ворюга, не твоя! — а сам отступил поближе к забору, что шел вниз по спуску.

Татарин налился злой кровью, рванул повода сильнее:

— Моя!

Рукой потянулся за саблей.

Неожиданным рывком Дюдько выхватил из забора дрекольё и с такой силой ударил им по голове татарина, что тот повалился замертво. Дюдько вскочил на свою кобылицу и, преследуемый двумя татарами, помчался по улице, крича громовым голосом:

— Тверичи, на помочи! Не выдавай, на помочи!

Отовсюду выскакивали люди с топорами, вилами. Татары, злобно озираясь, свернули в переулочек — побоялись преследовать дьяка.

Дюдько подскочил к вечевому колоколу. Ухватившись за веревку, повисая на ней грузным телом, зазвонил что было силы.

Тревожный гул поплыл над городом, вызывая сполох. Город не спал и, казалось, только ждал этого набатного звона.

Ненависть к мучителям была столь велика, так рвалась наружу, что стоило Дюдько позвать на помощь, как город кинулся к нему.

Не было больше сил терпеть издевательства, покорно пригибаться при свисте татарской плети, безропотно сносить гнет. Хватит! Только ждали подходящее время.

А Дюдько, подоткнув за веревку полы рясы, взлохмаченный, с неистово горящими глазами, все раскачивал било, кричал трубно:

— Буде терпеть! Иль мы боле не воины? Бей окаянных грабителей!

На площадь сбегались все новые и новые тверичи; вооруженные топорами, оглоблями, молотами, толпой валили к княжескому двору. Впереди с пикой в могучих руках, тяжело дыша, бежал кольчужник Матвей. Заглушая шум толпы, кричал зычно:

— Позмельчить грабителей! Позмельчить!

Ворвавшись в терем, тверичи стали сбрасывать татар с чердаков, из окон, добивать в конюшнях и амбарах. Татарин с широким вдавленным носом спрятался в погребе. Матвей выволок его оттуда, связал и потащил к Волге — топить. Татарин визжал, извивался, как угорь, зубами ухватился за безлистную ветку низкорослого кустарника. Матвей вместе с кустом отодрал татарина от земли, поволок дальше, глухо, гадливо приговаривая:

— Завизжал, как бес пред заутреней. Ранее думал бы!

Освобожденные пленницы с радостным плачем выбежали из ворот княжеского двора.

Чолхан и два его сотника отбивались в широких сенях от наступавших тверичей. Улучив момент, татары скрылись за дверью, привалив к ней лавки. Из бокового окошка вылетела татарская стрела, наповал убила Матвея.

— Что попусту люд терять! Поджечь терем! — закричал высокий молодой тверич с белыми, как лен, волосами и стремительно бросился вниз по лестнице.

Пламя восстания перебрасывалось и на боярские хоромы.

— Пожгем кровопивцев! — потрясая вилами, бежал по улице худой, с изможденным лицом бочар Спиридон Беспалый, и глаза его полыхали ненавистью. Рваная рубаха прилипла к костлявым лопаткам.

Догоняя его, опережая, бежали слободские люди:

— Бей богатеев!

— Одно зверье!

— Боярина Воркова в огонь!

Воркова люто ненавидели за жестокость, за то, что обирал до нитки, измывался над беднотой.

— Осмолить лиходея! Натерпелись!

— В огонь!

Ревущим, неудержимым потоком растекались по улицам, врывались в боярские дома. Гнев клочкотал, плавил сердца, и не было на свете силы, которая смогла бы сдержать, затушить его, пока не насытится он справедливой местью.

Ночью над городом стояло зарево от пожара. Догорал проклятый Щелкан, чадили хоромы бояр. Затихли колокола. И опять казалось — вымер город. Но никто не спал. Понимали: теперь жди Узбекова погрома. Стали укладывать пожитки, готовиться к уходу в леса.

МОСКОВСКОЕ УТРО

На вытопанной площади шумел московский базар. Крестьяне в рваной одежде продавали с телег овощи, лесные ягоды, муку. Надрывался продавец репы. Девчонка с лукошком яблок зазывала тоненьким голоском:

— Садовые, медовые, наливчатые, рассыпчатые!

Раздували горны литейщики, переругивались мужики, по-детски трогательно кричал козленок, трудолюбиво постукивали молотками сапожники. Блиnnики посреди площади пекли блины и оладьи.

— Квасу, квасу!

— А вот кому калачей горя-а-чи-их!

Из открытых дверей кузниц раздавался перезвон паковален.

На лотках, вскидываясь, трепыхала рыба. То там, то здесь валялись рогожи — укрывать в дождь себя и товар; преграждали дорогу возы с овощами, горы корзин и горшков. Слышны были выкрики, говор, неистовый визг поросят, выставивших розовые морды, хлопанье птичьих крыльев. Пахло свежим сеном, топленным молоком и грибами.

Возле одного из лотков продавал рыбу, мрачно поглядывая из-под нависших, спутанных бровей, огромный черноволосый мужик Степан Бедный из Подсосенок. Рядом со Степаном, небрежно скрестив руки на рогатине, стоял его друг охотник Андрей Медвежатник, ладный кудрявый парень с глубоким шрамом над правой смоляной бровью, как бы продолжением ее. Шрам этот, оставшийся от той поры, когда одолел Андрей медведицу, лица не портил, только делал его жестче и мужественнее.

Странной была дружба между Андреем и Степаном. Казалось бы, что могло их связывать? Степану — под пятьдесят, Андрею — вполовину меньше; у Степана большая семья, Андрей только недавно женился на старшей сестре княжеского постельничего Трошки и перебрался в Подсосенки. Степан был хмур, молчалив; Андрей любил громко посмеяться, позубоскалить, славился неумной силой: таскал зараз по три мешка зерна, устраивал карусель — клал на плечи коромысло или палку, на концы цеплял с дюжину ребят и крутил их, хохоча во все горло. Как-то мост через речку провалился. Так он один поднял его, положил себе на спину и держал, пока телега не проехала. Андрея и тур на рогах метал, и разъяренный медведь на него наваливался, а все бог миловал: выходил целехонек. Степан иного склада: осмотрителен, вброд не пойдет без палки; прежде чем решить что, долго обдумывает — не вышло бы какой беды. Но беда словно подстерегала его: то скот боярина Кочевы потравит поле, то сборщик снова припишет уже возвращенный долг. После каждой такой неудачи Степан становился еще мрачнее и неразговорчивее.

И все же Степана и Андрея влекло друг к другу. По недомолвкам, осторожным словам чуяли, что мыслят едино.

Базарный шум разрастался.

— Пойду потолкаюсь, — сказал своему другу Андрей Медвежатник и, распрямив плечи, вразвалочку пошел меж возов, пощелкивая лесные орехи, далеко выплевывая скорлупу.

Согбенный слепец-гуслир, держась за плечо поводыря, пробирался по гончарному ряду. Верзила с фартуком из рогожи, в дырявых портках широко шагала, ни на кого не глядя, вскинув на плечо кувалду. Слепец уселся на скамеечку посреди площади,

пристроил на коленях гусли и, склонив набок белоснежную голову, будто вслушиваясь в рождающие звуки, стал проворными пальцами перебирать струны, напевая скороговоркой:

Встань, пробудись, мое дитятко!
Сними со стены сабельки
И все-то мечи булатные.
Ты коли, руби сабельками
Богачей, лиходедов-татар.
Ты секи, кроши губителей
Все мечами да булатными...

Хмурая толпа, окружившая гуслира, слушает молча. В его деревянную чашку сыплются монеты, куски хлеба, огурцы.

Андрей протиснулся ближе к гуслиру. «Как люто ненавидят поганых ордынцев и богатеев, — думает он, глядя на суровые лица. — И есть за что. Обдирают нас богатеи до последнего!»

В прошлом году, пока ходил на охоту, мать надорвалась, работая на землях Кочевы, умерла тихо и безропотно. А отца еще несколько лет назад придавило бревном при постройке Кремля — лежал теперь без движения, глядел так, будто внился, что в живых остался.

Задумавшись, двинулся Андрей дальше. Остановился на краю площади посмотреть, как играют в «кружок» двое босоногих ребят. Один из них, в холщовой рубашке, бросил на землю шага за три от себя кольцо и пригнулся. Другой, с веснушками по всему лицу, разбежавшись, прыгнул ему на спину и, сидя там, ловко кидал заостренную железку в середину кольца. И пока попадал он в кольцо, все сидел на спине у друга, а тот покорно подавал железку. Но вот веснушчатый промахнулся и подставил теперь свою спину.

Андрей, подойдя к ним, с напускной серьезностью спросил:

— В каком ухе звенит?

Мальчонка в холщовой рубашке вскинул на него темно-серые глаза, не задумавшись, ответил:

— В левом!

— Да ты, чай, слышал? — весело рассмеялся Андрей и поинтересовался: — Звать-то как?

— Лазарь.

— Ну что ж, имя христианское. Ты, Лазарь, не горюй, что долго спину гнул. Теперь, вишь, твой черед кататься. Может, и мы еще кого со спины сбросим...

Мальчишки, не понимая, слушали его. Когда отошел, проводили недоуменными взглядами.

Андрей возвратился к рыбному ряду. Степан был чем-то встревожен.

— Ты чего? — спросил Андрей.

— Слышь, говорят, — приглушил голос Степан, — в Твери неладно... Горит...

— Что горит?

— Кажись, татары город жгут... А иные сказывают — их побили да пожгли...

Трудно было понять, кто принес эти вести. Но они распространялись с непостижимой быстротой, обрастая слухами, и, хотя толком никто не знал, что же произошло в Твери, всех охватила тревога.

В это утро московский князь Иван Данилович проснулся по обыкновению рано, когда мутноватый рассвет с трудом пробился сквозь слюдяные окна опочивальни.

Потянувшись до хруста, пробормотал:

— Солнышко-то нас не дожидается, — и негромким, хриловатым от сна голосом крикнул: — Трошка!

Низкорослый чернявый постельничий Трошка будто из-под земли вырос, уставился на князя с готовностью.

— Убери постель, в мыленку пойдем...

В мыленке пар клубился у потолка. В одном углу иконка стыдливо тафтой завешена, чтоб не видала житейских дел, в другом, рядом с шайками и кадиями, — гора веников. На пол душистая трава натрушена, запах ее сладостно раздувает ноздри.

Намывшись, чуть разморенный князь помолился в прокуренной ладаном крестовой, привычно кладя поклоны на бархатные подушки перед иконостасом во всю стену, бормоча бездумно:

— Боже всеильный, боже милостивый...

В крестовой церковная тишина. Стоят у стены прутья вербы, красным цветком застыл светильник у иконы пресвятой богородицы, писанной самим митрополитом Петром.

Из крестовой Иван Данилович прошел в хоромы к жене.

Княгиня Елена — молодая, некрасивая, с землистым лицом, — сидя на кровати, вяло расчесывала жидкие косы, снимала с деревянного гребешка пучки волос.

— Как здоровье, как почивала? — подходя к жене, заботливо спросил Иван Данилович, и в глазах его появилось выражение участия и жалости.

Княгиня только головой покачала: мол, как всегда, неважно. Приложив руку к груди, с трудом глубоко вздохнула — что-то там давило дено и ношно.

Князь подошел к колыбели, где лежал Андрейка, улыбнулся, глядя на маленькую, беспомощную головенку сына. Кожа на голове была тонкая, как мешочек сваренного всмятку яйца, чуть прикрыта редким темным пушком.

Подивился хрупкости игрушечной руки, выпростанной из-

под одеяла, крошечным ногтям на пальцах. Самодовольно подумал: «Нос-то вроде моего — долгонький!»

— Пойдем, Еленушка, к заутрене, а там и в трапезную пора, — мягко сказал он жене.

...Ел князь не спеша, похваливал стряпуху Меланью. Да и впрямь пирог с луком и говядиной получился отменный. Не любил в еде излишеств. Вчера у боярина Шибеева придумали на обед подать лебедя в сметане. К чему это? Лучше попроще да посытней.

Иван Данилович допил, похрустывая чесноком, брагу, огладил усы и сказал, словно сожалел: «Сколь ни пировать, а из-за стола вставать... Ну, спаси бог». Вышел на высокое крыльцо хором и, вольно распахнув темный суконный кафтан, слегка расставив длинные крепкие ноги, стал всматриваться в даль.

Было князю лет под сорок, но невьющаяся борода, стекающая с худощавого лица неровными мягкими струями, делала его старше на вид. Большие удлиненные глаза казались простодушными, смеющимися, только в глубине их таилась все примечательная хитрость, и когда Иван Данилович был уверен, что никто этого не замечает, взгляд серых глаз становился острым, даже жестким.

Лицо его часто меняло выражение. Особенно изменяли выражение лица губы. Бледные, тонкие, когда он сосредоточенно думал или властно приказывал, в минуты опасности они совсем исчезали, поджимались, и это сразу делало его старше, суровее. Когда же Иван Данилович, как сегодня, бывал настроен благодушно, губы его словно бы становились полнее.

По небу быстро бежала тучка, зеркально поблескивали пруды, со стороны Торга доносился приглушенный шум.

Город грелся в лучах скупого осеннего солнца. Вдоль реки тянулись заливные луга, а дальше, насколько хватал глаз, расстилался дикий, дремучий бор. Он точно панцирем прикрывал город, сверху похожий на ладонь в ломаных линиях — закоулках.

Князь увидел под крыльцом грузного боярина Кочеву.

— Поднимись-ка, тысяцкий, — позвал он.

Тот поспешно полез наверх и вскоре стоял рядом, низко кланясь.

— Запыхался? — спросил Иван Данилович, с усмешкой поглядывая на воеводу.

— Чего там... такое дело... самую малость... Туда-сюда...

Красноречием тысяцкий не отличался. Был он прежде сборщиком мыта на путях и базарах, потом верой и правдой выбивал для князя подати с городов и сел, а после болезни престарелого воеводы Протасия занял его место в ратном деле. Правду сказать, ума не ахти какого, да зато верен, как крепкие перила при

всходе по лестнице. У себя во владениях холопов к земле пригнул. Прошлый год осмелились они его послушаться, так пятерых живьем в подворье закопал, а двух у ворот повесил — с сыном стрелы в них метал: «кто в очи богомерзкие ловчее попадет».

Такой не подведет. Не то что Алексей Хвост: метит в тысячные, а глаза отведи — продаст.

Охватив тонкими, цепкими пальцами перила, Иван Данилович, глядя на Москву, сказал в раздумье:

— Эх разрослась, родная... А давно ли была поселком малым? Не разом строена, много стараний родом нашим приложено. Другие прытко бегают, да часто падают, а надо тишком. Тишком, да наверняка. Аль не так? — обратился он к Кочеву, не ожидая ответа. Любил вести с ним такие разговоры, в них словно бы проверял себя. — Тишком, да наверняка... — повторил Иван Данилович и умолк, глубоко задумавшись, — ...исподволь, неслышными стопами, — продолжал он некоторое время спустя. — Где волчий рот, а где и лисий хвост... У бога дней много — можно успеть и татарина провести и Москву возвысить... коли обмысленно.

От напряженного внимания у Кочевы под глазами проступили широкие влажные круги. Он застыл, вбирая в себя каждое слово, желая понять и запомнить все, что скажет князь.

— Меня вот жадностью попрекают, Калитой прозвали. Что головой мотаешь, думал, не знаю? А и пусть, коли не отличают расчет от корысти, бережливость от жадности. Может, в том прозвище — почет мой...

Князь усмехнулся, и светлые усы его насмешливо зашевелились. Потрогал, словно погладил, объемистую сумку-калиту, неизменно висящую у пояса, и она отозвалась ласковым говорком монет.

Кожаную сумку эту, с вышитыми серебром причудливыми птицами и зверьми, получил в подарок от хана Орды.

— Помяни мое слово, Василь Васильевич, — негромким голосом, с силой сказал князь, — самого дьявола в калиту посажу — и не заметит...

Он умолк: стоило ли мысли раскрывать? Закончил про себя: «Хана обведу, посажу!.. Будет делать то, что Руси надобно. Пора придет — и честь мою принесет. А спешить нечего: где спех, там и смех».

Со стороны бора повеяло сыростью; где-то пронзительно прокричала птица, и снова наступила тишина. Калита в раздумье ногтем почесал прямой длинный нос, спросил испытующе:

— Ты, Василь Васильевич, соседскому князю денег займы дал бы?

— Да зачем... что там, — начал было тянуть Кочеву и вдруг отрубил: — Не к чему, много охотников найдется!

— А вот и есть к чему, — весело возразил Калита, лукаво сверкнув глазами. — Скажем, занять соседу малость? Ради бога! Только... красны займы отдачею, а особливо с придачею. Глядишь, а деньга деньгу за ручку ведет, в кошеле позвякивает. Ну, дал рогожу, а взял кожу — то не в зачет! — прищурил он глаза, и губы его слегка вздрогнули. — А как влезет сосед в долги — ручным станет, и не к чему его земли силой брать: сами в руки идут. Да и прикупить село-другое можно. Так-то! А коли я с пылу хватал бы, не наелся б, только ожегся.

Он снова любовно потрогал калиту, перекрестился и, отпустив Кочеву, пошел по крепкой лестнице вниз, во двор.

Хозяйским глазом оглядев широкий чистый двор, Калита подумал: «Надобно посад обнести дубовой стеной». Сейчас двор окружен высокой сосновой изгородью, выложен камнем, посыпан песком. На воротах гнездятся кресты, иконы под навесами, писанные прямо на досках.

У конюшен впрягали лошадей в возила. Торопливо вышел из казнохранилища управляющий хозяйством дворский Жито — дородный боярин с сергой в ухе. Кланяясь на ходу князю, скрылся в тереме.

По двору промелькнули загорелые ноги Фетиньи, дочери недавно умершей прачки Щеглихи. Озорница не видела князя. Подбежала к медушке, открыла в нее дверь и, немного присев, стала дразнить Сеньку-наливальщика:

Рудый красного спросил:
Чем ты бороду красил?

Она шаловливо таращила глаза, из которых, казалось, брызгали зеленые искры, и оттопыривала губы, точь-в-точь как Сенька. Краснорожий, сердитый Сенька показался на пороге медушки. Фетинья сразу и след простыл, только мелькнул за амбаром цветной сарафан.

Сенька крикнул:

— погоди, попадешься мне! — и снова исчез в медушке. А Фетинья уже мчалась дальше.

«Ишь, девка — огонь! — глядя ей вслед, подумал Иван Данилович. — Надо постельницей к княгине приставить».

Истощенный, хриплый крик вырвался из конюшни.

— Кто вопит? — недовольно спросил князь у стоящего рядом ключника.

— Мужик-неплательщик.

— Скажи, чтоб рот кляпом заткнули! — резко приказал князь и крикнул вдогонку: — Да лозы не жалеть!

Он побывал в сушильне, проверил у казначея книги с записями и вместе со слугой Бориской вышел из ворот Кремля на улицу.

БОРИСКА

Нелегкое детство выпало на долю Бориски. Отец, гончар, погиб при татарском набеге; мать вскоре умерла от заражения крови: порезала ногу на огороде, в рану попала земля. Остался десятилетний Бориска под присмотром тетки Гаши — сестры матери, женщины крикливой, вспыльчивой, тяжелой на руку. У нее своих детей был полон короб, и к Бориске она отнеслась, как к неизбежной и неприятной обузе. Он был предоставлен самому себе и улице, а от тетки Гаши получал больше подзатыльников, чем кусков хлеба.

Жили они на краю города, возле колокольного мастера Луки. И к нему-то чаще всего забегал Бориска.

Лука не только лил колокола, но делал и кое-какую мелкую работу. И Бориска с острым любопытством рассматривал каменные формы, тигельки для плавки и разливания металла, сыродутный горн во дворе и уже отлитые бронзовые украшения.

Лука был могучим стариком с широкой, как плита, спиной и такой грудью, что, казалось, на нее набиты обручи. Он был несловохотлив, но добр и сразу привязался к смышленому взлохмаченному мальчонке с носом-репкой и синими шустрými глазами.

Вечерами, после тяжелого труда, сидя на завалинке с «приблудным внуком», как называл он Бориску, Лука не то что рассказывал — рассказывать он не умел, — а глухо, отрывисто бормотал:

— Сила земли в умных руках... трудолюбцы красят ее. Вырастешь — поймешь... Не вечно татарам сидеть на шее нашей. Наступит час...

Бориска и впрямь не все понимал в этом бормотании, но ему приятно было сидеть вот так, прижавшись к теплomu боку дедушки, прищурившись, глядеть на далекие звезды над бором, слушать всплески речной волны. Дедушка пропах дымом, и запах этот тоже был приятен.

Поднимаясь, Лука неизменно говорил:

— Смотри, Бориска, до конца борись-ка... — и отправлялся спать.

Пуще всего любил Бориска военные игры, когда с однолетками, разбившись на «москвитян» и «татар», они карабкались по оврагам, прятались в зарослях чертополоха, устраивали засады и набеги.

Из гибких веток они делали луки, набивали пазухи камнями — и начинались ратные схватки.

Во всех играх Бориска был заправилкой, и не раз перепало ему от тетки Гаши за порванный на локте рукав или шишку на лбу. Но это несколько не охлаждало его. Он мечтал о воинской славе, о том, как побьет несметное множество татар, отомстит за отца и возвратится в Москву на высоком, красивом коне. Медленно проедет он по своей улице. Дедушка Лука скажет громко, с удивлением: «Да это же Бориска-молодец!»

И даже тетка Гаша с притворной лаской улыбнется, а он на нее и не посмотрит.

А у яра, возле ворот покосившейся землянки прачки Щеглихи, будет стоять та вредная девчонка, которую он дергал за косы. Правда, она в отместку однажды расцарапала ему ногтями нос... Фетиньей ее зовут. Чудное имя! А лучшего, наверно, нет на свете.

...Время шло своим чередом. Бориска стал отроком, потом юношей — помощником Луки. Появились новые друзья: смелый Андрей Медвежатник, черномазый молотобоец Филипп. И забавы стали иными: ходили на охоту, устраивали кулачные бои с парнями соседних улиц.

Однажды — это было летом — такой бой разыгрался с особой силой.

Посередине улицы пошла стена на стену, а у ворот глазели старые и малые, кричали, подзадоривая:

— Вали его, Дементий, вали!

— Мякни по шее!

— Ух, ладно по уху оплел!

Бориска, увлеченный схваткой, распырял противников, двух схватил за шиворот да так сшиб лбами, что они очумело сели наземь. И драчуны и зеваки не сразу заметили, как вышел из-за угла князь Иван Данилович в сопровождении охраны. А когда увидели — замечались: кто постарался улизнуть, кто так и остался стоять, где был, будто ничего и не произошло. Знали: не любил князь таких забав.

Калита, хмурясь, подозвал Бориску. Тот, взмокший, с садиной через весь лоб, подошел к князю, виновато потупился.

— Чей будешь? — тихо спросил Иван Данилович.

— Гончара Ивана, — не ожидая ничего доброго для себя от этой встречи и от этих расспросов, ответил Бориска.

— А ловко ты их... лбами. Треск слышал? — неожиданно весело спросил князь.

Только теперь осмелился юноша поднять голову. Увидел смеющиеся, сейчас добрые глаза князя, и у него самого губы невольно растянулись в улыбку, широкий нос приподнялся, озоровато сверкнули глаза:

— Та я полегонечку!

Князь громко засмеялся, засмеялись и люди, сопровождавшие его.

— Не на то силу тратим! — вдруг строго сказал Иван Данилович и, осуждающе поглядев на Бориску, приказал: — Завтра в полдень в Кремль придешь.

Князь ушел, а друзья и недавние «враги» обступили Бориску, знающие предупредили:

— Жди батоков...

Настроение спало. Стали расходиться.

Вместо наказания Бориске на следующий день объявили на кремлевском дворе, что он будет служить князю в охране его. Вот не ждал не гадал попасть в дворские люди! Очень не хотелось расставаться с вольницей, с дедушкой Лукой, с друзьями, не по сердцу была новая служба. Но что поделаешь! Значит, на то божья воля.

И так как Бориска привык все делать на совесть, то и в новой службе проявил себя наилучшим образом.

В юноше не было и тени угодства, и все, что он делал теперь для князя, он делал от души, свято поверив, что призван служить ему верой и правдой, а понадобится — отдать и жизнь.

Если юноше казалось, что князю грозит опасность, он так выразительно прикасался рукой к короткому изогнутому ножу у пояса, будто спрашивал: «Не надобен ли? Я здесь». На охоте, в походах старался быть поблизости: помочь, оградить от беды. Нисколько не заботясь о себе, он оказывал услуги князю, не ожидая за то ни выгод, ни наград, и Калита не раз мысленно одобрял свой выбор.

Вскоре после появления в Кремле Бориска сделал радостное открытие: среди дворских людей оказалась давняя знакомая — Фетинья, что года два назад исчезла с их улицы невесть куда. Она жила здесь сначала с матерью, а после смерти ее осталась в прачечной. Фетинья была и прежней девочкой с косами, за которые хотелось дернуть, и вместе с тем стала совсем другой.

И сразу по-иному заиграли Борискины дни: каждый из них наполнился особым значением — быстрым взглядом, улыбкой Фетиньи, случайно оброненным ею словом, робким рукопожатием в полутемных сенцах. И уже не дни — месяцы пролетали в радостном ожидании чего-то такого, что ждет тебя впереди, что должно свершиться.

Оба сироты, они чувствовали себя здесь, как в чужом краю, вспоминали о родной улице, о друзьях, подругах, и воспоминания эти еще больше сближали их.

И теперь, если не видели друг друга день-другой, они уже

тосковали, беспокоились: не случилось ли что, не разлучили ли их судьба, которая не однажды обходилась с ними, как мачеха.

Чувство, впервые овладевшее Бориской, так переполняло его сердце, что простые, обычные слова казались ему теперь тусклыми, невыразительными. Он стал складывать строки наподобие песни, и тогда слова, обращенные к Фетинье, зазвенели, переливаясь, как лучи солнца на влажном весеннем лугу, полились свободно и плавно, как волны Москвы-реки, задумчиво проплывали, как пенистые облака в поднебесье.

В такие часы хотелось совершить для людей что-то большое — такое большое, как этот мир, что раскинулся перед ним.

НА БАЗАРЕ

Выйдя из ворот Кремля, Иван Данилович запагал запыленными улицами, пустырями в крапиве, едва заметным кивком головы отвечая на низкие поклоны встречающих.

На князе, несмотря на жаркое время, длинный темный опашень, шапка с меховым окомом, на ногах короткие зеленоватые сапоги из сафьяна. Походка его кажется скользящей.

Поодаль от князя, поглядывая по сторонам, идут несколько вооруженных воинов. Только Бориска, ловкий и гибкий, как молодой барс, весь какой-то пружинистый — вот-вот свершит прыжок, — следует в двух шагах от князя, щуря веселые синие глаза. Его лицо с широким вздернутым носом, тонкой кожей, неярким румянцем, золотистой бородкой — задорно и вместе с тем добродушно.

На перекрестке улицы Калита снял шапку, перекрестился перед иконой на столбе и пошел дальше, мимо часовен, курных изб с оконцами, затянутыми воловьими пузырями. Миновав кладбище, он наконец очутился на базаре.

Отовсюду на него устремились опасливые и любопытствующие взоры; там, где он проходил, впереди возникал свободный проулок.

По обрывкам фраз, необычности шума, выражению лиц князь сразу почувствовал, что базар чем-то взволнован, но не мог понять чем, и насторожился.

Увидев Бориску, Андрей Медвежатник издали дружески подмигнул юноше, и тот, поняв этот знак как вопрос: помнишь ли? не зазнался ли? — ответил ему веселым подмигом.

Калита почти миновал рыбный ряд, когда Андрей, кивнув вслед князю, процедил сквозь зубы:

— Главный обиратель!

Степан опасливо отодвинулся от Андрея:

— Мы не судьи...

— Ан люди! — сверкнул глазами Андрей, и ноздри его гневно раздулись, а желваки забегали на загорелых щеках.

Бориска, уже успевший узнать цены, сокрушенно сказал, возвращаясь к князю:

— Дороговизна! Кадь ржи — рубль.

Калита нахмурился. Подумал с горечью: «Оттого и дорого, что почти все татарину идет».

К князю бочком подошел «божий человек» Гридя в черной рваной рясе. О нем шла молва: семь лет назад ободрал Гридя козла, падел свежую козлиную кожу на власяницу, сырая кожа усохла, вьелась в тело. Юродствует! И не поймешь: малоумен ли, прикидывается ли? А говорит все без опаски. Вот и сейчас, притворно трясаясь, испытующе посверливая князя глазами, Гридя запирчатся:

— Ты татар дури, дури... Вдруг пальца обводи... Люди не осудят, что в Орду ездить. Лучше к ним ездить, чем они, грабежники, к нам... В Твери гарью пахнет. Не пусти огонь на Москву. — И запел визгливо, протяжно, задирая вверх редкую бородавку: — Господи, благослови раба твоего Ивана.

Иван Данилович бросил Гриде монету:

— Молись за типину в Москве и на Руси!

Сам дальше пошел. Услышанное от Гриди было важно: понимал — не свое он говорит, а то, что в толпе, в рядах слышит. Значит, знали: к татарам ездит не для истинной дружбы — провались они пропадом! — а потому, что надобны эти поездки Руси. Почему Гридя о Твери так сказал?.. Это встревожило. Может, опять «милые» соседи затеяли что против Москвы, спалить ее хотят? Или у самих что произошло? Так послухи б прискакали...

Верные люди были у Калиты повсюду, а в коварной Твери тем более: неспокойна она. Недоброе замышляют тверские князья-раздорники против Москвы: подступали с боем к ней, навели на Русь иноземцев, помышляли изменить отчине, утвердить свою власть. Погубили брата Ивана — Юрия, что с новгородцами ходил против шведов, соединял русские силы. Разве думали о всей Руси, о том, как сбросить с шеи татарский аркан? Дробили землю, в ослеплении своем помогали подлым татарам лиходейничать. Что же сейчас еще замышляют?

Калита заглянул на мытный двор узнать, много ли мыта собрано. Недоволен остался. Новый мытник Данила Романович собрал с проезжающих через Москву меньше прошлого месяца.

— Плохо стараешься! — бросил князь. — Из твоей мощны недостачу возмещать буду!

Покинул избу, сердито хлопнув дверью. Думал дорогой в Кремль:

«Не понимает, кабанья голова, что и мыт силу приносит! Рожку красну наел, хоть онучи суши, а в голове не посеяно... Недомыслот!.. Что ж из Твери никого нет?»

Он запал быстрее.

Солнце поднялось из-за леса, когда Иван Данилович остановился у собора. На паперти ползали калеки в рубищах, вваливающимися глазами смотрели снизу вверх на входящих, жадно ловили полушки, что раздавал Калита.

Князь долго стоял в соборе, набожно крестясь, наслаждаясь прохладой, а в голове теснились свои всегдашние мысли: «Вот собор знатный отстроили во имя успения пресвятой богородицы — господу внимание и нам польза. В случае пожара добро здесь укрыть можно; чернь поднимется или татарин придет — стены мурованные спасут. Митрополит Петр своеручно уготовил себе в соборе гроб каменный. «Будут сюда, — предрекал, — к усыпальнице моей, паломники стекаться — Москве польза». И впрямь польза».

Калита усмехнулся: «Богу молись, а добра ума держись... С Жабиным потолкую, чтоб храмов еще построил: верующие потянутся, потекут доходы церковные. Москва станет градом богоспасаемым, а наследники мои — защитниками христиан от басурман поганых. А если кто из соседей не повиноваться посмеет, откажет помогать против недругов, только шепну митрополиту — проклянет, отлучит от церкви святой строптивого!..»

Калита прикрыл глаза. Белые длинные пальцы его привычно перебирали складки сумы.

Мысленным взором видел эту Москву — тянущуюся к небу могучими стенами, бесстрашно выставившую грудь навстречу всем недругам, гостеприимно открывшую свои врата тем, кто пришел с добром.

И себя он увидел не с калитой в руках, не приниженным перед ханскими баскаками, а тоже сильным, горделиво выпрямившим спину, с властным взором — шутка ли сказать! — московского князя.

ГОНЕЦ ИЗ ТВЕРИ

В вечерних сумерках сукно-багрянец на стенах кажется черным. В углу, под образами, низко склонившись над столом, Иван Данилович читает Юстинианову книгу¹ в серебряном окладе.

¹ Сборник законов, составленный при византийском императоре Юстиниане I (483—565 гг.).

Темнеет изразцовая печь, вдавился в стену приземистый шкаф с вдвинутыми ящиками, зеленоватые тени упали на иконы, пахнет лампадным маслом и воском.

Князь, положив на книгу стиснутые ладони, задумался: «Жизнь есть борец, а знание — оружие. Надо неустанно оттачивать сие оружие. Не обидно ли: только начинаешь разбираться в людях, мудрость постигать, а кончается век твой, богом тебе отведенный».

Князь свистелкой вызвал слугу. Тот бесшумно внес свечи в ставцах, и комната озарилась мигающим светом, огоньки забегали по иконам, серебряным блюдам на стенах.

«Вот Юстиниан порядки твердые завел,— продолжал размышлять Иван Данилович.— И нам следует Русскую землю от татей избавить, чтоб не смел никто похищать бразду ближнего своего, на властителя руку поднимать».

Снова вошел слуга:

— Какой-то человек просит выслушать, рассказывает — принес важные вести из Твери.

— Из Твери? — быстро, словно только этого и ждал, переспросил Калита.— Впусти...

В горницу вошел запыленный, уставший человек. Перекрестившись на образа, низко поклонился князю. Вглядевшись в обросшее обветренное лицо, князь узнал сотника Засекина, что ныне служил на заставе у тверской границы.

— О важном, княже, ведал, потому и осмелился покой твой нарушить...

Он говорил, тяжело дыша, судорожно хватая воздух, колючая рубашка поскрипывала.

— Сказывай!

Будто сбрасывая усталость, Засекин передернул плечами, провел рукой по вспотевшему лбу.

— Давень,— начал он взволнованно,— прибежали к нам на заставу из-под Твери два татарина-табунщика... Я тех татар с собой привез...

Чем дальше слушал Иван Данилович, тем возбужденнее становился, даже чуть подался телом вперед. Услышав, что тверичане сожгли татарского баскака Щелкана, переспросил:

— Сожгли подлого? — и радостно улыбнулся.

Слышал о поганом Щелкане, сыне Дедени, о зверствах его лютых. О тверском князе подумалось: «Подделом изменнику...»

Иван Данилович встал, до хруста сжал пальцы. Обращаясь к гонцу, сказал:

— Вовремя прискакал. Услуги не забуду. Ступай отдохни!

Затем вызвал слугу.

— Татарам, что сотник привез, отведи в тереме горницу получше. Корму давай им вволю, браги и меду — сколько пожелают. Но со двора не пускай. Говори: «Для вашего же блага, от лихих людей, мол, князь оберегает».

Оставшись один, налил в ковш квасу из жбана, выпил одним духом.

Хана Узбека хорошо знал: вспыльчив, мстителен, коварен. К трону пришел, убив сына Ильбасмыша, убрав с дороги еще многих. Теперь Узбек за Щелкана месть учинит всей Руси, пройдет по ней вдоль и поперек, оставляя лишь дым, пепел, трупы да пустую землю. Истопчет копытами конницы все, что далось почти за сто лет кровью и потом, трудом и унижением.

Князь стал быстро ходить, нервно потирая ладони.

«А если?.. А если?.. — вспыхнула вдруг мысль.— Если гнев хана направить только на Тверь? И потом...»

Он заметался по горнице, словно ища выхода из нее.

«Сам бог счастье в руки дает! У тверского князя-раздорника ярлык от Орды дань собирать со всех княжеств. Да разве он из ярлыка всю пользу берет? Только о своих выгодах и печется. Литве продаться готов. Для всей Руси яд готовит... Разве ж такому ярлык?..»

Сморщился, будто от кислицы, пренебрежительно усмехнулся: «Сам корову за рога держит, а сторонние люди молоко доят. Эх, мне б этот ярлык, мне б!..»

Пальцы заняли, словно ощущая хрусткий белый свиток с ханской красной тамгой — печатью. Знал — на листе золотыми и черными знаками начертано: «Пусть будут защищены от поборов и налогов... живут спокойно и в тишине, а кто ярлыком пренебрежет, тому доброго не будет».

О золотом ярлыке этом мечтал каждый князь. Обладание ханской грамотой отводило набеги татар, возвышало над остальными князьями, ставило под защиту хана.

Иван Данилович подошел к окну, посмотрел через слюдяную музу невидящими глазами. «Казна наполнится, калитущечка тощей никогда не будет, сборщики перестанут наездами мучить. Чернь заботится гиль замышлять. Москва подыметесь стольным градом государства единого. Гости заморские пожалуют... Кремль макушкой каменной облака будет цеплять...»

Но тут же вспомнил, что надо ехать в Орду на унижение, и опять помрачнел: «Тяжко... Но иного пути нет, надо через то переступить».

В ушах прозвучали причитания Гриди: «Не пусти огонь на Москву».

Князь еще ясно не представлял, что сделает, чтобы спасти

Москву, но уже знал: сейчас ему следует поскорее быть там, где всего опаснее, — в Орде.

Иван Данилович сжал губы, исчезло с лица выражение простодушия, и оно стало волевым, решительным. Сказал вслух, с вызовом:

— Аль не внук я Невского?

И снова заскользил по горнице из угла в угол, из угла в угол.

«Пусть не мечом... Мечом еще не время. Хитростью... Дед Александр ливонцев в прах разбил на Чудском, а вскоре приглашение хана Берке принял — в Орду с подарками поехал. Дальновидец... Иначе нельзя было, тонкий ум того требовал. И я поеду. Первым поведаю о Твери, татар беглых с собой возьму. Все едино позже меня кто-то в Орду придет, и Тверь так же терзать станут... А тут я хоть от Москвы удар отведу. Войду в доверие. Князь Александр Тверской — лукавое сердце. Его не жаль. Сейчас все силы надо приложить, чтоб на Руси крови меньше пролито было, не повторилось побоище. Только не медлить... Часом опоздано, годом не наверстаешь, не время дорого — пора!»

Он решительно подсел к столу, отодвинул бронзового ястребка, серебряную чашу с крылатыми быками. Положив перед собой свиток пергамента, разгладил его ладонью и, обмакнув в чернила лебяжье перо, начал писать, часто останавливаясь, задумчиво разглядывая на пальце перстень с изображением суда Соломона.

«Во имя отца и сына, и святого духа. Я, грешный, ничтожный раб божий Иван, пишу духовную грамоту, идя в Орду, никем не принуждаем, целый своим умом... На случай, если бог что решит о моей жизни, даю завещание сыновьям моим и княгине моей.

Завещаю сыновьям своим отчину свою, Москву... и жити дружно, владеть нераздельно. Даю сыну своему старшему Симеону Можайск... Коломну с волостями, села купленные, четыре цепи золотые, три пояса золотых, три блюда серебряных... Даю сыну моему Ивану Звенигород, Кремичну, Рузу...»

За стенами стояла темная августовская ночь 1327 года.

Что сулит грядущий год Москве, ему, князю московскому? Суждено ли в Орде погибнуть или сможет расположить ее? Хватит ли сил душевных, чтобы пройти через это испытание, не дрогнуть, не сломиться?

Натянув на себя личину покорности, выйти победителем для дальних замыслов?

Или найдет себе бесславную кончину в той подлой Орде?

Окончив завещание, он присыпал песком исписанный лист, откинулся утомленно на спинку кресла. «Надо утром прочитать

свидетелям — отцам духовным: Ефрему, Федосию да попу Давиду... Дьяку Костроме дать переписать и в соборе, в алтаре, спрятать».

Положил завещание в шкаф, запер его и, дав распоряжение готовиться к отъезду, пошел в опочивальню.

РАССТАВАНИЕ

Глубокой ночью Бориска, держась густой тени стен, прокрался в дальний угол двора. Пошел дождь. Где-то скулила собака. Пахло сырыми досками.

Не успел юноша присесть на лавку под старым, в три обхвата, дубом, как теплые руки протянулись к нему из-за плеч, закрыли глаза. Захолонуло сердце.

— Фетиньюшка, ласточка моя! — радостно прошептал он, положив свои пальцы на девичьи, пахнущие мятой.

— Борисонька! — обвила Фетинья его шею.

Он притянул девушку к себе, посадил рядом. С листьев дуба на их лица падали крупные капли дождя.

Князь неспроста называл Фетинью стрекозой и куролесницей. Маленькая непоседа с быстрыми движениями, она без усталости летала по двору, и ее звонкий голосок весь день раздавался то там, то здесь.

Черты лица ее нельзя было назвать правильными: помужски выпуклый лоб, широковатый нос. Но все это скрадывали глаза — зеленые, ясные, полные ума и веселья, они все примечали; то лукаво улыбались, то метали зеленые озорные брызги, словно кто ударял по кресалу, то насмешливо щурились. Ее ребячливым шалостям и выдумкам не было конца: обменяет лапти у подружек, потом сама и признается; в полуокнышко с отверстиями поставит зажженный огарок, тыкву на палку поднимет и ночью пугливых страшает: им мерещится — движется чудовище с огромными очами. И хотя порой сердилась на нее за проказы, а и любили все егозу. При взгляде на нее светлели ласково лица у самых сумрачных.

— Что ж ты припоздал так? — укоряюще прошептала Фетинья, пряча лицо на груди Бориски, и счастливо засмеялась.

Он сидел, обняв девушку, заботливо набросил на ее плечи свой дорожный плащ.

— Уезжаем мы с князем, к отъезду готовились.

— Надолго? — тревожно взглянув, спросила Фетинья.

— Неведомо. В Орду едем, в Сарай-Берке...

— К идолищу поганому! — со страхом воскликнула Фетинья, прижимая руки к груди. — Порешат они вас, Борисонька, чует сердце, порешат!

— Бог милостив, — скупое ответил юноша и, помолчав, добавил с горечью: — А и убьют, кому по мне слезы лить? Один я на белом свете!

— А я? — едва слышно спросила Фетинья, и слезы навернулись у нее на глаза.

Бориска снова обнял ее сильной рукой, губами осушил слезы, забормотал виновато:

— Ну, пошто, пошто, голубонька, радость моя... Должен я возле князя быть...

Дождь прошел, замигали звезды; луна, ярко освещая крыши Кремля, двор, заботливо оставляла в тени лавку под дубом.

Запели в третий раз петухи, но трудно было расстаться. Наконец Бориска встал.

— Пора! — решительно сказал он и отодвинул немного от себя девушку, словно стараясь навсегда запомнить каждую черточку дорогого лица. — Будешь дожидаться, коли беда задержит? — глухо спросил он, пытливо заглядывая в ее глаза, сейчас казавшиеся темными.

— Век прожду, а дождусь! — клятвенно произнесла Фетинья и так посмотрела на Бориска, будто умоляла: «Ты мне верь, ты твердо-натвердо верь!»

— Так помни!

Легким прикосновением Бориска погладил ее руку и исчез — будто растаял в предутреннем тумане.

Утром, отправив завещание в собор, Иван Данилович созвал самых верных своих мужей — больших бояр.

По его правую руку сел мудрый, седой Протасий — владелец многих дворов, земель, рыбных ловель, покосов, бобровых гонов, соляных ломок. Протасий был дряхл: щеки глубоко впали на его бледном лице; он едва ходил, но сохранил нестарческую ясность ума и не однажды советами поддерживал князя.

За Протасием, застыв неподвижно, сидели, уставив бороды в пол, сборщик мыта Данила Романович — владелец бортовых¹ угодий и копилен для рыбы; хранитель печати Шибеев с толстой заячьей губой; мрачный дворский Жито; Василий Кочева.

Князь оповестил думу о событиях в Твери, о том, что немедленно собирается ехать в Орду, и просил во всем поддерживать Василия Кочеву, которого оставлял вместо себя.

Воцарилась напряженная тишина. Князь испытующе поглядывал на думцев.

— Ехать надобно. В тяжкую минуту место твое там, — вздохнув, сказал за всех Протасий. — Будь спокоен, порядок сохраним...

Бояре, подтверждая, закивали головами.

«Хорошо, что опора есть», — удовлетворенно подумал Иван Данилович.

— Мы тебе поддержку во всем окажем, — продолжал Протасий. — Всяк понимает, дело не только твое — наше... А Твери самый час отомстить.

Князь нахмурился:

— Не о мести помышляю... О жизни Москвы.

Отпустив думцев, задержал Кочеву, чтобы дать ему последние наставления перед отъездом.

Воевода Кочева, внимательно слушая князя, смотрел на него с собачьей преданностью.

— В Орду вплавь пойду, на ладьях, — негромко говорил Иван Данилович, — так безопасней, да и быстрее. Проводишь до Клязьмы...

Кочева напряженно стоял перед князем, даже взопреп под парчовым кафтаном, обшитым мехом. Полные пальцы его в рыжеватых волосах все время шевелились.

— Надзираи! — строго посмотрел на Кочеву князь. — Выгоды наши блюди. В случае чего — советуйся с боярами, особенно с Протасием и Шибеевым... Приеду — за постоянство честь учрежу. А кто повиноваться не будет — всей силой карай! Ясно? — спросил, будто узел затянул.

— Так что, туда-сюда, ясно, княже... — гугниво ответил Кочева и переступил с ноги на ногу.

Кочеву князь наделял таким доверием не потому, что был он умнее других, а потому, что отличался решимостью, не знающей преград, умел круто расправляться с недругами, безоговорочно исполнять княжеский приказ.

Знал князь: Кочеву охотно поддержат и бояре, часто ссорящиеся между собой. Протасия не терпели за ум; в Даниле Романовиче видели человека, желающего оттеснить их; Шибеева считали случайно выплывшим выскочкой, и все сходились на Кочеве. Да и сам князь опасался наделять властью Протасия: не привык бы тот к ней. Владения большие — всяко может на ум прийти. У Кочевы поменьше: он и слуга вернее.

К митрополиту Феогносту Калита пошел сам.

После недавней смерти митрополита Петра Феогност тоже поселился в Москве, и Калита очень рассчитывал на поддержку грека. Дорогой к нему думал: «Умен, а Петр погибче был. В Орду сам ездил, ярлык с золотым знаком у хана Узбека получил. Шутка сказать!»

Наизусть помнил, что написано было в том ярлыке: «Да никто не обидит в Руси церковь соборную, митрополита Петра и людей его — архимандритов, игуменов, попов. Их грады,

¹ Бортовничество — добыча меда.

волости, села, земли, луга, леса, винограды, сады, мельницы, хутора свободны от всякой дани. Ибо сии люди молитвою своею утром и вечером блюдут нас и наше воинство укрепляют, молят бога за нас и детей наших. Кто возьмет что-нибудь у духовников — заплатит втрое. Кто обидит церковь — да умрет».

«Шутка сказать! — повторил про себя Калита с завистью. Улыбнулся, вспомнив чудную приписку в конце грамоты: «Писано в заячье лето¹, в четвертый день ущерба луны на полях». — И зайцев приплели, поганые!»

Феогноста застал у собора: тщедушен, черен, а важности на десятерых хватит.

— Благослови, преподобный отче, в Орду еду...

Получив благословение, попросил:

— Кочеву-то вразуми, святой отец. Не обходи попечением. Возвращусь — в долгу не останусь...

Феогност значительно покивал маленькой головой:

— Поезжай с богом!

Перед самым отъездом Иван Данилович позвал к себе сына Симеона — отрока с серыми, как у князя, продолговатыми глазами.

Юнец был молчалив, нелюдим, ходил, откинув большую голову назад, прижав руки к туловищу, глядел на людей прямо и смело.

Войдя, Симеон неуклюже поцеловал руку отца и, ладонью пригладив прямые, похожие на лычки волосы, выжидающе поглядел на князя. На мальчике был малиновый кафтан, перехваченный поясом, в руках держал он шапочку с синей тульей — верно, во дворе играл, когда позвали.

Давно ли малышом постригали, на коня сажали, чтобы рос отважным и сильным, а вот уже и отцу по плечо.

Иван Данилович вплотную подошел к сыну, нежно, обеими ладонями, взял его голову; глядя в глаза, спросил с тревожным сомнением:

— Встретимся ли, чадо мое возлюбленное?

Необычайная взволнованность и ласковость отца поразили мальчика; невольные слезы появились у него на глазах.

— Вырастешь, Семушка, не осуди, — выпуская из ладоней голову сына, тихо сказал Иван Данилович. — Во время драки и за грязный камень схватишься... Не думай, что легко мне совестью двонть — в Орду ехать. Но надобно, дитятко, надобно. Для отчины нашей, для светлого дня завтрашнего...

Он говорил больше для себя, себя убеждал, что избрал единственно верный, хотя и тяжкий путь.

— А ты меч возьми! — сверкнув глазами, воскликнул детским срывающимся голосом Симеон, и видно было — сам готов рядом стать.

Отец с любовью посмотрел на него, положил руку на плечо:

— Не время, сынок... А приказали бы мне: «Яму навозну руками вычисти — Москве польза от сего будет», слова бы не вымолвил — сделал! Не для себя славу ищю, землю по крохам собираю. Я свечу зажгу, при внуках разгорится она ярким пламенем. Только не погасите ее раздорами, заодно все будьте!..

Он сказал это со страстной силой и надеждой, продолжая пытливо глядеть на сына.

Помолчав, спросил сурово, как у взрослого:

— Не погасишь, чадо?

Сын поры-лсто припал к узкой ладони отца, ответил тихо:

— Не погашу, батюшка...

— Верю, родной, — погладив Симеона по волосам, сказал Иван Данилович. — Ну, пора в путь.

В ПУТИ

Крытые повозки с подарками для хана и всем, что понадобится в пути и в Орде, Иван Данилович отправил под охраной Кочевы вперед — грузить на Клязьме в ладьи. А сам через день двинулся с другим отрядом к Клязьме, но кратчайшим путем — через лес.

Когда выехали из кремлевских ворот и спустились вниз, к реке, Иван Данилович краешком глаза поглядел на Кремль. Издали и снизу, казалось, устремился он к небу всеми своими башнями и шатровыми крышами.

На кремлевской стене стояла в пурпурном плаще княгиня Елена, держала на руках Андрейку, к ней льнули остальные дети. Лица Елены не увидел, но знал: покорно и грустно оно. Сердце его сжалось: «Увижу ли когда еще?..»

И пока они ехали на виду у Кремля, пока не миновали моховое болото за Неглинной, пока не скрылись за холмом, их провожали глаза женщин и детей.

И Фетинья из окошка светлицы долго смотрела вслед Бориске, страстно шептала: «Дай те господь силы, суженый мой!»

Под Иваном Даниловичем малорослый конь. На князе шелом, в левой руке круглый выпуклый щит, у пояса меч. Но не чувствовалось во всаднике воинственности, сидел на коне нескладно, хотя ясно было — вот так-то, нескладно, может просидеть, если понадобится, от зари до зари.

Позади него Бориска — врос в седло. Тонконогий красавец

¹ 1313 год.

конь играл, чуя умелого всадника, словно гордился им. На Бориске легкий шелом, колонтарь¹ из железных блях, скрепленных кольцами, лук со стрелами, за ремень небрежно сунут топорик — своими руками сделал.

Ехали неширокой дорогой, теснясь к середине ее. По сторонам тянули к себе топи да грязи великие. Вдоль безлюдной дороги то и дело попадались безвестные кресты, одинокие замшелые камни. Калита ехал, бросив поводья, глубоко задумавшись: «Что ждет в Орде? Что с Русью будет? Гнев тверичан понятен... Трудно стерпеть обиды. Но властителю надобно думать не сердцем — умом. Время требует осторожности — идти в сапогах, а след оставлять босиком. И сила уму уступает. Что толку: стонем, вздыхаем под игом иль неразумно обиду срываем. Пора исподволь освобождение готовить».

Воины продвигались молча, покачивались шеломы, однообразно позвякивали удила, и звук этот вплетался в глуховатый топот копыт.

Снаряжены были разнo. У бояр шеломы украшены серебром, золотой чеканкой, латы из бронзы, на бедрах мечи с тяжелой рукоятью. Кто победнее — в шеломах из волчьих шкур, с самодельными копьями, в панцирях из кожи с нашитой железной чешуей. А у постельничего Трошки возле пояса длинная вервь с гирей на конце; на самом Трошке стеганный кафтан, набитый пенкой и кусками железа.

Когда въехали в лес, всех охватила устоявшаяся сырость. Дорогу преграждали упавшие деревья, их цепкие ветви хлестали по лицу, коряги, походившие на лапы поверженных чудовищ, мешали продвигаться. Возвышались могучие дубы. Бориске казалось: сойдутся они сейчас и начнут вспоминать богатырские подвиги Ильи Муромца и Микулы Селяниновича. Юноша жадно примечал каждую мелочь: как отражались в щитах воинов пламенеющие листья клена, как протягивали над землей мохнатые рукава хмурые ели, а возле корня березы вдруг проглядывали ягоды: черные псинки, веселые глазки. Проворные белки сушили на зиму грибы — нанизывали их на сучья у дупел.

Недавно прошел дождь, и под копытами чавкала грязь. Тучи гнуса слепили глаза, присасывались к конским головам с торчащими на них лисьими хвостами.

Наконец дорога стала просторней, и, миновав березовую рощу, отряд снова выбрался на прорубленную тропу. Солнечный луч прорвался на нее, золотистой полоской побежал по стволам, верхушкам деревьев — словно прорезал лесную гущу и снова скрылся.

На каждом шагу встречались знамена — насекомые топором над

дулами с роящимися пчелами. Насеки походили на сапог, вилы, заячьи уши. Скоро придут древолазы ломать душистый мед. То там, то здесь виднелись искусно расставленные по ветвям прутла для ловли птиц, перевесы, ловко свитые из веревок.

Глядя на роящихся пчел, Бориска припомнил смешную историю, что сказывал ему в детстве отец. Будто отправился один мужик-бортник в лес по мед. Залез на дерево, да провалился в дупло и застрял в меду по пояс. Орет, а без толку — кругом ни души.

Два дня эдак простоял, когда подмога пришла с неожиданной стороны: взбрело медведю-сластене в то же дупло полезть. Только засунул он лапу в дупло, опустил ее на голову вздремнувшего мужика, как мужик глаза открыл да как завопит, ухватившись за что-то мохнатое. Медведь рванул лапу, выхватил мужика из дупла, вместе с ним свалился с дерева и пустился наутек.

Бориска улыбнулся, представляя себе эту картину: «Каких небылиц не выдумают!»

...Лес начал редеть, и отряд выехал в поле, к скирдам, освещенным солнцем. Сразу стало светлее на душе. Бориска, с удалью тряхнув головой, широко и радостно улыбнувшись, выпрямился.

Князь добро посмотрел на него. «Сейчас будет веселые песни сплетать», — подумал он. К этой страсти Бориски князь относился снисходительно, как взрослый к детским забавам.

— А ну, починай! — кивнул он Бориске, поощряя.

Бориска не заставил себя упрашивать и, озорно блеснув синими глазами, стянув с головы шелом, откинул светло-русые волосы назад, начал юношески мягким голосом:

Рада баба, рада,
Что дед утопился.
Наварила горшок каши,
А дед появился!

Грохнули смехом воины, заулыбались одобрительно:

— Ишь, взыграл!

— Гладость какая!

— Грамотник!

Гордились Бориской: на ратное дело крепок и песнотворец гораздый. Иной раз так сложит — в боку от смеха заколет, а иной до того жалостливо, что в горле щекотно.

Любили Бориску. Было в нем смиренное до поры до времени буйство — так и рвалось оно наружу в улыбке, блеске глаз, гике молодецком; было бесстрашие, не знающее предела, — мог один пойти на медведя, броситься с кручи в реку, ночью продираться сквозь лесную чащу.

¹ Доспех без рукавов.

Был он весь налит силой и молодостью, и за что ни брался: коня ли подковать, кольчугу ли сделать, — все у него спорилось, горело под руками. И грамоте-то обучился от попа Давида между делом, играючи.

Но веселье сегодня не ладилось. То ли устали, то ли не могли отрешиться от мысли, что едут на смертное дело — не в открытое поле, где силой можно померяться, а во вражий стан.

Бориска пошел да умолк, начал думать о Фетинье, составлять послание к ней. Лицо юноши приняло мечтательное выражение. «Сладкая ты моя!» — так начал он, но тотчас слова сами собой стали складываться в песню:

По тебе, муравка-травка,
Я не нахожуся.
Тебя, верную, люблю,
Да не налюблюся...

Не забудь, Фетиньюшка,
Под дубочком встречу,
Наш сердечный разговор
В тот прощальный вечер...

Слова лились из глубины души, свободно и просто. О Фетинье думал всегда: и в радости и в печали. В радости — хотелось ею поделиться с девушкой, в печали — чтоб рядом была, утешала боль...

Отряд выехал к выгари — поляне с выкорчеванными, выжженными под пашню пнями. Уродливые черные корни разламывались под лошадиными копытами.

Нивари трудолюбиво копошились в земле. Рядом с иными пнями походили они на крохотных букашек — а вот, поди же, упрямством своим, руками своими добывали хлеб, украшали, как умели, жизнь.

Завидев отряд, нивари разогнули спины, начали с тревогой вглядываться в проезжающих всадников: чего ждать от них? Разбоя ли, полона? Или проедут, не тронув? Видно успокоившись, продолжали свой нелегкий труд.

«Вот кому поклониться надо, — думал Бориска, — кормят всех, селенья из праха поднимают».

Небо неожиданно потемнело, затянулось клубящимися черными тучами. Их глыбы пронзила ломаной стрелой молния, загредел гром, будто за лесом столкнулась тысяча щитов, и наземь стали падать первые крупные капли дождя.

Отряд пошел рысью. Вдали показались избы селения.

СТЕПАН БЕДНЫЙ И АНДРЕЙ МЕДВЕЖАТНИК

В темный вечер в урочище Подсосенки, под Москвой, кто-то постучал в дверь избы Степана Бедного. Степан, открыв дверь, взгляделся — за дождем ни зги не видно.

Порог переступил Андрей Медвежатник.

— Бог помочь, сосед! — приветливо сказал он, снимая шапку с кудрей. — Не в пору гость — хуже татарина.

— Да пора-то не поздняя, заходи, — сдержанно предложил Степан, пропуская гостя вперед.

Андрей скинул зипун, сел на скамью у стола. Степан с порванным бреднем пристроился поближе к лучине, разложил каменные грузила, поплавки. Андрей взял в руки грузило, повертел — походило оно формой на веретено с трубкой, — положил на стол.

В избе было пусто и неуютно. Струйки воды текли на пол через худую крышу; под кучей тряпья спали на полу дети Степана; его жена Аксинья — изможденная, словно высохшая на солнце и ветру, — сидела с прялкой по другую сторону лучины. Пахло квашеным тестом, полынью, курным дымом. Бормотали во сне дети, промывал в сенцах телок.

В последние месяцы Андрей часто заходил к Степану, и они еще более сдружились: говорили о своих делах и невзгодах, о плохом урожае, недоимках и падеже скота.

Вот и сейчас они сговаривались на это же.

— Князь приказал мед, в лесу собранный, ему приносить, — злой скороговоркой сказал Андрей.

— Да что мед? На наших землях скот запретили пасти, — возмущенно сверкнула глазами Аксинья. — Скоро и рыбу ловить не дадут!

— Уже не дадут, — мрачно подтвердил Степан.

Долго перечисляли они обиды и несправедливости.

И за всем чувствовалось то главное, о чем пока еще не упоминали, но каждый держал в мыслях.

Первым начал Андрей. Глядя на Степана прямым, открытым взглядом, он произнес порывисто:

— Мне дед Онисим сказывал: когда-то в давние времена в Киевском княжестве народ кровопивцу-князя Игоря порешил.

Степан промолчал, только посмотрел на Андрея внимательно, а тот продолжил:

— За ноги привязали к верхушкам осин, разорвали супостата надвое.

— Христианское дело свершили! — не выдержав, одобрил Степан. — Бог не осудит, коли зверя кровожадного убьешь.

Они помолчали, словно прислушиваясь к однообразному жуужанию веретена. Тревожно метались по углам тени.

— В Тверском княжестве, сказывают, народ не только татар, а и своих бояр побил,— негромко произнес Андрей и поглядел теперь не на Степана, а на Аксиныю.— И в Новгороде пожгли боярские дворы...

— Давно бы пора! — гневно повела черными глазами Аксиныя, и пальцы ее заработали еще быстрее.— Страх берет: не было б Узбекова нашествия... Ну, да наш князь хитер да умен, ответят татар.

— От его ума да хитрости вишь как славно живем! — обвел Степан избу суровыми глазами.— На языке мед, а под языком лед. Что он, что Кочева... Живоглоты!

— Верно! — живо подхватил Андрей.— Его неспроста Калитой прозвали, нашими слезами кошель свой набивает! — И, нахмурившись, уже медленно продолжал: — Надысь слышал от брата жены Трошки, подался князь в Орду, хана Узбека обхаживать: ярлык замыслил получить.

— Этот обеде-ет! — протянула Аксиныя.— Может, полегчает, как от татар оградит. Баскаки б ездить перестали.

— Ярлык — то б и нам польза,— согласился муж.

— Без нас и от татар не оградит, а нам бы от него, обиралы, оградиться! — с горячностью воскликнул Андрей, и шрам на его лбу порозовел.— Степан Ефимыч,— продолжал он шепотом, пододвинувшись вплотную к Бедному,— поднять бы народ, перебить кровососов... Самое время ныне. Сила с князем ушла, Кочева мешковат: пока соберется... А черные люди с Гончарной слободы поддержат. Я оттоль недавно... Перебьем волков, добро, что они у нас награбили, отыдем, по правде поделим...

Дождь сек крышу все сильнее; потрескивая, чадила лучина; червь-древоточец точил стену.

ДЕД ЮХИМ

Селение, к которому подъезжал небольшой отряд Калиты, оказалось десятью дворами на бугре. Трошка поскакал вперед — выбрать для князя избу почище да просторней, и скоро Иван Данилович уже снимал сапоги в облюбованной Трошкой избе.

Бориска остановился возле ветхих ворот с крестом и образом у верхней перекладки. Из ворот вышел кряжистый дед в сермяжных заплатанных штанах, полотняной рубашке и берестяных лаптях.

Зеленоватые-белые волосы облепили его голову и лицо, густо иссеченные морщинами. Дед был не стар, а древен, но меж морщин его ясно светились спокойные, мудрые глаза. Достаточно было глянуть в них, чтобы понять: никого и ничего не боится

дед. И на Бориску смотрел он сейчас так, словно видел позади него что-то такое, чего другим не дано было видеть.

— Разреши, деда, на постоя? — попросил Бориска громко, думая, что дед глуховат.

— Да ведь не разрешу — все едино станешь! — усмехнувшись, ответил дед и начал открывать ворота.

— Ан не разрешил бы — за двором под плащом заночевал! — весело ответил Бориска.

В глубине двора стояла приземистая изба из бревен, обмазанных глиной; к ней притулился хлев, сплетенный из прутьев, правее избы виднелись низкий стог сена и колодезь.

— Позволь, дед, коня покормить?

— Ну вот! — весело отозвался дед.— Толькопусти, а уж и захозяиновал. Да шучу, шучу — бери!

Бориска привязал коня, вытащил из стога оханку сена, подложил ему.

— У тебя, деда, конь есть?

— Мы пешеходцы,— с горечью ответил тот.— Сироты... Заходи в избу, гостем будешь.

Парень деду Юхиму понравился: вежливый, видно, душевный — молодозелено!

Войдя в избу, Бориска снял плащ и огляделся. С детства знакомая картина: мох и пакля меж бревен, на окнах вместо слюды — холстины, пропитанные маслом, в углу сноп — будет стоять до весны, на потолке оконце-дымница открыто. Посередине на деревянном помосте печь глинобитная. В том месте, где дым выходит, потолок очадел, стал бурый. У стены глиняные горшки, оплетенные берестой, на деревянном ведре висит ковш. В избе чисто; даже лохмотья, валяющиеся на лавке, старательно выстираны.

— Садись, сынок. Звать-то как?

— Бориска...

Дед взглянул в лицо юноши, добро улыбнулся:

— Ну, стало быть, до конца борись-ка!

«Дедушка Лука точь-в-точь так говорил», — подумал юноша, и сразу на сердце стало тепло.

В избу вошли старуха и высоченный мужик в широких портах, с ведрами только что выкопанной репы.

— Внук мой единственный, Фрол,— кивая на него, сказал дед Юхим.— Было шестеро — молодец к молодцу, золотые руки, да пятерых татарва увела при находе Берка.

— Неужто пережил ты все это? — воскликнул Бориска.

— Все пережил. Батыгу видел... Да много ли в том радости — убийцу видеть, что засеял Русь костями! Александр Невский через наше село проезжал — на Орду путь держал. Этот порадовал!

— Каков он? — встрепнулся Бориска, и глаза его загорелись.

— Светлый ум... — тихо сказал старик.

Он помолчал, словно боясь разговором отогнать дорогие ему видения.

— Помяни слово, сынок: сбросит Русь татар поганных... Неможно иго их терпеть, неможно! Рано ль, поздно ль, всем народом пойдем на цих... Только б князья не грызлись меж собой, силы съединили. К Москве б жались — самим лучше было... Иван-то, Данилы сын, хозяин твой, хоть и шкуродер, прости за прямое слово, а понимает время. В Орду наезжает с дальним умыслом...

Старуха зажгла лучину, стала возиться у печи. Фрол притих за перегородкой.

— И рад бы ты, Бориска, попотчевать, да окромя щей, ничего нет, — с огорчением сказал дед Юхим. — Сам видишь наш достаток: одна овчинка — и та с плешинкой...

— Да сыт я...

— Сыт ли, гладен ли, а нетути... — Он сокрушенно вздохнул. — Раньше бывало: что есть в печи — на стол мечи. А теперь в печи пусто. Маломочны стали. Татарам давай, князю твоему давай, Протасию давай... А нынешний год — неурожай. В прошлый голод лист ели, кору березову, шелуху толкли, даже мох с соломой мешали. Пси́на на деревне вывелась. Вон, слышишь... Одна-единственная осталась.

Бориска прислушался. В той стороне, где остановился князь, брехала собака.

— А, бывало, в сию пору, — глядя на юношу светлыми глазами; продолжал старик, — дед мой садится за стол, — да-авно то было, еще до Батыги проклятого! — садится за стол с яствами, а яства-то снопами обставлены, и спрашивает: «Видите вы меня, чада?» — «Не видим», — молвим. «Ну, чтоб и на другой год не увидели!» — Дед Юхим помолчал, сказал с сердцем: — А теперь за боярами да за татарами ничего не видать. Поросла Русь печалью да нуждой...

И умолк, поглядев с опаской на Бориску: все же княжеский слуга.

— Не сторожись ты меня, деда! — страстно попросил Бориска.

Юхим усмехнулся:

— Ладно уж... — Он поглядел отечески. — Запомни, сынок: белые руки чужие труды любят. Бояре да воеводы нас не поят, не кормят, а спину порют. По какому божьему праву? Соль не под силу стало купить! А?.. Чего не придумают, лишь бы ободраты! За женитьбу приноси «выводную куницу», землю переписывают — давай «писчую белку», скот продашь — плати за

клеймо. Один богачей меня ударил, бесчестье нанес. Я пожаловался. Отец Ивана, князь Данила, судил... А что вышло? Меня же избили да с меня князю виру присудили. Если эти не грабежники, так кто тогда грабежники? — Глаза его сердито сверкнули из-под густых зеленоватых бровей. Опять помолчал. Подняв голову, промолвил с гордостью: — А мы-то живы, живы! Нас ничем не убьешь. Погляди вокруг: везде трудовой люд руками своими жизнь возводит. Кто победит его рукотворение?

Бориска вспомнил, как думал он сам об этом же, проезжая сегодня выгарю, и понимающе кивнул головой.

К столу подошел и сел молчаливый Фрол. Старуха поставила горшок со щами. Они вчетвером начали хлебать их.

За перегородкой раздались плач ребенка и женский раздраженный окрик:

— Цыты! Цыты!

— Праправнук мой, — пояснил дед Юхим и тихо позвал: — Дуняша!

Молодая женщина с круглым, в нежном пушке, лицом вынесла ребенка.

— Никак не уснет, — пожаловалась она, и ее большие наивные глаза просительно поглядели на деда.

— А ну давай его сюда, давай! — умело взял в руки старик младенца, и тот мгновенно умолк. — Ты чего же липшаи развела? — недовольно спросил дед у матери. — Гляди-кось, вот и вот... Смажь-ка дегтем немедленно... Да камушек нагретый на брюшко ему положь.

Был дед Юхим целebником, приезжали и приходили к нему даже из дальних селений. Платы никакой он не брал, а коли спрашивали: «Как тебя за врачебку отблагодарить?» — отвечал неизменно: «Живи для людей, проживут люди и для тебя... Друг для друга — все нетуго».

В избу вошел Трошка. Обращаясь к Бориске, сказал:

— Князь тебя кличет! — и подмигнул дружески: мол, приятное ждет.

Трошка к Бориске льнул, как младший брат к старшему, старался во всем подражать ему, да не всегда получалось: непоседлив был, так и вертелся юлой, тараторил без умолку.

Бориска поднялся с лавки; улынувшись Трошке, провел ладонью по его голове «против шерсти», взъерошил волосы. Трошка обрадованно замотал головой.

— Иди, иди! — напутствовал он и юркнул вслед за Бориской.

Отдохнув, Иван Данилович решил повечерять.

Трошка, доставая из походного ларца ломти медвежатины, сыр и домашнее печенье, раскладывал все это на расстелен-

ном рушнике. В избе запахло мясом и свежими яблоками.

— Лови, пострел! — кинул румяное яблоко хозяйскому золотушному сыну Иван Данилович.

А Трошка уже извлек фряжское вино в баклажке, чарку из сердолика и, окинув хозяйским глазом стол, удовлетворенно сказал:

— Хошь гостей принимай...

— А и впрямь. Покличь Бориску! — приказал Иван Данилович.

Человек осторожный и недоверчивый, князь тем не менее питал к Бориске какую-то особую слабость, хотя и редко допускал его к своим мыслям. Нравились удаль Бориски, его бесстрашие, умение складывать песни. Но не терпел в характере Бориски беспощадную правдивость: юноша безбоязненно говорил ему прямо в глаза все, что думал, о чем другие не осмелились бы сказать, и эта бесхитростная, по-детски ясная прямота сердила князя. «Рассуждает не по достатку, — не однажды думал он. — Напрасно мирволю ему».

Бориска постучал в дверь князевой избы.

— А-а-а, песнотворец! Входи, — приветливо поглядел князь. — Садись, потчуйся. Вишь, мне княгинюшка в путь сколь добра припасла!

Бориска, стесняясь, подсел к столу. Трошка где-то задержался во дворе.

Они выпили по чарке-другой. Заморское сильное вино сразу ударило Бориске в голову, и он быстро охмелел.

— Спой, — попросил его Иван Данилович и, откинувшись на лавке, привалился спиной к стене.

А Бориска и рад — залился соловьем о родной стороне, о Москве-матушке, что милее всего, и вдруг на полуслове умолк, вспомнив рассказ деда Юхима.

— Дозволь, княже, слово молвить? — глухо попросил он, и лицо его стало сумрачным, сквозь загар проступила бледность.

— Сказывай, — разрешил князь и насторожился.

— Может, и не моего ума се дело, а хочу допытаться: пошто так скудно смерды живут? Пошто ниварь голодает?

Юноша смотрел на князя открыто, доверчиво ждал ответа.

— Я не облегчитель! Все от бога, — холодно сказал князь, нахмурившись. И, резко оборвав беседу, приказал: — Ну, поди спать, наговорились!

Досадливо подумал: «Лучше бы не звал!»

Темень — хоть глаз выколи. Казалось, весь мир погрузился в эту крошечную тьму. Слышно, как жуют овес кони. Пахнет теплым навозом и недавно прошедшим дождем. Хмель у Бориски исчез, будто и не было его. Юноша пошел к избе Юхима.

Далеко впереди ветром разогнало тучи, и по небу прокатилась звезда, упала в стороне Москвы.

«Земля-то наша сколь велика! Конца-краю нет... И народ — богатырь. Любой татарина осилит. А содружности мало... И справедливости нет...» — думал Бориска.

Во тьме заскрипела уключина колодца, заплескалась вода. «Надобно левее брать, — сообразил Бориска и, взяв немного в сторону, продолжал размышлять: — Вот читал я «Поучения Владимира Мономаха». Написано: «Кругом все исполнено чудес и доброт. Солнце и звезды, птицы и рыбы, свет и тьма — не все в един образ, каждый свое лицо имеет, и все дивно, все то дано на угодые человекам». На угодые! А кругом бедность какая... Пишет: «Не заводи беззакония». А где он, сей закон?»

И прежде возникали у Бориски эти мысли потаенные, мучили его. Но сейчас, после разговора с дедом Юхимом, все стало еще яснее и оттого беспокойнее.

Бориска подошел к своему коню, достал из торбы натертую чесноком краюху ржаного хлеба — решил отнести ее деду Юхиму.

В сенях не сразу нашел дверь: рука натыкалась то на грабли, то на кади.

Дед не спал, что-то строгал возле горящей лучины. Обрадовался, что Бориска возвратился, позаботился о нем, старике. Словно извиняясь и жалуясь, сказал:

— Сам лечу, а от хворей не сплю. Одолевают. Кости ссохлись, трясовица ломает... Входит-то болезнь в нас возами, а выходит лукошками. — Видно, недовольный своими жалобами, бодро добавил: — Переможусь!

— Сон развеяло, — сядясь рядом со стариком, признался Бориска и, скрестив на столе руки, положил на них голову.

— Ну, и посидим полуношниками. Хочешь, расскажу тебе, как город Переяслав возник?

— Расскажи, дедуся.

— Было то давно... — начал неторопливо, полушепотом старик. — Жил в дальних краях отрок Переяслав. Дошло дело до единоборства с Печенегом. Отрок Переяслав оторвал Печенегу от земли, до смерти удавил в руках и ударил им оземь...

Бориска сидел, устремив глаза в темный угол избы. Перед ним вставала картина за картиной, ему чудилось, будто все это с ним свершается: он душит татарина, бросает его под ноги, и земля вздыхает радостно.

Так в эту ночь и не сомкнул глаз Бориска. На зорьке он покормил коня, оплеснул водой лицо и вышел за ворота.

Выпала сладкая, медвяная роса; солнце подсушит — выступит ржою. Нежно зарумянился край неба у леса.

Через дорогу впереvalочку брели к реке утицы. От реки веяло утренней свежестью, доносились тонкие звуки посвистели. Горьковатый дым кизяков поднимался из соседнего двора, стелился над землей.

«Родная сторонка, земля светлорусская! Нет краше и лучше тебя, так бы любовался и любовался тобой...»

Бориска глубоко вдыхал чистый, опьяняющий воздух, восторженными глазами глядел кругом: воистину все дивно и свое лицо имеет!

Из соседних ворот вышла смуглолицая девица с коромыслом через плечо. «До чего же хороша купава!¹» На ногах роса сверкает, лицо румяно. Повела на Бориску черными очами — словно полымем обожгла. Хотел заговорить, да раздумал. К чему? Мало ли красивых на свете, а сердцу одна мила. Встало улыбчивое лицо Фетинюшки: меж губ зубок острый неумело лег. На ногах сапожки на подборах высоких. Все-то любо в ней...

Ему так захотелось положить свою голову сейчас на колени Фетинье и смотреть, смотреть на нее без конца, смотреть на детские губы, на милую улыбку...

А девица с коромыслом уже скрылась в другом дворе. Запела голосом нежным и тихим, словно бы укоряла, или звала, или ждала: не ответит ли песней?..

Бориска возвратился в избу. Фрол уже встал, перебирал бредни.

— Пойдем рыбу ловить, — предложил он густым, хриплым голосом.

— Пойдем.

Они остановились на берегу. Сквозь синие с золотой гривой тучи, как из колодца, проглянуло солнце, и на реке возникло золотое озерцо. Оно росло, приближалось к берегу, и вот мелкие волны заблестели так, будто близ поверхности проходил огромный косяк золотых рыбешек...

Часом позже, когда проснулись воины отряда Калиты, на берегу, на белой каемке песка, горел костер. Над котелком струился дымок, и Бориска, веселый, с портами, подкатанными до колен, кричал издали чумазому вертявому Трошке, призывно размахивая руками:

— Айда уху пробовать! Трошка, айда! Навались!

Речной ветерок ласкал его золотистую бородку, перебирал выгоревшие на солнце волосы.

Трошка подбежал, радуясь, что увидел Бориску, что они вместе у реки, что светит утреннее солнце. На отроке была крестом вышитая легкая рубаха, из-под ворота виднелась тонкая шея.

— Рубаха-то у тебя ладная, — мягко улыбаясь, сказал Бориска, зная, что похвала эта приятна Трошке.

Они с таким нетерпеливым ожиданием склонились вместе над котелком, так жадно вдыхали запах свежей разваренной рыбы и лука, что даже угрюмый Фрол пошутил:

— Ну, други, доставайте ложки побольше! — И по его мрачному бородатому лицу непривычно скользнула улыбка.

У КУРГАНА

На двадцать седьмой день водного пути, объезжая камень-одинец, вокруг которого яро бурлила вода, ладьи близко подошли к берегу и попали под обстрел бродячих татар. Несколько стрел впилося в щиты, а одна — в щеку широкоплечего, медлительного Демьяна. Он сейчас мучился, лежа на носу ладьи с перевязанным лицом.

В самый солнцепек решили сделать привал. Когда до берега оставалось локтей¹ пять, Бориска первый выпрыгнул из ладьи, подтянул ее по песку и взбежал на бугор.

Перед ним расстилалась могучая степь: шелковистыми волнами ходил сизый ковыль, подступал к высокому кургану; весело порхали бабочки-пестрокрыльницы; дымчатый рябчик нырнул и скрылся в густой траве; пронзительно, жалобливо прокричала желтоглазая, на высоких ножках авдотка² и улетела прочь, а вслед за ней низко над землей замелькала зеленоватой грудью и темными полосами на крыльях сизоворонка.

— Красота-то какая! — восхищенно прошептал Бориска и замер, положив руки на бронзовую пряжку пояса, привычным задорным движением запрокинув русую голову.

Степь была знойной, бескрайней, просилась в песню. Кругом тишина. Только посвистывал суслик, высунувшись из норы, да высоко в небе парил беркут. Он наметил добычу и, сужая круги, камнем стал падать на землю. Выхватив из колчана оперенную стрелу, Бориска в мгновение выпустил ее, и беркут с хриплым клекотом упал на траву, несколько раз пытался взлететь со стрелой в груди, но, обессиленный, мертво застыл у кургана.

— Ловко это ты, ловко! — появляясь рядом с Бориской, восхищенно воскликнул Трошка.

Он снял шлем, ладонью вытер взмокшие волосы.

— Я за ним сбегаю, — с готовностью предложил Трошка и, оставив шлем у ног Бориски, по-мальчишески подпрыгивая, побежал к кургану.

¹ Мера длины.

² Название птицы.

¹ Красавица.

Трошка успел добежать до него и поднять беркута, когда вдруг из-за кургана выскочили до двух десятков татар на низкорослых лохматых конях. Они вмиг окружили Трошку:

— Закон осквернил!

— Убить его!

— Осквернил! — бесновато кричали татары на своем языке и, выхватив сабли, начали рубить Трошку.

Бориска бросился на выручку:

— Стой, дьяволы, стой!

Его вмешательство было таким неожиданным и бесстрашным, что поразило даже татар. Они окружили Бориска.

— Ты кто? — прохрипел татарин в рысшей шапке, с арканом в руке, склонив над юношей свирепое лицо.

Бориска смело посмотрел в злобные щели его глаз, гордо сказал:

— Мы — москвитяне...

От берега бежал воин, крича татарам:

— У князя проезжая грамота! Эй, пайцза хана!

Татары поскакали к берегу. Иван Данилович, сидя в ладье, протянул пайцзу — на золотой пластинке дрались два тигра. Пайцза приказывала во всех землях выдавать ее владельцу лошадей, корм, проводящих.

Недешево, ох недешево досталась эта пайцза Калите! Татарин, возвращая ее, покровительственно улыбнулся:

— Зачем птицу молодую твой воин убил? Не надо. Закон нарушил.

Татары повернули коней и так же быстро, как появились, исчезли. Снова наступило безмолвие. Только стрекотали кузнечики да у кургана в луже крови лежал истерзанный Трошка.

Его похоронили здесь же, вырыв могилу мечами, и, молчаливые, угрюмые, поехали дальше.

«Вот и нет Трошки...» — думал Бориска, опустив руку за борт, в воду. Пережитое им самим отошло прочь: ему до слез жаль было юнца. Остались у Трошки в Москве старуха мать, сестренка лет семнадцати да старшая — в Подсосенках, за Андреем Медвежатником. «То-то убиваться станут, — горестно думал Бориска. — Сколько наших уже погибло так...»

По берегам виднелись сожженные селения, поросшие лесом.

На мгновение представилась Бориске вся неоглядная Русь. Истоптанная копытами татарской конницы, иссеченная плетями, опутанная вервьями, лежала она, кровотока, с трудом сдерживая стон, готовый вырваться из могучей груди.

Русь возлюбленная! Как уменьшить муки твои? Как омыть раны, освободить от впившихся в тело пут?

Кабы знал, ничего не пожалел для этого, ничего не

устрашился бы, только б тебе принести облегчение!..
Бориска тяжело вздохнул.

Чем ближе к Орде, тем явственнее виднелись следы татарских набегов. Но и среди этого разора, меж пепелищ, неистребимо копошились люди, и Бориска вспомнил слова деда Юхима: «А мы-то живы, живы!»

Насупившись, сидел в ладье князь.

«Ну что сейчас сделаешь? Вот так налетят, сомнут... Умный муж бывает не только на рати храбр, а и в замыслах крепок. Дед Александр великим стратигом был. И мне, его дело продлить надобно. Пока Русская земля не готова к схватке, не уйти от тяжкого соглашения.

Под спудом зреют силы неодолимые, но измощена Русь несогласьями. Спасение ее — в укреплении власти единой. В подлой Орде смирением надо скрыть, что меч куем...»

Могучая река катила волны, бережно несла на плечах своих московский караван.

ФЕТИНЬЯ ТОСКУЕТ

Фетинья в холстинном платье «без стана» стремглав миновала переходы, просторные сени и, выбежав во двор, устремилась к конюшням — только замелькали алые ленты в девичьих косах.

За Фетиньей едва поспевала ее подружка Ульяна, девка-недоросток, тяжело сопя; переваливалась на чурбашках ног.

Подружки пересекли задний двор Кремля, оставили нозади хлевы, птичники, сушильни, откуда доносился запах вяленой рыбы и соленой говядины, и очутились у конюшни.

Фетинья быстрым движением поправила кольца, нашитые у висков на шапочке, и приоткрыла дверь конюшни. В полутьме пахло конским потом, слышен был перебор копыт. Глаза привыкли к темноте, и Фетинья разглядела в углу конюха Митицу: он перевешивал хомуты.

— Дяденька Митица, — сладеньким голосом пропела Фетинья, — дозвожь конем поворожить.

Митица, добродушный нескладный мужик с длинными, словно грабли, руками, оторвался от работы, повернул к девушке лохматую голову.

— Это ж как ворожить будешь? — отечески улыбнулся он, добро глядя на Фетинью.

— Через бревно проведу! — быстро ответила девушка, но не сказала, что задумала: если конь за бревно ногой не заденет, будет Бориска мужем хорошим.

— Да бери любого, — разрешил конюх любимице.

Фетинья наклонилась к уху подружки, жарко прошептала:

— Какого выводить?

Ульяна захлебнулась от волнения:

— Буланого, что с краю!

Фетинья подскочила к коню, потащила его к выходу. Рядом с конем она и вовсе стрекоза стрекозой, только в глазах зеленые искры.

Тут же, у конюшни, и бревно лежало. Фетинья торопливо перекрестилась и повела коня через бревно. Он неохотно шагнул, зацепился задней ногой.

Ульяна ахнула, захихикала:

— Муж злой будет!

Фетинья рассердилась, даже ноздри раздулись.

— Бабы брехни! — решительно сказала она и повела коня в конюшню.

Подружка рядом семенила, удивлялась:

— Да ты ж сама сказывала...

У Фетиньи злость прошла. Озорно подтолкнула локтем Ульяну, облизнула острым языком свои полные губы, уже весело сказала:

— Ясно ж — брехни!

Из конюшни медленно пошла в хоромы. Везде скучища и безделье. Женщины белят и красят лица, выдергивают, сурмят брови, лепят на лицо мушки, похожие на ягоды и кувшинчики. К чему это пустое дело? Только и разговоров что о мужиках, а появится мужик — бояться, тихони.

Фетинье не по сердцу такая праздность. В прачечной лучше было, чем теперь, когда стала постельницей.

У княгини в ларце хранились — Фетинья украдкой разглядела однажды — белильница, румянища, склянки-ароматницы, бусы из хрустальных зерен.

Красотой считали уши длинные. Чего-чего только не делали, чтобы вытянуть их!

А вот она не хотела — пусть маленькие будут. Бориске и такие любви!

Села рукодельничать: вышивала тайно рубаху Бориске красной пряжей по косому вороту, подолу и на зарукавьях. Думала: «И цветной опоясок сделаю». Но не работалось. Скучно, тоска томит. Нет веселья и покоя... Сенька, козлоногий, все пристаёт да пристаёт. Зачем он надобен? Вчера, чтобы подразнить, назначила к вечеру свидание: «Жди под окном — выйду». А сама сверху опрыскала дуралея водой из ковша. Веселее не стало. Туго на сердце, тяжело. Где Бориска, что с ним сейчас?..

На верху терема, в клетушке рядом с горницей, тихо. Фетинья, распахнув окно, села с ногами на подоконник. Смерка-

лось. Сонно проворковали голуби под стрехой. Темнела в вечернем небе звонница ближней церкви. Со двора доносились голоса еще не уgomонившихся ребятишек. Стая грачей с громким криком поднялась над высоким деревом в гнездах и снова опустилась, удобнее устраиваясь на ночлег. Фетинья задумчиво смотрела вдаль, вспоминала, как видела в последний раз Бориску: «Ехал неподалеку от князя, увозил ее покой. А сейчас он за тридевять земель, в царстве злого Азбяки. Что делает? Думает ли, скучает ли по ней? Может, поганые уже убили его, и кости Бориски точат вороны, и мягкие кудри истлели?..»

Слезы застлали глаза. Она тихо запела, прислонив голову к раме:

Я в те поры
Мила друга забуду,
Когда подломятся
Мои стары ноги,
Когда опустятся
Мои белы руки,
Засыплются глаза мои
Песками...

Еще сиротливей стало на душе. Горемыка она, горе горькое! Нету у нее ни отца, ни матери, есть только любимый Бориска. Да и тот вернется ли к ней снова?..

И она запела громче, сетуя:

Без тебя я —
Тонкая береза,
Белая, кудрявая —
Сиротка!
Меня солнышко
И месяц не греют,
Частые звезды
Не усыпают.

Внизу, мимо окон светлицы — Фетинья не видела его, — увальнем прошел рудый Сенька. Один и другой раз. Услышав песню, так растянул рот, что широко открылись красные десны. Но и у него на сердце стало тоскливо. «Чем я ей не жених?» — с недоумением прошептал он, еще повертелся под окном и поплелся пить пьяный мед.

Фетинья сидела долго, пока совсем не стемнело. Загорелись на небе большие, яркие звезды. Она почувствовала себя такой маленькой в этом неуютном мире, что, не выдержав, соскочила с подоконника, юркнула на лавку под прохладное укрывало. Свернувшись калачиком, сказала себе: «Стану только о любимом думать!»

Память ничего не погасила, все сохранила... Вот Фетинья с Бориской вышли к солнечной поляне, поросшей густой травой.

Они сели на два пенька рядом, молча глядели на синюю стену бора, видневшуюся меж стволов ближних осин...

И эта яркая изумрудная трава, и птичьи голоса, доносящиеся издали, и всплески весел в озерке за бугром — все это было и внутри, частью их тихой радости. В их глазах можно было прочитать: «Как щедра к нам жизнь!» Они поднялись и пошли дальше.

Их привлекла к себе открытая дверь кладбищенской изгороди. Виногато прижимаясь друг к другу, словно чувствуя неловкость за свое счастье перед теми, кто лежал под тяжелыми плитами, они шли узкой тропой меж могил. Солнце скрылось. Багряные гроздья рябины потемнели. Приветливо подмигивали, пролетая от куста к кусту, светлячки. Проскрипели за оградой колеса воза. И случайно или нет — Фетинья до сих пор не знала этого — губы юноши коснулись ее щеки.

Это было так ново, так хорошо, что они долго стояли рядом у могильного камня, повернувшись к нему спиной, глядели на темнеющий вдали Кремль, не смея больше прикоснуться друг к другу — и все-таки очень близкие...

О чем думали они в эти минуты? О том, как благодарны жизни, что нашли друг друга? И как надо беречь то, что нашли? Ничем не омрачать, не замутнять свое счастье?

Фетинья еще туже свернулась калачиком. «Кирпа моя, кирпуля!» — ласково прошептала она в темноте. Так называла она Бориску. Слово это завез в Москву гость из Киева, и значило оно — курносый.

«Не согласится князь на замужество наше — уйду за Бориской куда глаза глядят! — думала она. — Я ведь вольная. Никто не смеет порушить любовь нашу. Лучше в лаптях ходить, а не в сафьяне, только с тобой, Борисонька! В дерюге, а не в багрянце, да с тобой, желанный! Воду, а не мед пить, да в твоём доме... Сама тебя выбрала, как сердце подсказало, и никто мне здесь не указчик. Буду тебе верной подругой, не замуравит дорожка к сердцу твоему... Тяжко мне, ох, тяжело без тебя! Сенька краснорожий пристаёт, княжич Симеон тенью ходит, издали все поглядывает — туда же, птенец желторотый! Сегодня, как ушел, след его венником замела, чтобы не приходил боле... Знай, Борисонька, дождусь тебя!»

Она взяла в острые зубы край укрывала, натянула его и так уснула.

САРАЙ-БЕРКЕ

Иван Данилович въехал в ханскую столицу Сарай-Берке в полдень.

Долгий изнурительный путь утомил князя и его небольшой

отряд, но город не сулил отдыха. Земля накалилась, походила на запекшиеся, потрескавшиеся губы.

Изредка по ясно-голубому небу проползала, не отбрасывая тени, прозрачная тучка, и снова ослепительно чистое небо источало зной.

Татары в городе встречались редко — были на кочевье. Зато на каждом шагу попадались византийцы, черкесы, сирийцы.

— Из Таны в Астрахань я ехал на волах двадцать пять дней... — немного заикаясь, говорил, переходя улицу, худосочный, с редкой бородкой фряжский купец стройному, высокому арабу в чалме.

— Зачем посылать за шелком в Китай, если можно закупить его здесь? — с недоумением спрашивал его араб, неторопливо передвигая длинными, как у цапли, ноги.

Калита, прислушиваясь к фряжской речи, усмехнулся: «Учуяли наживу! Надобно их к нам привадить!»

От реки на повозках и арбах верблюды тащили в город воду в глиняных кувшинах. Вдогонку кобылице побежал с тревожным ржанием тонконогий жеребенок.

За несколько лет, что не был московской князь в Сарай-Берке, город неузнаваемо вырос, обстроился дворцами, мечетями, складами.

Стены домов сделаны были из голубого камня. В этой голубизне сказочно цвели красно-желтые цветы, выложенные из камня же искусными руками пленных мастеров. Ханский дворец — с золотым серпом на верхушке — пустовал. Узбек со всем двором выехал за город, в Золотой шатер.

Шесть десятков лет назад основал хан Берке этот город, и вот каким он стал. «Москва через столько лет краше будет», — успокаивая себя, думал Иван Данилович, шагая с Бориской широкой улицей.

Они миновали монетный двор, ханские мастерские, прошли вдоль городского вала со рвом, переправились через канал и вышли к базару.

Лениво обмахивались ветвями греки в скупой тени редких деревьев. Густая пыль обволакивала медленно тянувшийся караван кипчаков; нехотя скрипели телеги, утомленно звенели бубенчики, гортанно покрикивал погонщик, похожий на обгорелую головешку. Понурился, плелись огромные бараны, с трудом тащили свои тяжелые курдюки.

На площади, покрытой рундуками, возле еще не погруженных тюков с товарами для дальних стран, лежали бурыми грудками косматые двугорбые верблюды. Оглушительно ревели быки, ржали кони, приготовленные для отсылки в Индию. Пахло пряностями и дубленой кожей.

Восемь лошадей тащили на широкой, по-особому сбитой

телеге большой медный колокол. Бориска увидел его, и глаза загорелись: «Ух, хорош! Такие дедушка Лука лил...» Сразу пахнуло детством. Показалось, ступил на порог мастерской, ноздри ощутили запах дыма.

— Кто сработал? — спросил Бориска, идя рядом с телегой, у погонщика в широкополой шляпе.

— Римский великий маэстро Бартанелло, — процедил надменно сквозь зубы погонщик.

Бориска даже не обратил внимания на то, как ответил спешивец, — неотрывно глядел на колокол: наверно, отлит был для православной церкви в Сарае.

— Я бы уже такие лил! — невольно вырвалось у Бориски, когда он возвратился к Калите.

— Затосковал кулик по своему болоту, — пошутил князь.

Телега с колоколом, натужно скрипя, медленно проползла дальше.

...Побывал Калита у купцов сирийских, переговаривал, чтоб товар в Москву подвезли, потолкался в торговых рядах.

На высоких стойках выстроились серовато-зеленые чаши, покрытые глазурью, с птицами и звездами на дне; хитрые замки; изделия из бронзы. Калита взял один замок, дужка с пружинами мелодично звякнула. «Московской работы, — с гордостью подумал он, — попробуй отопр! Недаром еще Теофил писал: «Россия славится ремеслами...» Надо выкупить мастеров, что здесь. Особливо деловца Парамшу».

Мимо проплыла знатная татарка, шелестя шелками, величаво покачивая павлиньими перьями на головном уборе, — двумя руками тот убор не обхватишь. Татарка скрылась в дверях, обитых цветным войлоком.

Калита только прищмокнул вслед насмешливо: «Ишь, щепетливая¹».

Невольно вспомнился Алексей Хвост: «Тоже щеголь: на плечи под одежду деревяшки подкладывает, чтобы выше казаться. Чем у человека ум занят!»

Калита пошел дальше, привычно оценивая глазами ткани, ощупывая кожу, выстукивая посуду. Любил этот неторопливый, хозяйский осмотр. Над ухом прокричал купец-сириец:

— Есть московский товар! Кольчуги, панцири! Где такую тонкую работу найдешь?

Калита довольно прищурил глаза: «Старается!» Задержался у прилавка с царьградскими товарами — больно пригляделось узорчье: львиная голова по золотому полю. Долго гладил материю ладонью, пробовал прочность. Будто советуясь, спросил Бориску невинным тоном:

— Может, стрекозе возьмешь? Должно, подойдет.

Бориска вспыхнул: «Знает!» Молча, взглядом одобрил товар. С нежностью подумал о Фетинье: «Что моя зоренька сейчас делает?»

Калита еще помял материю.

— Почему? — обратился он наконец к маленькому черному греку.

— Пить рубль... Пить, — поясняя, растопырил пальцы грек.

Калита положил на прилавок товар, даже торговаться не стал. Серdito поджал губы:

— Не по нас... не по нас, Бориска. Удача у хана будет — не оставлю и тебя без подарка, — пообещал он.

Отходя от грека, добавил шутливо:

— Захотели два калики село купить, стали складчину считать: у одного корка сухая, у другого гороха горсть... — Но вдруг резко оборвал: — Языком двою!.. Деньги есть, да на другое, поважнее, надобны!

При выходе с базара князь и Бориска натолкнулись на трех подвыпивших татар. Один из них, плотный, с кривыми толстыми ногами и одутловатыми, словно от осиных укусов, щеками, оставил своих товарищей и, размахивая руками, злобно кривя рот, двинулся на князя. Подойдя вплотную, закричал:

— Урусут, собака, дорогу!

И, выпатив грудь, положив ладонь на изогнутую рукоять сабли, начал наступать на Ивана Даниловича.

Князь, забыв о том, где он, зачем приехал, схватил оскорбителя сильными пальцами за глотку, сдавил так, что тот захрипел, роняя слюну.

Блеснул нож в руке Бориски. Шарахнулись в сторону два других татарина, визгливо заголосили:

— Урусуты татар бьют!

Князь отбросил от себя ордынца, и тот, вереща, далеко покатился по земле. Князь затравленно огляделся. Вокруг него и Бориски сразу возникла стена недобрых скуластых лиц. Мелькнула мысль: «Вот и завешание пригодится!»

Бориска спиной прислонился к спине Ивана Даниловича, сжал в руке нож. Глаза сверкнули отчаянной решимостью. Сказал мысленно: «Прощай, Фетиньюшка!» На мгновение возникло морщинистое лицо деда Юхима: смотрел, ободряя.

В это время позади толпы остановился проезжавший мимо возок. Из него выглянул тучный знатный ордынец. Калита узнал в нем знакомого тысячника Байдеру, что часто приезжал в Москву, получал богатые подарки от московского князя. Узнал и тысячник Ивана, гортанно крикнул, поднимаясь с сиденья:

¹ Франтиха.

— Что случилось, конязь?

— Хмельные напали,— спокойно ответил Иван Данилович и еще более выпрямил спину.

Тысячник, рассекая возком присмирившую толпу, подъехал ближе, приказал повелительно татарам:

— Прочь! Эй, прочь!

Толпа, глухо ворча, недовольно отхлынула. Тысячник, обращаясь к Ивану Даниловичу, спросил любезно:

— Давно из Москвы? К нам зачем приехал? — А в голосе слышалось: «На подарок надеюсь».

Бориска бросил клинок в ножны, вытер рукавом пот со лба. Ярость затухла в его глазах.

Под вечер к московскому князю зашел молодой купец Сашко. Глаза у гостя зоркие, быстрые, держался он смело, но скромно и всем обликом своим очень походил на Бориску, только был выше его и старше.

При людях Калита говорил с молодым купцом о торговых делах, а оставшись наедине, начал расспрашивать о жите в чужой стороне.

Жил Сашко здесь вот уже шесть лет, торговал московским товаром. Тосковал по родной стороне, по снегам русским, синему бору за Москвой, тосковал так, что порой выть хотелось. Бросил бы все и бежал! А нельзя — дело ширилось, крепло.

— Торговля идет ладно, а на рожи татарские не глядел бы,— бесхитростно признался он.— Сил нет, тянет на Москву уйти, по речи нашей соскучился!

— Да и понятно-то,— задумчиво произнес Иван Данилович, и глаза его подернулись грустью.— Даже птица, как улетает на зиму в чужие края, не поет там, птенцов не выводит...— Помолчав, твердо сказал: — А торговать здесь надобно. Всею княжеству польза, не только тебе.

— Да я что,— печально ответил Сашко,— знамо, надо...

Расспросив о семье, о том, как думает дальше вести дело, Калита наконец подошел к главному:

— Не слыхал, смуты при дворе Узбека нет ли?

Сашко, сожалея, сказал:

— Крепок еще... Задружил с папой Иоанном XXII. Посол его недавно в Орду приезжал, Узбек хвастал перед ним: стрелы свистящие показывал. При полете устрашают... Породниться собирается с дочерью византийского императора Андроника.

— Здоров ли? Весел?

Сашко простодушно удивился: с чего вдруг князь о таком спрашивает?

— Здоров как бык, да жиром заплыл. И ум заплыл. Самомнитель возросливый! Каждое слово свое считает великой мудростью. В праздности да в роскоши живет...

Калита приспустил веки, слушал, будто не придавал всему этому значения, сам мысленно отмечал: «Сие нам на руку. От праздности леность да скудость ума приходят. Видно, победы в плетениях хитроумных вскружили Узбеку голову. А самоуверенность к гибели приводит».

Сашко продолжал:

— А нахвальщик! «Я великий, я то свершу, я се...»

Калита усмехнулся:

— Хвастать — не косить: спина не заболит.— И, словно продолжая пустую застольную беседу, полюбопытствовал: — А ханша как? Здорова ли? Что любит?

Калита знал, какую большую силу имеет ханша в Орде.

— Тайдула? — с презрением спросил купец.— Жрунья! До того чревоугодна — лопнет скоро. На лесь падка. Любит, чтоб величали многоречиво и подарки подносили.

«Надо ей руки наполнить. Сам понесу меха»,— решил Калита.

— Из дворцовых кто в силе? — спросил он.

— Киндяк! — воскликнул молодой купец.— А и лукав сей Киндяк! Но полезен... И посол египетский полезен, в почете у хана, при дворе бывает...

К татарскому вельможе Киндяку Калита пошел на следующий вечер. Киндяк оказался мужем полным, почти квадратным, с лицом широким, как блюдо. Люди сказывали: чтоб сердце не разорвалось, лечился — бил ему на руке жилу сокол, выпускал лишнюю кровь.

Щедрые подарки Калиты Киндяк принял милостиво. Потирая пухлые руки, повторял скороговоркой: «Осень приятна, осень приятна», и щурил пройдошливые, закишенные глаза.

— А сие, будь ласков, передай царевичу Джанибеку,— попросил Калита, протягивая тяжелый золотой кувшин в виде петуха.

— Передам, передам! Осень приятна, мы твоя други...— И хлопал Ивана Даниловича обещающе по плечу.

Калита глядел на него простодушно, а сам думал: «Экий красавец! Под носом румянец, во всю щеку лишай» — и почтительно кланялся...

Собираясь к Тайдуле, князь достал дорогой кафтан из тафты; сзади, у затылка, пристегнул козырь — высокий парчовый воротник, расшитый жемчугом.

И Бориске приказал принарядиться. Тот надел синий кафтан, отчего глаза его стали еще более синими, натянул лучшие сапоги: носы — шилом.

Калита разгладил мягкую бороду, прищурил глаза:

— Сущие женихи...

Бориска, весело рассмеявшись, тоже огладил подстриженные под скобу волосы, отставил в сторону ногу, полюбовался сапогом:

— Под пята — хоть соловей лети, а кругом пята — хоть яйцо кати!

И вдруг помрачнел: мог ли предполагать, мечтая в детстве о ратных подвигах, что придется идти на поклон к ханше, кланяться раскрашенной кукле! «Чего не сделаешь для отчины», — подумал он.

Люто ненавидя врага, готовый в любой час схватиться хотя бы с сотней, Бориска тем не менее старался найти оправдание действиям князя. На московской речной пристани, в сутолоке базаров, среди обитателей Посада и Подсосенок не однажды приходилось Бориске слышать, что князь своей изворотливостью отводит татар от Москвы.

Юность не терпит рассудительности и обходных движений там, где, по ее разумению, пусть даже с риском для жизни, можно пройти прямо. Если бы это зависело от его желаний, Бориска, конечно, не ездил бы в Орду, не гнул голову перед татарами. Но, верно, князю виднее, как следует держаться, и Бориска заставлял себя при встречах с татарами не сжимать пальцы в кулаки.

Калита достал из дорожного сундука татарский колпак. Надев его, вмял поглубже верх — татары любили видеть такую вмятину, она означала смиренное покорство.

...Тайдула принимала Калиту в своем шатре. Ее разрисованное, покрытое густым слоем белил широкое лицо было бы даже приятным, если бы не почерненные лаком зубы. Брови ханши так высоко вскинута над щелками глаз, что кажется, она непрестанно удивляется. Полные, в кольцах руки покоятся на расшитом шелковом халате.

«Хвалят на девке шелк, коли в девке толк», — насмешливо подумал Калита и, кланяясь, приблизился к Тайдуле, а Бориска положил возле нее подарки.

Нисколько не смущаясь, Тайдула тут же начала перебирать поднесенные Калитой меха. По широкому лицу Тайдулы разлилось удовольствие.

— Счастлив поклониться перед мудрой женой Узбек-хана, сына Тургун-хана, сына Менгу-Темир-хана, сына Бату-хана, сына Джучи-хана, сына Чингисхана...

Тайдула, кивая головой, снисходительно смотрела на Калиту.

— Всегда служу тебе верой и правдой... — продолжал он. Ханша важно сказала:

— В будущем свете, на пути в рай, наши руки удержат за одежду неверных нам...

Помолчала и добавила, одобрительно поглядев на вмятый колпак Калиты:

— Тебе верю и ценю. Во всем помогу...

Знал Калита: ханша сама кое-кому ярлыки выдает, вон и золотой перстень-печать на пальце у нее, на перстне дракон высечен.

Тайдула стала жаловаться на нездоровье — глаза болят.

Калита сочувственно вздохнул:

— Я тебе излечителя пришлю, как рукой снимет...

Ханша милостиво улыбалась.

На следующий вечер Калита с несколькими слугами подошел к высокому дому египетского посла Ала-ад-дина Ай-догды и остановился у массивной двери.

Постучав кольцом-ручкой о бронзовую пластинку, он подождал, прислушиваясь. Дверь приоткрыл худой как жердь слуга; узнав, что перед ним московский князь, провел его в высокую комнату. Слуг своих Калита оставил внизу.

Навстречу Ивану Даниловичу шел хозяин — воистину «оладына подгорелая»: расплылся в теле и смугл. А одет богато — один пояс золотой с камнями чего стоит. Слышал Калита: посол сей влиятелен и вельми¹ мудр, логику и медицину изучал. Послушаем, посмотрим...

Они долго сидели за столиком друг против друга, неторопливо беседовали по-латински, ели фрукты в сахаре, запивали холодным сладким напитком, от которого тяжелели ноги, а голова сохраняла ясность.

— Хитер Узбек, трудно с ним ладить, — жаловался Ала-ад-дин Ай-догды, испытующе глядя на Калиту, словно спрашивая: «Согласен ли? Как мыслишь?»

Иван Данилович помолчал. Надо ли откровенничать? Неосторожное слово — и удавят татары. Наконец сказал:

— Есть у нас на Руси побасенка о лисе и раке... Однажды лиса говорит раку: «Давай-ка наперегонки?» — «Что ж, давай!» — согласился рак. Лиса побежала, а рак ей в хвост вцепился, притих. Добежала лиса до места, запыхалась, а рак отцепился от хвоста и кричит: «А я давно уже тебя здесь дождаюсь!..»

Умолк. Краешком глаза посмотрел на «оладыну».

Тот сидел, сосредоточенно думал, ждал разъяснения. Не дождавшись, сам сказал — недаром логику изучал:

— Значит, и хитростью побеждают...

И протянул руку к темно-синему, с золотой росписью кувшинчику, налил гостю еще прохладного напитка.

¹ Очень.

— Приезжай к нам в Москву,— пригласил Калита.— И купцов присылайте, не пожалеют.

Посол благодарно приложил ладонь к сердцу.

Остановился Калита не на русском постоялом дворе, а в доме на краю города, там, где кончался квартал татар, чтобы лучше приглядеться к повадкам их, разузнать еще кое-какие подробности о хане: не изменился ли характер, когда милостив бывает?

С порога дома видно было Ивану Даниловичу и Бориске, как в соседнем дворе низкорослый скуластый монгол долго и старательно оттачивал напильником наконечник длинной красной стрелы.

Неподалеку трое малышей стреляли из лука и пронзительно кричали, свистели в глиняные свистульки каждый раз, когда стрела попадала в цель.

Проскакала по улице татарка верхом на коне, скрылась за поворотом, оставив след клубящейся пыли. Чей-то голос, монотонный и скрипучий, пел песню. Калита разобрал слова:

Стрелы летучие,
Мечи секучие,
Копья зыбучие...

У забора шумная ватага татар расселась вокруг котла с мясом. Один из татар землистыми руками вылавливал куски пожирней, делил их на части и раздавал остальным. Хилому старику почти ничего не досталось. «Старость не уважают: износился — и в яму»,— подумал Бориска.

Монголы рвали мясо зубами, чавкали, потные лица их лоснились. Жирные капли падали с мяса на цветные шелковые халаты.

— Пошто ножом мясо не достают? — дивился Бориска.

— Боятся этим отнять у огня силу,— пояснил князь.

— Темнота!

— Обычай. За грех считают кнутом к стреле прикоснуться или коня бить поводьями. Убивают за это.

Окончив еду, татары вытерли руки о голенища и, громко отрывая, стали поочередно прикладываться к бурдюку с кумысом. Татарин в яркой тюбетейке положил что-то на блюдо и отнес к идолу из войлока, у двери.

Сердце,— знаяще сказал Калита.— Верно, зверя какого недавно убили.

Легкий порыв ветра донес резкий запах нечистого тела.

— Как от козлов смердит,— презрительно сморщился Бориска.— Повелители! — И в сердцах плюнул на землю.

Еще день разносили слуги Калиты подарки его знакомым вельможам, многочисленным покровителям. К ночи Калита воз-

вратился в гостинный двор. Улегшись на жесткую постель, думал: «Малого пожалеешь, большее потеряешь. Пока Русь не едина, усобицами, как ржой, разъедается, надо быть с ханом ласковым да покорным, татарву умасливать... Как в шахматной игре наперед угадывать: пойду так, как ответит? А что сие даст? Исподволь — ольху согнешь, а вкруте — и вяз переломишь. Зато укрепнем, сил наберемся... Может, внуки мои сбросят злое иго татарское».

Повернулся к стенке, сделал вид, что заснул. Но не спалось от дум беспокойных.

«Тверь, Тверь! Сколь забот и боли принесла! Давно ли изменник Акинф из Москвы к тебе переметывался, своими полками меня в Переяславле обкладывал? Ладно, что на помощь поспел Родион Нестерович. Голову переветника Акинфа на копье поднес... И что тебе надобно, Тверь? Раздоры, измены, бессилье Руси?»

И Бориска ворочался. Припомнил вечер под дубом, слова желанные; видел Фетинюшку с непокорными завитушками на шее, что никак не хотели улечься в косу, видел глаза ее улыбчивые. Бывало, подмигнет — и на сердце сразу весна и праздник.

Думал ласково: «Кабы надо было для твоего счастья смерть принять, не размышлял бы, не раздумывал, на любую беду пошел, только б тебе, красочка, ладно было...»

...Гортанно перекликались часовые, слышен был чужой говор, где-то протяжно выла собака.

ВЕСТИ ИЗ МОСКВЫ

Неожиданно для князя в Орду прискакал гонец с отпиской из Москвы. Дьяк Кострома писал со слов Василия Кочевы:

«...Только ты уехал, чернь из урочища Подсосенки вздумала гиль подымать... отказалась дань платить. Главный зажига¹ Андрюшка Медвежатник и общитель его Степка Бедный дерзнули языковредием черный люд возмущать, власть нашу рушить злым непокорством. Бросил я заводил в поруб, да еще выловил сброд — и туда ж. С гневом приказал за три дня хлеба и воды не дать...»

«Бдителы! — удовлетворенно подумал Иван Данилович. — Возвышу».

«А через три дни допрашивал пословно Андрюшку и Степку, примучивал дотоль, что губы их кровью смочились... В дыме повесил, а под ними огонь развел: «Реки, чего хочешь?..»

«Поделом собакам»,— мысленно одобрил князь.

¹ Зачинщик.

«Они ж уста замкнули. А послухов¹ нет. Тогда Андриюшку связал, наземь поклял, сверху доску на грудь и на тую доску прыгал, пока грудь не затрещала: «Реки!» А Степку распинали па стене, очи воровские выжигали: «Реки, сквернитель, реки, как худым поносил, добро наше делить собрался». А он безмолвствует, страшения не убоявшись.

А дале сам признался: «Хотим, дабы хозяином был, кто за сохой ходит...»

«Ишь чего захотели, тати поганые!» — гневно сверкнул глазами князь.

«А мне главное сведать надобно было, кто у них еще пособник из черного люда. Да не признались. Я к Протасию и Даниле Романовичу ходил, совет держал с боярами Шибеевым, Жито. Они присоветовали: «Гибельщиков² пошли». Гибельщики сыск учинили — мечи самодельные все же нашли у Сновида и Мирослава. На допрос митрополит Феогност приходил. Вывал: «Признавайтесь, богоотступники, кто с вами заедино?» Молчат, злостные. Тогда святитель страшной клятвой их проклял, а нам благословенье дал изничтожить злодеев».

Князь разгладил рукой пергамент, благодарно подумал о Феогносте: «Верен слову. Возвращусь — пожертвую на собор и монастырь. — Перед глазами возник худенький Феогност. — Ничего не скажешь — умен, а вот без меры алчен. Надо было ему льняное масло сбыть, так сказал: «В елей мышонок попал — осквернение. Благословляю льняным маслом миропознание совершать». Что делает ненасытство! Нет бескорыстия святого Петра. На небо глядит, а по земле шарит. Но опираться и на такого надобно».

За стеной, во дворе, заржал конь. Князь отпустил гонца, приказал на словах тайно передать Кочеве: доволен, что сквернителей обуздал, что совет держит с боярами.

Со двора вошел Бориска. Он точил свой и князя мечи, рубаха его от жары взмокла, по лицу катился пот.

Бориска вложил меч князя в ножны, прислонил его к постели. Иван Данилович посмотрел на Бориску одобрительно: «Трудолюбец!»

— Послушай вести из Москвы, — предложил он юноше не столько для того, чтобы действительно Бориска узнал новости, сколько для того, чтобы перечитать письмо.

Князь начал медленно читать. Чем дальше читал он, тем бледнее становилось лицо Бориски. Юноша судорожно сжимал и разжимал пальцы.

Андрей, которому не раз поверял он свои самые сокровенные мысли, с которым делился краюхой хлеба, Андрей попал в беду.

¹ Свидетелей.

² Сыщиков.

Перед Бориской, как живое, встало лицо Андрея: черные брови, точеный нос, крутой подбородок. Такое лицо нельзя было представить искаженным страхом или смятением.

А князь тихим голосом читал:

«...На тую доску прыгал, пока грудь не затрещала: «Реки!» А Степку распинали... А дале сам признался...»

Рыдания подступили к горлу Бориски. Князь поднял голову. Сразу понял: не надо было холопу письмо такое читать. Не для него!

Сузил недобро глаза, спросил жестко:

— А ты бы в ту пору в Москве был, что с зажигами делал?

Бориска, не помня себя, воскликнул:

— С ними б судьбу разделил!

Князь побледнел, ноздри его раздулись. Вскочив, гневно закричал:

— Прочь, холоп! Прочь! — схватил прислоненный к постели меч в ножнах, замахнулся им, как палкой. — С глаз долой!

...Бориска брел по улицам чужого города. В душе было смятение — и то, что слышал от деда Юхима, и это письмо Кочевы, и гнев князя тогда в селении и сейчас — все переплелось в клубок, жгло мыслями: «Пошто несправедливость такая на свете? На что господь смотрит? Пошто и впрямь хозяин не тот, кто за сохой ходит? Богачи в шелках, а бедным нечем тело прикрыть. На одно солнце глядим, а не одно едим!»

Эти сомнения, приходя раньше как недоуменный ропот, теперь все яснее становились протестом. «Кто он, Бориска? Княжий прислужник. От былой вольности только в памяти след остался».

Впервые закралась страшная мысль, будто ожгла: «Кому и зачем служишь?» Крикнул мысленно: «Не тебе — отчине! Нужен ты ей сейчас против татар. А все вы, богатеи, одинаково мазаны».

Он остановился на окраине города, лицом к степи, к Моекве. И небо и степь были здесь чужими. На миг представилось: вдруг оставят в этом краю навсегда! Сердце сжалось — тогда лучше смерть. Было тихо. Расплавленным золотом поливало солнце землю. Стрекотали кузнечики, как в тот час, когда убили татары Трошку. Там, вдали, за этой степью, Бориска увидел избу деда Юхима, еще дальше — замученного Андрея, смердов в жалких лохмотьях; услышал голос дела Юхима, что с горечью произнес: «Мы пешеходцы».

«От кого такая неправда повелась? — мучительно думал Бориска. — Кем такая участь уготована? Как жаль, что не был рядом с другом Андреем, в тот час, в Подсосенках, не помог ему, как умел. Пусть тоже погиб бы — ничто не страшно...»

Сами собой складывались певучие слова о нужде, о горе народном, о том, что, не будь лапотника, не было бы и бархатника, что за крестьянскими мозолями бояре сыто живут...

Слова, как стон, просились на волю.

...Князь, прогнав Бориску, бросил с сердцем меч на постель. «Если отпустить узду, чернь разнесет! Ярлык получу — хан будет помогать непокорных смирать: сам их боится».

Над ухом опять прозвучали подлые слова Бориски: «С ними б судьбу разделил!» Гнев снова вскипел в князе: «Сколь волка ни корми, все в лес глядит! Грамота не впрок горделивцу пошла. Рассуждать, молокосос, вздумал! Всяка власть от бога, и не тебе, тля, судить! Жаль, что плетью не иссек».

Он поостыл, подсел к столу:

«Ладно хоть, что прям, за пазухой камня не держит. За спасенье на базаре, как в Москву возвратимся, награжу, а из Кремля удалю».

Он прищурил недобрые, острые глаза:

«А чтоб не смел перечить и место свое знал, Фетинью за Сеньку-наливальщика отдам. — Тонкие губы князя изогнула язвительная улыбка: — Попрыгаешь тогда, сочинители!»

В ЗОЛОТОМ ШАТРЕ

Прежде чем разрешить Калите быть на поклоне в Золотом шатре, испытывали покорность князя.

Сначала очищали огнем от нечистых мыслей: разожгли два костра, рядом с ними поставили два копыя. От верхушки к верхушке копий протянули веревку. В те ворота проходил московский князь и воины, следом — доверху груженные повозки. Старая, похожая на ведьму монголка, прыскала водой, закликала скороговоркой:

— Огонь, унеси злые мысли, унеси яд...

Кривляясь, танцевала по кругу. Сородичи подвывали ей.

Танцуя, старуха зацепила рукой за воз, сбила с него наземь шкуру кунницы, проворно схватила ее:

— Мое, меж огней легло — мое!

Потом велела князю кланяться деревянным идолам, пить кумыс.

Слегка горбясь, с выражением покорности на лице, пил Калита ненавистное кобылье молоко, низко кланялся идолам, чтобы никто не мог узнать по глазам, о чем думает. «Я поклонюсь... Но время наступит, и вам, поганым, колом в бок все это выйдет!»

Представилось, как вот здесь же, в черной Орде, погиб мужественный князь Михаил Черниговский, не пожелавший

склонить голову перед татарами. Да и он ли один погиб?

«Ради жертв великих, памяти светлых мучеников сих пойду на тяжкие испытания, все вынесу, а ярлык получу...»

Смерти московский князь не боялся. И если б знал: поступи он так же гордо, как Михаил, — Москва от того станет сильнее, ни минуты не колеблясь, пошел бы на это...

Наконец великаны-стражники приподняли перед Иваном Даниловичем красный войлочный полог Золотого шатра, впустили князя и снова застыли с кривыми саблями на плечах. Войдя, Калита одним взглядом охватил роскошное внутреннее убранство огромного шатра: потолок в раззолоченном шелке, трон отделан золотом, резьбой по кости, золотые драконы на малиновом бархате ханской одежды, золотые курильницы, распространяющие сладковатый аромат. Покрытые войлоком стены украшены седлами, оленьими рогами, расписаны затейливыми узорами.

«Сколько богатства награблено! — недобро подумал Калита. — Даже трон работы нашего мастера. Сегодня на базаре Бориска на самом красивом бронзовом подсвечнике надпись нашел: «Сделал раб бедный Влас». Тыщи их, подоняников, здесь».

На высоком троне посреди шатра, под балдахином, усыпанным драгоценными камнями, восседал лицом к югу, словно идол, хан Узбек. За последние несколько лет хан очень изменился. Был он моложе Ивана Даниловича, а расползся безмерно; от бывшей своеобразной красоты не осталось и следа. Он сидел маленький, толстый, с трудом дышал. На лице, с нездоровыми отеками под глазами, застыла надменность. Только изредка хан едва заметным движением пухлых пальцев отдавал приказания, и тогда придворные послушно склонялись перед ним, гибкие воины в панцирях из потемневшей буйволовой кожи, бесшумно пятясь, выскальзывали из шатра.

По бокам ханского трона, на ступенях, покрытых парчой, сидели знатные вельможи в богатых одеждах и ярких тюбетейках. «И по рылам видно, что не из простых свиней», — насмешливо подумал о них Калита. Он тотчас заметил Киндяка с зелеными, как всегда, закисшими глазами, рыжего Джанибека, тысячника Байдеру, вельможу Тушу-хана с большими оттопыренными ушами, обрюзгшего посла Авдулю, а возле него — ханского составителя грамот, красивого, высокого Учугуя Карабчи.

Неподалеку от хана примостилась жена его Тайдула и молоденькие смешливые дочери. Младшая, хорошенькая непоседа с быстрыми угловатыми движениями, увидев вдали, среди гостей, жениха, приехавшего из Индии, посылала ему нежные взгляды.

Пробираясь к своему месту, за колонной в листовом золоте, где на коврах сидели гости, Калита незаметно поглядел на ханшу: «Ждать ли помощи?»

Его внимание привлекло необычайное дерево, стоящее в глубине шатра. Каждый лист дерева сделан был из серебра. У подножия чуда лежали четыре золотых льва с разинутыми пастьми. Золотые змеи обвили хвостами ствол дерева, положили чешуйчатые тела на головы львов. На самой верхушке дерева, выставив ногу вперед, стоял, будто живой, из бронзы отлитый человек. Вот он поднес к губам трубу, и, отвечая на трубные звуки, задрожали серебряные листья, начали извиваться змеи, из львиных пастей потекли в тазы струи вина, кумыса, меда, и молодые, ловкие прислужники, черная влагу, стали разносить гостям.

«Тщится удивить, чтобы в силу верили, — пронизательно отметил Калита. — Ну да и мы не лыком шиты! Не ваши руки и не ваш ум сие делали: из Китая прислали».

К хану приблизился Киндяк, прошептал почтительно:

— Правосудный правитель, московский князь просит выслушать его.

— Пусть подойдет.

Киндяк кивнул Калите.

Калита согнулся — сейчас ему можно было дать много более сорока лет, даже губы стали тоньше и бледней, — поднялся по лестнице к площадке у трона.

Слуги Калиты положили у ног хана подарки: золотую посуду, жемчуг, меха. Были здесь белоснежные горностаевые накидки, пушистые, как первый снег на московских крышах; пепельно-голубая горская куница-белодушка — для шапок; черная лиса, что попадаетеся раз в сто лет; нежный, благородный соболь; лесная куница с коричневатой-серой спинкой и оранжевым пятном на шее, у горла.

Хан Узбек довольно покосился на меховую грудку, с напускным безразличием отвел глаза в сторону. Ханша что-то зашептала ему. Узбек, соглашаясь, кивнул головой.

Калита низко поклонился. Горбясь, заговорил свободно по-татарски.

— Хан могущественный, блеск земного мира и веры, величие ислама и мусульман...

Слегка приподнял голову, незаметно посмотрел на Узбека.

Несколько слуг неустанно приводили в движение опахала, но лицо хана доснилось от выступившего пота. «Как у татар на гостинице дворе, — мелькнула мысль у Калиты. — Плунуть бы такому в рожу. А надо точить словесный елей...»

Неряшливо застенувший халат, открывающий полную, в бурых завитках волос грудь хана, местами взмок и прилип к

телу. Узбек только чтопил кумыс — капли его стекали по редким темным кустикам бороды.

«Ишь, мяса-то сколько, да все шеина!» — обретя свою обычную насмешливость, подумал Калита и ниже склонил голову.

Узбек милостиво разрешил:

— Повелитель слушает тебя...

— Величайший и прозорливейший, путеводная звезда мира, я твой покорный слуга...

Узбек только пальцами пошевелил — мол, знаю, знаю.

— Защитник веры и справедливости, не корысть, а преданность тебе и желание доказать верность привели слугу твоего сюда. Дерзнул приехать недаром...

— А может быть, и даром? — пошутил Узбек. Был он сегодня в хорошем расположении духа, а в такие редкие минуты любил пошутить и первым посмеяться своим шуткам.

Калита заметил в глазах хана игривый огонек и, зная по рассказам монголов доступность Узбека в подобные минуты, ответил:

— Даром и чирей не сядет, все хоть почесаться надобно!

Хан на минуту задумался, подыскивая ответ, но не нашел его и, видно желая смутить московского князя, сложил свои пухлые пальцы в кукиш. Повертев им перед собой, спросил не зло, но с издевкой:

— А если тебе это в подарок?

Услужливо захихикали ханша и дочери, ослабили, закивали одобительно вельможи.

Калита с деланным простодушием ответил:

— Кукиш и без денег купишь...

Тут-то и прорвало неудержимо Узбека. Довольный своей шуткой, закатился, затрясся, завизжал, брызгая слюной, наливаясь кровью. Пронзительно вскрикивая, он бил колени ладонями, прикладывая ладони ко рту. Когда смех затих и, казалось, сейчас совсем прекратится, хан сделал глубокий, всхлипывающий вздох и снова начал визжать и брызгать слюной. Наконец и впрямь умолк, тяжело дыша.

Калита решил: пора!

— Повелитель, — произнес он скорбно. — В Тверском уезде, — остановился на секунду, подумал: «Пострадаю пустосмехом!», — непокорные подняли против тебя грозное восстание, убили брата твоего, славного Чолхана, отряд его изничтожили.

Узбек побагровел от гнева. Разом вспомнились и другие неприятности: дочь Тулунбай, что в жены взял египетский султан аль-Мелик-ан-Насир, умерла на чужбине непонятной смертью; прошлой ночью сон злобейший снился, будто сидит он, хан, на троне, а трон качается. А тут еще эта чернь тверская из повиновения выйти осмелилась! Думают, не силен уже владыка

вселенной. «Ошибаетесь, собаки! Русских князей надо натравлять друг на друга!»

Узбек медленно встал, резче выдались скулы на распаленном безенством лице.

Закричал злобно, с привизгом:

— С корнем истреблю змеиное гнездо! Перережу всех до единого! Рязанского князя немедленно казнить!.. Иди, Киндяк!

Рязанский князь Иван ослушался приказа хана — не приехал немедленно по вызову. И теперь вот уже пятый месяц ждал суда в Орде.

Киндяк выскользнул из шатра.

Узбек осекся: не к лицу властелину гневом слабость показывать. Покопался из-под припухших век на московского князя: «Может быть, и этого сейчас прикончить? Небось думает, что хитрее меня, а я его вслед за рязанским... хитрость проверять».

Он опять испытующе посмотрел на Калиту, на грудку меха, решил: «Нет, покорен и умом недалек. Такой нужен. Дальше суммы своей не видит... И похитрей я проводил, в капканы ловил. Церковь их купил. И тебя ручным сделаю. Будешь дань привозить. Так тоньше: свой собирает, баскаки лишний раз не станут урусутов наездом раздражать. А ну-ка, покорность проверю».

— Тебя, мой верный конярь,— сказал Узбек тихо, обращаясь к Ивану Даниловичу (впервые назвал его князем),— наделяю силою великого неба, покровительством величия и блеска...— Он торжественно помолчал.— Лучшие мои темники, Туралык и Сюга, с тобой пойдут... Пятьдесят тысяч всадников... Непокорных усмирят — ярлык получишь, станешь моими очами и руками в урусутских улусах.— Подумал: «Воинам на дорогу пищу не дам. От сытой собаки плохая охота».— Туралык, Сюга! — позвал он.

Два поджарых, с одинаковыми рысьими глазами темника выросли перед ханом.

— Землю тверскую предать огню и мечу! — приказал Узбек. Темники склонили головы.

— Кто приказу Узбека не покоряется, тот человек виновен, умрет! — закончил хан с расстановкой и сел.

На мгновение перед глазами Ивана Даниловича возникла пылающая Тверь. Откуда-то из темноты вдруг надвинулось лицо Симеона: он смотрел осуждающе, с недоумением. От его глаз нельзя было уйти.

Первым безотчетным порывом князя было выпрямиться во весь рост, гордо, с испепеляющей ненавистью бросить в лицо хану: «Врешь! Не истребить тебе, проклятый, Русской земли!.. Лучше погибнуть, чем унижаться, стать слугой шакала... Лучше, как Михаил Черниговский... А потом? А потом? Что это даст? Святого убиенного Ивана, разоренную Москву».

Огромным усилием воли Иван Данилович подавил в себе порыв, опомнился. Лицо его покрыла бледность. Хан успел заметить это, но в тот же миг выражение лица Калиты изменилось, стало смиренным, он покорно склонил голову. Мысленно прошептал, обращаясь к Симеону: «Ничего не поделаешь. Надо, сынок. Надо руками Узбека расправиться с тверскими раздорниками».

Хан Узбек качнул головой. Снова прислужники стали разносить влагу, халву и дыни на золотых блюдах.

Перед московским князем поставили фрукты в китайской вазе: на синем фарфоре скакал, пригнувшись, всадник, развевалась конская грива.

«Злее зла честь татарская, а приходится ее принимать, улыбаться и благодарить».

К хану подошел Киндяк, тихо сказал:

— Голову послушнику отрубили.

На застывшем лице Узбека не дрогнул ни один мускул. Заиграла музыка. Маленький сморщенный татарин, покачиваясь, затянул однообразную, как пески пустыни, песню.

Когда все опьянели, Иван Данилович вышел из шатра. Ранним зверем заметался на узком пространстве у входа. Нестерпимо, будто когтями, разрывало сердце. Руками, своими руками задушил бы Узбека и его прихвостней, рвал бы их на куски!

Ох, тяжка, как тяжка ненавистная покорность! Где взять силы вынести ее?..

Князь застал, до крови вонзил ногти в ладони: «Будь мужем! Перенеси все это». Он заставил себя успокоиться. Распрямил спину.

Рядом, тенью, стоял Бориска. Где-то неподалеку звякнул колоколец верблюда. Пахло песком, политым водой. Тлели огни затухающего костра. Продолжал бубнить татарин в шатре. Иван Данилович поднял лицо к темно-синему чужому небу в холодных звездах.

«Сей час над Москвой тоже звезды светят, только ярче, родней. Москва!..» Вот вымолвил это слово, и горячая волна заливает сердце. Сколько ночей бессонных провел в заботах о ней! Но поднимается она, поднимается. Грудь все шире. Плечи расправляет...

Далеко-далеко начинался первыми молочными полосами рассвет.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В МОСКВУ

Вьюжной, замётной зимой прошли всадники Узбека по Тверскому княжеству, огнем и мечом сокрушая все на своем пути. Иван Данилович осунулся, похудел, словно бы даже почер-

нел, глаза его глубоко ввалились. Глядя на пепелища, думал: «Много теперь не возьмешь... А покорства ждать от голи тверской вряд ли можно... Ну да ничего, скрутим».

Татары озверели от крови, легкой добычи. Рыскали шакалами свирепые Сюга и Туралык. Да и суздальцы, что присоединились к ним, помогали рушить Тверь.

Но вот закончился поход, снег торопливо занес тверские пожарища, и Калита, получив от Узбека золотой ярлык, наконец возвращался в Москву.

Отзвенели сосульки, срубленные лучами весеннего солнца, промурлыкали вешние воды, отзвучали песни-веснянки...

Стоял березозол¹ — пора, когда пчеловоды окуривают улья, когда вечерами кружатся девичьи хороводы и молодежь играет в горелки.

Бориска беспокойно ерзал в седле, все поглядывал вперед: скоро ли, скоро ли покажутся кремлевские стены? Дух занимало от ожидания — так бы соскочил сейчас с коня и побежал навстречу Фетиньюшке! Не терпелось обнять ее, вручить подарки, что купил еще в Орде: занозки-булавки, колечко да серьги с искрами — не ахти какие, да от души. А главное — вез ей сердце свое...

В Кремле, предупрежденные гонцом, готовились к встрече. Здесь царил праздничное оживление. И ковры, разостланные в горницах, и золотом тканые, в ярких цветах наконники, и подвечники с висюльками из хрусталя, и благоухание от ароматных вод — все говорило о радостном ожидании.

Фетинья, в новом голубом платье, расшитом цветными стрелками, оживленная, с пылающими щеками, уже с десяток раз взбегала на чердачную башенку-смотрильню: не едут ли?

...Отряд, простучав по деревянному мосту через ров, въехал в город. Князя встречал весь московский духовный собор, навстречу несли хоругви, иконы, торжественно пели попы, курился ладан, сверкали ризы и кресты. Калита неловко соскочил с седла, припал к иконе. К нему подошел, опираясь на посох, Феогност в сверкающей жемчугом митре, благословил возвращение, осенил крестом. Иван Данилович брезгливо бросил свой татарский колпак слуге, да, видно, не рассчитал, и колпак упал под конские копыта. Князь приложился к кресту. Далее все пошли пеши.

По всему посаду меж Москвой-рекой и кремлевской горой разметались кузни, сараи, дворы. Спускались вниз, упирались в береговое пристанище для судов кривые улочки, где жила городская беднота — «черные люди».

Из мастерской бус и браслетов выбежали поглазеть на крест-

ный ход подростки в длинных холстяных рубахах. Возле дубильных чанов стояли, с трудом разогнув спины, кожевники. Высунулся из двери пекарни осыпанный мукой остроглазый отрок с буйно всклокоченной порослью на голове, крикнул восторженно дружку:

— Тимка, Тимка, глянь-кось: Бориска-то храбрец! А сзади наши, верно, выкуплены из полона татарского...

Бориска уже приметил знакомых, весело улыбался им:

— Здорово, горе-Григорий!.. А ты, Филипп, к Москве прилип?

Худой, высокий мастеровой Митроха, со впалыми щеками на темном от копоти лице, сказал знающе своему подручному-молотобойцу:

— Князь, слышь, Азбяка облукавил, ярлык, говорят, получил, да весь он в крови тверчан...

— А нам, поди, облегченье приходит? — вопрошающе глянул подручный.

— Пожалуй, татарва перестанет ездить, — раздумчиво ответил Митроха, но тут же угрюмо добавил: — Зато держись, свои бояре поборами задавят! — И уже совсем тихо пробормотал: — Бог сотворил два зла — богатого да козла... По Кочеве веревка давно сучает...

Отряд начал взбираться на гору.

Неистово чирикали воробьи, по-весеннему радостно вызывали колокола. Над курными избами, садами в зеленоватой дымке, шатровыми крышами, над рекой и боярскими хоромами в причудливой резьбе от Кремля к темному бору плыл веселый перезвон.

Княгиня Елена вышла навстречу мужу празднично принаряженная. Серебряный венчик осторожно охватывал ее голову, подбитый шелком багряный плащ, скрепленный запонкой у плеча, волнисто спадал на руку. Из-под плаща виднелась сорочка, украшенная внизу синим бисером. От волнения то поднималась, то опускалась на груди княгини золотая коробочка на цепочке.

Иван Данилович поцеловал княгиню в бледный лоб, спросил тревожно:

— Чада все во здравии?

— Все, — ответила она и, прижав к его груди, замерла. На худых щеках заиграли нездоровые пятна.

Князь ласково отстранил жену:

— Пойду с дороги умоюсь...

Бориска встретил Фетинью неожиданно, на завороте широких сеней. Всегда так бывает: мыслью рисуешь встречу, а получается совсем иное.

¹ Апрель.

Они враз остановились друг против друга, словно приросли к полу.

Первым движением девушки было броситься к Бориске, да она сдержала себя, но очи — любящие, застыдившиеся — открыли больше, чем слова. И Бориска стоял недвижно. Ему бы сказать: «Вот и снова вместе, теперь вовек не разлучимся». После мая и обвенчаемся», пошутить: «Чтоб не маяться», а он молчал, язык словно прилип к нёбу. Сказать бы, как говорил про себя: «Здравствуй, яблонька весенняя, здравствуй, сладостная моя!» — но слова не шли с губ.

Фетинья повзрослела, в ней появилось что-то новое: была и такой, какую оставил, какой представлял в разлуке, и еще во сто крат милее, краше.

Раздались гулкие шаги, пол гнулся под чьими-то тяжелыми стопами.

— Вечером под дубом! — успел только прошептать Бориска и поглядел ее руку от плеча к ладони.

Фетинья кивнула головой, побежала своей дорогой.

Грузно переваливаясь, навстречу шел Василий Кочева, неся впереди себя серовато-бурую бороду. Недобрыми глазами посмотрел на юношу, словно обыскал. Не нравился ему этот стихоплет, давно до него добирался. Послухи с базара сказывали — о нем, Кочеве, побасенка ходит: «Лошадь любит овес, земля — навоз, а воевода — принос». Не Борискина ли выдумка?..

Кочева повел в его сторону широким, в крупных порах носом и прошел мимо.

Бориска с ненавистью поглядел вслед, на бугристый затылок Кочевы, на шишки за ушами. Сжал кулаки: «Убивец проклятый, попался бы ты мне в руки!» Резко повернувшись, зашагал сеньями.

А на улицах окраины уже заиграли гусли и свирели, запели женские голоса, отплясывали плясцы, в складчину устраивали пирушки. Приседая и трясясь, пророчил Гридя: «Мир и тишина... мир и тишина...» Истукленно голосила мать погибшего Трошки...

Ближих имовитых¹ людей князь созвал в гриднице в тот же вечер.

Бояре расселись на широких лавках вдоль стен, увешанных доспехами, выжидательно уставились на князя.

«Подался, смотри, как подался... Видно, нелегко ему пришлось в эти месяцы. Лик осунулся, вон и проседь легла, новые морщины лоб избороздили...»

Князь встал, острым взглядом окинул лица, сказал резким, властным голосом:

— Собрал вас, думцы, чтобы поведать: Москва ярлык золотой получила!..

Приостановился, снова внимательно оглядел бояр. Умели они чувства не выказывать. Но эта весть была столь важна и радостна, что все зашевелились. Протасий смотрел так, словно говорил: «Великое спасибо за то, что свершил».

— Теперь, — продолжал Иван Данилович, — кто выступит против нас — враг всей земли нашей, ей ущерб нанесет. Большой кровью дался ярлык. Дорогой ценой... Будем дале беречь кровь русскую, без нужды не драться...

В гриднице стоит такая тишина, что слышно было, как с трудом дышит толстогубый хранитель печати Шибеев и поскрипывает лавка под воеводой Кочевой.

— Да о черни памятовать след. Разве были б у нас кладовые снеди, рухлядь богата, коли кормы нам смерды не носили? Были б табуны коней, хлеба на пажитях, одежды златотканы, коли дали б мы повадку черни руку поднимать на богатство наше?

Шибеев, одобрительно глядя на князя, потянулся к уху соседа, дворского Жито, прошептал, едва не касаясь толстыми губами серги:

— Нам крепче вокруг него держаться надобно...

Жито — с крупными ушами и таким большим, изрытым временем лбом, что дворского прозвали «Старый лоб», — расстегнул ворот кафтана, солидно поглядел заплывший кадык:

— Твердоумен и мудростен...

Только боярин Алексей Хвост — Калита про себя отметил это — покривился заносчиво, поджал змеинные губы, может, жалел о дружках своих тверских?

А Хвост думал о князе: «Больно много берешь на себя, не сломал бы шею! И без твоей заботы жили». От золотого ярлыка он для себя ничего доброго не ждал. Тверь не жалел, хотя одно время собирался туда переметнуться. Хорошо, что остерегся. Единственное, чего хотел, — жить, как деды жили: никому не подчиняясь, самовластно управляя своими владениями. Да, видно, теперь и вовсе сжаться придется. Или, может, в Рязань податься?..

Дни Ивана Даниловича наполнены делами, словно калита, доверху насыпанная монетами.

Вызвал строителя Анцифера Жабина, румяного, белокурого красавца, вопрошал:

— Как мыслишь пристроить к Успенскому собору храм во имя спасения вериг святого апостола Павла?

¹ Знатных.

— Мыслью своды сделать на четырех основах, на человечьи головы схожие,— с готовностью ответил Жабин.

— Лишняя выдумка! — запретил князь. — Главное — покрепче строить, поболе из камня. Сеннописцам¹ Николаю и Захарию прикажи расписать стены.

Отпустив Анцифера, задумался: «Да, не забыть иноков из Данилова монастыря перевести к храму Спаса на Бору... Пусть перекладывают с греческого на русский, летописи составляют... Книжное ученье нам впрок».

С митрополитом Феогностом князь говорил долго, благодарил, что вразумлял Кочеву.

— Теперь, после тверских дел, возблагодарим господа — построим под колокола храм святого Иоанна Лествичника для спасения от греховных бед...

Грек довольно прикрыл сухонькие веки.

— Хочу еще раз поздравить тебя с удачей и счастьем в Орде, — сказал он тонким голосом.

Калита про себя усмехнулся: «Счастье без ума — дырявая сума», а вслух сказал:

— Твоими молитвами, отче... — Помолчал, задумчиво склонил голову, наконец промолвил вкрадчиво: — Еще молю тебя, владыко, о подмоге...

Феогност посмотрел вопросительно.

— Александр Тверской скрывается от ханского гнева во Пскове. А Узбек требует Александра...

— Что же я могу сделать? — недоумевая, спросил Феогност.

— А мною, святитель: наложи на Псков проклятье — испугаются, враз выдадут Александра, — тихо посоветовал Иван Данилович и умолк.

Феогност в нерешительности молчал. Ему и не хотелось вмешиваться в эти хлопотные дела, а вместе с тем он понимал, насколько выгодно сейчас быть заодно с Узбеком и московским князем. Да и князь поддержит церковь в борьбе с нечестивой ересью. Повсюду пошла вредная вольность мысли; новгородские протопопы монашество порицают — бесовским учением называют его. Споры вздумали заводить, есть ли рай.

— Да, чуть не забыл! — живо воскликнул Калита, точно только что вспомнил об этом. — Дозволь, святой отче, в казну твою передать кресты золотые и чаши. Давно собирался... А еще выкупил я в Орде трех мастеров-иконописцев. Завтра пришлю их тебе, составь дружину.

Князь скромно склонил голову.

— Быть по сему, — неожиданно баском провозгласил мит-

рополит. — Завтра ж наказ пошлю: церкви во Пскове затворить, не быть звонению и пению по всему городу, покуда не выдадут Александра.

Приземистый, неуклюжий тысяцкий Кочева, как всегда, по медвежьей переминался у двери с ноги на ногу. За эти месяцы стал он еще толще, пальцы рук походили на обрубки — кольца так врезались в них, что князь подумал: «Скоро придется распиливать».

— За то, что гиль истребил, смутьянов обезглавил, обдарю тебя двумя селами у Клязьмы, где корабли грузим. Грамоту сегодня получишь... Быть тебе на Москве постоянно воеводой.

Кочева медленно подогнул ноги, грузно опустился на колени, забормотал бессвязно:

— Да я... если что или там... опять кто... — Боясь княжеского гнева, не осмелился признать, что Андрей Медвежатник перед самой казнью сбежал из-под стражи, хоронится в лесах. Да и не ко времени было бы сейчас, при такой милости, говорить об этом.

— Встань! — приказал князь. — Всю дружину собери, сделай смотр. Нерадивых накажи, хоть палками бей. Дружба с Узбеком — дружбой, а меч вострить надобно. Не вечно татарщине на Руси быть... Мастеров-ордынцев, что бежали от татар, и тех, что я выкупил, пристрой к делу. Посели слободой. Пусть колчаны делают и стрелы со свистом. Чай, в Сарае научились... Помыслил, вслух не сказал: «Под звон ханских цепей будем ковать мечи...» — Да на дорогах татей истреби, по рекам стражу учини, — продолжал князь. — Вокруг Москвы купцу, пешеходу страха не должно иметь. Пусть торгуют без зацепок. Надобно нашу землю от татей вовсе избавить, руки им рубить...

Князь помолчал.

— Кто из имовитых-то ненадежен, худые замыслы носит? — неожиданно спросил он, понижая голос.

— Так что... Я смотрю, что там или там... подозреваю — Алексей Хвост, — заикаясь, медленно ответил Кочева. — Злорад... То да се... Что ты ни сделаешь — ему, злоумышленнику, все не так. Туда-сюда... Двуязычит...

Князь нахмурился:

— У кого желчь во рту, тому все горько! Да, может, только и беды, что на глупые речи невоздержан, уста бездверны... Ты за ним поглядывай... Ну, пойдем в терем, — поднялся он. — К нам из Киева служить пришел боярин Аминь. Верно, почуял, где сила, иначе чего бы с насиженного места трогался?..

Они вышли в сени. Калита, бесшумно шагая, думал: «Надо привладеть землю Белозерскую... Внести за белозерского князя дань Узбеку. Станет князь сразу шелковым. А Юрьеву мона-

¹ Живописцам.

стырю пожаловать грамоту — снять налоги с их земель и промыслов.

В тереме, дожидаясь князя, толпились люди. Нестройный гул их голосов сразу умолк, когда вошел князь. Старый, но еще очень крепкий боярин с белой, как пена, бородой поклонился ему, сказал густым басом, словно в бочку пустую дохнул.

— Приехал к тебе, великий князь всея Руси, бить челом в службу. Может статья, слышал про боярина Аминя из Киева?

Все, кто был в горнице, переглянулись: «Вот как... Всея Руси!..»

— Еще бы не слышать! — пошел навстречу Аминю Иван Данилович.

Обнимая его за плечи, воскитился: «Сущий Муромец! Ишь, грудища-то — не обхватишь».

Будто мимоходом, поинтересовался:

— Верно, не один прибыл?

— Да сотен пятнадцать народу привел и сына тож, слугами верными будут, — с достоинством ответил боярин и низко поклонился.

Он оставил насиженное место, потому что истосковался по твердой власти, прочности, устал от княжеских раздоров, от незнания, что ждет завтра, от запустения и смут.

— Рад, рад! — еще приветливее сказал князь. — У нас в почете будешь, не пожалеешь, что пришел. На первый случай жалую тебе Волоколамское: владей, пока служишь мне и детям моим...

Боярин Алексей Хвост побледнел от зависти: давно хотел иметь то владение.

Кочева все приметил — и эту бледность, и недобро вспыхнувшие глаза Хвоста. «Враждебник!» — уверенно решил воевода.

Князь опустился в высокое кресло в переднем углу, жестом позволил остальным сесть на лавки.

Бревенчатые стены, укрытые коврами, дубовый стол простой резьбы, широкие лавки с суконными подстилками — все это придавало комнате холодно-деловой вид и словно подчеркивало, что хозяин хором не стремится к внешней роскоши.

Да и сам князь одет был в скромный, из темно-синего сте-неда, кафтан с меховой оторочкой.

К Ивану Даниловичу приблизился круглолицый татарский мурза Чет, в крещении названный Захарием. Сохраняя важность, почтительно поклонился, сказал по-русски:

— Я, княже, с просьбой: дозвожь на Ордынской улице склады мои огородить.

Калита удовлетворенно подумал: «Предки твои подлые жгли те места, что ты огородить просишь». Промолвил ласково:

— Никто тебе помехи чинить не будет — огораживай.

Вслед за Четом подошли переселенцы из Муром — отец и два сына. Отец подтолкнул сыновей в спины: они пали ниц, да так и остались, словно уперлись лбами в пол, а старик, широко-плечий, с обветренным, точно вырубленным из дуба лицом, сказал натужно:

— Не оставь, великий княже, милостью: в Москву переселиться замыслили. На твою заступу и пособие надемся...

Князь терпеливо выслушал старика.

— Землю отведу... — милостиво пообещал он. — На первое обзаведенье получишь топоры, гвозди. Пока на ноги станете, от податей освобождаю. — А про себя решил: «Позже свое возьму с лихвой». С доброй улыбкой смотрел на упавшего рядом с сыновьями старика: — Встань, встань... Нечего время терять, за работу принимайся!

Как-то вечером князь позвал дворского. Просмотрев книги, долго распекал за лишние расходы:

— Зачем свечей без меры накупал, кем к роскошеству приучен? Где же око твоё хозяйское?

Жито уныло опустил утиный нос с бороздкой. Отчитав дворского, князь сказал хмуро, словно отсек что:

— Бориске в Кремле не место!

Жито удивленно выпучил и без того навывкате глаза, уставился на князя: «От любимца отрекается!»

Иван Данилович спохватился. Гася любопытство дворского, ровным голосом сказал:

— Отпускаю на обучение к мастеру колокольному Луке. Выдай из казны на устройство...

После разговора с Бориской о ниварях и потом, позже, в Орде, о письме Кочевы князь не мог преодолеть в себе неприязнь к юноше, и даже самоотверженность Бориски на татарском базаре не уменьшила этой неприязни.

Так и стояли в ушах слова: «С ними б судьбу разделил!» И разделил бы. «Как душу чёрни в княжеских хоромех не положишь — черной останется!»

Вспомнился и недавний разговор с Фетиньей. Когда сказал ей: «Оженю Сеньку на тебе», рухнула на колени, зарыдала: «Не губи сироту, не люб мне Сенька!» — «Не люб? Будто надобно, чтобы люб был! — Прикрикнул: — Натрещалась? Как смеешь отговор и пререканье делать? От дружка непокорливость переняла?»

А она, как полоумная, свое твердит: «Не губи, не люб Сенька! Не губи!»

Оборвал ее: «Слышал припевку! Хватит! Княжеской воле перечишь? Прикажу на цепь посадить!»

И вовсе спятила: с колен вскочила, глаза безумицы — такие у волчицы видывал, когда волчат защищала.

«Воля твоя, — хрипит, — можешь убить! Все едино за постылого не пойду... Это нерушимо, не пойду! Нет такого божьего закона!»

Можно б силой ослушницу под венец повести, да стоит ли из-за дурехи закон церковный рушить, разговоры вызывать лишние?

Он позвал Кочеву, строго приказал связать непокорную и отправить в самый дальний монастырь Покрова Богородицы: «Да никому в Кремле не сказывай, куда!»

...Вспоминая сейчас все это, князь припомнил и сумное лицо Бориски. В последнее время зверем смотрит, только что не рычит. Нет, спокойнее удалить его из Кремля...

КОЛОКОЛЬНЫЙ МАСТЕР

Мастер Лука был несказанно рад возвращению Бориски.

Правда, юноша стал молчаливым, замкнутым, но и это нравилось Луке. Он не расспрашивал, почему возвратился, что произошло. Чувствовал — к этому притрагиваться нельзя. Только старался отвлечь Бориску от тяжких дум и непривычно много говорил сам.

Бориска весь отдался литейному делу, вкладывал в него и свою нерастрченную любовь и проворство золотых рук.

Мастер, видя такое рвение, тем охотнее передавал свои секреты, накопленные почти за полвека труда, не мог нахвалиться учеником. Был Бориска воздержан, не ветрен, не бражник. До работы не то что охоч — яростен, за год многолетнюю науку проходил.

Придумал люботрудец, как лучше малые колокола лить, — получалось и быстрее и голос звонче.

Через три года Лука от простуды сгорел за ночь, и Бориска стал сам лить колокола.

Слава о нем шагнула далеко за Москву. Приезжали к нему из-за Оки, из Новгорода.

Однажды в праздничный день к Бориске пришел фряжский гость — высокий, пожилой, с бронзовым от загара лицом. Одет он был в темный камзол, на ногах ботинки с серебряными пряжками.

Бориска, в синей рубахе с открытым косым воротом, сидел в своей чистой клетушке рядом с мастерской, слушал певчих птиц на окне в клетках, поддразнивал их свистом.

— Добрый день, маэстро! — деликатно поклонился вошедший, переступая порог, и, сняв шляпу, открыл высокий лоб.

— Доброго здоровья! — гостеприимно ответил Бориска, вставая. — Садитесь, — предложил он, пододвигая лавку.

— Как поживаете, коллега? — усаживаясь, спросил пришелец, старательно выговаривая русские слова.

Бориска оглядел его веселыми глазами — что надобно этому заморскому гостю? Блеснул белоснежными зубами:

— Поживаем! Князья в платье, бояре в платье, будет платье и нашей братье!

— Люблю веселых людей! — улыбнулся гость. — Разрешите посмотреть работу вашу.

«Может, покупатель?» — подумал Бориска, а вслух сказал:

— Милости прошу. — И повел в соседний сарай.

Там на полу стояли отлитые Бориской гири для весов. Подтянутый к балке потолка, поблескивая медью, висел красавец колокол, сиял литым телом.

Гость быстро подошел к нему, ногтем побил по краю, прислушался к звуку. Звук родился чистый, долгий, красоты необычайной. На лице гостя появилось выражение изумления.

— Вы великий маэстро! — воскликнул он восхищенно.

— Ну уж и великий! — возразил Бориска. — Однако кое-что умеем...

Гость приблизил глаза к языку колокола; приподнимаясь, осветил его лучиной. Вверху, у основания языка, клеймом выбито непонятное слово: «Фетинья».

— Что есть это? — спросил он, указывая длинным пальцем на увиденную надпись.

Лицо Бориски стало суровым, сказал тихо, с болью:

— Сердце мое...

Гость не понял, но переспрашивать не стал, произнес торжественно:

— Я есть всеизвестный колокольный маэстро Бартанелло. Я объявляю: вы есть достойный меня в искусстве!

Бориска от неожиданности резко обернулся, с радостью поглядел на гостя: «Бартанелло?!»

Вспомнил улицу Сарая-Берке, по которой несколько лет назад везли колокол. Думал ли тогда о встрече такой, о том, как судьба изменится?..

— Я приглашаю вас в свою мастерскую, в Рим. Вы будете получать там ваши рубли в двадцать раз больше, чем здесь!

Он сказал это голосом человека, который понимает, что достоин благодарности. Бориску задел и этот тон и это предложение. «Не много ли мнишь о себе? — с невольным недружелюбием подумал он. — Небось считаешь, что только у вас умельцы?»

Но сдержал себя, с достоинством поклонился:

— Спасибо. Землю отцов оставлять не собираюсь... И здесь руки умелые надобны.

— Да вы не понимаете, от какого счастья уходить! — с недоумением воскликнул Бартанелло.

— Все разумею, — спокойно сказал Бориска. — Спасибо за честь, — твердо повторил он.

Через неделю после прихода Бартанелло приехала в Москву на небольших саночках — крытом возке — игуменья из монастыря Покрова Богородицы, дородная, краснощекая, с важной поступью и властной речью.

Игуменья побывала у дьяков Мелентия и Прокопия, заказала переписать для монастыря Евангелие, зашла к знакомой настоятельнице, а перед отъездом разыскала колокольного мастера. Долго ходила вокруг колокола, словно трещину искала, того дольше торговалась — выжилила-таки два рубля! — и наконец договорилась, что привезет Бориска колокол в монастырь самолично.

Отъезжая на саночках от мастерской, мелко крестилась, шептала слова молитвы: уж больно статен да красив был мастер, греховные мысли вызывал.

СНОВА ВМЕСТЕ

Вскоре после заговенья¹ Бориска собрался в путь. Он оделся потеплее, приладил на розвальнях колокол, окрутил его веревками, сам сел впереди и выехал со двора. Бориска обогнал прачку-мовницу, на санях везущую портища², миновал сады и очутился за городом. На реке, у проруби, парни били палками по льду — глушили рыбу и вытаскивали ее баграми.

Пошел неторопкий снежок. Издали одинокий сизый тополь покивал Бориске вслед.

Москву еще не успело занести сугробами, ее только легонько припорошило, то там, то здесь виднелись чернеющие бока бревенчатых стен.

«Бартанелло напрасно приманивал, — думал Бориска. — Хоть и тяжело живется в земле нашей, а ни на какую иную не променяешь — своя и в горести мила... В «Слове о погибели» сказано: «О светло-светлая и украсно украшенная земля Русская! Ты многими красотами удивляешь». Дивно-то как сказано! И верно — все дорого: и эти ели на опушке, и замершая Неглинка, и множество дымков из снегом припорошенных изб...»

Бориска еще раз с любовью посмотрел на Москву и неужи-

данно вспомнил, как несколько лет назад, осенней порой, он вот так же оглядывался на стены, глазами искал Фетинью. Стало грустно, тяжело на сердце...

Как зажили бы сладко, коли рядом была! Где она, моя ласонька, моя единственная? Верно, сгубил ее лиходей...

Бориска нахмурился, плотнее запахнул тулуп; подавшись вперед, покрутил кнутом над конскими головами:

— И-е-е-ех, милаи! Что пригорюнились?

В монастырские ворота он въехал к концу седмицы¹. Большой двор застроен сараями, амбарами. У игуменьи полно народу — богомольцы, мужики; пахнет кипарисом, ржаным хлебом и луком. Игуменья виду не подавала, что узнала Бориску, когда он зашел, продолжала разговор с ниварями:

— Лес привезете — конюшни починить... А мы за вас, грешных, помолимся! — Она закатила глаза, повела снизу вверх жирным подбородком.

— Дак мы ж, матушка Агния, в прошлый месяц возили... — робко напомнил плешеватый старик, разминая в руках шапку.

Лицо игуменьи стало строгим:

— Не для нас усердствуете, для господа!.. Пряжу-то изготовили женки из льна, что дала? — резким голосом спросила она. — Сколь ждаты?

«И здесь грабеж! — подумал Бориска. — А пошто и не быть ему, коли митрополит деньги дает в рост, и для него чужие руки убирают урожай, ловят рыбу, строят запруды...»

Наконец игуменья отпустила мужиков, сладенько пропела Бориске:

— А я тебя и не заметила... Привез, молодец, колокол? — Она заулыбалась умильно.

Получив деньги за колокол, Бориска накормил коней, сам потрапезовал и стал собираться в дорогу. Стоя у пустых розвальней, возле самых ворот, он ту же подтянул кушак и, надевая варежки, весело подумал о легком обратном пути.

Разгуливали по снегу галки. Несло из церкви ладаном. Там закончилась служба; неохотно зазвонил колокол. Звук у него был хриплый, надтреснутый. «Разве ж это звон!» — с пренебрежением подумал Бориска.

Через двор, не поднимая глаз, заплетающимися, мелкими шажками шли в свои кельи монашеники.

Борис посмотрел на одну из них и обомлел.

— Фетиньюшка! — крикнул он, не веря своим глазам.

Была она все такой же: та же родинка под левым глазом и те же зеленые глаза, широкобровая, любая.

¹ Недели.

¹ После 15 ноября.

² Носильная одежда.

Вот только осунулась, потускнело лицо, горестные складки легли у рта, и потому казалось — стал он меньше; да бледность покрыла щеки, и морщинки притаились у глаз. Все это в мгновение разглядел Бориска.

Девушка бросилась к нему, припала к груди, и не успел никто во дворе слово промолвить, как Бориска прыгнул с нею в сани, глаза его сверкнули бешенкой — не подходи! — он пронзительно свистнул и вихрем промчался мимо привратницы у ворот по дороге к лесу.

Кони, словно им передалось волнение хозяина, не мчались — летели стрелой. В лицо Бориски ударяли комья снега, на поворотах сани заносило, и Фетинья, крепко вцепившись в их края, с тревогой поглядывала назад, нет ли погони.

Все произошло точно во сне, так быстро, так неожиданно, что они молчали, и только когда серые стены монастыря скрылись из глаз, Фетинья вскочила, судорожно обняла сзади за шею Бориску, — никакая сила не оторвала бы ее.

— Отрада моя! Дождалась тебя! — прошептала она и заплакала.

А немного успокоившись, еще всхлипывая, горячо зашептала, словно боялась, что кто-то услышит:

— Я не монашка — послушница, меня за строптивость и постригать не хотели. Я обещала Агнии: все едино убегу! Все едино! А она шипит... шипит... Всех послушниц зашипала!..

Фетинья достала с груди колечко, что подарил ей Бориска, когда возвратился с похода, надела на палец. Спросила радостно и тревожно:

— Теперь как же нам? Князь розыск начнет...

— Не найдет, — сурово сказал Бориска и левой рукой крепко привлек к себе девушку, — никому не отдам! Головой лягу, а не отдам! Будем жить далеко... в лесу. Избу построю... Много ль нам надо? Руки есть, любовь есть... Хорошо будет! Да и не одни мы в лесу. Люда беглого там не счесть...

Кони мчались лесной просекой навстречу огненному диску солнца.

Вторую седмицу ночами пробирался Бориска с Фетиньей дальними, глухими дорогами. Коней пришлось продать.

В одном селении Бориске удалось купить для девушки теплую одежду, и теперь Фетинья совсем повеселела. Она то и дело начинала беспечно напевать, ласкалась к Бориске, и ей уже казалось дурным сном все, что произошло с ней за эти годы. На щеках ее снова заиграл румянец, а глаза точно омыло живой влагой.

«Суженая моя! — глядя на нее, думал Бориска. — Одна лишь любовь умеет вернуть молодость, до края наполнить сердце...»

Но Бориску не покидало чувство тревоги за любимую. В Москву он решил не заходить — бог с ним, с добром, все оно не стоило мизинца Фетиньюшки, ласкового ее взгляда.

Ее надо было спрятать, уберечь, но куда податься, у кого искать помощи?

И тогда он вспомнил о деде Юхиме. К нему-то теперь и держал Бориска нелегкий путь.

Дед Юхим встретил их, как родных. Много не расспрашивал, все понимал с полуслова. Когда Фетинья, изнуренная путем, улеглась спать с невесткой деда, он тихо сказал Бориске:

— В наших-то краях беглый люд силу немалую собрал... Бояр потрошат, добро грабленное отымают у них по справедливости...

Пошевелил густыми бровями.

— Вожак у них зо-ол на богатеев, ох зо-ол! Верно, налили они ему в достатке сала под шкуру. Да и кому не налили? Зенки ненасытные! — Помолчал и совсем тихо добавил: — Андрей Медвежатник звать... сбег от казни...

Бориска задохнулся от волнения, вцепился пальцами в руку деда:

— Медвежатник? Это ж друг мой! Неужто жив? Дедусь, мне б свидеться...

— Повремени! — усмехнулся старик. — Фрол мой возвратится с охоты, сведет тебя к дружке...

Фрол пронзительно свистнул, и эхо долго носило свист по лесу. Но вот где-то далеко раздалось уже не эхо, а такой же ответный свист. Фрол поднес ладони к губам и, загукав, прислушался.

Вскоре из-за кустов вынырнул небольшого роста рябой человек в кожухе. В руках он держал узкие вилы, острыми зрачками недоверчиво уставился на Бориску. Увидев Фрола, сразу успокоился:

— Ты чо?

Фрол не торопился с ответом; недаром дед о нем сказывал: «На пожар и то шагом ходит». Помолчав, попросил:

— Проводи к Медвежатнику, дело есть...

Они долго шли лесом, сбивая с веток снежные комья, продираясь сквозь заросли. В одном месте даже ползли под землей и наконец к вечеру очутились на поляне, возле небольшой избы.

Проводник остановился.

— Погодите, — сказал он и вошел в избу.

Волнение все более охватывало Бориску, он напряженно глядел на дверь, за которой скрылся рябой. Но когда на пороге появился рослый человек и Бориска увидел его лицо, он отпрянул.

Нет, это был не Андрей! Разорванный рот сросся кое-как, из-под лба в багровых шрамах чернел уголек чудом уцелевшего глаза. Ключья седых волос выбивались на висках.

Человек сделал шаг к Борiske, с горечью спросил:

— Не распознал?

Только теперь, по голосу, признал Бориска Андрея, бросился к нему, прижался к изуродованному лицу.

Они засиделись до полуночи. Бориска рассказал свою историю, Андрей — свою.

— Я от мучителя через стреху ушел... доски отодрал. Только почти там оставил... Сестренка жены подобрала меня на пороге, прятала, выходила... А Кочева, — Андрей скрипнул зубами, — сжег Подсосенки... Приказал солью посыпать пепел хаты моей... Жену привязал к хвосту конскому, волок по земле... Отца хвораго убил, Семенову семью истребил...

На мгновение Бориска представил заплывшее жиром лицо Кочева, жестокие глаза Калиты. «Все вы зверюги лютые, перебить вас мало!»

— Дозволь с вами остаться? — попросил он глухо Андрея.

— А Фетинья?

— Единая у нас жизнь...

Андрей тяжело задумался.

— Оставайся, — наконец сказал он. — Ты умелец, поможешь нам волчьи ямы да хитрые засады для кровопивцев строить. Оставайтесь.

БОЙ В ЛЕСУ

Застыли деревья в предутренней мгле. Туман, как дым, стелется над землей, клубится меж стволов высоких сосен. Прокричал и умолк сыч.

Симеон едет на коне узкой тропой рядом с Кочевой, думает с раздражением: «По лесу нельзя без опаски проехать». Покоился недобро на Кочеву: «Блюстителю!»

У воеводы еще более обычного лицо налило кровью: может, оттого, что новый серебряный шелом сдавливает ему узкий лоб, новые серебряные латы облепили грудь?

«Наконец-то отец убрал Алексея Хвоста, — продолжает размышлять Симеон, — и хорошо, что земли его Аминю отдал. Убедился, что предатель замыслил тайные сговоры с Рязанью».

Хвоста как-то поутру нашли на московской площади с проломленным черепом, немного не успел в Рязань сбежать. Князь приказал объявить по Москве: «Алексей от своей дружины пострадал».

Симеон усмехнулся: «Известна та дружина... Да и поделом подстрекатель! Ему бы хотелось вернуть время, когда каждый

боярин мнил себя властителем, а князя-спесивцы лишь о своих интересах пеклись. Вон на щите суздальцев лев изображен, стоит на задних лапах. И каждый, вроде Алексея, львом себя считал, хотя сам только хвост львиный».

Симеон усмехнулся неожиданной игре слов, вспомнил, как в детстве, когда мимо проходил Алексей, шептал ему вслед, но так, чтобы тот услышал: «Подожми хвост!»

Возникли одна за другой картины детства: игры на кремлевском дворе, прощание с отцом перед его отъездом в Орду, босоногая Фетинья в цветном сарафане...

С отроческих лет занимала она его мысли, не однажды видел ее во сне, неотступно следил за ней издали, знал о ее встречах с Бориской и за то бешено ненавидел его. И когда отец сослал Фетинью в монастырь, Симеон даже обрадовался. Стало как-то легче — пусть ничья, если не его!

В семнадцать лет оженили Симеона на литовской княжне Августине, да так и осталась она нелюбой, нежеланной.

Весть о похищении Фетиньи из монастыря снова все всколыхнула в Симеоне. Несколько раз порывался попросить отца отправить в леса розыск, поручить ему самому поймать отступников, да не решался, боясь этим выдать свои тайные думы.

...Неожиданно один из всадников, едущих впереди Симеона, с криком провалился в яму, искусно скрытую ветками, мгновенно ушел в нее с головой. Конь, напоравшись брюхом на колья, заржал, захрипел смертельно. Симеон побледнел, осадил коня. Отряд в нерешительности сгрудился — вокруг были глубокие болота. В ту же минуту, точно из-под земли, выросли люди с дубинами и вилами. Один из них, вцепившись крюком на длинном древке в ворот всадника, покряхтывая, тащил его наземь. Всадник упирался обеими руками в шею коня, противился, но не устоял, ткнулся головой вниз, повис, зацепившись ногой за стремя.

Симеону удалось, вздыбив коня, повернуть его и проскакать несколько шагов назад.

То там, то здесь стали приседать на задние ноги кони с подрезанными сухожилиями, биться, сбрасывая всадников.

Однако замешательство первых минут уже прошло, и воины Кочева, поспешно соскакивая наземь, вытаскивали мечи, рубили направо и налево.

Стоны, хруст костей, вой и крики слились воедино...

Рассвело. Вдали все яснее проступало сквозь деревья розоватое небо. Защелкал и, словно испугавшись топота, звона, вскриков, умолк соловей.

Блестящий Симеон застыл у осины, прижавшись к ней спиной, держа перед собой наготове меч с тяжелой рукоятью.

Вдруг глаза княжича расширились. В нескольких шагах

от него отбивался от пятерых воинов ненавистный Бориска. «Значит, и Фетинья здесь!» — мелькнула догадка, и княжич притаился, продолжая напряженно следить из-за продолговатого щита за Бориской, готовый в любую минуту броситься на него.

Широко расставив ноги, Бориска, казалось, врос в землю. Топором на длинной рукояти он наносил точные удары и уже свалил троих, но в это время четвертый подкрался сзади и тяжелой сулицей проломил ему голову. Бориска зашатался, обливаясь кровью, начал медленно падать.

Нечеловеческий крик прорезал лес. Обернувшись на этот крик, Симеон увидел, как неподалеку рухнула без памяти Фетинья.

В несколько прыжков княжич очутился возле нее. Припав на колено, стал торопливо скручивать ей руки. Он победил, губы его дрожали, лихорадочная мысль опалила мозг: «Будешь теперь пленницей... моею пленницей». Пальцы плохо слушались его.

Фетинья приоткрыла глаза. Увидев склоненное над собой лицо Симеона, рывком освободила руки, вонзила ногти в дряблые щеки княжича; вскочив, отбежала в сторону. Со взбитыми волосами, с испуганно горящими глазами, прокричала, скорее даже прохрипела:

— Падаешь!.. Ненавижу!.. Падаешь!

По лицу Симеона прошла судорога, он злобно взвыл, ринулся вперед и с размаху нанес Фетинье мечом удар по плечу. Она беззвучно опустилась наземь, будто покорно припала к ней. Смертельная бледность мгновенно покрыла ее лицо, из угла рта показалась алая струйка крови.

В это время рванулся из засады за бугром Андрей Медвежатник. Еще сидя в засаде, Андрей понял, что перед ним отряд Кочевы, и теперь, руша все на своем пути, пробивался к воеводе. Наконец встал перед ним лицом к лицу. Грудь Андрея тяжело вздымалась, внутри что-то клочкотало, шелом из волчьей шкуры сдвинулся назад, оставляя почти совсем открытым лоб со вздувшимися красными рубцами.

Кочева сразу узнал Медвежатника. С выпяченными от страха глазами, по-собачьи ощерив редкие зубы, он начал медленно отступать.

— Сосчитаться пришла пора! — глухо сказал Медвежатник и с вилами наперевес, почти касаясь ими круглого бухарского щита Кочевы, двинулся на воеводу, испепеляя его угольком уцелевшего глаза.

Кочева, пятясь, сделал несколько шагов назад, еще несколько шагов и вдруг исчез, тяжким грузом пошел на дно болота.

Андрей в ярости вонзил вилы в землю, заскрежетал зубами, из глаза его выкатилась слеза:

— Ушел, собака!

Он готов был зарыдать от бессилия, от неудовлетворенной жажды расплаты, броситься за Кочевой в болото, найти его там и душисть, душисть ненавистную глотку!

Андрей опомнился. Вокруг затихал бой. Большая часть воинов Кочевы была перебита, кое-кому вместе с княжичем удалось пробиться назад, ускориться.

Андрей с трудом вытащил из земли вилы и подошел к Фролу. Тот с перерубленным, перевязанным плечом неторопливо рассказывал Рябому:

— Я на него верхом сел, да рылом-то о корягу, рылом...

Андрей прошел меж тел, разбросанных по земле, — многие лежали, сцепившись с врагом, будто и в смерти продолжали бой. Сняв шапку, Андрей постоял возле Бориски.

— Убитых закопать, — глухо приказал он Рябому. — Раненых с собой возьмем... Попадимся вглубь...

Рябой подошел к телу Фетиньи. «Эх, жаль молодницу! Лежит, словно уснула, подложив кулачок под щеку. Лучше б меня, чем такую, — жизни не узнала...»

Трудно было Фетинье в лесах, в непогоду, но никогда не видели ее сумрачной, не слышали и слова жалобы.

Вместе со всеми стойко делила она невзгоды, и каждому хотелось, чтобы подумала Фетинья о нем добро, хотя бы взглядами похвалила, приветила.

К ней относились, как к единственной сестре, с грубоватой нежностью ограждали от непосильных тягот, оберегали от опасностей.

Фетинья была общей любимицей — обшивала, обстирывала всех, звонкой песней прогоняла угрюмость.

Ее трогательная любовь к Бориске подкупала: радостно было видеть, что есть на свете такая нерушимая верность.

Хорошо было подумать, что, может, и ты дождешься своей Фетиньи.

— Давай вместе их похороним... — предложил Рябой помощнику и начал ожесточенно рыть мечом могилу.

Вырыв глубокую яму, они подошли к Бориске, приподняли его, чтобы подтащить к могиле, Бориска застонал.

— Жив! — радостно воскликнул Фрол и припал к груди Бориски. Сердце едва слышно билось, замирало, точно раздумывая, не остановиться ли?

— Жив!

Закопав Фетинью и других погибших, они приложили к ране Бориски листья подорожника и, осторожно ступая, понесли его в глубь леса на носилках из сплетенных веток.

...Бориска пришел в себя на третий день, попросил пить, тихо сказал:

— Фетиньюшку поκληчьте...

Но никто ему не ответил. Бориска приподнялся, затравленно поглядел на опущенные головы товарищей, разом все понял. Судорожно всхлипнув, опять погрузился в беспамятство. Он бредил, пытался вскочить с носилок:

— За что ж они ее?.. Ее-то за что?..

Наконец утих, а еще через два дня с трудом поднялся; щеки ввалились, лицо постарело. Глубокая борозда пролегла меж бровей. Глаза глядели сурово, сосредоточенно, в них словно спекся гнев. Кругом стояла тишина, только временами по верхушкам деревьев проходил ветер.

— Сколь наших осталось? — спросил Бориска идущего рядом Андрея.

— Меньше сотни...

Бориска сжал зубы. Оперся о палку, что держал в руке. Глядя прямо перед собой, сказал:

— Ничего. Теперь каждый за троих драться будет, зубами рвать глотки мучителям...

И медленно, упорно, словно преодолевая тугой ветер, пошел вперед.

МОСКВА КРЕПНЕТ

Торг раскинулся сразу у причала, взбегал вверх, к кремлевским стенам, будто искал у них охраны. От Бронной и Кузнецкой слобод несся несмолкаемый гул: там скрежетали напильники, огрызались зубила, то глухо, то звонко тукали молоты.

Купец Сашко глядел и глазам своим не верил: да неужто это матушка Москва?

Он вез из Сарая литовцам шелк и византийскую ткань — по коричневому полю золотые листья, — проделал тяжкий путь и на несколько дней решил остановиться в Москве.

Она поразила Сашко своим размахом: не ожидал встретить такую, совсем иной оставил много лет назад. Куда ни глянь — всюду строилась, будто взялась с кем-то наперегонки; всюду пахло смолой, тесом, валялась щепка. Виднелись торговые дворы иноземных купцов, полны народом улицы бондарей, гончаров, овчинников, седельников...

Льнули к берегу плоты с бревнами. Вверх и вниз по реке шныряли новгородские суда с орехами, медом, хмелем, светлыми цитами, сухой рыбой. Шумели водяные мельницы. У причалов пристани, на берегу толкалось несметно люда: зазывали лодочники и скупщики, торговались возчики с купцами, то там, то здесь встречались смуглые, желтые лица, мелькали тюраны,

высокие мохнатые шапки, блестели серьги в ушах, раздавался золотисто-серебряный перезвон дукатов и московок, динаров и новгородок¹. После тверского восстания перестали ханские баскаки ездить по Руси, и — это даже он, купец Сашко, живший далеко от родины, чувствовал — легче дышалось.

Над площадью стоял гомон от разногласья.

Немецкий купец, весь в розовых складках, высунулся из лавки, хвалил прозрачный янтарь и яркие сукна; новгородский торговец, прищелкивая языком, бил кожей о кожу; мужики окрестных селений сидели на возах со льном и коноплей, а рядом с ними гость с Белого моря навалил на прилавок «рыбьи зубы» — моржовые клыки. Мыла-то, мыла сколько! Нигде оно не было так дешево, как здесь. И кузнечных товаров видимо-невидимо: топоры и клещи, ножи и подковы — выбирай, что хочешь!

Сашко шел рядами, приценивался: ковры, ладан, сафьян, шали, галицкая соль, меха из Югры. Чего мало? Чего не хватает? Паволоки², пожалуй, мало — должна быть ходким товаром. Да и красок что-то небогато...

Внимание Сашко привлек высокий русский купец с коричневыми от загара лицом и шеей. Лицо показалось Сашко знакомым. Купец этот яростно, увлеченно торговался с армянином — покупал у него душистые травы. Они то неистово били друг друга по рукам, то купец делал вид, что уходит, а армянин, нежно хватая его за полы, возвращал назад, то клялись и божились каждый на свой лад.

На русском купце — полинялый, прожженный солнцем зеленый кафтан, истоптанные красные сапоги, впитавшие, верно, пыль Царьграда и Хивы, Палестины и Багдада. Достаточно было посмотреть на омытое брызгами, овеянное ветрами многих морей лицо купца, чтобы представить себе: прежде чем попал он сюда, ему пришлось и отбиваться от пиратов, и переволакивать свои ладьи сушью, и садиться за весла, и ставить ветрила.

Наконец Сашко вспомнил: «Да я же встречался с этим московским купцом в Сарай-Берке, он даже останавливался у меня на дворе!»

Приблизившись к нему, Сашко с некоторой нерешительностью спросил:

— Сидор Кивря?

Кивря, прервав торг, окинул быстрым, цепким взглядом подошедшего, обрадованно воскликнул:

— Сашко ордынский! Будь здоров!

Он пожал руку Сашко так крепко, что у того слиплись пальцы.

¹ Разновидности монет.

² Шелковая ткань.

Был Кивря знаменит на Москве оборотливостью: он закупал у иноземцев и перепродавал сукна, сирийский шелк, с ватагой ловил в Печорском краю соколов, скупал у Протасия воск, а у Даниила Романовича — копченую рыбу; покупал юфть и менял ее на пеньку, а пеньку — на поташ; подкрашивал меха, клал в бочки с сельдью камни, а в воск подмешивал сало. И все это с азартом, божась и лукавя, с твердой уверенностью, что не обманешь — не продашь.

— Сашко, пошли пображничаем! — обнимая ордынского купца за плечи, предложил Кивря и, видя нежелание гостя, успокоил: — Да по ковшику, для разговору... По ковшику! Тебе тюленье сало не надобно? Лежачий товар не кормит!

Они вместе стали выбираться из толпы.

Иван Данилович стоял с Симеоном на широкой строящейся стене. Уже вырисовывались стрельницы¹ высотой в три человеческих роста, крытые галереи, уже сколачивали мастера тяжелые, кованые железом ворота. Чернел далеко внизу ров с кольями.

Холопы, пригнувшись под тяжестью дубовых бревен — каждое толщиной в обхват, — подтаскивали их к основанию стены, поднимали вверх, до двенадцатого ряда. Другие набивали мелким камнем и обожженной глиной пустоту меж стен, мастерили перемычки. «Надобно сделать и второй вал с частоколом, — думает князь. — За стенами разбросать чеснок², а на башнях поставить поболее самострелов да чанов для смолы... Нас теперь копьем не возьмешь!»

Лучи солнца, обласкав кремлевские крыши, терем на высоких подклетах, заскользили по Москве-реке, что, как сестра, протянула руку Неглинной. Легкая рябь пробежала по воде, и снова она стала спокойной, только вдаль темнели головы невесты куда заплывших мальчат.

Со стены видно, как бесконечным потоком движутся по Владимирской дороге богомольцы, всадники, пешеходы.

Много, бесчисленно много на Руси дорог: глухих и топких, ближних и дальних... Словно чураясь Москвы, обходили они ее прежде стороной, торопливо вились, минуя черные леса, мхи и болота, к Твери, Новгороду, Рязани. А теперь, как малые реки, сливаются дороги в одну, что ведет на Москву. Ею пришел из Киева боярин Аминь, ею придут и другие.

Дымят мастерские и мыленки на берегу, приветливо машут крыльями мельницы, строится деревянный мост через реку; стук топоров перекликается со скрипом телег — неумолчный

шум плывет над городом. Он плывет, как дождевая весенняя туча, радуя и обещая.

Кто бы мог сказать, глядя ныне на Москву, что при отце Ивана Даниловича сжег ее дотла подлый хан Деденя — шакал, породивший Чолхана?!

Нет, не сжечь Москвы огнем, не снести мечом — вечно будет стоять!

Иван Данилович был серьезен и тих; его удлинненное, худощавое лицо задумчиво. Симеон — на голову выше отца. Приподняв раздвоенный подбородок, он вскинул голову, внимательно смотрит вдаль. Умные холодные глаза его отмечают оживленную суету у купецких амбаров, веселый торг возле пристани.

— Ты приметил, — спрашивает Иван Данилович, — кого в Орде после Узбека перехитрить придется, а может, и воевать?

Калита недавно был с сыновьями в Сарай-Берке, представлял их Узбеку.

Симеон вопросительно посмотрел на отца.

— Сынка его, Джанибека! Думаешь, пошто я ему обильные подарки слал? Он хоть и не старшой, а помани мое слово: только отец издохнет — трон захватит, ни перед чем не попятится. Уже сейчас, как собака, хвостом виляет, а зубы скалит!

— Сила у нас теперь есть! — с гордостью произнес Симеон.

— Есть, да еще мала... Потому и в Орду едешь. И тебе после меня придется туда до поры до времени наведываться!.. — Князь, посмотрев на сына, требовательно сказал: — Без меня живите дружно, не затевайте пагубных раздоров! Кое-кто из князей уже понимать начал, что согласного стада волк не берет. Ты заставь у гроба моего всех младших братьев крест целовать, что будут жить одним сердцем, чтить отчее место, иметь единых врагов и друзей. Это мой твердый завет...

Внизу возник какой-то странный шум. Калита взгляделся, и лицо его осветилось радостью: везли соборный колокол, снятый у святого Спаса в Твери.

— Послужи нам... — негромко сказал князь и, обернувшись к сыну, напомнил: — Ты, когда отроком был, мыслил: «Несправедлив отец к тверскому Александру». А он, честолюбец, знаешь, что опять недавно надумал? Только разрешил Узбек ему в Тверь возвратиться, он, алча власти, с Литвой тайно стакнулся. У ханши в Орде поддержку купил... — Иван Данилович положил на грудь ладонь — ныло, покалывало сердце. Понизил голос: — Я на дороге письмо Александра к Гедимину перехватил, передал Узбеку. Отсекли наконец-то поганую тверскую голову!

— Давно пора... — процедил сквозь зубы Симеон. Глаза его стали походить на синевато-серые льдинки. — Пока жив был, только и жди междоусобиц.

¹ Башни.

² Металлические колючки, вонзающиеся людям и коням в игои.

— Сам себе смерть уготовил! — жестко сказал князь. — Узбек теперь мне верит больше, чем своим темникам... Сам видишь: верчу им, как умею... Даже сына Александра Тверского — Федора — казнили.

Но Симеон слушал сегодня отца невнимательно. Снова неотступно придвинулись, навалились мысли об убийстве Фетины, о страшных минутах, пережитых год назад в лесу...

Как ни оправдывал Симеон себя, что убил беглую, что она сама во всем виновата, что ему никакого дела нет до нее и даже зазорно думать о ней, — видения преследовали его. Тяжесть камнем лежала на сердце, острая жалость пронизывала его, когда вспоминал Фетинью, припавшую к земле, будто она к чему-то прислушивается, и через мгновение вскочит на резвые ноги, и зеленые искры брызнут из глаз, и озорная улыбка пробежит по губам.

Но тотчас перед Симеоном возникала другая картина: когда, отбежав в сторону, Фетинья прокричала ему: «Падалы!» И гнев снова закипал в груди, и он говорил себе: «Хорошо, что прикончил гадину!»

Калита проницательно поглядел на сына и, словно угадав, о чем он думает, вдруг спросил:

— Неужто не могли осилить тогда... в лесу?

Симеон, застигнутый врасплох, побледнел, нервно хрустнул пальцами, ответил, будто оправдываясь:

— Много их было... А сейчас, слышал, еще боле развелось. Как пожар Бориска владения Протасия, в лес с ним сотни три холопов ушло...

«Жаль, не удавил вовремя!» — подумал о Бориске Калита, а вслух сказал:

— Пойди прими колокол...

Оставшись один, князь задумался. Глубокие морщины пролегали у него меж бровей. «На Москве тишина и мир... А чего они стоят? Смерды бунтуют. Зятюшка Василий Ярославский лживит, извет готовит, поехал в Орду обелять перед ханом Александра Тверского. Жаль, что не перехватил я Василия в пути, напрасно расставил на дорогах полтыщи воинов своих. Ан не удалось и ему обезвинить дружка — письмо-то мое сильнее оказалось... И в Ростове не гладко, хоть и выдал Федосью за Константина Ростовского. Константин на сторону глядит. Послал к нему Шибеева для порядка, да этот перестарался — на Ростовской площади подвесил вверх ногами воеводу Аверкия, палками бил. Оно-то и надобно — за неповиновение, да не след так глумливо, к чему без нужды гусей дразнить».

Он стал спускаться со стены.

«Великий Новгород с литовским Гедимином заигрывает. Здесь бдение надобно и тонкость: посла их, Варфоломея, при-

ласкаю, владыку новгородского и посадника с почестями приму, пошлю к ним миротворцем сына Андрейку — пора привыкать мальцу. А сам в то время силы соберу... Двинские земли приручу... Новгородцев еще прижму! Вскоре можно будет и дань от них большую потребовать. Теперь, когда Узбек, мне поверив, казнил Александра, у меня за спиной еще большая сила. Руками Узбека могу недругов душить».

Он нахмурился: «Тишина и мир... Нелегко они достаются. Потомки скажут: лукав! Иль поймут: мирник я, хитроумством, осторожностью предохранял от лишнего кровопролития. Русь хочет покоя... Неужто не увидят: за все время, что княжу, не было ни единого татарского набега на Русь. Смоги так провести ладью через пороги!.. Сумой путь прокладывать. Отец в наследство четыре града оставил, я — не менее ста сел и градов. Терпеливость иного ратного подвига стоит. Порой легче ринуться в битву, чем дальней обходной тропой карабкаться...»

Радуюсь, вспомнил, как совсем недавно купил за бесценок у князей древние города Белоозеро, Углич и Галич: «Не землю собираю — власть!»

...За воротами слышались шум, крики, и во двор ввели татарина. Он злобными глазами презрительно оглядывал окружающих.

Купец Кивря, до земли поклонившись князю, возмущенно сказал, кивая на татарина:

— Коня у меня угнал!.. Вот послухи.— Он обернулся, глазами указал на нескольких московитян, толпящихся у ворот.

У Калиты недобро забегали желваки, он прищурил глаза и вдруг с ненавистью посмотрел на татарина. Разом нахлынуло все: унижения в Орде, кровавые Сюга и Туралык... Еще мгновение — и гнев захлестнул бы князя, он искромсал на куски вот этого выкормыша Орды. Но Калита сдержал себя.

— Что безобразишь? — хрипло спросил он. — Иль не знаешь, что Узбек мне ближний¹, что на подворье послы ханские гостят? Думаешь, поленюсь гонца к хану послать, чтоб обезглавил тебя за насильство, за то, что береженую грамоту нарушаешь?

Татарин сразу словно меньше стал, втянул шею, глазами трусливо забегал по сторонам.

— Прости... — забормотал он и заискивающе заулыбался. — Два коня пришло, три...

— Пошел прочь! — тихо, злоеце произнес князь, и татарин, пятясь, исчез в воротах.

«Как собака побитая! — подумал Иван Данилович. — Так и

¹ Родственник.

со всеми ими: если прикрикнуть да палку поднять безбоязненно — враз страшливыми станут...»

— А коней-то у него возьмите... трех! — приказал Калита Кивре и воям, что привели татарина, быстрыми шагами пересек двор и поднялся по ступеням.

В полдень к московскому князю пожаловал фряжский гость: не то посол, не то купец — не поймешь. Для посла — слишком прям и заносчив, для купца — тонок и велеречив. Одет богато: в камзол из аксамита вишневого, на пальце перстень чуден с ониксом.

Только вдвоем сидели в гридне.

— Вы изрядно отстали от нас, — с презрительным сожалением говорил фряг, не умея скрыть высокомерия. — Товара мало, кругом невежество...

Князь потемнел. Забывая вежливость, гневно сказал неприятному гостю:

— Вы неблагодарны! Нам предначертано было поглотить татарскую силу, своей грудью принять жестокие удары. Истерзанная Русь стала неодолимой преградой, не дала затопить ваши земли. Монголы не смеют идти дале, оставляя за спиной у себя Русь...

«У этого азиата европейский ум», — с невольной почтительностью подумал гость. Он изменил тон:

— Я не хотел обидеть вас, нам надо жить в мире и торговать...

Князь поднялся, давая понять, что прием окончен.

— Ждем ваших товаров, — сухо сказал он и громко приказал слуге: — Проси египетского посла Ала-ад-дина Ай-догды.

В монастырской келье тихо и душно.

Пахнет воском, старыми книгами, ладаном. Потрескивает свеча. Под лавкой точат дерево мыши. Одна из них серым комком подкатилась к подолу рясы старца, стала ее обнюхивать. Старец с седыми до плеч волосами отстегнул медные пряжки на темном кожаном переплете, раскрыл книгу, и она прошелестела пергаментом.

Монах неторопливо стал выводить буквы, они причудливой вязью легли на лист.

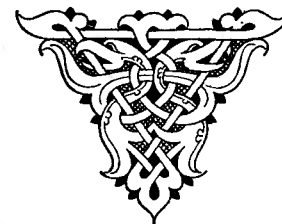
«Того же лета заложен град Москва дубов, при князе Иване Даниловиче, при Калите. Ярлык хана обратил Иван на пользу Москве. Перестали поганые воевать Русскую землю, орошать пепелища наши кровью жителей, и они опочили от истомы, многой тягости и насилий долговременных, и наступила тишина велика...»

Старец, отложив перо, выпрямился, растер онемевшую поясницу, утомленно прикрыл глаза.

«Тишина ли? Беглые хоронятся в лесах... Черный люд сжег копильню сборщика мыта Данилы Романовича, а его избил на площади. Слышал от самовидца — Бориска подпалил владения Протасия... Писать ли о сем? Дабы собрат-летописец и через тысячу лет знал все без прикрас и сокрытий, не рылся бесплодно в пергаментях... Разве не должно прийти ему на помощь?»

Но тут же вспомнил, что летописи его читает Феогност, что князь недавно, увидев запись о крамолах, гневался: «Для кого стараешься? О чем пишешь?»

Капля воска упала на лист рядом с красной заглавной буквой. Старец досадливо отодвинул свечу, осторожно счистил ногтем воск. Вздохнув, перечитал фразу: «...наступила тишина велика», и поставил точку.



СОДЕРЖАНИЕ

ГАВРИИЛ КОЛЕСНИКОВ. ЕГО КНИГИ С НАМИ	5
БЕГСТВО В СОКОЛИНЫЙ БОР	11
СОЛЯНОЙ ШЛЯХ	51
ГРАД ЗА ЛУКОМОРЬЕМ	115
ТИМОФЕЙ С ХОЛОПЬЕЙ УЛИЦЫ	189
ХАНСКИЙ ЯРЛЫК	281



Литературно-художественное издание

для СРЕДНЕГО и СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Изюмский Борис Васильевич

ИЗБРАННОЕ

Ответственный редактор *С. М. Пономарева*
Художественный редактор *Л. Д. Бирюков*
Технический редактор *Е. К. Егорова*
Корректор *Л. А. Лазарева*

ИБ № 12344

Сдано в набор 10.05.90. Подписано к печати 25.03.91. Формат 60×90¹/₁₆. Бум. типограф. № 1. Шрифт обыкновенный. Печать высокая. Усл. печ. л. 23,0. Усл. кр.-отт. 24,0. Уч.-изд. л. 23,22. Тираж 100 000 экз. Заказ № 4659. Цена 3 р. 70 к.

Орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Министерства печати и массовой информации РСФСР. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени ПО «Детская книга» Мининформпечати РСФСР. 127018, Москва, Суэвский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот».